

Устами Хаккиевых
**БУМАЖНАЯ
ПТИЦА**



Уктам Хакимнази
БУМАЖНАЯ
ПТИЦА

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Перевод
с узбекского

Москва
Советский писатель
1986

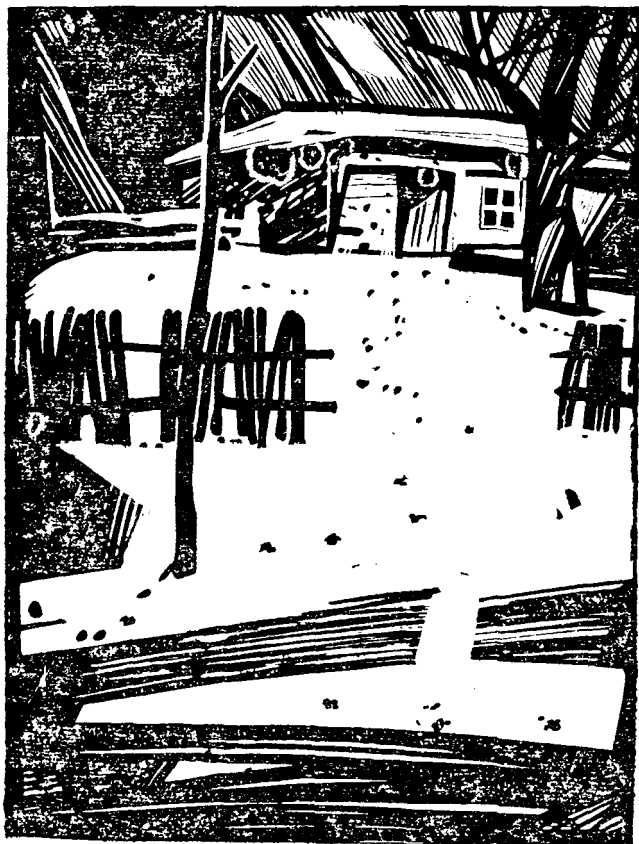
ББК 84.Уэ7
Х16

Художник
АЛЕКСАНДР МАТРЕШИН

4702570200—232
Х ————— 355—86
083(02)—86

© Перевод на русский язык. Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

ПОВЕСТИ



Уктам Хакимали

МАЛЕНЬКИЙ ДВОР

Перевод С. Тарбеевой и М. Мирзаевой

*Поэту Эркину Вахидову
посвящается*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВОЕ СТРАДАНИЕ

— Анвар, сынок, кирмач готов!

Мамин голос заставляет меня откинуть одеяло и поспешить к хонтахте¹. Раннее утро, но на дастархане уже лежат свежие лепешки, которые мама подает к горячему молоку. Я обожаю не само молоко, а кирмач — чуть пригоревшие остатки молока на дне котла. Мама знает это и делает кирмач специально для меня.

Горячие лепешки, которые можно нюхать как цветы, так они ароматны, горячий кирмач — завтрак в маленьком дворике, где растет таинственное и священное дерево-яблоня. Даже тогда, когда я занят столь важным и приятным занятием, как поглощение любимого блюда, я не отрываю взгляд от яблони. Она словно притягивает меня, завораживает.

— Ты родился, сынок, в пору... плодоношения яблони,— часто говорила мне мама.— Если бы ты знал, сколько на ней было яблок! Это хороший знак. Судьба твоя будет счастливой.

Я был слишком мал, чтобы понять, что такое пора плодоношения и что такое судьба, я лишь чувствовал, что невидимые нити связывают нас с яблоней. Родился. Что это значит? И почему тогда, когда я родился, было много яблок? Какая-то тайна была в этом, и часто, разглядывая дерево, единственное в маленьком дворике, я пытался понять, что же общего у нас с этой яблоней. Может, душа, о которой тоже часто говорит мама? А еще мама говорила, что яблоня постарела. Я часто подходил к ней и, трогая пальцами пораненную временем кожу, разглядывал сухие ветви, обламывал сухие сучья и больше всего на свете хотел, чтобы яблоня помолодела.

¹ Х о н т а х т а — низенький столик.

Но вот как-то отец привел во двор двух крепких джигитов и вручил им по топору. Я не мог понять, что происходит, не верил своим глазам — джигиты принялись рубить яблоню.

— Мама! Мамочка!

И взрослые объяснили: дерево старое, яблоки больше на нем не созревают — зачем оно теперь?! И спокойно смотрели, как рубят яблоню, — и сестры, и мама. Но ведь мама сама говорила, что я родился, когда... А как же душа? Моя и яблони?! Джигиты рубили дерево, а мне казалось, что топоры их вонзаются не только в ее тело, но и в мое

ВОЛК

Дом наш стоял в углу двора. Дахлиз¹ отделял большую комнату от маленьких. К комнатам примыкал айван, на карнизе которого летом и зимой ворковали горлинки. В противоположном углу двора была небольшая пристройка, очиг, где мы держали козу. В глинобитном дувале, окружавшем двор, имелась двусторчатая калитка, дверцы которой украшали резные узоры. Эта резная калитка выходила на улицу, а вернее, на пыльную дорогу, соединявшую колхозные поля с конторой и делившую кишлак на двое.

Мы до холодов спали на айване, а когда выпадал снег, перебирались в комнаты. Вообще наша жизнь в основном проходила на айване и во дворе, ведь у нас было тепло семь-восемь месяцев в году. Во дворе готовилась и пища. Лепешку и самсу пекли в тандыре², шурпа, лагман, а если выпадала радость — и плов готовились на самодельном очаге. Но все это было в лучшие времена. Теперь же двор наш и дом были не в лучшем виде. Дувал осыпался, кое-где обвалился, напоминая горбы верблюда. Балки и брусья в доме были закопченными, потемневшими, разбитые стекла на окне заклеены бумагой, пожелтевшей, засиженной мухами, три-четыре черных овчины вокруг сандала³ никогда не убирались. В одной из ниш стояла нехитрая посуда — большая каса, пиалы, фарфоровые блюда, жестяные подносы, в другой — контилка с помятым бо-

¹ Да х л и з — узкий коридор.

² Т а н д ы р — печь для выпечки лепешек, самсы.

³ С а н д а л — низенький столик, накрытый стеганым одеялом, под который насыпают жар.

ком. Вот в этом более чем скромном доме и тесном дворе жили мы с мамой — три сестры, братишка Эркин, племянник Камал. Отец и зять Зиятбай были на фронте. Они уехали поздно вечером, когда мы, младшие, уже спали, нас не стали будить, и я не помнил, какими они ушли. Всякий раз, когда я силился представить отца, мне рисовался образ большого, сильного человека. Долгими вечерами мама часто рассказывала нам об отце, затем эти рассказы повторяли с удовольствием старшие сестры.

Отец вырос в сиротстве, в трудные годы ушел из кишлака, после революции учился грамоте в Самарканде в «большой школе», вернувшись в кишлак, сам учил детей, впоследствии был награжден орденом «Знак Почета». Этот орден часто извлекался из сундука, освобождался из чистой белой тряпочки и сиял на маминной ладони перед нашими восторженными глазами.

Мама с моими старшими сестрами Магрифой и Саифой спозаранку уходили в поле жать пшеницу, возвращались поздно, неся мешки колосьев на голове. Я оставался дома с младшей сестрой Мазифой, с Эркином и Камалом. В ту пору я часто слышал разговоры о том, что «скоро кончится война», значит, это был уже далеко не первый год войны, и мне было лет шесть, Камалу года три, наверно, и Мазифе — восемь. Эркин же мне запомнился совсем малышом. Как только за старшими закрывалась калитка, Мазифа принималась хозяйничать. Она подметала двор, кипятила чай, затем будила нас и кормила нехитрым завтраком — чаем с кукурузной лепешкой.

Иногда она сажала Эркина на закорки, брала нас с Камалом за руки и вела к соседям, где, как и у нас, был полон двор ребятишек. Заигравшись, мы забывали и о оде, и о доме и возвращались уже с наступлением сумерек. Мазифа, поделив поровну последнюю кукурузную лепешку, вновь поила младшеньких чаем и укладывала спать. Мы, уставшие за день, быстро сникнув, покорно укладывались. Но иногда вдруг на нас находил массовый каприз — мы ни за что не хотели ложиться до тех пор, пока не вернутся мама и сестры.

Тот вечер был именно таким. Я и Камал носились то по темному двору, то по айвану, и Мазифа никак не могла нас унять. Наконец мы устали, но спать все равно не собирались. А мамы все не было и не было. Осенью в поле самый разгар работ, и колхозники часто возвращались, ко-

гда уже светила луна. Было поздно, кишлак затих, затихли и мы, приткнувшись друг к другу.

Эркин с Камалом лежали, положив руки-ноги друг на дружку, а я долго устраивал голову на коленях Мазифы и наконец, найдя удобную позу, свернулся калачиком, закрыл глаза. Я помнил, что во что бы то ни стало решил дождаться маму, несколько раз еще делал попытку открыть глаза, но веки были тяжелыми, непослушными, и вскоре я уже не сопротивлялся теплой, ласковой дреме.

Но вдруг почудилось мне, что еду я по ухабистой дороге на тряской арбе. Меня так и подбрасывало, так и подбрасывало. Ничего не понимая, ошалевший, я открыл глаза и увидел в свете керосиновой лампы испуганные глаза Мазифы — что есть силы она трясла меня за плечо. Я секунду-другую тупо смотрел на нее, а затем голова моя тяжело упала на овчину. Но тряска продолжалась, от нее не было спасения, и злой, недовольный я оторвался от мягкой шкуры и вопросительно уставился на сестру.

Она вела себя странно: руки ее трясли мое плечо, а взгляд был обращен во двор, в сторону дувала. Наконец она быстро повернула ко мне голову и прижала палец к губам, как бы говоря: тише, не закричи. И вновь устремила глаза, полные страха, к дувалу.

Я протер глаза и уставился туда же, еще ничего не понимая, но уже проникаясь чувством тревоги и тоски. Луна стояла уже довольно высоко, и при ее ясном свете я разглядел наконец собаку в той части дувала, где вывалилось несколько саманных кирпичей.

Собака? Но откуда она в нашем дворе? После того как ушел на фронт отец, исчез наш пес Сиртлон. А вдруг он вернулся? Но нет, у Сиртлона были подрезаны уши, да и вообще у всех собак нашего кишлака уши были подрезаны. И тут меня пронзила страшная догадка: да это же волк! В последнее время они повадились рыскать возле селения, но вот так нагло не появлялись еще ни в одном дворе.

Мне хотелось завопить, закричать от ужаса, но рядом сидела сестра и все так же держала палец у рта: молчи, во что бы то ни стало молчи, говорил весь ее вид, она, видно, боялась обнаружить себя перед этим грозным зверем. А у меня к чувству страха и ужаса примешивалось и странное чувство любопытства: так вот он какой — волк! Сколько сказок мы слышали о нем, сколько рассказов очевидцев — и вот он, живой.

А волк все так же сидел в напряженной позе и словно бы вопрошал: а верная ли она, тишина, и не скрыта ли там, на айване, для него опасность? Он переводил свои горящие, точно уголья в тандыре, глаза с айвана, где замерли в немом страхе мы с Мазифой, на хлев, откуда доносилось тревожное посапывание нашей единственной козы, животины с белой отметиной и сломанным рогом. Но вот коза от сопенья перешла к жалобному бляню, и было непонятно, то ли это она нас предупреждает о присутствии своего извечного врага — волка, то ли, напротив, просит человеческой защиты, ведь рядом с ней находился ее детеныш — козленок-сосунок.

Меж тем волк, видно, принял решение. В два прыжка очутился он в хлеву, коза истошно заголосила и тут же смолкла. Затем последовал волчий рык и бешеная возня. И тут Мазифа, так страстно призывавшая меня к молчанию, не выдержала и завопила от бессилия — она-то знала, что значит для нашей семьи коза с ее вкусным, целебным молоком! Сестра даже руками от горя замахала. Фитиль лампы, что стояла возле люльки, замигал, заколебался, казалось, он вот-вот погаснет, и прыгающие по стенам тени усиливали атмосферу страха и безысходности.

Но крик сестры, разбудивший малышей, словно бы привел в чувство меня. Нет, это, конечно, не был поступок храбрости, скорее всего мной двигало отчаяние, но внезапно страх отпустил меня, и душу затопили гнев и ненависть. Я стремительно вскочил, схватил старую калошу, одну из тех, в которых сестра поливала двор, подскочил к двери айвана и запустил ее в сторону хлева.

— Убирайся, а не то убью! — заорал я что есть силы.

И странно, отчаяние мое ободрило сестру, она схватила кочергу, которой мы мешали угли в тандыре, и изо всей силы швырнула её. Кочерга с грохотом ударилась о доски, в хлеву на секунду все стихло, но уже в следующее мгновение волка словно волной вынесло во двор.

— Убирайся, бешеный! — Мазифа кричала, а сама была готова в любую минуту отскочить назад, на айван.— Ух, чтоб тебе пасть разорвало!

Мама, оставляя нас одних и прослышав, что вокруг кишлака «шалют» волки, бессильная чем-либо реально помочь нам, наивно и трогательно поучала нас — увидите волка, верблюжата мои, тут же кричите: «Чтоб тебе пасть разорвало». Но напрасно выкрикивали мы наперебой это простодушное заклинание — зверя и след протыл.

И когда мы осознали наконец это, осознали, что опасность миновала, мы в голос с сестрой заплакали, запричитали:

— Мама! Мамочка!

И нам вторили малыши, которые так ничего и не поняли, а Мазифа только и могла что прижать их к себе.

В этот момент постучали в калитку.

— Мама! Мамочка!

Мы бросились к калитке, но вместо того, чтобы откинуть щеколду, стали бешено колотить по ней кулаками и выкрикивать:

— Мама, волк!

— Мамочка, спаси нас!

Мать и сестры, видимо, сообразив, что толку от перепуганных детей никакого, надавили дружно на калитку, калитка слетела с петель, и они рухнули во двор вместе с ней. Тут же мгновенно мама вскочила и, пытаясь обнять нас всех разом, закричала, причитая:

— Деточки мои, маленькие мои, что же, что случилось?!

— Волк забрался в хлев,— Мазифа дрожащей рукой указала на хлев.

Мама охнула, выпустила нас из объятий и в недобром предчувствии бросилась к своей животине.

— Ой, детоньки, беда случилась! — раздался наконец голос из хлева.— Волк, чтоб земля его проглотила, козу нашу, нашу кормилицу зарезал.— И она заголосила.

Мы с Мазифой, забыв о том, что сами только что чуть не оказались на месте этой козы, стояли, низко опустив голову, чувствуя себя виновными в том, что лишили семью кормилицы. Мама не простит нам этого, думал я, и все ждал, что вот-вот мама ударит меня по щеке. Но вместо этого мама сказала:

— Слава богу, вы живы-здоровы, мои верблюжата.— И она вновь прижала нас к груди. Распорядилась:— Саифа, принеси дастархан. Бедная коза, никак не отмучается.

Саифа принесла дастархан, сшитый из лоскутков, и мама отправилась в хлев. Мы побрели вслед за нею и увидели, как, скрутив дастархан, она перевязала кровоточащую рану на шее козы. Коза лежала посреди хлева, а в горле у нее что-то булькало, маленький же козленок-несмышлениш пытался отыскать ее теплое вымя.

Все вернулись на айван и принялись бурно обсуждать случившееся. То плакали, то успокаивали друг друга.

И вдруг мама гневно сказала:

— А все война проклятая! Мужчин-то, охотников, совсем нет в кишлаке, вот звери и обнаглели. Еще немного, и волк загрыз бы детей. Завтра схожу в контору, пусть помогут поправить дувал.

Мы, младшие, до конца еще не могли понять, что это такое — война, но ненавидели ее всеми силами души. Она увела неизвестно куда нашего отца, она заставила работать наравне со старшими наших сестреноч, от нее одни несчастья! И мы повторяли вслед за мамой — будь она проклята!

А мама вдруг всполошилась.

— Ой, совсем ума лишилась! — воскликнула она. — Как бы коза не сдохла. Надо скорее позвать дядю Артыкбая, пусть прирежет, хоть мясо у нас будет.

Мама, по лестнице забравшись на крышу хлева, заглянула в соседний двор.

— Артыкбай-ака, э, Артыкбай-ака, зайдите к нам! Прошу вас!

— Что кричишь? — слышался за стеной недовольный сонный голос. — Война, что ли, кончилась?! Удивляюсь людям! И ночью не дают покоя.

— Да возблагодарит вас бог, — начала умолять его мама. — Волк побывал в нашем дворе. Коза бьется в судорогах, зарежьте ее. Пожалейте моих детей.

— Разве может напасть волк, если люди в селе еще не спят? — снова проворчал Артыкбай-вор — таково было прозвище этого человека.

Кое-как уломав соседа, мама спустилась с крыши. А вскоре явился и сам Артыкбай-вор, закутанный в заплатанный чапан, волочившийся по земле. Прошел прямо в хлев, толкнул ногой козу. Коза не шелохнулась.

— Сдохла, — сказал Артыкбай-вор, подбоченившись. — Раньше надо было звать.

— Сдохла?! — Глаза у мамы стали совсем круглыми, она принялась что есть сил трясти околевшее животное. — Артыкбай-ака, посмотрите хорошенько, может, жива еще. Ну почему должна сдохнуть наша единственная коза!

— Смерть разве разбирает — единственная или не единственная? — прохрипел Артыкбай-вор.

— Вот беда-то, околела скотинушка! — запричитала мама. — Породистая была коза, молока давала столько, сколько корова. А красивая, стройная была! Будь ты проклят, волк! Ты отнял пищу вот у этих черноглазых.

— А зачем ты ей шею скатертью обвязала? — спросил Артыкбай-вор, почесывая переносицу.

— Хотела кровь остановить, — ответила мама. — Кормилицу нашу спасти.

— Ладно, не плачь, — уже не так ворчливо произнес Артыкбай-вор, — пусть она станет жертвой за детей твоих.

Как только сосед ушел, сестры снова заголосили, а мама не плакала, она только горестно покачивала головой.

Мне было ужасно жаль маму, всю нашу семью и погибшую козу, и я, погрозив в сторону дувала кулаком, сказал:

— Если волк еще придет в наш двор, я засуну ему в пасть палку. Он тут же сдохнет.

Сестры сначала затихли, а потом засмеялись. Улыбнулась и мама.

— Милый мой сыночек, совсем уже взрослым стал. — Она прижала меня к груди.

— На тебя и рассчитываем. — Саифа, сжав мне уши, поцеловала в лоб.

В эту ночь семья наша долго не могла заснуть. В слезах облегчившие душу сестры, сразу осунувшаяся с горя мама и я, переживший минуты страха и счастливый от того, что поборол его в себе. Последнее, что я запомнил, прежде чем дрема вновь унесла меня в страну снов, было мамино восклицание:

— Хорошо, что вы, мои маленькие, остались живы. О козе не стоит горевать. Пусть станет жертвой за вас тысяча коз.

Утром мама, сестры Магрифа и Саифа ушли в колхозную контору, но скоро вернулись. Следом за ними шли председатель Сали, табельщик Касым-тихий и Артыкбай-ака. Мама повела пришедших в хлев, приговаривая:

— Вот посмотрите, что натворил волк, еще немного, и детей бы моих загрыз. Скорее почините дувал как следует. Нехорошо будет, если об этом узнает муж. Все-таки он был в свое время в Москве, получил орден из рук такого человека, как Калинин, да и в районе начальство уважает его.

— Не расстраивайтесь, — начал утешать маму Сали, — сегодня же пришлю людей. Починят вам дувал.

И действительно, пришел человек, починил нам дувал.

А мы все не знали, что же делать с козой. Она все еще лежала в хлеву, мама и сестры по очереди толкали ее, и

мне каждый раз казалось, они ждали, что коза неожиданно поднимет голову и заблеет: дескать, вот я, жива! «Волчьн зубы не задели меня! Я пошутила! Притворившись мертвой, хотела лишь узнать, будете ли вы меня оплакивать или нет». Қоза раздулась, возле туши стали роняться мухи, и сестры волей-неволей потащили ее со двора и за кишлаком закопали.

Я УЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ТРАГЕДИЯ

Напротив нашего дома, на другой стороне большака, жила семья дяди Ниязмата, ушедшего, как и мой отец, на фронт. Жена его, тетушка Махи, вместе с нашей мамой ходила на полевые работы, а дочь Анар, сыновья Шермат и Абдували оставались, как и мы, дома. Анар и Мазифа были ровесницами и часто устраивали шумные игры и представления, в которые вовлекали и нас. Особенно весело нам было тогда, когда мы собирались во дворе Ниязмата-ака, ведь через двор этот протекал хоть и мелкий, но довольно бурный арык. А что может быть радостнее и приятнее в полдненный зной, как окунуться в прохладные, ласковые воды, а потом обдать радужными брызгами своих визжащих сестер?! Шермата, Абдували и меня невозможно было вытащить из этого арычка, и если мы и сдавались на крики Анар и Мазифы, только потому, что и сами чувствовали — все, больше не выдержим, окоченеем. И синие, дрожащие — зуб не попадает на зуб, — выбирались на осклизлый берег и принимались лепить из глины разные фигурки.

Вот возле этого веселого, неугомонного арычка я и узнал впервые в жизни, что такое настоящее человеческое горе, я узнал, что такое трагическая случайность.

В один из жарких осенних дней — сентябрь тогда был в самом разгаре — мы, как всегда, дружно и весело играли в соседском дворе. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Мазифа наконец объявила, что пора собираться домой. Мы, младшие, долго еще бегали по двору и никак не хотели расставаться. Мазифа, которая уже взяла на руки Эркина, нетерпеливо подгоняла нас — ей нужно было еще приготовить ужин. Но ни я, ни братья Шермат и Абдували словно не замечали этого нетерпеливого ожидания — с воплями и смехом провожали мы вечернее солнце, последние лучи которого касались вод арыка и вершин топей. И тогда терпению Мазифы пришел конец, с Эрки-

ном на руках она бросилась за мной, явно намереваясь схватить меня за ухо. Я, увертываясь, побежал по берегу арыка, Мазифа — за мной! И вдруг... она поскользнулась и, подмятая под себя младшего нашего брата, рухнула в арык. Арык был неглубоким, Мазифа тут же вскочила на ноги и схватила барахтающегося и захлебывающегося Эркина.

Мы мгновенно затихли и, ошарашенные, стояли посреди двора, позабыв о ласковых водах арыка и прощальных лучах солнца. Нам стало неуютно и боязно — это ведь из-за нашей шалости Мазифа и Эркин пострадали. Брат пронзительно кричал и мотал головой, а мокрая и растерянная Мазифа пыталась его успокоить. Она обмыла его испачканное в грязи лицо — Эркин ударился о берег арыка — и принялась покрывать его поцелуями. Она гладила малыша по головке, качала на руках, но Эркин продолжал заходиться в плаче. Мы не знали, чем помочь сестре, которая и сама от страха уже плакала так же громко, как и Эркин. Мазифа пробовала его опустить на землю, но братик наш тут же падал — он не мог стоять. Вновь подхватила Мазифа его на руки и поспешила домой, я и Камал побежали вслед за нею — нам казалось, что там, дома, Эркину станет легче.

Чуть ли не бегом спешила Мазифа к люльке, подвешенной на айване, — сколько раз выручала ее эта люлька, успокаивала капризничающего брата.

Отталкивая друг друга, мы с Камалом помогали Мазифе укладывать Эркина в люльку. Но напрасны были наши надежды — брат не замолчал, он уже весь посинел от крика.

На лице нашей сестры Мазифы мы читали отчаяние, она не знала, что делать, как утишить боль маленького Эркина.

Мама еще на подходе к дому поняла, что с детьми ее что-то случилось, торопливо толкнула она калитку, вбежала на айван и увидела, как плачущая Мазифа что есть силы раскачивает люльку. В люльке задышался от плача Эркин.

Мама взяла его на руки, ошупала всего — не расшибся ли, не сломал ли себе чего, затем прижала ласково к груди и стала ласково успокаивать.

— Верблюжонок мой, душа моя, — шептала нежно мама, — успокойся, маленький, я больше не оставлю тебя одного.

Вскоре Эркин затих, мы подумали, что он уснул, и только потом догадались — он потерял сознание.

— Мазифа,— спросила мама дрожащим голосом,— что случилось? Эркин никогда так не плакал!

Мазифа молча и испуганно смотрела на маму, она боялась сказать правду — ведь ее оставляли за старшую, на нее надеялись, а она не уберегла брата. И за это надо отвечать.

— Анвар, что случилось с братиком? — обернулась ко мне мама.

— Мази,— пробормотал я и умолк. Я не знал, что сказать — правду, но тогда не только Мазифе, но и всем нам попадет. А врать... врать нас мама не приучила.

— Да говори же,— мама явно нервничала, и я решил за лучшее сказать правду.

— Мазифа упала с ним в арык, Эркин ударился об обег.

— Ох, негодница,— накинулась мама на Мазифу,— так-то помнишь ты мои наказания! Для чего я тебя оставляю? Чтобы ты за малышами следила, а ты...

Мазифа заревела в голос, к ней присоединились и мы с Камалом, так как и наша совесть была нечиста. Тут уже растерялась мама, она не знала — ругать ли нас за беспечность или успокаивать своих несмышленных детей, не ведающих еще пока, что они творят. И мама стала гладить нас по голове и ласково трепать по плечу.

Мы успокоились, и стало слышно, как хрипит и тяжело дышит наш братик. Мама достала банку с салом, села возле люльки и принялась смазывать тело брата. Но это мало ему помогло. И тогда мама отправилась разыскивать медсестру Нафису, приехавшую недавно из города. Но, как на грех, Нафиса отправилась к чабанам на летовку, ее не было в кишлаке. И тогда мама вынула Эркина из люльки и понесла к лекарю Аладдину. Лекарь Аладдин долго осматривал нашего брата, вздыхал, причмокивал дряблыми губами и наконец заключил, что у Эркина сильное сотрясение мозга. Дал каких-то травок, мазь, но глаза его при этом говорили о том, что надежды мало.

— Нет, нет, мой мальчик, мой верблюжонок,— шептала мама, когда мы все поздней ночью возвращались от табиба¹, — ты не умрешь, я не позволю.

¹ Табиб — лекарь.

Нам жутко становилось от этого шепота, от этого страшного слова — умрешь.

Мы чувствовали, что на нас надвигается что-то мрачное, неодолимое, то, что взрослые люди называли бедой.

Дома Эркина положили не в люльку, а на курпачи, так маме удобнее было ухаживать за ним.

Как ни переволновались мы, дети, но усталость взяла свое, мы уснули, и последнее, что я видел, прежде чем веки мои окончательно сомкнулись, — бледная, с горящими, сухими глазами, мама страстно шептала что-то, изредка проводя ладонями по лицу. Я понял, что она просит у неба, чтобы оно сжалилось над ее маленьким сыном.

А когда утром мы поднялись, то увидели, что мама так всю ночь и просидела возле Эркина, которого мы с трудом узнавали. Еще вчера днем мальчишка был радостен и улыбочив, он охотно и доверчиво принимал участие во всех наших играх. А сегодня перед нами лежал словно бы маленький старичок — лицо его сморщилось и посинело, ножки стали какими-то тонкими и скрюченными.

Мама вскипятила нам чай, разломала лепешки, мы ели молча, боясь произнести хоть слово, боясь, что она уйдет на работу и оставит нас одних с так изменившимся нашим братом.

Но мама на работу не пошла, а послала старшую сестру в контору сказать, что в нашем доме несчастье.

Вскоре сестра вернулась, а с нею пришла и тетушка Ибо.

Тетушка Ибо осмотрела Эркина, положила ладонь на его лоб, подержала ее так с минуту-другую, а затем зашептала что-то маме на ухо.

— Нет, нет, — мама в ужасе замахала руками. — Не может этого быть... не может.

— Так всегда бывает, — сказала уже громче тетушка Ибо. — Ты не пугайся, а дети пусть уйдут.

И тут мама так громко и горько зарыдала, что и у нас сами собой потекли слезы.

— А ну-ка, — повернулась тетушка Ибо ко мне и моим сестрам, — идите в комнату.

Но мы точно приросли к месту, никакая сила не могла нас заставить уйти, когда маму душат рыданья.

— Что же делать, что же мне делать? — неизвестно кого спрашивала мама, качая головой.

— Смирись, дорогая, — ласково говорила старшая Ибо. — Бог дал, бог и забирает...

— Не может бог так поступить, если он есть,— вдруг гневно сказала мама.— Ни в чем не повинен мой сын! Если бы не эта проклятая война, ни за что бы детей своих не оставляла без присмотра!

— Когда много людей, больному трудно умирать,— сказала тетушка Ибо, вновь положив руку на лоб Эркина.

Мы онемели. Наконец-то до нашего сознания стало доходить, что на наших глазах умирает маленький Эркин.

— Сыночек мой! — заголосила с надрывом мама.— Промелькнул ты маленьким лучиком. А отцу твоему не суждено оказалось увидеть тебя.

Эркин, словно откликаясь на мамин голос, попытался приоткрыть глаза, но это ему оказалось не под силу.

— Бедный ребенок, никак не может покинуть тебя,— прошептала тетушка Ибо,— благослови его на иную жизнь. Пусть не мучается. Молоком своим ты вскормила его. Материнское благословенне — это божеское благословенне.

Мама отпрянула от тетушки Ибо и с ужасом уставилась на нее, она знала: благословить по стариковскому поверью своего сына на иную жизнь — значит смириться с его смертью, с уходом из этой, реальной жизни.

— Нет, нет,— зашептала мама в отчаянье.— Я хочу, чтобы Эркин, мой мальчик, жил!

— Давай-ка скорее, не мучай бедного ребенка,— ворчала тетушка Ибо.— Видишь, как тяжело ему умирать.

Мама, как безумная, заметалась по айвану. Невыносимые муки доставляло ей страданье ее маленького сына.

— Благословляю тебя,— разрыдалась наконец она,— тысячу раз благословляю тебя, дитя, за то, что вскормила своим молоком...

— Ой, боже мой, да уведи же ты детей в комнату,— всполошилась тетушка Ибо, когда ее взгляд снова упал на нас.

Мама с трудом вытолкнула всех по очереди в комнату, но пробыли мы там недолго.

Жуткий вопль огласил двор, и мы, толкаясь, сминная друг друга, кинулись на айван. Там, на курпаче, мы увидели странно вытянутое тельце нашего брата. Тетушка Ибо подвязала ему белым платком подбородок, затем белыми тряпочками завязала большие пальцы на ногах. И тут же, опустившись на корточки, принялась что-то вполголоса монотонно бормотать.

Я стоял молча среди плачущих сестер и думал: для чего это старшие подвязали Эркину подбородок и ноги?

Что же он будет делать, если захочет встать? И как он станет разговаривать? Ведь он же не сможет раскрыть рот! Но тут я вспомнил, как однажды мы проходили мимо мазара и я спросил у мамы, что это за странные домики такие и почему здесь так тихо и пустынно. Мама провела тогда ладонями по лицу и тихо сказала: мазар — это город мертвых. Когда человек умирает, его хоронят в родной земле и у него начинается другая жизнь. «А что значит — умирает?» — не отставал я со своими расспросами. Слово это тогда мне ни о чем еще не говорило.

А вот теперь я видел, как человек умирает, понял, что значит умирает — лежит неподвижно, не говорит, не смеется. Его отнесут туда, в город мертвых, на могиле его прорастет трава. Отныне мать-земля (так говорили взрослые) станет его домом. Он уходит от нас, от мамы, он идет к матери-земле, она зовет его в свои объятия. Да, но ведь мама говорила, что человек умирает только от старости, так в том году, например, умер старенький белобородый Ташмат-ата, и было ему, кажется, тысячу лет. А Эркин-то ведь еще совсем маленький мальчик. И тут в моем сознании всплыли горькие слова мамы: если бы не эта проклятая война, разве оставила бы своих детишек без присмотра, разве позволила бы несчастью прийти в наш дом! И я всей душой возненавидел войну, уведшую из дома отца, нашего кормильца, а теперь вот по ее вине мы лишились и Эркина.

— Ариф, не отходи от покойника, чтобы кошка не перепрыгнула через него, — уходя, наказывала тетушка Ибо. — А то Эркину будет... там... неудобно.

Перед восходом солнца во двор стали приходиться люди. Первыми появились Артыкбай-вор и Хаджи-ака, присели возле Эркина, который лежал во дворе на супе, пошентали что-то загадочно, как и тетушка Ибо, а потом занесли брата в дом, как нам объяснили, для того, чтобы обмыть тело покойного. Это слово — «покойного» мне очень не нравилось. Особенно оно показалось мне странным и ненужным после того, как Эркина вынесли умытого и запеленутого в белую простыню — в саван, опять же по выражению взрослых. Следы муки и страдания сошли с лица Эркина, и оно вновь было гладким, и мне казалось, что малыш даже вот-вот улыбнется, обнажив свои белые зубки.

Наверное, и мама тоже никак не могла примириться с

этим словом — «покойник». Она бросилась к чисто умытому своему сыну с криком:

— Птенчик мой, радость моя, как ты красив!

И стала осыпать поцелуями лицо нашего брата.

Сестры, глядя на маму, тоже бросились к белому свертку.

— Эркинджан! Брат наш!

Они рвали на себе волосы, косы их расплелись и волосы перепутались.

— Ну хватит, перестаньте, — Хаджи-ака оттащил сестер прочь.

Но ни мама, ни сестры, одетые в синие сатиновые траурные, одежды, не переставали причитать, рвать на себе волосы и раздирать лицо ногтями. Им вторили женщины, набившиеся к нам во двор. Но ведь и я любил его не меньше этих чужих женщин, и я не хотел, чтобы брата моего закапывали глубоко в землю. И я что есть силы принялся кричать:

— Отдайте моего братика, не забирайте его! — и цеплялся за ноги мужчин. Но никто не слышал меня, каждый был занят каким-нибудь делом или собственным плачем, и я, устав от слез и криков, забрел на айван, обессиленный, прилег на курпачу и уже сквозь какую-то обволакивающую сознание пелену слышал, как мужчины выносили со двора табу¹ под плач и причитания женщин.

Так ушел из жизни малыш, наш брат, оставив в сердцах наших первый рубец боли.

Мама каждый день вспоминала его, она собирала нас по вечерам вокруг себя и тихо и нежно говорила:

— Мальчик мой был чист и невинен. Он станет в той, другой жизни, вольной птицей, и птица эта будет петь в райских кущах.

Лежа возле мамы, ощущая ее теплую нежную руку на своей голове, я представлял себе райские кущи, прекрасную птицу, и мне хотелось для этой птицы, а вернее, для моего братика Эркина слепить из глины собачку, зайчика, они мне больше всего удавались.

Вольная птица! Наверное, крылья вольной птицы похожи на крылья ласточек, что вьют гнезда у нас под стрехой айвана. Вольная птица, подобно ласточке, будет летать высоко в голубом небе, а устав, наконец опустится

¹ Табу — похоронные носилки.

к нам во двор и с щебетом будет раскачиваться на веревке, на которой мама сушит белье.

«Ну как, легко леталось тебе?» — спрошу я вольную птицу.

А птица ударит вдруг своими изящными крыльями и превратится в малыша Эркина.

«Ура-а, ура-а!» — закричим мы все, и я, и мои сестры, и примемся весело носиться по двору.

А когда мы вдоволь наиграемся, наш Эркин вновь обернется вольной птицей и улетит в райские кущи.

Каждый день ждал я, когда прилетит эта райская птица, но все было напрасно. Как же так, размышлял я, ведь старая Ибо говорила, что бог очень добр и что особенно хорошо там, в раю, бывает маленьким детям. Отчего же этот самый бог не отпускает на землю нашего Эркина поиграть с братьями и сестрами, порадовать маму.

И в душу ко мне закрадывалось сомнение, а такой ли уж он добрый, этот неизвестный бог старой тетушки Ибо. Так впервые детской своей душой я пытался осознать основные категории мира — жизнь и смерть. Это было первое прикосновение души к тайнам бытия.

Глиняных собачку и зайчика, которыми играл Эркин, мама поставила в нишу. Мы не смели к ним прикасаться. Они стали в доме святыми — ибо это была память.

ПОСЫЛКА

Листопад и унылое карканье ворон принесли осень. За домом у нас был небольшой лужок, и однажды я очень удивился — весь он был усеян черными, важно вышагивающими птицами. Я бросил с размаха в них палку — и в небо поднялась черная, пронзительно каркающая «ту-ча», покружилась над нашим домом и с шумом расселась на ближайших деревьях.

Вскоре с этого лужка мама скосила последнюю траву, заставила сестер связать ее и сложить на крыше. Трава начала подсыхать и запахла остро и пряно, мы с удовольствием ворошили ее, а иногда и укладывались на сухие листья и стебли и вдыхали аромат земли.

Осень в тот год на удивление была долгой, солнечной, теплой. По вечерам мы все еще ужинали во дворе и засиживались долго.

Однажды во время нашей скромной трапезы в калит-

ку постучали. Вошел секретарь сельсовета Миркабул, совсем еще мальчишка.

— Тетя Арифа,— сказал он, заикаясь,— с вас суюнчи. Мама оживилась, поднялась из-за дастархана.

— Для тебя не жалко суюнчи,— ответила она, уставившись Миркабулу в рот. По ее лицу ясно было видно, что она ждет вести о возвращении отца с фронта.

— Усманали-ака прислал с фронта посылку,— сказал Миркабул и аппетитно причмокнул губами, будто хотел сказать этим, что если в посылке будет что-то съестное, то, может, и ему перепадет.

— Правда? — сказала мама как-то нерешительно, она не очень-то хорошо поняла смысл слова «посылка», брови ее сдвинулись, но тут же мама улыбнулась — ее успокоило довольное выражение лица Миркабула — и сказала: — Чего же ты не принес ее, посылку эту?

— Из района прислали бумагу, вот,— Миркабул протянул маме сложенную бумагу.— Это, видно, какие-то подарки. Только ехать за ними надо туда, в район.

Мама растерялась:

— Как это ехать? Мне некогда. Ухожу в поле до того, как начинает звенеть жаворонок, возвращаюсь, когда звезды стоят в небе. А близок ли путь до Паркента?

— Ладно, не волнуйтесь, тетя Арифа...— успокоил маму Миркабул,— если завтра кто-нибудь отправится в район, дам ему поручение.

Парень собрался уходить, но мама придержала его за локоть.

— Миркабул, принесут ли до вечера?

— Не знаю,— Миркабул пожал плечами, но, видя разочарование на мамином лице, добавил: — Постараяемся, тетя Арифа.

Как только за Миркабулом захлопнулась калитка, во дворе у нас поднялся невообразимый гвалт.

— Подарки, подарки,— кричали мы хором. И даже прошлись в танце вокруг дастархана.

Затем так же бурно принялись решать, а что же это за подарки. Сестры так чуть прямо не передрались меж собой.

Но наконец единодушно решили, что уж хлеб и сахар там будут наверняка — в войну для нас дороже этого ничего, по-моему, и не было.

Весь следующий день провели в нетерпеливом ожидании, каждый шорох за калиткой, каждую арбу, проез-

жающую мимо, считали предвестницей прибытия таинственной посылки.

Мама и сестры летели с поля точно на крыльях, и первый вопрос, который они нам задали, был: «Ну как, не привезли посылку?» И когда вечером за калиткой мы услышали голос Миркабула, мы бросились открывать ему всей семьей.

Посылка оказалась довольно солидным ящиком, который опоясывала узкая и тонкая железная лента и на котором было множество маленьких «глиняных» лепешечек, как нам объяснил Миркабул — печати. Все кудахтали и прыгали возле ящика, отчего-то боясь к нему притронуться — такой уж он был на вид аккуратный, красивый.

Наконец Миркабул поставил посылку на хонтахту и потребовал топор. Никто из детей не пошевелился, не бросился за топором — нам жаль было калечить такую красивую вещь. Мама посмотрела на нас, улыбнулась и сама отправилась в сарай.

Когда вскрыли крышку и принялись вынимать содержимое, сестры аж завизжали от восторга. На хонтахту полилось нечто легкое, нежное, почти невесомое — наряды. И какие! У нас в кишлаке такого мы не видели никогда.

Посылку еще не освободили и наполовину, а нетерпеливая Магрифа выхватила из вороха шелка лиловое платье — почти воздушное, с кружевами по краю подола и отделкой у огромного выреза — и прикинула на себя. Платье ей было явно велико, подол его, мягко извиваясь, прикрыв землю.

— Дай сюда, — крикнула Саифа. — Не видишь, оно тебе совсем не годится.

Но Магрифа держала его крепко. Она плечом отстранила сестру и павой прошлась по двору.

— Ты еще мала, — важно выговорила она Саифе. — Мама, это платье мне, правда ведь!

— Носи, если сумеешь, — ответила мама, тем самым признавая, что она и сама не знает, как носить эту великолепную заграничную вещь.

А ящик, словно волшебный, выдавал все новые и новые чудеса. И самым странным непостижимым чудом в нашем убогом дворе казался белый пушистый халат, отороченный таким же белым мехом. Мы-то знали, что только пери да райские гурии могли носить подобные хала-

ты. И вот он, этот наряд из «Тысячи и одной ночи», у мамы в руках. Это уже потом, позже наступит разочарование и придут слезы смущения, когда медсестра, городская образованная девушка, увидит Магрифу в том самом лиловом платье на улице и объяснит ей, что не платье это, а рубашка и носят ее под платьем. А белый халат богатые заграничные дамы надевали после принятия ванны. Дамы, ванны — все это было и мне, и даже старшим сестрам непонятно, а усвоили мы одно: что там, за границей, все по другому, не как у нас. Но это потом, а сейчас мы походили на охотников, настигших добычу и расправлявшихся с ней.

Белый роскошный халат в мгновение ока оказался на Саифе. Руки сестренки едва достигали и половины рукавов, а подол волочился по земле. Мы дружно захохотали, так как нашей смуглой сестренки почти не было видно, как утонула она в белой пене. Но это ее ничуть не смутило, рукава она быстро и ловко закатала, а подол тут же собралась было отрезать, да мама решительно воспротивилась.

Мы смеялись, щипали Саифу, и только Мазифа стояла молча и смотрела то на маму, то на волшебный ящик, который пока что не принес ей никакого подарка.

Она, видно, из последних сил сдерживала слезы, а я, видя ее дрожащие губы, готов был опередить сестру и расплакаться первым. В обиде за нее. Мама бросила на нас мимолетный взгляд, и вдруг лицо ее стало серьезным. Она извлекла из ящика следующий наряд — платье, отороченное яркой красной тесьмой, и протянула младшей дочери. Только что дрожавшие от обиды губы Мазифы растянулись в улыбке — она была вознаграждена за то, что, будучи младшей, не выказала нетерпения, а, как и положено, первую очередь уступила старшим сестрам.

Провозившись чуть не полчаса, с помощью Магрифы и Саифы надела наконец платье. Руки ее, как и у Саифы, едва достигали середины рукавов, пояс свисал ниже колен, а подол волочился по земле. Она в этот момент напоминала девочку, одевшую платье матери. Подражая сестрам, Мазифа решила пройтись по двору, но, не сделав и двух шагов, запуталась в длинном подоле, рухнула на колени, вскрикнула от боли и перевернулась на бок. Она вся затрепыхалась, точно воробей, попавший в силос, забила руками и задергала ногами, но подняться никак не могла. Мама и старшие сестры хохотали до упаду, а за-

тем взяли за руку и подняли бедную Мазифу, которая, хоть и разбила колени и ободрала локти, все же не подавала вида, что ей больно, чтобы не отобрали платье. Мы угомонились, и глаза наши снова устремились на ящик. Мама продолжала радостное занятие — теперь пришел мой черед: в посылке оказался и костюм, настоящий маленький костюм! Пиджак с брюками. На мои глаза навернулись слезы восторга, и я, наверно, некрасиво скривился, пытаюсь улыбнуться и одновременно стараясь не расзеваться.

— Ну, хватит, не криви губы,— сказала Магрифа.

Сестры, наверное, подумали, что мне не очень-то понравился этот наряд, ведь в кишлаках мальчики ходили в халатах. Вот и теперь я вытер рукавом халата нос и расставил свои босые грязные ноги, прикидывая, как же половчее примерить эти необыкновенные брюки.

Когда я обрядился, Саифа удивленно воскликнула:

— Ой, как тебе идет! Вот теперь поедешь учиться в город, станешь большим человеком, будешь нас угощать всякими сладостями.

Мама и Магрифа крутили и вертели меня в разные стороны, называли то джигитом, то палваном, но все пролетало мимо моих ушей, а если что-то и доходило, то ничего из услышанного я не понимал. Мной владело одно желание — немедленно увидеть своих друзей. С громким победным криком я выскочил за калитку и помчался по улице. А может быть, не бежал я, а летел?! И кричал:

— Турдибай, Шермат, Тилляходжа! Взгляните на мой костюм! Это мне прислал мой папа!

Но друзей, каждый день попусту болтавшихся на улице, сегодня, как нарочно, не было. Пришлось возвращаться.

А во дворе в центре внимания уже был Камал — он расхаживал в серой рубашке, а Магрифа то и дело подсакивала к нему, то одернуть, то разглядить ее.

И еще одну рубашку достала мама из посылки, пеструю, самую маленькую, догадалась, что предназначена она для Эркина, и глаза ее заволокли слезы. Она прижала рубашку к груди да так и застыла.

В ящике кроме того оказались мыло, полотенце, еще какие-то мелочи, но на все это уже никто не обратил внимания. Только Мазифа раскрыла светлую коробочку и принялась лизать что-то белое, похожее на муку. Но вдруг

скривилась и стала плевать. Потом мы узнали, что это был зубной порошок.

— А ну, теперь все снимайте!— вдруг сказала мама грустно. Видимо, воспоминания об Эркине, а также то, что в «волшебном» ящике не оказалось главного — гостинцев, расстроило ее.— Спрячу, оденете на праздник.

Магрифа недовольно сморщила нос, Саифа нахмурила свои тонкие брови, Мазифа смотрела умоляюще, но в конце концов чуть не плача они все-таки вынуждены были снять наряды.

Мама вновь аккуратно сложила одежду в ящик и спрятала его под горку ватных одеял, что лежали на сундуке. Но, видимо, это место ей показалось не очень-то надежным, и она, послав Магрифу узнать, нет ли кого у калитки, под пристальными и одобрительными взглядами всего нашего семейства полезла с ящиком на чердак и спрятала его там. Спустившись, строго наказала никому не говорить о посылке, по всей видимости, совсем забыв, что об этом уже давно знал весь кишлак.

Посылка — после случая с волком, после смерти Эркина — внесла в наше унылое существование оживление, поселила надежду на возвращение в дом радости — такой же яркой и праздничной, как содержимое этого ящичка, присланного отцом.

Может быть, зарождение этой надежды и послужило толчком тому, что история с посылкой так четко врезалась мне в память и припомнилась теперь.

МАМИНО ВЕЛИКОДУШИЕ

Да, посылка стала целым событием в нашей более чем скромной и однообразной жизни. Маленький наш дворик был оживлен далеко за полночь — мама и старшие сестры, забыв про ломоту во всем теле и про то, что завтра вставать чуть свет, без конца обсуждали нечаянную радость.

Вспомнили отца, и только одна из сестер кончала перечислять его достоинства, как их припоминала другая. Казалось, деревянный этот ящичек оживил опустевший без хозяина дом, мы, обитатели его, были так воодушевлены, будто наполнились лари мукой и рисом и сладостями, а вместе с ними наполнились надеждой и наши души. Еще бы! Вот придет курултай — праздник урожая, и мы отправимся на гулянье в нарядах, каких ни у кого не будет, сможем и мы наконец в чем-то пощеголять перед людьми.

В приподнятом настроении собирались мама и сестры утром в поле, мы, младшие, тоже поднялись, хотя в этом не было никакой необходимости.

Когда в калитку постучал тихий Касым, каждое утро собиравший сельчан на работу, против обычая его затащили во двор, хоть он и отнекивался и ссылался на то, что ему надо обойти еще полкишлака. Когда по какой-то причине тихий Касым не мог обходить кишлак, его подменял Артыкбай-вор.

Но мама и сестры радовались приходу тихого Касыма и всякий раз, едва заслышав за калиткой голос Артыкбая-вора, кривились и морщили носы.

Артыкбай-вор обладал удивительным свойством распространять вокруг себя уныние и какую-то серость; когда он появлялся во дворе, чудилось, что двор наш мрачнел и становился убогим.

А вот тихий Касым был человеком безобидным, доверчивым, рядом с ним было легко и свободно. Нелегкой оказалась судьба этого человека. В первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт, а через несколько месяцев вернулся — инвалидом.

В одном из сражений ему покалечило лицо — пуля повредила челюсть, выбила левый глаз. Касыму трудно было разговаривать, да он и стеснялся говорить, так как при этом брызгал слюной и потому норовил к собеседнику всегда повернуться правой стороной. Но больше старался молчать. Вот за эту молчаливость и за скромность и прозвали его в кишлаке — «тихий».

Находились, правда, и такие, что пользуясь безобидностью Касыма, посмеивались над его челюстью, но мама и сестры, наоборот, жалели Касыма, всячески выказывали ему свое уважение, хотя и был он неказист на вид — низкого роста, сухощавый, с маленьким лицом, на котором едва был заметен нос-пуговка. В свое время мясо неросло на нем, да и сомнительно было, что нарастет когда-нибудь. Особенно же поражала фигура этого человека — совсем не мужская, с узкими и слабыми, как у четырнадцатилетних девочек, плечами. Мы всегда с удивлением рассматривали его галоши, они ненамного были больше тех что носили мы, малыши. Дополняли же этот странный образ рыжие брови, отчего-то всегда блестящие, будто смазанные жиром.

И все-таки на тихого Касыма приятно было смотреть, я долго не мог понять, чем именно способен этот маленький

человечек расположить к себе, и лишь только спустя годы, повзрослев, понял — искренностью, простодушием, которые излучало все его существо. А приветливую, наивную улыбку не могли испортить ни закрытый глаз, ни покалеченная челюсть. Эта улыбка как бы говорила о том, что он готов делать людям только добро, ничего не требуя взамен.

Мама часто рассказывала нам о дервишах — святых людях, и мы представляли себе этих дервишей именно такими вот — как тихий Касым. Ведь он никогда не обижался на насмешки, взгляд его был всегда ласков и добр. А уж если кто-то уделял ему чуточку внимания, восторг его души тут же отражался на сияющем лице.

Мама иногда говорила: «Когда бог создавал Касыма, ему, видно, не хватило немножечко теста, вот и остался он, бедный, незавершенным.— И, помолчав, добавляла: — Касыму надо было родиться раньше или уж попозже». «Не от мира сего», — мог подумать даже тот, кто видел его впервые.

Если случалось, заходил у мамы с кем-нибудь разговор о тихом Касыме, мама убежденно уверяла: если и есть в кишлаке благородный человек, так это — тихий Касым. Мама, сама добрый и отзывчивый человек, может быть, одна только и понимала до конца тихого Касыма, и потому в доме нашем его всегда приветчали чистосердечно и радушно. Правда, наша выдумщица и озорница Саифа даже и этого святого человека не пропускала, чтобы не подшутить над ним: то подножку подставит, так, что Касым споткнется и галошу потеряет, то на голову ему безрукавку свою накинет, а случалось, что и с ног его сваливала. А он в ответ на все проделки сестры лишь улыбался и говорил маме:

— Арифакон, люблю я вашу дочь, потому и дочку свою назвал Саифой.

Я же не одобрял в душе выходки Саифы. Конечно, я понимал, что это она не со зла, а так, озоруя, но с другой стороны, мне казалось, что над беспомощными людьми нельзя подшучивать, это нечестно. Но если сестру свою я еще как-то прощал, то чужих, посторонних людей, если они обращались с тихим Касымом грубо, насмешливо, начинал прямо-таки ненавидеть. Если же он оказывался у нас во дворе, я всякий раз старался попасться ему на глаза, всем видом своим выражая почтенье и уважение. Хотелось сказать ему что-нибудь доброе, как-то утешить его.

Сегодня мы зазвали его во двор, собираясь поделиться с ним своей радостью, но его расстроенный, подавленный вид сразу же бросился нам в глаза и остановил нас.

Вместо того чтобы начать восторженный рассказ о посылке, мама, стараясь, насколько возможно, придать голосу мягкость и сочувствие, спросила:

— Қасымджан, ты почему такой грустный? Каждый день заходил улыбающимся. Может, тебе нездоровится?

— У меня... у нас...— пробормотал тихий Қасым и замолчал.

— Что ты заладил: «у меня... у нас...»,— все так же мягко говорила мама, не спуская с тихого Қасыма удивленных глаз,— будь откровенным, скажи все как есть...

И тут вдруг человек, которого мы привыкли видеть всегда ласково улыбающимся, отвернулся и закрыл лицо руками, плечи его при этом вздрагивали. Мы глядели на него с открытым ртом, а мама, она всегда так делала, когда огорчалась, тихонько покачивала головой, как бы говоря: как же должно быть тяжело мужчине, если он не может сдерживать слез.

У тихого Қасыма было много детей. «Эй, Қасым, скажи жене, пусть остановится, сам видишь, время трудное»,— давали ему частенько совет «благоразумные» люди. На что тихий Қасым с неизменной улыбкой отвечал: «Что поделаешь, если бог дает нам детей!»

Мама иногда незаметно совала ему в руки кукурузную лепешку, и надо было видеть, как светлело его лицо, но и как смущался он при этом — он, мужчина, должен был принимать помощь женщины.

— Скажи, что случилось,— мама положила руку на плечо тихого Қасыма.

— Жена заболела,— наконец осмелился он выложить то, что тревожило его душу,— дети не дают покоя, просят хлеба.

И опять мама покачала головой, и в глазах ее отразилось и ее собственное горе.

— Трудно твоей жене, болеет, бедная. А детям твоим сейчас и того тяжелей. Но ты должен понять, время сейчас такое — всем тяжело. Не расстраивайся, все наладится. А ну пойдем к председателю, поговорим, может, что дельное и посоветует.

— Оставьте, Арифaxon,— сказал тихий Қасым голосом, в котором все еще звучали слезы.— Председатель только

ругаться начнет. Никогда не ходил я в контору жаловаться на свою жизнь.

— Почему бы не пойти, если дети твои голодные? Не воровать идешь — помощи просить, — сказала мама немного раздраженно. — И не просто «за так», а за свой труд. Я тоже не ходила в контору просить что-нибудь. Ради тебя пойду.

Решительно подхватив тихого Касыма за локоть, мама вывела его со двора. Тихий Касым заметался, стал озираться вокруг, словно бы ища повода улизнуть, но мама была непреклонна, и ему ничего не оставалось делать, как подчиниться. Они направились к колхозной конторе, а мы вприпрыжку бежали следом.

Когда проходили мимо Голубой мечети, тихий Касым вновь попытался высвободить свой локоть из цепкой маминой руки, но это ему не удалось. Так и подошли они дружной парой к приземистому саманному зданию конторы.

Мама распахнула дверь и первым пропустила в помещение тихого Касыма. Когда заходила сама, хотела плотно прикрыть за собой дверь, но сестры не дали ей это сделать — они попридержали створку, чтобы можно было все видеть и слышать. Я пробрался меж ними и тоже просунул голову в дверь.

Посреди довольно запущенной комнаты стоял длинный стол. За ним, опершись грудью о край, сидел неприятный на вид человек — круглоголовый, темнолицый, со сплюснутым носом. «Это председатель», — шепнула мне Саифа. На торцевой части, положив на стол локти, сидел председатель Совета урожайности Мирджамал-ака. Его мы знали, он несколько раз приходил к нам в дом.

Мужчины переглянулись, увидев, с каким выражением лица вошла мама. А еще больше, видимо, их удивила куча ребятишек, с любопытством замершая у двери.

— В чем дело? — спросил, недовольно поморщившись, председатель и уставился на маму в ожидании ответа.

— Сали, — начала мама, показывая на стоящего рядом тихого Касыма, — бедный, пошел на фронт добровольцем, вернулся без глаза, покалеченный. Сами знаете, жена его хворает. Детей много. Собиралась идти на работу, а тут он пришел. Нечего есть у него в доме. Помогите, а осенью вычтите с него.

— Что ты мелешь? — Председатель Совета урожайности Мирджамал-ака бесцеремонно прервал мамину речь. —

Другие сыты, а ему не досталось, что ли? На складе нет ни грамма зерна. С каких это пор стала болеть твоя голова за других?

— Мирджамал-ака,— нахмурилась мама,— кто бы говорил, да только не вы. Не ради себя, ради Касыма пришла я к вам. Война, трудно, понимаю. Все, что у нас есть, отправляем тем, кто на фронте. Но и вы поймите. Правительство не говорило, оставайся сам голодным, а все, что имеешь, отправляй на фронт. Если доить корову, не давая ей корм, она перестанет давать молоко, а потом и просто сдохнет. До работы ли ему, когда восемь детей кричат, как галчата, просят есть?

— Кто виноват, что он расплодил столько детей,— пробурчал Мирджамал-ака, чертя пальцем на столе.

— Э, бросьте, не гневите бога,— сказала резко мама.— Дети — это всегда хорошо.

— Что мы дадим, если на складе нет ничего? — уставился председатель на маму.— Не лезь, Арифакон, не в свое дело. Почему ваша семья не вышла в поле?

— Выйдем! — Мама и на этот раз ответила резко.— Неправда, что на складе нет ничего. Не уйду из конторы, пока не выпишете что-нибудь Касыму.

— Будь прежние времена, таким скандальным женщинам укоротили бы язык,— проворчал снова Мирджамал-ака, поворачиваясь к председателю.

У мамы задрожали губы, она вдруг стремительно подошла к столу и стукнула по нему кулаком.

— Думай, что говоришь! — Мама так разволновалась, что я подумал, что она задохнется от гнева.— Мерзавец, прошли те времена, о которых ты говоришь. Мой муж тоже занимал высокие должности, получил орден, ушел добровольно на фронт, не спрятался, как ты. И за вас тоже проливает кровь. На днях, оказывается, ты из-за нескольких колосков ударил жену Хасила. Вернется ее муж с фронта, голову тебе оторвет. Как ты посмел поднять руку на женщину! Сколько колосьев остается лежать на земле, а ты жадничаешь. Ты предпочитаешь, чтобы никому не достались... Что, думаете, не знаю, как ночью Пердаш таскает к вам домой муку с мельницы?

— Клевета! — закричал председатель и, вскочив, приблизился к маме: — Я отдам вас под суд!

— Если поймаю, возьмете вину на себя? Вы оба? — Мама по очереди ткнула пальцем в каждого.— Хорошо, вме-

сте с людьми подстерегу вас. Тогда будет ясно, кого надо под суд отдавать.

В комнате наступила тишина. Мы у дверей тоже боялись пошевелиться, а я с гордостью думал о том, какая моя мама смелая, и готов был броситься в любую минуту ей на помощь.

— С ней только шайтан может сладить,— сказал Мирджамал-ака, не поднимая головы, и тем самым признал себя побежденным.

— А ну пойдите все вместе на склад,— не унималась мама и, пропустив вперед тихого Касыма, ждала, когда последуют за ней раис и Мирджамал-ака. Но те не шелохнулись, а раис слабо махнул рукой — дескать, ладно уж, ступайте на склад, разрешаю.

За конторой была площадь, посреди которой высилась заброшенная Голубая мечеть. Когда началась война, ее приспособили под склад. Вот туда-то, в бывшую мечеть, и повела мама тихого Касыма, который то и дело с испугом оборачивался на контору.

Мы не отставали ни на шаг. Сестры мои выглядели не совсем уверенно, да, честно сказать, и в мою душу закрадывался страх — еще никто не отваживался вот так запросто идти на колхозный склад. А что, если маму и тихого Касыма не пустят туда?! Весь кишлак узнает об этом. Но нет, я видел, мама не отступит, не уйдет ни с чем. Такой я маму видел впервые, и детское мое сердце переполняло любовь и гордость за то, что в смелости она и мужчине не уступит.

Низенький рябой мужчина, запиравший изрядно покосившуюся дверь склада, увидев маму, замер в удивлении — дескать, что надо здесь этой женщине.

— Хайдар-ака, не закрывайте,— сказала мама, и, подойдя к двери, собственноручно вытащила замок.— Дети Касыма сидят голодные, вам придется дать ему немного зерна. Сали разрешил.

— Зерна мало,— отрезал недовольно кладовщик.— Без председателя не могу дать. Пусть сам придет, распорядится.

— Он уже распорядился. Открывай,— накинулась на него мама, ошеломив вдруг нас всех,— а то из твоего дома придется вынести хлеб, знаю, есть у тебя лишний. Ты ведь с председателем заодно!

Кладовщик пытался закрыть дверь, но мама, оттолкнув его, решительно зашла внутрь. Сестры нырнули сле-

дом. Я же остался возле двери. И то следил за мамными действиями, то посматривал на улицу, мне все казалось, что раис и Мирджамал-ака препожалуют все-таки сюда и помешают маме сделать доброе дело.

А мама схватила один из валявшихся пустых мешков и стала насыпать в него зерно, горкой возвышавшееся у глухой стены склада. Когда небольшой мешок наполнился до половины, она поставила его на весы, что стояли возле двери, затем приказала кладовщику:

— Запиши. Десять килограммов.

Подошла к тихому Касыму и закинула мешок ему на плечо.

— Арифaxon, председатель меня посадит,— взмолился рябой кладовщик, не решавшийся, однако, отобрать у нее зерно.

— Не ворчи, как женщина, сама отвечу,— бросила мама кладовщику, затем слегка подтолкнула тихого Касыма.— Касым, иди успокой детей своих. И жену накорми как следует, пусть поправляется.

Но Касым с мешком на плечах продолжал стоять посреди склада.

И опять мама взяла его за локоть и пошла провожать.

Касым то и дело останавливался— с восхищением и надеждой смотрел на маму, но вдруг оборачивался к се-страм, и тогда страх отражался на его лице, страх и недоумение: да правда ли все это? Но вот же он, мешок, тяжело и сладостно оттягивает плечо, мешок с зерном на его плече принадлежит ему! И вдруг тихий Касым окончательно остановился и, глядя на маму, заплакал.

И мы готовы были заплакать вместе с ним. Тогда я не очень-то хорошо понимал: отчего же плачет тихий Касым? Ведь все закончилось хорошо, и дети его будут сыты. Я только видел и надолго запомнил его лицо и потом, вспоминая слезы на светлом этом, улыбающемся лице, подумал, что, наверное, чувства его в тот момент были так сильны, что выразить их могли только слезы признательности. Самые чистые слезы.

Ведь мама в тот момент для тихого Касыма была доброй пери, а может, и не пери, а просто добрым человеком, самым щедрым на земле. И, видимо, исстрадавшаяся душа этого забитого и обойденного человеческой лаской человека поняла, что сейчас эта женщина не просто протянула ему кусок хлеба, не просто защитила его детей, она защитила и его человеческое достоинство.

Видно было по всему, что он стоял и мучительно искал такие слова, которые способны по достоинству оценить подобный поступок. Мама же смотрела на это просто. Она сказала:

— Ну, хватит, перестань плакать, не позорься!

Вновь подтолкнула его легонько и смотрела вслед тщедушной фигурке до тех пор, пока тихий Касым не скрылся за поворотом. Тогда она улыбнулась, озорно, совсем как девчонка, подмигнула старшим своим сестрам, и они, наперебой обсуждая происшедшее, отправились на поле. Я же, точно на ногах моих были скороходы, припустился домой.

О чем я думал тогда по дороге? Может быть, ни о чем. А может быть, о том, что теперь никогда не доставлю огорчений своей маме, а если и придется ей за что-то ругать меня, перечить не стану, буду стоять, покорно склонив голову.

Прошли годы. Тот случай с тихим Касымом, наверное, был первым мамным поступком, заставившим меня сделать вывод, что мама моя добрая. Что она может быть не только мамой для нас, но и для детей Касыма, да и для него самого, она может быть матерью всем людям. Но уже и тогда, маленьким, я понимал, что не все люди такие, как мама, а иначе разве плакал бы тихий Касым или были бы на свете войны? Откуда же в маме такая доброта?

Только взрослея, шаг за шагом, осознавал я себя в окружающем мире. И я понял, что маленький наш двор — один из бесчисленных на земле дворов всего-навсего. И так же, как нельзя представить наш дом без домов всей земли, невозможно, оказывается, вообразить и дома всей земли без нашего дома. И дома эти земные населены людьми. Человек — все мы носим это имя. Так вот для мамы имя человек было святым. И если у человека горе, надо разделить это горе с ним, а если у тебя радость, надо поделиться ею с людьми.

Но тогда, в детстве, я не мог все это осознать и сформулировать. Я мог лишь подбежать к своей маме и обвить ее шею руками.

АРТЫКБАЙ-ВОР

С окончанием зимы, с первым весенним ветром, в те самые трогательные дни, когда начали набухать почки, на улице стал раздаваться крик Артыкбая-вора: «Эй, выходите в поле!» Затем следовал удар рукоятью камчи в ка-

литку. Этот голос, звучавший на одной ноте, всегда раздавался перед рассветом, услышав его, я подскакивал, будто в мое тело вонзилась колючка, мне казалось, что Артыкбай-вор только для того и родился, чтобы кричать, созывая людей на работу. Впервые услышав этот голос, я пренсполнился уважения к Артыкбаю-вору,— он кричал солидно, с достоинством, и я решил, что, когда вырасту, буду бригадиром, стану ездить на коне и звать людей на работу. Но чем дальше, тем больше голос этот вызывал во мне неприятные чувства, будто ежедневно призывал людей на муки, а когда я осознал, что он угрожает маме, сестрам, то стал его ненавидеть. Ведь он мешал им всласть поспать, обрывал сны на середине. Особенно неприятен был голос Артыкбая-вора сестрам Магрифе и Саифе. Как только Артыкбай-вор стучался в калитку и раздавался его голос, они, мученически сморщившись, прятали головы под одеяло, осыпая его проклятьями: «Чтоб ты шею себе сломал, вор, чтобы тебя перевернуло!»

Крик Артыкбая-вора, резкий, неотступный, будил и меня, и я, высунувшись из-под одеяла, видел, с какими гримасами и страдальческими лицами бедняжки сестры покидали свои постели. С жалостью, но в то же время и с интересом наблюдал я за тем, как преображал стук в калитку наш маленький дом. Сестры поднимались с таким видом, будто каждой под одеяло только что заползла змея. А затем они принимались метаться по дому, отыскивая свою одежду и поспешно натягивая ее на себя.

Завтрак проходил на ходу — пиала чая, кусок лепешки.

Конечно же, когда открывалась дверь и появлялась физиономия Артыкбая-вора, сестры уже клали серпы на плечо, так как больше всего на свете они боялись голоса Артыкбая-вора.

Артыкбай-вор был высокого роста, со скуластым лицом, с которого никогда не сходило выражение недовольства и злости. Стоило только взглянуть на него, и становилось ясно: ничего хорошего от этого человека ждать не придется. Бригадир с видимым удовольствием сквернословил; если этого оказывалось мало, для того чтобы «облегчить» душу, он и плеткой мог пройтись по чужой спине. Год назад он вернулся с фронта раненный в левую руку. Соседки, когда принимались перебивать косточки Артыкбаю-вору, непременно с раздражением добавляли: «Сам себя покалечил, руку себе прострелил». Слухи о нем ходили

разные, и все-таки, как только он вернулся с фронта, его избрали бригадиром, ведь в кишлаке почти не было мужчин.

В то утро мама, встававшая, видимо, раньше всех в кишлаке, как всегда, решила перед уходом на работу проверить, на месте ли наша посылка. Только стала было она подниматься по лестнице, как услышала отвратительный голос Артыкбая-вора, и тут же калитка затряслась под ударами рукоятки его камчи. Мама растерялась — она не знала: поспешить ли открывать бригадиру или все-таки убедиться, что сокровища наши целы? Пока она размышляла, раздался новый стук, пришлось спуститься и открыть калитку.

Артыкбай-вор пинком распахнул ее, вошел во двор и подозрительно и зло уставился на маму — дескать, чего это ты так долго не открывала.

Мама смутилась и покраснела, словно ее застали на месте преступления, а взгляд ее невольно обращался к чердаку.

Артыкбай-вор сначала было нахмурился, а затем и сам с интересом уставился на чердак. Глаза его хитро сощурились, а на лице промелькнула словно догадка.

Первое, что сделала мама, возвратясь с работы, — поспешно забралась на чердак. И тут же кубарем скатилась с лестницы. Глаза ее были широко открыты — словно ей привиделось там нечто сверхъестественное.

— Магрифа, дочка! — позвала она старшую сестру. — Случилась беда — посылку украли.

— Как это украли? — удивилась Магрифа. Она и представить не могла, что такое возможно, и потому говорила как-то даже спокойно. — Кто же мог украсть?

— Кто же еще, как не Артыкбай-вор, чтоб сгореть ему в аду! — закричала громко мама. — И не сдохнет, подлец! Утром пойду в контору, потребую, чтобы обыскали его дом. Из-за него не знаешь покоя ни дома, ни в поле.

Сестры, наконец-то осознав, что мама говорит серьезно и что посылки действительно нет, запричитали, заголосили, дружно посылая проклятья на голову Артыкбая-вора.

— Нет, недаром этого негодяя кличут вором, — заключила мама.

Да, я привык к этой кличке и не вдумывался в то, что же это значит, вор и вор, хотя слухи, которые ходили по

кишлаку, достигали и монх ушей: ведь мы, дети, постоянно вертелись возле взрослых. Говорили, будто умел брать Артыкбай все, что плохо лежит. Люди несколько раз ловили его на мелком воровстве — то чужой кетмень прихватит, то мешок, а то и узелок с провизией унесет с поля.

Двор Артыкбая-вора был за нашим домом, с другой стороны примыкал к дувалу нашего соседа Хаджи-аксакала. Несмотря на то что Артыкбай-вор был мужчиной вроде бы здоровым, двор у него был грязным и запущенным, стекла на айване повывиты и прикрыты длинными стеблями подсолнуха. Жена его, тетушка Ибо, низенькая, пышногрудая женщина, зимой и летом не снимавшая единственное засаленное платье, постоянно что-то бормотала себе под нос. Ни Артыкбай-вор, ни его жена не отличались гостеприимством, да и сами особенно по гостям не расхаживали, а если и нужно им было зайти к кому-то, то они норовили это сделать во время ужина.

Тетушка Ибо целыми днями возилась во дворе, все что-то хлопотала, чаще всего чинила одежду, а ближе к вечеру ставила котел на огонь, принималась готовить ужин. У нее от первого мужа были дочь Сарвинисо и сын Абдурахим, живший в Той-Тюбе. А сын от Артыкбая-вора, Эргаш, был на год младше меня — бледный, со вздутым животом.

Он тоже, как и его отец, был очень злым и капризным. Но более всего меня поражала в нем способность... есть глину, я много раз видел, как мать заставляла сына выплевывать ее изо рта, и била его по руке, чтобы не тащил больше никогда в рот. Если Эргаша кто-нибудь обижал или задевал, он со злостью кусался и царапался. Артыкбай-вор выдал свою падчерицу Сарвинисо за человека по имени Халил, жившего в верхней махалле. Про Халила тоже шли по кишлаку нехорошие разговоры — будто и он вернулся целым и невредимым с войны только потому, что сам выстрелил себе в руку.

А еще говорили, что Халил стоит своего тестя Артыкбая-вора. То в верхней, то в нижней махалле пропадали овцы и козы. Грешил народ на этих двух родственников, но открыто обвинять боялись — ведь за руку-то их никто не поймал. Вот и теперь посылка исчезла без свидетелей.

Чтобы убедиться, что это так, что посылка исчезла, мама всех нас затащила на чердак.

Мама и сестры тщательно перевероросили весь запас сена — нет, знакомого и столь дорогого ящика не было.

— Мама,— вдруг сказала шепотом Магрифа,— а вот сюда ставили лестницу, со стороны вора, сгореть бы ему в аду!

Крыши на узбекских домах плоские, на них сооружаются балаханы — или полностью крытые, или только навесные легкие сооружения — для сушки сена, трав.

Мама, приблизившись к выступу на краю крыши, наклонилась, заглянула в соседний двор — там, на мягкой весенней земле, были четко видны углубления от лестницы. Кроме того, камыш на выступе был помят.

— Ты верно говоришь,— сказала наконец мама, выпрямившись,— никто не мог взять, кроме него.

Проведя это нехитрое расследование, мама спустилась вниз, а сестры все стояли, глядя на дом Артыкбая-вора, словно ждали, что он выйдет и они смогут бросить ему в лицо обвинение, обрушить на голову негодя весь гнев, что теснит их души, за то, что он их лишил только краем коснувшейся радости. Но безжизненно было во дворе Артыкбая-вора, и расстроенные и разочарованные сестры спустились наконец с крыши.

А мама между тем, перебросив концы платка на грудь, вышла на улицу. Я тоже, кое-как отодрав руку Камала, вцепившегося в подол моей рубашки, выбежал за калитку.

Обойдя вокруг дома Хаджи-аксакала, мама, постучав, вошла во двор Артыкбая-вора. Двор был пуст. Мама оставилась на мгновение, затем, коротко кашлянув, двинулась дальше и, приподняв за край мешковину, повешенную вместо двери, заглянула на айван. Я тоже сунул голову под мамин локоть. На айване царил полумрак, так как окна были прикрыты стеблями подсолнухов. Но вскоре глаза освоились и мы разглядели сидящих. Артыкбай-вор, прислонившись спиной к сандалу, что-то жевал. Он, как только увидел нас, наклонил голову и вытер рот.

— Здравствуйте — сказала мама, входя.

В ответ Артыкбай-вор не проронил ни звука. Мама присела на край рваного домотканого паласа, я, сев рядом с мамой, тут же ущипнул пыхтевшего рядом с отцом Эргаша, мне казалось, что и он тоже причастен к пропаже нашей посылки. Эргаш засопел еще сильнее, а затем вцепился зубами мне в руку. Я чуть не вскрикнул от боли, но мы ведь с мамой были в гостях, и потому я сдержался и только пытался отодрать от себя вцепившегося мертвой хват-

кой Эргаша. Пришлось даже дать ему по шее. Мама, сжав мне плечо, сказала:

— Эй, ты что, с ума сошел?

А Эргаш все не разжимал зубов, и тогда во мне поднялась такая злость, что я с силой отшвырнул своего врага и завопил:

— Убью вора!

Артыкбай-вор вскинул на маму горящие злобой глаза.

— Это ты подучила сына?

— Умереть мне,— растерялась мама и стукнула кулаком меня по плечу.— Глупый он еще, что взбредет в голову, то и болтает.

От неожиданного оборота дела мама растерялась, от ее решительного вида и не менее решительных намерений не осталось и следа. Я с удивлением следил за тем, как менялся мамин голос.

— Артыкбай-ака, отец Анвара прислал с фронта небольшую посылку. По простоте своей я спрятала ее на крыше, под сеном, а кто-то стащил. Лестницу ставили с задней стороны крыши,— мама и на этот раз не смогла сказать, что лестницу ставили со стороны его двора.— Вы случайно ничего подозрительного не заметили?

— Сама знаешь, прихожу с поля и сразу ложусь отдыхать,— ответил Артыкбай-вор,— где же мне что-то видеть.

И тут я с не меньшим интересом и удивлением отметил, что и голос Артыкбая-вора изменился. Не было в нем ни грубости, ни угрозы, а слышалась какая-то вкрадчивость.

Он вздохнул и провел ладонями по лицу.

— Хуже нет получить дурную известность, все подозрения начнут валить на тебя. У волка, считают, всегда морда в крови — съел ли он овцу или не съел. Из-за одного-единственного кетменя, будь он проклят, люди бог знает что про меня болтают. Из-за нужды взял, а прославился как вор. Я человек набожный, живу с надеждой на милость божью. Колхозное начальство, народ, поверив мне, доверили бригадирство. Соседка ты мне. Родственница. Детей у тебя много. Хоть и женщина, а растишь такую ораву. Постыдись обвинять меня в воровстве. Побойся бога. Если я взял посылку, то пусть положу ее в могилу своего ребенка.

Эта страшная клятва доконала сердобольную маму.

— Атрыкбай-ака,— я видел, что она готова уже и прощение у него просить,— пусть бог накажет меня, если об-

вниваю вас в воровстве. Просто зашла узнать по-соседски: может, вы что заметили?

Голос Артыкбая-ака вновь окреп и стал уверенным.

— Положись на небо,— сказал он наставительно,— того, кто у бедняка украдет, покарает бог.

— Ладно, не обижайтесь,— забормотала мама, вставая и чувствуя себя неловко оттого, что зашла.

Не верь, не верь ему, хотелось мне крикнуть маме, видишь, какие у него глаза хитрые и бегающие. Я-то не поверил ни одному слову и, выходя, все-таки сказал Эргашу:

— Вор.

Эргаш, обзлившись, схватил с хонтахты глиняную касу, чтобы запустить ею в меня, но отец поймал его руку.

— Из-за какого-то болвана хочешь разбить касу?

Мама, уже стоявшая на пороге, обернулась.

— Артыкбай-ака, постыдитесь называть несмышленно-го ребенка болваном.

— Идите, идите с богом,— махнул рукой Артыкбай-вор.

И мы ни с чем ушли.

Мама после пропажи посылки часто по вечерам выходила на улицу: не дойдут ли до нее слухи о том, что объявились в кишлаке необыкновенные вещи — конечно же вещи из нашей исчезнувшей посылки? Но люди молчали, и мама, разочарованная, возвращалась домой.

Но что удивительно, с той поры, как пропала наша посылка, по утрам Артыкбай-вор уже не стучал так нахально в нашу калитку, да и орать стал потише, и нам казалось, что тем самым он хочет как-то обелить себя, оправдаться, но этим только лишь поселял в нас еще большую уверенность, что кража — дело его рук. Это был первый человек, которому я не поверил. Теперь, прежде чем заснуть, я все придумывал наказание Артыкбаю-вору, но так и не мог придумать. Непросто это было, ведь он был не только соседом, его связывали с нами и родственные узы. Артыкбай-вор приходился дядей сестрам Магрифе и Саифе, так как был братом первого мамино-го мужа, умершего совсем молодым.

И это не укладывалось у меня в голове — как же так, родственник, дядя, а относится к нам хуже, чем к чужим. Мама, помню, часто говорила: в кишлаке, считай, все родственники и должны помогать друг другу, заботиться друг о друге. А тут дядя — и обокрал! И ведь он столько говорит о боге — почему же бог не покарал его? Что-то тут

не так: или Артыкбай-вор — честный человек, или... или бога никакого просто нет?! И, уже засыпая, я все-таки делал вывод: нет, нечестный Артыкбай-вор, глаза у него нечестные.

СКАЗКА

О маме можно говорить... бесконечно. И не потому, что, став взрослым, ты понимаешь истинную цену ей. А просто потому, что все на свете связано с ней.

Моя мама была женщиной не крупной и сухощавой, а вот руки ее сразу бросались в глаза — сильные, какие-то жилистые, наверное, от постоянных трудов. Она была потомственной крестьянкой, и если было что-то на свете для нее святое — так это работа в поле.

Помню, в детстве я любил наблюдать за тем, как хлопчет мама по хозяйству, но еще больше нравилась она мне в минуты отдыха. Тогда лицо ее на миг оставляли заботы, и оно становилось нежным и добрым, и только глаза, даже тогда, когда улыбались, где-то в глубине таили печаль. Это позже, повзрослев, я осознал, какой же нележкой была ее судьба, и трудней во сто крат судьба эта была оттого, что не умела, не могла мама быть практичной. Не позволяла ей это делать ее нежная, впечатлительная душа. Мне в детстве порой даже казалось, что она всех любит одинаково: нас, детей своих, соседских ребятишек, бездомных собак. Ведь она даже сухое дерево не решалась срубить, а жалея козленка, не выдаивала до конца козу.

Мама была женщиной малограмотной, но сколько же она знала всяких сказок и легенд! Но рассказывала она нам их только в особых случаях — когда уж очень надо было отвлечь нас от невеселых мыслей или «заговорить» голод.

Однажды, вернувшись с поля, мама поняла, что ей не придется хлопотать у очага над ужином. Припасов в доме не осталось никаких. Тогда она заварила чай сухими персиковыми листьями, затем достала из плетеной корзины, подвешенной к потолку на айване, две кукурузные лепешки и разделила их на шесть частей. Видя, что мы, не евши, жалобно поглядываем на корзину, где остались лепешки на утро, она вдруг лукаво улыбнулась и сказала:

— А ну идите-ка сюда, мои цыплятки.

Мама приняла важную осанку, уселась, точно шах какой, поджав ноги, уперев кулаки в колени и слегка склонив голову, голосу придала важность и значительность.

— Сейчас я расскажу вам удивительную сказку. Ее не слышали даже всадники, что уж говорить о пеших. С этой сказки еще не сняты сливки.

Мы все радостно зашевелились — знали, это будет интересная история.

Саифа нетерпеливо перекинула косы за плечи и первой придвинулась к маме.

— Слава богу, избавлюсь от капризов вот этого озорника, — Магрифа погладила по головке Камалю. — Посиди теперь хоть немного тихо.

Я, как обычно, устроился возле Мазифы — улегся на курпачу, а локти поставил ей на колени, подперев ладонью подбородок, приготовился узнать такое, что еще не доводилось слышать даже всаднику.

— Эй, жеребятки мои, — вдруг обратилась мама ко мне и Камалу, — у меня есть одно условие. Если не согласитесь с ним, я не расскажу сказку.

— Какое условие? — спросила Мазифа.

— Условие такое. Когда кончится сказка, не станете просить кукурузную лепешку, — ответила мама, — ляжете и будете спать. Вообще после сказки ничего нельзя спрашивать.

— Почему? — вновь спросила Мазифа.

— Если будете просить кукурузную лепешку, то вам принятся дивы из сказки, напугают, потом от страха губы обметает.

Сказав так, мама рассмеялась — она поняла, что проговорилась. Но мы так любили ее рассказы, что нам сейчас было совершенно неважно, почему именно она припомнила сегодня сказку.

— Было ль, не было ль, — начала мама, и голос ее звучал глухо и таинственно, и мы тут же забыли про плетеную корзину, висящую у нас над головой. — В давние времена на западе ли, на востоке ли стояла гора Каф. Гора была настолько высокой, что ее можно было видеть с любого конца земли. А у подножия горы Каф раскинулся райский сад.

Мама, замолчав на мгновение, обвела всех нас вопрошающим взглядом, дескать, ну как — интересно? А может, просто обдумывала, как бы позанимательнее рассказать сказку, чтобы вытряхнуть из нас окончательно эти неотступные мысли о хлебе!

— В райском краю солнце катится, но не садится, —

наконец продолжила мама тихо и задумчиво.— Родники там, похожие на глаза филина, кипят и булькают. Если старый человек утолит жажду из кипящего родника — помолодеет. Цветы вокруг родников столь благоуханны, что от аромата их захмелеть можно. Деревья звенят изумрудной листвой, и под каждым из них — дастархан...— Тут мама испуганно прикрыла рот рукой, но, убедившись, что мы не заметили ее оплошности, продолжала: — Пруды под горой Каф полны золотых рыбок, и у птиц райских — золотые крылья. И вот в таком лучезарном саду живут девушки-пери. Сорок девушек одного возраста, одного роста. И платья их под цвет рыбок и птиц отливают золотом.

— А что, у них не бывает ситцевых платьев? — спросила вдруг Саифа.

— Ситцевые платья положено носить таким, как ты, кишлячным девчонкам, а пери — создания небесные, — рассмеелась мама, но тут же вновь голос ее зазвучал глухо и таинственно: — Длинные золотые волосы девушек струятся по земле. Человек, увидевший пери, лишился чувств от восхищения. Сидят сорок девушек на мраморных ступенях у прудов, переливающихся всеми цветами радуги, и поют райскими голосами. Но только песни их полны тоски и печали, и даже павлины, внимающие волшебным звукам песен, преисполняются печали. «Прекрасен райский сад, но жизнь в нем подобна аду. Разве можно быть счастливым... в неволе?» — так поют юные пери.

— Как, разве и там, в раю, может быть неволя? — спрашивает нетерпеливая Саифа.

— Может, когда райские кущи захватывают дивы, — отвечает мама и недовольно глядит на Саифу, то и дело перебивающую ее. — Замолкает песня пери, и удаляются они, звеня чуть слышно браслетами, в чертоги, которые день и ночь стерегут дивы. Отвратительны захватчики — головы их, точно арбы, руки подобны бревнам, а глаза полыхают как тандыры. Даже мечтать о свободе запрещено бедным девушкам, и само небо не в силах помочь им и оплакивает их участь. Когда дивы вопят, в небе гремит гром, сверкает молния, падают острые камни. Пери, боясь злобы дивов, прячут свою печаль глубоко в сердце. И ждут. Ждут прихода батыра, который освободит их.

Когда мама кончила сказку, головы наши были опущены, а глаза полны слез.

— А можно добраться до горы Каф? — спросила Саифа шепотом.

Мама секунду помешкала и вместо ответа спросила с интересом:

— Ну а если бы достигла горы Каф, что бы ты сделала, доченька?

— Надоел мне Артыкбай-вор, и серп я устала держать в руках,— жалобно проговорила Саифа,— если бы только было можно, ушла бы к пери, купалась в золотых прудах, обсыхала на мраморных ступенях.

— Глупая,— рассердилась мама,— что значит устала держать серп! Надо! Время такое.— Но, видя, как крупные слезы покатались по лицу Саифы, она подумала, видно, что дочь ее еще совсем девочка, ей бы в мирное время в куклы играть да сказки слушать, а она уже работает наравне со взрослыми. Мама улыбнулась, погладила Саифу по голове и шутливо сказала: — Да разве пери примут тебя в твоём ситцевом платье и тупоносых галошах? И потом, в райском саду... там ведь только поют и наслаждаются музыкой, но никогда не едят. А ты? Ты же сразу набросишься на фрукты, я тебя знаю. Ну и выгонят тебя из райского сада, как Адама и Еву.

— Ничего не трону, ничего,— сказала Саифа горячо, и на глазах у нее заблестели слезы.— Мне бы только попасть туда.

— А мне в райский сад совсем не хочется,— вдруг подала голос тихоня Мазифа.— Ведь там дивы, а разве дадут они сорвать хоть одно яблоко?

Мама громко расхохоталась, старшие сестры сначала с недоумением уставились на нее, а затем тоже рассмеялись.

Нет, сказка не смогла увести нас далеко от главной темы — как хорошо было бы по-настоящему, вкусно поесть. И только я был все еще там, у подножия горы Каф.

Что значит корзина с двумя кукурузными лепешками, если можно, превратившись в золотого мальчика, играть среди пери, слушать их волшебные голоса, гладить их шелковые, отливающие золотом волосы.

— Анварбай! О Анварбай! — позвал меня нежный голос, и я не сразу понял, что это голос мамы.— Вижу по твоим глазам, тебе понравилась сказка.

— Когда вырасту, обязательно куплю себе кинжал,— сказал я не то маме, не то прекрасным пери, что никак не хотели меня отпустить,— и убью дивов, всех до одного.

Мама с улыбкой и в то же время как-то серьезно посмотрела на меня. Затем, притянув к себе, поцеловала в глаза.

— Милый мой сынок,— сказала она, поглаживая мои волосы,— лоб у тебя широкий, когда вырастешь, будешь стоять во главе какого-нибудь большого дела. Верю, когда станешь батыром, всегда будешь сражаться с дивами,— она опять рассмеялась и закончила: — Ну и женишься, конечно, на самой прекрасной пери...

— Не нужна, не нужна она мне,— пробурчал я,— ни за что не женюсь.

— Ладно, ладно, там видно будет,— успокоила меня мама.

Давно опустилась ночь на наш маленький дворик, даже сверчки, кажется, уже устали стрекотать. Мама и сестры лежали, отвернувшись друг от друга. Они спали. Неужели им не хотелось поговорить? О чем? Не знаю. Обо всем. О райском саде. Я легко и свободно оторвался от того, что меня окружало,— овчинной кошмы, колченогой хонтахты, щербатого чайника в нише, и устремился туда, где в водоемах плавали золотые рыбки, где дурманяше пахли травы и цветы. И где все-таки не было счастья, радости! Но ведь мама говорила, что без радости жить нельзя. Значит... значит, надо во что бы то ни стало убить дивов. Но тут я услышал грохот и грома небесные — дивы, все с головами такими, как у Артыкбая-вора, размахивали огненными мечами, угрожая испепелить всякого, кто осмелится поднять на них руку. Пери сбились в одну тревожную стайку и не знали, что делать. Но вот они протянули руки ко мне — Анварджан, спаситель! Голоса их шелестели, как лепестки раскрывающихся цветов. «Анварджан! Вставай, возьми в руки кинжал и освободи нас от когтей дивов, спаси от вечного плена!» Эти нежные молящие руки сейчас коснутся меня, сейчас... и мое сердце начинало учащенно биться, я даже боялся, что его стук услышат дивы, и натягивал на голову одеяло. Но нет, прятаться было нельзя, надо было спасать пери, и я снова сбрасывал одеяло и решал: если спасу сейчас пери, то куда же мне их вести? Сюда, в наш маленький дворик? А что, если они узнают, что и у нас, на земле, идет война? Что и здесь есть дивы, которых надо убивать?!

— Бей фашистов! Ура! — закричал я во все горло.

Мама оторвала голову от подушки, тревожно спросила:

— Анварджан, мальчик, ты звал меня?

Я ничего не ответил. Я принимал благодарность прекрасных пери и плакал. Отчего? Не знаю. Может, оттого, что впервые мать-природа коснулась меня своим крылом и увела в самую прекрасную страну, страну воображения.

Много сказок слышал я и потом, но эта впервые заставила работать мое воображение, досказывать эту сказку, расцвечивать ее своими мечтами. Я плакал, наверное, оттого, что смутно ощущал: я могу восхищаться прекрасным. Я могу это прекрасное и сам творить в своем воображении.

Потом, позже, мое воображение то помогало мне, то подводило меня. Но всякий раз я думал о той, которая пробудила во мне эту способность. О маме.

Ведь тогда, рассказывая нам историю порабощения пери, мама не просто хотела отвлечь нас от убогой нашей, голодной жизни, она хотела преподать нам урок того, как надо поступать с врагами.

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ

Сестра Магрифа была первенцем в семье, а я после смерти Эркина стал младшим из детей. Магрифа очень походила на маму — только разве чуть выше была и помолодому крепче. Такой же была она и впечатлительной. Шестнадцати лет вышла она замуж за парня по имени Зиятбай, это случилось еще до моего рождения. Первые ее дети Юлдуз, ровесница Мазифы, и Юльчи, мой ровесник, умерли от кори.

Когда Зиятбай-ака ушел на фронт, Магрифа, покинув дом свекра, вернулась под мамино крыло. Говорили, что зять ушел на фронт добровольцем. Я много раз видел Зиятбая-ака, однако в моей памяти не сохранились ни облик его, ни какие-либо поступки. Мама и сестры часто вспоминали его, и в этих воспоминаниях он представлял настоящим батыром, и казался мне порой Алпамышем, ушедшим, чтобы поразить всех врагов.

Как и сестра Магрифа, я с нетерпением ждал возвращения Зиятбая — нашего героя. Вот почему в памяти моей детской так ярко запечатлелся тот осенний день, когда я услышал радостный крик в нашем дворе: «Зиятбай вернулся!» Стояла поздняя осень, кишлак опустел, словно люди покинули его, с деревьев опадали последние листья, воробьи, склонив набок голову, невесело чирикали, нахотлившись на выступах крыш.

Вечер был как вечер. Мама постирала белье. Магрифа сварила просяную кашу. Мы поели, спать еще было рано, и мама и сестры, облокотившись на подушки, принялись за свою обычную беседу — когда кончится война, когда отец и зять Зиятбай вернутся с фронта. Камал спал, положив голову на колени Магрифы, меня тоже охватила дрема. Откуда-то, уже издалека, доносились до меня голоса. Но вдруг голоса эти стали громкими, взволнованными — что-то происходило вокруг меня, но сил поднять голову и узнать, в чем дело, уже не было.

И вдруг кто-то наступил мне на ногу. Я вскинулся от боли, но все еще не мог понять — где я, что со мной.

Наконец шум во дворе окончательно привел меня в чувство, я отбросил одеяло, которым меня уже успели укрыть, и подошел к двери айвана.

Мне представилась странная картина. Мама и старшие сестры как-то совершенно бессмысленно сновали по двору, они хватались то за самовар, то тащили котел к очагу и вдруг бросали его на полдороге, то принимались рассматривать дастархан, громко крича при этом, что для такого случая подобный дастархан не годится. Если им попадал под ноги проснувшийся и крутившийся тут же Камал, они шлепали его и требовали, чтобы он им не мешал, не связывал руки. Такого смятения еще не бывало в нашем доме. Я стоял в дверях, не решаясь спуститься во двор, странное чувство охватило меня — мне казалось, что вот-вот что-то должно произойти, случиться. Но что?! Горе, радость? Каких событий ждать?! Я вновь побрел к своей постели, чтобы обдумать все хорошенько, и в это время на айван стремительно вошла Магрифа, приказала:

— Саифа! Веди детей в большую комнату.

Саифа кинулась за Камалом, бросив на бегу:

— Мазифа, веди Анвара, зять приехал.

Мазифа, все еще лежавшая в постели, вскочила так, словно давно ждала именно этой вести, и, крепко сжав мою руку, поволокла за собой.

Большая комната была ярко освещена — фитиль в лампе выкрутили до отказа. Окно было распахнуто настежь, и от свежего вечернего ветерка пламя колебалось, и чудилось, что по комнате ходят волны. Я стоял и ждал появления человека, о котором в нашем доме говорили — герой фронта. Герой! Как же он выглядит? Наверное, такой же здоровый и краснощекий, как батыр из сказки, которого я видел на картинках.

Но вот в дверях показался человек высокого роста, худой, с серым, усталым лицом, сутулившийся так, словно на плечах его была непомерная ноша. Так вот он, наш зять Зиятбай. Непохож на палвана с картинок, но все равно — он герой, ведь он, говорила Магрифа, проливал кровь. А я знал, что такое кровь — попробуй-ка порежь палец! Я во все глаза глядел на героя Зиятбая-ака, а тот прижал к своей груди сына Камала и целовал его, целовал, точно безумный. Я даже испугался — не съест ли он его от радости, и подошел к маме, чтобы сказать ей это, но мама и Магрифа не слышали меня, они плакали и старались не показывать этих слез Зиятбая-ака.

Вдруг я почувствовал, что ноги мои отрываются от земли, — Зиятбай-ака поднял меня высоко вверх, поцеловал в лоб и сказал:

— Молодец, сынок!

Не знаю почему, но в душе моей все растаяло от этой простой ласки и этих простых слов. Может, потому, что исходили они от человека, которого я не раз воображал и который вместе с моим отцом участвовал во всех историях, которые я рассказывал сам себе, прежде чем уснуть!

Зиятбай-ака здоровался со всеми по очереди, обнимался, а я уже не отходил от него, и, как только руки его освобождались от объятий, я крепко брал его за руку. За дастарханом я уселся рядом с зятем Зиятбаем и восторженно смотрел ему в рот. Мама и сестры, тоже будто опьяненные радостью и счастьем, молчали, затруднялись выразить свои чувства. По-моему, в этот момент им было легче взлететь птицей, чем найти те слова, которых достоин был Зиятбай-ака.

Саифа в нашей семье была озорницей и непоседой. И сейчас она оказалась самой решительной.

— Зять! — осмелилась она выразить давно копившуюся в душе нежность. — Мы вас так ждали! Вы насовсем вернулись? Война кончилась?

И тут Магрифу словно прорвало.

— Слава богу! Слава богу! — твердила она, прижимая к себе Камала. — Привелось тебе, сынок, увидеть отца!

И она так же страстно, как только что это делал отец, стала целовать сына.

Камалу, видно, передалось состояние матери, он вдруг кинулся на шею Зиятбая-ака и закричал:

— Мой папочка хороший, он лучше всех!

И тут я увидел на глазах человека, который проливал

кровь, слезы. Но разве могут плакать герои? Почему они плачут — ведь так все здорово, так хорошо?!

— Сынок,— теперь мама нарушила молчание,— так вы вернулись совсем?

Зиятбай опустил голову и долго не отвечал, словно собирался с мыслями. Я видел, как вся напряглась при этом Магрифа,— от ответа мужа зависело ее счастье, ее жизнь.

— Я долго провалялся в госпитале,— сказал наконец Зиятбай-ака.— Лишился двух ребер!

— Ах, эта проклятая пуля! — воскликнула мама.— Лучше бы она убила врага.

— Пуля разве разбирается, где свой, где чужой. Вот покалечило меня малость. Из госпиталя отпустили долечиваться дома, сказали — климат там у вас благодатный.

— Слава богу,— вдруг перебила зятя Зиятбая мама,— господь уберет вас от смерти, пожалел сына, жену вашу.— Она обернулась к Магрифе.— Надо что-нибудь пожертвовать за его спасение. Дай нищему милостыню.

— Непременно дам,— радостно кивнула Магрифа,— обязательно дам.

Воцарилась тишина. По-видимому, теперь зять Зиятбай должен был рассказать о пережитом, а мама и сестры вдоволь послушать его. Камал заснул на руках отца. Я же собирался не пропустить ни слова из того, что скажет Зиятбай-ака. Но меня почему-то покачивало, видно, дрема уже приняла меня в свою колыбель, и вскоре я вместе с зятем Зиятбаем шел в бой бить фашистов, а мама и сестры ждали нашего с ним возвращения.

Утром я проснулся на своем обычном месте на айване, вскочил и побежал к маленькой комнате — там должен был спать Зиятбай-ака. Дверь в комнату была приоткрыта, и я увидел, как сестра Магрифа осторожно снимает с сидящего на постели Зиятбая-ака рубашку, затем она убрала бинты.

При виде открывшейся картины, я задрожал, у меня даже низ живота похолодел, слишком все это было болезненно. Рана на левой части груди Зиятбая-ака была темно-красной, какой-то дымящейся, из раны по груди стекал гной.

Магрифа легонько прикоснулась к ране, и Зиятбай-ака вскрикнул.

Я невольно схватился за грудь, словно меня полоснули ножом. Затошнило. Я зашел в большую комнату и бросился на курпачу. Если мне больно смотреть на эту рану, то

как же переносит ее Зиятбай-ака?! Теперь мне стало понятно, как проливал кровь наш зять, она текла у него вот из этой страшной раны. И я сквозь тошноту, душившую меня, выкрикнул слова, часто повторяемые мамой: «Будь ты проклята, война!»

В эту осень печальный шорох листьев был похож на мои тревоги, а кружение первых снежинок — на мои надежды. Я ждал возвращения отца.

РОДИНА

Дом наш с возвращением Зиятбая-ака обрел прежний смысл. И мама, и особенно Магрифа ходили с посветлевшими лицами. Магрифа предупреждала каждое желание Зиятбая-ака, вечером готова была часами смотреть ему в рот и слушать до утра.

А Зиятбай-ака день ото дня становился другим. Исчезла сутулость, серый цвет лица, глаза стали ясными. Но вот радости на его лице я не видел, хотя и слышал то мамини, то сестры Магрифы восклицания: «Слава богу, он поправился!»

И правда, как-то я забежал вслед за Камалом в маленькую комнату и опять увидел Зиятбая-ака без рубашки. На месте красной воспаленной раны был четкий ярко-розовый рубец. Рана закрылась — и зарубцевалась. Улыбающаяся Магрифа осторожно проводила кончиками пальцев по ране — она сделала все возможное и спасла Зиятбая-ака от боли и мук.

Он, мы знали, долго добирался из госпиталя домой, в дороге не уберегся, застудил еще не совсем зажившую рану и приехал в кишлак больным и растерянным: ему не хотелось быть обузой для семьи. Магрифа взялась сама лечить своего мужа. Она обошла не только наш кишлак, но и соседние — собирала голубиный помет, рвала возле родника за Кызылсаем мяту. Мама растирала в ступе мяту и голубиный помет. Затем добавляли туда жженный лук и приготавливали мазь. Промывали рану настойкой на травах и накладывали мазь. И вот настал день, когда Зиятбай-ака назвал мою старшую сестру спасительницей.

— Я бы не успокоилась, пока не вылечила вас, — Магрифа прижалась к Зиятбаю. — И знаете, Камал!... — Когда

¹ В узбекской семье жена обращается к мужу, называя его именем старшего сына.

молила бога избавить вас от мук, думала вот о нем.— И она показала на бегящего беспечно сына.

Зиятбай-ака выздоровел, и разговоры в доме пошли иные. Магрифа то и дело заводила речь о работе.

— Теперь вместе будем ходить в поле, станете бригадиром,— она с надеждой смотрела в глаза Зиятбаю-ака.

— У вас есть бригадир,— отшучивался Зиятбай-ака.

— Это кто бригадир? Артыкбай-вор? Бездельник он, а не бригадир,— злилась Магрифа.

Но странно, Зиятбай-ака не спешил успокоить Магрифу. Не спешил на работу. А вскоре и вовсе удивил меня.

Однажды утром, когда мама готовила завтрак, а я, проснувшись, все еще, ленясь вставать, лежал на курпаче, в комнату вошел зять Зиятбай. Он присел у хонтахты и вздохнул.

— Что, зять, проголодались?

Мама накрыла хонтахту дастарханом и показала Зиятбаю-ака на почетное место.

Но Зиятбай-ака покачал головой и опять вздохнул. Мама посмотрела внимательно на зятя и, видимо, догадалась, что тот хочет поговорить о чем-то важном.

— А ну, Анвар, вставай-ка, иди на улицу, поиграй,— мама легонько шлепнула меня по мягкому месту.

— Не пойду,— сказал я, вскочил и прижался к Зиятбаю-ака. Он понял, что я жду его поддержки, и прижал к себе.

Мама махнула на меня рукой и вопросительно посмотрела на зятя.

А герой войны все молчал, и я подумал, что он чего-то боится. Я дернул его за рукав, дескать, я с тобой, можешь рассчитывать на мою поддержку.

И тогда он тихо сказал:

— Мама, вы, только вы поймете меня. Не говорите пока ничего Магрифе, но я должен вернуться туда! — Он не произнес слова — «война», но мы его ясно услышали. Туда — на войну!

Мама замахала руками.

— Что ты, что ты, сынок! И слышать не хотим об этом!

— Я должен,— тихо, но так убежденно, что у меня мороз пошел по коже, повторил зять.

Ноги, видно, не держали маму, она опустилась на курпачу и молча уставилась на Зиятбая-ака. «Сыночек! Я не могу понять, почему вы должны вернуться туда, где течет кровь. И не хочу понимать. Если дочь останется вдовой,

а внук без отца, можно ли будет это понять?» — говорил ее взгляд. Я повернулся к зятю Зиятбаю, заглянул ему в лицо — оно выражало решительность и растерянность одновременно. Его глаза словно отвечали на немой вопрос мамы: «Что же делать, у меня нет другого выхода, матушка! Сначала надо уничтожить врага. Пока враг топчет нашу землю, не можем мы быть счастливы».

— Я-то пойму, — сказала наконец мама жалобно. — Магрифе трудно объяснить. Вы посмотрите, как она сияет, точно луна полная. И во сне, и наяву от счастья смеется. Как же убить ее радость?!

— Мамочка, — Зиятбай-ака от волнения так сжал мое плечо, что я чуть не вскрикнул, — скроем от Магрифы. Если узнает потом, ничего уж не сможет сделать. Скажете, что я поехал в район для оформления документов.

Мама сидела, покачивая головой, словно бы кивая своим горьким мыслям.

— Анвар, — обратилась она ко мне, — позови Магрифу.

Зять Зиятбай, опередив меня, ушел в маленькую комнату. Видимо, у него не хватило мужества глядеть в глаза Магрифе.

Когда Магрифа зашла в дом, мама спокойно сказала:

— Постирай одежду мужа, он собирается съездить в район, чтобы оформить документы. Пусть скорее оформляет, пора уже и к работе приступить. — Мама сразу залилась краской, она не умела лгать.

— В район оформлять документы? — переспросила Магрифа, и взгляд ее стал настороженным.

— Да, в район, — подтвердила мама, пряча глаза.

Магрифа, однако, слишком хорошо знала маму, чтобы не понять, что та от нее пытается что-то скрыть. Но и на расспросы не решалась — уж лучше тревожные предчувствия, лучше сомнения, а с ними и хоть какая-то надежда. Чем правда. Ведь правда сейчас может быть только жестокой. Так, может, лучше не знать ее.

На другой день с самого утра зять Зиятбай начал готовиться в дорогу. Магрифа с немим вопросом в глазах наблюдала за мужем. Он старался держаться свободно, пытался шутить, но невольно то взглядом, то жестом выдавал себя. Когда он взял на руки Камала, на глаза его навернулись слезы. Магрифа подскочила к Зиятбаю-ака, отобрала сына и нервно спросила:

— Вы что, прощаетесь с сыном?!

Мама вышла во двор и взяла в руки венник — чтобы

хоть как-то отвлечься, не видеть того, что происходит с ее детьми.

Магрифа, не получив ответа от мужа, выскочила следом за мамой.

В ней, видно, боролись два чувства — желание узнать то, что от нее скрывают, и страх, боязнь услышать весть, что Зиятбай-ака нас вновь покидает.

— Вы что-то от меня скрываете, мама,— в голосе ее была мольба.— Скажите, скажите, зять ваш уезжает?

— В район... В район,— прошептала мама, опуская глаза. Не смогла произнести — «уезжает на фронт».

Магрифа обошла всех нас по очереди, требуя одного — чтобы сказали правду.

— Магри...— сказал зять Зиятбай, и у него перехватило дыхание.— Я отдохнул, поправился. Ты вылечила! Дай бог тебе здоровья! А теперь я должен уехать. Пойми — ради тебя, ради сына, ради всех вас. Я здоров, я мужчина, и мое место там, на фронте. Я должен защищать Родину.

Магрифа вдруг рассмеялась, и мне стало жутко от ее смеха.

— Так, выходит, я сама все дело испортила, слишком быстро вылечила вас? Для чего? Чтобы снова ранили вас, убили?!

В таком состоянии прежде я не видел свою старшую сестру. Всегда ласковая, тихая, сейчас она напоминала разъяренного дива. Она подскочила к Саифе и начала ее трясти, точно яблоню.

— Рыжая ведьма, ты знала и помалкивала?

— Почему ругаешь меня? — Саифа хотела обнять сестру, но та вырвалась и в следующую минуту схватила за руку меня.

— А ты, сопливый? Тоже с ними заодно?!

Магрифа металась от одного к другому так, словно в нее вселился шайтан.

— Магрифа, успокойся, доченька,— стала уговаривать, умолять ее мама.— У других тоже мужья на фронте. Пока не кончится война, ни тебе ни нам не будет покоя. Говорят, война скоро кончится. Дождемся зятя нашего.

Но Магрифа, похоже, ничего не слышала.

Бормоча проклятья, она принялась что-то искать и наконец подняла топор, что лежал возле кухни. «Вот теперь, наверно, всех нас зарубит», — ударила мне в голову мысль, и я в отчаянье приник к маме. Саифа и Мазифа отскочили

к калитке. Но Магрифа направилась прямо к зятю Зиятбаю.

— Зарублю! — закричала она пронзительно. — Вы слышите? Зарублю, но не отпущу. Думала, вместе в поле будем ходить, думала, отец у Камала будет!

Зиятбай-ака схватил Магрифу за руку, отбросил в сторону топор и обнял ее дрожащую, разом поникшую, рыдающую.

Я не знал, что и думать. Неужели горе может лишить человека разума? Ведь у Магрифы глаза действительно горели, как у дива!

Тем временем пришли соседи.

— Что случилось, кто кричал? — испуганно спрашивали они.

— Ничего не случилось, Зиятбай уезжает, — только и ответила мама, и соседи понесли эту горькую весть по кишлаку.

Зять Зиятбай собрал вещмешок, закинул его за спину, и мы пошли его провожать. Возле колхозной конторы стояла машина, возившая в район пшеницу, шофер согласился подбросить Зиятбая-ака. Когда машина тронулась, улицу огласил вопль Магрифы:

— Зиятбай-ака, возвращайтесь!

И было в этом нечеловеческом крике предчувствие — не вернется он никогда.

А я смотрел на пыльную дорогу, уносившую зятя, и думал о том, что такое Родина. Ведь Зиятбай-ака сказал: должен защищать нас, наш дом, Родину!

НОВАЯ СЕСТРА

На наших саманных крышах уже зеленела пригретая весенним солнцем нежная травка, но за домами, в тени, снег еще не успел растаять. И странное чувство охватывало при виде этой картины — зелень травы и серый, увядающий снег.

Из района принесли в кишлак слух, что войне скоро конец. Соседи, веря и не веря этому слуху, в ожидании новых вестей заглядывали друг другу в рот. Старики и старухи днями просиживали возле калиток.

Пахло весной и ожидаемой радостью.

Помню, день был теплый, но дождливый. С поля работники вернулись раньше обычного. Но маме не сиделось дома, новые слухи пошли по кишлаку — о детях-сиротах,

и она поспешила в колхозную контору, узнать что к чему. Вернулась скоро — задумчивая и в то же время взволнованная.

Магрифа подметала двор, мы бегали тут же. Мама громко, так, чтобы слышала Магрифа, сказала:

— В Паркент привезли детей, потерявших родителей, к нам в кишлак тоже собираются прислать, — и села на ступеньку айвана.

Магрифа, видимо, не поняла маминого намерения — узнать, согласна ли ее семья взять на воспитание какого-нибудь ребенка.

Она даже интереса никакого не проявила, продолжая махать веником.

— Бедные дети, — зашла мама с другой стороны, — не изведав сполна родительской ласки, в чьи руки попадут они? И разве сможет кто-нибудь заменить им отца с матерью?

Я с волнением прислушался к маминым словам, мне показалось, что она что-то задумала.

Не прошло и нескольких дней, как слух действительно подтвердился. В кишлак привезли детей-сирот. Как-то утром мама ушла в колхозную контору, а ближе к обеду вернулась, ведя за руку рыжую девочку лет десяти. Ростом девочка была чуть выше Мазифы, лицо в веснушках, а глаза голубые-голубые. Но больше всего нас поразили ее волосы — рыжие, коротко остриженные. Нам никогда не приходилось видеть таких волос — в кишлаке все девочки были с косами.

Незнакомка стояла посреди двора и смотрела на нас отчужденно. Мы окружили ее, не скрывая любопытства, и тогда она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какая-то невеселая, а в глазах появились слезы. Эта девочка пришла в наш дом с надеждой, и взгляд ее будто спрашивал нас: ну как, могу я быть вам сестрой?

Саифа осторожно приблизилась к девочке и погладила ее пушистые рыжие волосы. Девочка улыбнулась уже более доверчиво, и тогда Магрифа отважилась прижать ее к груди.

Наблюдавшая за нами мама облегченно вздохнула. Она положила руку на плечо девочке и стала знакомить ее с нами.

— Это твоя сестра Магрифа, это Саифа, вот сестренка Мазифа. Этот головастый — твой братишка Анвар, а этот сопливый — племянник Камал.

Девочка внимательно следила за маминым пальцем, указывавшим на нас. Глаза ее опять наполнились слезами, и она, глотая их, проговорила:

— А меня зовут Санния! — и расплакалась.

— Ну хватит, хватит.— Мама, прижала голову девочки к груди, погладила по лицу, поцеловала в глаза.— Теперь ты — наша.

— Как, как тебя зовут, Санния? — переспросила Саифа и вдруг рассмеялась: — Да это же похоже на Саифу.

— Похоже,— согласилась Магрифа,— да только трудновато произносить — Санния!

— Действительно, трудно,— сказала и мама.— Я дам тебе узбекское имя. Не обижайся, ладно? Ведь теперь ты стала моей дочерью. Какое же тебе дать имя, а? Назовем-ка тебя Рихси¹!

Это имя нам всем понравилось.

— Рихси-апа,— произнес я нараспев и, чтобы показать, что мне понравились и имя, и сама девочка, так же, как и Саифа, погладил необыкновенные рыжие волосы.

Девочка радостно повернулась ко мне, и мне показалось, что она хочет меня поцеловать, но мамин голос отвлек ее, и мой порыв остался незамеченным.

— Рихси, доченька,— сказала мама,— ты, наверное, проголодалась, а ну пойдем в дом, сестры, братишки твои сыты, только что ели хлеб. А теперь и ты поешь.

«Только что ели. А не перепутала ли что-то мама?» Да у нас при одном этом слове «хлеб» потекли слюнки. Мама повела Рихси в дом и, усадив на курпачу, достала из плетеной корзины кукурузную лепешку, отломил большой кусок и протянула девочке. Рихси погладила пальцами края и жадно откусила. Мы вновь окружили девочку, только теперь смотрели не на нее, а на лепешку.

Маленький Камал не выдержал и жалобно попросил:

— И мне, мне тоже...

— На,— сказала Рихси и протянула оставшуюся часть лепешки.

Камал поспешно выхватил кусок из рук девочки.

— Эй, так нехорошо,— сказала мама и ласково шлепнула Камала.— Рихси пока гостя. Приехала издалека, проголодалась, пусть сама ест. А тебе я дам другую лепешку.

¹ Рихси — судьба, доля.

— Не надо другую, я эту хочу,— заупрямился Камал и сунул поскорее лепешку в рот.

Мама вздохнула и достала другую часть лепешки, и опять мы внимательно следили за тем, как девочка ест.

Рихси сидела на почетном месте, поджав ноги, как принцесса из сказки, да и кусок лепешки у нее в руках был просто сказочным.

Рихси поела и сидела теперь, улыбаясь и разглядывая нас всех по очереди. Мама вышла из комнаты, и мы почувствовали себя как-то неловко, не знали, что говорить, что делать с новой нашей сестрой. И опять Саифа оказалась самой догадливой — она достала из коробки, стоявшей в нише, разных кукол, сделанных из тоненьких палочек и разложила перед гостьей. Рихси, взяв в руки одну из кукол, сморщила нос и сказала:

— Похожа на кишлячных девчонок, в детдоме нам давали красивых кукол.

— Что ты сказала? — спросила удивленно Саифа. — «Детум»? Кто это?

— Ой, вот это да? — пришла очередь удивиться Рихси. — Не детум, а детдом. И детдом не человек.

— А что же тогда? — вновь спросила Саифа.

— Дом, где живут сироты, — ответила Рихси.

Магрифа засмеялась над промахом Саифы, а та смутилась и пробормотала:

— Да знала я, просто шутя так сказала.

В этот день на ужин сварили просяную похлебку. Первой налили Рихси, и мы, младшие, следили за тем, как ест городская девочка — как черпает ложкой из касы, как подносит ко рту, все в ней казалось необычным, мы как будто ждали от нее чего-то сверхъестественного. Но нет, вроде бы все, как у нас, и ложкой так же точно черпает. Она такая же, как мы, и это нас успокоило, даже захотелось как-то дать ей понять, что мы окончательно принимаем ее в свое сердце. Не зная, как иначе это сделать, мы каждый дали ей из своей касы по ложке просяной похлебки.

Когда дастархан убрали, мама зажгла лампу, усадила девочку рядом с собой и ласково спросила:

— Доченька, тебе понравились сестры, братишки?

Девочка молча кивнула и обвела всех благодарным взглядом.

Довольная мама продолжала расспросы:

— Рихси, а где же ты жила раньше?

Рихси сразу вся как-то сжалась, глаза ее стали серьез-

ными, как у взрослой. Она молчала, то ли не зная, что сказать, то ли не решаясь это сделать.

— Рихси, не бойся нас, расскажи,— поддержала маму Магрифа.

— В детдоме,—с трудом выговорила девочка.

— Доченька, милая, а где же ты родилась, где жила до детдома? Нам хочется знать, ведь ты нам теперь не чужая.

— В Крыму,—ответила Рихси и умолкла, а в следующее мгновение она бросилась маме на грудь и зарыдала.

На глазах мамы тоже показались слезы, она нежно прижала к себе девочку и стала гладить ее по голове, по спине.

С тех пор никто из нас не спрашивал Рихси, откуда она приехала. Мама объяснила нам, что девочка перенесла большое горе и не в силах о нем вспоминать.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛЕ

Каждый год прихода весны я ждал так же, как возвращения с фронта отца и зятя Зиятбая,—с нетерпением и трепетом. Цепляясь за мамины руки, хватаясь за подол, просил взять меня в поле. Мне казалось, что где-то там, в «далеком» поле, так же таинственно и сказочно, как в райском саду. Мама не поддавалась на мои мольбы, говорила, что сыро еще в поле, грязно, то пугала каракуртом, то солнечным ударом. И чем больше мне отказывали в этом путешествии, тем сильнее я жаждал там побывать. «Мал еще»,—как-то сказала Магрифа, и я молча переживал эту обиду.

И вот опять ласточки на стремительных крыльях принесли в наш двор весну. И опять вспыхнуло во мне желание отправиться в поле. Когда вечером я вцепился маме в подол, она улыбнулась, сразу догадавшись, о чем собираюсь ее просить.

— Ладно,—согласилась она.—Завтра пойдешь с нами.

Я взбрыкнул, точно жеребенок, и с громким криком пронесся по двору. Завтра! Завтра наконец-то я увижу поле, куда ходит работать весь наш кишлак. А ночью мне приснилось, будто лежит передо мной зеленое поле, а там холмы и ложбины, которые надо облазить, долгогривые кони, с которыми надо поиграть. Но главное—надо помочь маме. Я отбираю у согбенной мамы, на лице которой высту-

пил пот, кетмень и вскапываю землю. И нет ничего прекраснее этого занятия...

После утреннего чая мама спросила меня:

— Ну как, Анварджан, пойдешь набивать первые мозоли?!

Я кивнул, некогда было долго разговаривать, по улице народ уже шел на работу. Мама и сестры вскинули на плечи кетмени и вышли за калитку; едва успев накинуть старенький засаленный халат, прямо босиком, я бросился за ними. И удивился — то из одного, то из другого двора выскакивали мальчишки. Первым я увидел своего двоюродного брата Миравлода — любителя подражаться по поводу и без повода, вскоре к нам присоединился Исамигдин — наш дальний родственник по отцу, затем к нам подсочили Абдурасул-худой и, от незначительной шутки смеявшийся до упаду, от незначительного толчка обижавшийся, — Турдибай. Турдибай был моим ровесником и жил недалеко, поэтому ему больше, чем другим, яверял свои тайны. Мы, встретившись, обнялись и так в обнимку и отправились впервые в поле. Мальчишки постарше глядели на нашу с Турдибаем радость снисходительно. Но от этого радость не становилась меньше.

Наши крики разносились над кишлаком, над весенними просторами, и даже птицы приумолкли, прислушиваясь к нашим голосам. Увидев сай, мы наперегонки устремились к нему и замерли — речушка была хоть и мелкая, но очень бурная из-за весеннего паводка. Мы видели, как сильный поток ташил и перекатывал камни. Над речушкой голубой дымкой стоял туман.

Пока все взрослые не собрались на берегу, мы успели набегаться по изумрудной траве, обжигая босые ноги утренней росой. Но вот началась переправа — женщины подняли платья выше колен, закатали детям штанины и, взяв крепко за руки мальчишек помладше, вошли в воду. Я смотрел не столько на несущуюся куда-то воду, сколько на маму — но нет, ее лицо оставалось спокойным: значит, нас не снесет.

За речкой мы пошли уже не главной утрамбованной дорогой, а широкой тропой. Земля на ней была разбухшей от дождя, босые ноги то и дело разъезжались и скользили. Но зато как здорово было вокруг, трава такая зеленая и пушистая, что хотелось броситься на нее и валяться. Но здесь росло много подснежников, и мы боялись повредить их. Я сорвал первый свой подснежник и долго

рассматривал его хрупкую красоту, пытаюсь понять, почему люди при слове «подснежник» улыбаются. Я поспешил к маме, протянул ей один-единственный цветок и увидел, как засветились ее глаза, какой нежной стала улыбка.

— Мальчик мой,— сказала она,— пусть душа твоя всегда будет такой прекрасной, как этот подснежник.

Наконец-то показалось поле, где шли весенние работы. Надо было перейти по мостку через довольно глубокий арык, чтобы оказаться там, на черной, ждущей зерен земле.

Взрослые приступили к работе, а мы, облазив сначала камыши, что росли на берегу арыка, побежали к высокому холму, Чарлаку, тому самому, что был виден из окна нашего дома, именно холмом Чарлак любовался я в зимние долгие вечера, лежа у сандала! И вот он, рядом, как же не вскарабкаться на него, не подняться на вершину.

Почти бегом побежал я вверх по тропинке вслед за ребятами, но вскоре понял, что взобраться туда не так-то просто. Тропинка была крутой, скользкой от ночного дождя. Все руки и ноги ободрал, пока не достиг вершины.

И замер от восторга. У меня даже голова закружилась. Как высоко, оказывается, мы поднялись. И как странно чувствовать себя почти на небе. И кружится голова — не то от высоты, не то от чувств, переполнивших душу.

Миравлод, Турдибай и Абдурасул собирали разные травы, хвастались, показывая их друг другу. Звали меня. Но я, не замечая ни друзей, ни их лекарственных трав, не мог оторвать взгляда от гряды белоголовых гор, напоминавших диковинных верблюдов. Они казались гордыми и даже грозными, и потому простершаяся у подножия долина на фоне их выглядела радостной и приветливой. Хотелось немедленно спуститься с холма и побежать туда, в долину, которая непременно должна быть сказочной, — так заманчивы ее леса, так призывен серебряный блеск Кызыл-сая, спускающегося с гор и бегущего в сторону нашего кишлака. А кишлак и не узнать. Отсюда не видно было его грязных узких улиц, отсюда были только видны крыши домов да зеленые купы деревьев, и казался он таким уютным, приветливым, ждущим своих жителей с полей.

Долго глядел я на родной кишлак и очень обрадовался, когда отыскал мечеть средней и верхней махалли и школу. Там, недалеко от школы, я подумал, наш дом, но он не виден, его закрывают разросшиеся на улице тополя. И вдруг я подумал, что уже откуда-то знаю эту картину:

великие горы с горбами, на каждом из которых по белой шапке, стремительно несущийся между скал поток, превращающийся постепенно в могучую и священную реку, мирное селенье, утопающее в райских садах! Да ведь это мама не раз описывала подобную картину в своих сказках. Так вот где она видела райские кущи, отсюда, с холма Чарлак! И я заплакал. Не знаю отчего. Оттого, что сказки мамы оказались вовсе и не сказками, или оттого, что красота, открывшаяся мне, не могла сравниться ни с какой сказкой.

Потом, повзрослев, я часто вспоминал те противоречивые чувства, что охватили меня на холме, и понял, что тогда душа моя впервые приняла в себя образ отчего края, священную часть великого образа Советской Родины, за которую ушел воевать Зиятбай-ака. Дороги Родины впервые начались за порогом родного дома, через мой родной кишлак провели меня по земле с дорогим именем — «Узбекистан» и закончились на огромном пространстве — нмя которому Страна Советов. Но это осознание придет позже, а пока я стоял на вершине, откуда был виден мой кишлак.

ИГРА

Я стремительно сбежал с холма Чарлак в ложбину, где уже давно играли ребята. Все, конечно, позабыли, как на перебой обещали своим мамам помогать, да те и рады были, что дети играют, не путаются под ногами, не мешают.

На берегу арыка Исамитдин, собрав вокруг себя Миравлода, Турдибая, Абдурасула и других мальчишек, горячась, что-то разъяснял им. Они слушали раскрыв рты, кивали, если соглашались с ним.

— Где ты ходишь? — спросил Исамитдин, увидев меня. — Ну и разиня. Вечно ты отстаешь. Звали тебя, а ты даже не оглянулся. Будешь с нами играть?

— Что за игра? — спросил я.

— В «войну», — важно объяснил Исамитдин. — Я буду генералом. Вы разделитесь на два лагеря, будете вести бой друг против друга, «наши» против «врагов». Тот, кто найдет хорошую толстую палку, пусть несет сюда — делаем ружья. Но прежде надо вырыть окоп.

— Что такое «окоп»? — спросил Турдибай, сморщив лоб.

— Окоп... Окоп...— забормотал не очень уверенно Исамитдин и, пожав плечами, сказал:— Окоп... наверное, яма такая. Да вам-то не все равно, что ли? Делайте то, что скажет генерал, и все. Ладно, не будем копать яму. Лучше станем прятаться под обрывом.

— Где ты научился «войне»?— спросил неожиданно Абдурасул, чувствовалось, что ему обидно, что не он первый узнал про такую игру.

— Вчера ходил в верхнюю махаллю, к тете,— гордо улыбаясь, охотно стал объяснять наш «генерал»,— ребята там уже всюю играют. Меня взяли при условии, что буду «врагом». Побили меня здорово, как будто это не я, а на самом деле — враг. Давайте научимся играть и пойдем завтра в верхнюю махаллю, всех ребят возьмем в плен. Чтобы больше не хвастались передо мной. Ведь должен же я им отомстить. Ну, кто будут «наши», а кто — «враги»?

«Генерал» выжидающе смотрел на нас — своих солдат, но никто не издал ни звука.

Тогда «генерал» повернулся ко мне.

— Анвар, ты будешь главным «врагом»,— сказал он решительно,— набирай себе солдат.

— Иди ты,— сказал я, подтягивая штаны. И подумал: «Я, как отец, как Зиятбай-ака, буду бить врагов. Никогда не стану врагом!»

— А ты?— повернулся Исамитдин в сторону Миравлода.

— Почему я должен быть «врагом»?— удивился Миравлод.— Неужели хуже других?

— Ладно, сделаем Турдибая «врагом»,— сказал «генерал», но уверенности в его голосе не было. Он уже понял — все хотят быть «нашими».

— Не буду,— пробурчал и Турдибай, шмыгая носом.— Враг — плохой человек, друзья потом станут меня дразнить.

Абдурасул уже заранее замотал головой — дескать, меня можешь и не спрашивать.

«Генерал» минуту стоял в раздумье, такого оборота дела он не ожидал. А как же верхнемахаллинские, как взять их в плен, если его армия «ничему не обучена». И он сделал последнюю попытку.

— Давайте на честность. Будем угадывать, в какой руке камень. Кто укажет на камень, тот и «враг».

Мы молча, сосредоточенно сопя, обдумывали его пред-

ложение. Вот уже несколько лет в кишлаке только и разговору, что о враге, будь он проклят. Сейчас это самое ругательное слово. У Турдибая погиб на войне отец, девочка Рихси вздрагивает, когда ее спрашивают о родителях,— моя мама говорит, что их пожрала война. У соседки нашей Мархамат-апа хранятся в сундуке два «черных письма». И все это — враг сделал. Так как же нам угадывать, в какой руке камень?! Нет, уж лучше все мы будем «наши».

И вдруг Исамитдин хитро улыбнулся и сказал:

— Война скоро кончится, начнут возвращаться в кишлак герои, той каждый день будет. А кто же нас пустит в верхнюю махаллю на плов, если мы не одолеем тамошних мальчишек? Надо взять их в плен, потребовать выкуп, тогда они сами пригласят нас на плов.

Последние слова нам очень понравились, и Миравлод, шмыгнув для порядка носом, сказал, как бы оправдываясь:

— Это же игра? Это неправда.

Мы вновь задумались и решили:

— Ладно, будем «на честность». Кому выпадет, тому и быть «врагом».

— Враг! Враг! — закричали мы, когда Миравлод ударил по руке «генерала», в которой был зажат камень.

Миравлод опустил глаза, чтобы мы не видели его слез. Вторым «врагом» стал Турдибай, побледневший, когда мы выкрикнули это слово ему в лицо.

— Так... Ну-ка, скажите,— важно начал разговор «генерал»,— захватим завтра в плен ребят из верхней махалли?

— Захватим! Еще как захватим!.. — уже бодрее откликнулись и «наши» и «враги».

«Генерал» поднялся на взгорок и развел отряды в отведенные для них места.

— Огонь! — скомандовал он, и хоть никто из нас и не понимал слова «огонь», мы ринулись друг на друга. Так начался бой.

Я, подражая другим, повторял все, что они делали: вставал, падал, «стрелял», ползал, изображал свист пуль.

— Огонь! — кричал наш «генерал». И мы что есть сил воевали.

— Ура! Ура! — вдруг услышали мы победный вопль Абдурасула.— Я взял Турдибая в плен! — Мы побежали в

камышы на крики и увидели Абдурасула, сидящего верхом на Турдибае.

«Наш» молотил кулаками «врага», а тот не сопротивлялся, только голову прикрывал руками.

— Хватит, «наши» — молодцы! Победили! — поднял руку «генерал», тем самым избавляя Турдибая от позора поражения.

Похвала «генерала» переполнила мое сердце радостью, я подбежал к Абдурасулу, оттолкнул его и хотел помочь встать Турдибаю. Но тот не поднимался.

— Устал, больше не буду играть, — ответил Турдибай и, вытянув руки и ноги, развалился в спокойной позе.

— Ах так, — сказал «генерал», — тогда мы прикончим «врага». Абдурасул, ты захватил его в плен, теперь сам и застрели хорошенько.

Абдурасул подбежал и, прицелившись из палки, выстрелил ему в голову. Турдибай дернул руками-ногами и притворился убитым.

— А мне что делать? — спросил, потирая распухший нос, Миравлод и уставился на меня.

— Ты тоже взят в плен как «враг». Да ладно, пока помогай нам, разделаемся вот с этим «подлецом», потом возьмемся за тебя, — решил «генерал».

— Да, но «враг» наш мертв, что же делать с ним теперь? — спросил Абдурасул.

— Похороним, — заявил «генерал», который знал все на свете.

А Турдибай, вытянув руки и ноги, лежал на спине, побледневший, будто и в самом деле мертвый. Вдруг сердцем моим овладел страх. Умер. Убит. Да, да, убит, на войне ведь убивают. А что, если мой отец или дядя Зиятбай-ака вот так же неподвижно лежат где-нибудь там, на далекой войне?! И что сказать матери Турдибая?

Я помнил, как лежала без чувств Мархамат-апа, получив второе «черное письмо». Я в ужасе схватил Турдибая за руку — она была теплой, живой.

— Турдибай! Ты не умер! Неправда, что ты умер! Тебя обманывают! — закричал я.

Турдибай открыл глаза и, будто пробудившийся после долгого сна человек, которому приснился удивительный сон, приятно улыбнулся.

— Не встану, пока «генерал» не позволит, — сказал он и снова закрыл глаза.

А я заплакал. И тут почувствовал на своем плече чью-то мягкую ладонь.

— Сынок, почему ты плачешь?

Это мама пришла посмотреть, чем мы занимаемся, и застала меня в слезах. От ласкового ее голоса, от нежного прикосновения руки меня разобрало еще больше.

— Мама, какое счастье,— выкрикивал я сквозь слезы,— я жив и Турдибай тоже. Ни ты, ни его мама не получите «черного письма»!

ДОРОГА В ТАШКЕНТ

— Чтобы шею сломал себе захватчик! — сказала однажды мама, вернувшись с поля. И швырнула кетмень на землю с такой силой, что черенок его переломился. Много раз твердившая нам, чтобы мы берегли черенок, на этот раз она даже не обернулась.— Соскучилась по матери, братьям. Даже некогда выбраться в город! В кишлаке, хоть собирая колосья, проживешь. А там как? Съезжу в Ташкент.

Мгновенно сестры окружили маму, я с одной, Камал с другой стороны пролезли в середину.

— Мамочка! — сказала Саифа, оттирая локтями назад Магрифу с Мазифой и придавая лицу самое смиренное выражение.— Я тоже очень соскучилась по бабушке, возьмите меня с собой.

— Мама! — смущенно обратилась Магрифа, решительно перебив Саифу.— Уже несколько ночей подряд снятся мне бабушка и дяди, я просто не говорила вам.

Мама нахмурилась.

— Я думала, что ты умная, выходит — нет. Постыдись! Взрослая женщина,— сказала она нашей сестре.

Магрифа опустила голову. Мама повернулась к Мазифе.

Мазифа застыла, не зная, что делать, что сказать, умоляюще глядя на маму и с завистью на сестер, будто они уже получили разрешение ехать в Ташкент, и в то же время улыбалась с надеждой, словно хотела сказать: было бы хорошо, если бы вы и меня взяли с собой.

— Мама, возьмите меня! — попросила вдруг и Рихси, тряхнув рыжими волосами, и обняла маму.

— Милая моя доченька,— мама погладила по голове Рихси,— кого же еще возьму, как не тебя. Но только не теперь. Вот приедет отец с фронта, тогда. А сейчас я уеду—

малыши заскучают, ты будешь с ними играть. Они тебя любят, слушаются.

Рихси оглядела Мазифу, Камала и хотела что-то сказать, но мамина похвала, видимо, подействовала, она не решилась возражать.

— Мама! — решила Саифа вновь привлечь к себе внимание. Она даже руки в бока уперла. — Если не возьмете, не буду двор подметать и на работу не выйду. — Саифа резко повернулась, пошла и села на ступеньку айвана. Уже оттуда крикнула: — Знаю, вот тот головастый поедет!

— Тебе самой будет хуже — не подметай и на работу не выходи, — сказала мама. — Выдам тебя замуж, пусть муж с тобой разбирается...

— Не сможете замуж выдать, — болтая ногами будто в воде, усмехнулась Саифа. — Парни-то все на фронте.

Мама рассмеялась:

— Ну и язык у тебя. С тобой не то что человек, сам бог не справится. Ты и мужа-то заставишь плакать!

Я решил, что пора и мне обратиться к маме, которая устало опустила на сури¹.

Я крепко обнял маму за шею, потерся носом о щеку. Мама отстранила меня легонько и улыбнулась. И я чуть не закричал — «ура». Такая улыбка несомненно была знаком согласия. Не знаю, что больше повлияло на ее решение: то, что она знала, как упорно я могу цепляться за подол, чтобы добиться своего, или то, что я после Эркина остался ее единственным сыном и она любовь, не растраченную на него, переносила на меня.

— Пусть Анвар поедет, — сказала мама, — единственный ваш братишка, — мама хлопнула меня тяжелой натруженной рукой по спине и поцеловала в лоб. — Ах ты мой сладкий! Слаще всех.

Итак, мы с мамой должны ехать в Ташкент — к бабушке и дядям.

Вероятно, это было в пятницу, потому что слышал, как мама говорила, что завтра суббота. В этот день вечером мама постирала белье, затем, провозившись до полуночи, нажарила слоеных лепешек в котле, а на другой день положила в бязевый мешок толочно и оставшийся с незамятных времен курт². Гостинцы были готовы.

— Шарафат, — попросила мама свою двоюродную сест-

¹ Сури — деревянный настил во дворе.

² Курт — сушеный соленый tvorog.

ру перед отъездом,— ради бога, присмотрите за моими детьми, я вернусь через два-три дня.

— Не беспокойтесь,— ответила теть Шарафат со слезами на глазах.— Передайте привет тете Улуг, братьям.

Мы пустились в путь. Мама словно с нетерпением ждала этого мига, она зашагала стремительно, я же, держась за ее руку, то шел, то бежал, успевая, однако, похвастаться ребятам, попадавшимися навстречу: «В Ташкент; к бабушке еду».

Наконец, когда солнце поднялось над вершинами гор, мы, оставив кишлак позади, вышли на тропинку. Она шла на север, петляла, то поднимаясь на холмы, то опускаясь в долины. Когда мы миновали очередной холм Карамон и спустились к саю Атчапар, мама, видя, что я притомился и замолчал, решила развлечь меня рассказами, и я в который раз услышал о том, как отец кончил «большую школу» в Самарканде, как затем был послан в район на работу, отличился и ездил в Москву, где получил орден из рук самого Калинина. По возвращении домой папу вышел встречать весь кишлак. Затем пришла очередь Зиятбаяака, и он был замечательным человеком. Когда мама рассказывала, она увлекалась, и лицо ее то светлело, улыбка преображала его, то вдруг покрывалось печалью, глаза туманила грусть. Все эти истории мама рассказывала уже не раз, но я слушал раскрыв рот, не думая о том, что этим мама хочет отвлечь меня от мыслей об усталости и хлебе. К полудню мы дошли до казахского кишлака Самсарак. И мама сказала, что теперь до автобуса уже рукой подать. Мы миновали еще два холма, и перед нами раскинулись сады и дома, окруженные добротными дувалами. Это был большой кишлак Паркент. Когда мы вступили на его зеленые улицы, солнце уже стояло в зените. Паркент раскинулся по обеим сторонам большого сая, между двух холмов, он мне очень понравился, я бы с удовольствием побегал здесь, но у нас была цель — Ташкент. А мама шла так же быстро, не уставая и не отдыхая, и я взмолился:

— Отдохнем, есть хочу.

— Ладно,— согласилась мама,— у меня тоже кишки урчат,— и потащила меня в сторону.

Мы сели возле чьего-то тенистого дувала. Мама достала из мешка слоеную лепешку, бутылку воды. Поели. И пошли дальше, искать «остановку». Что это такое, я не знал и ждал встречи с «остановкой» с нетерпением и не-

которым страхом. Дойдя до ивы на берегу узенького арыка, мы остановились. Под ивой, прямо на земле, сидели несколько стариков и старух, а возле них играли дети. Здесь и была, сказала мама, «остановка». Но где она? Я ничего не понимал.

— Тетушка,— обратилась мама к плосколицей старухе, которая сидела, прислонясь к иве,— куда вы едете?

— Да в город, дочка,— сказала старуха, перекатывая зерна семечек между двумя сохранившимися на нижних и верхних деснах желтыми зубами.— Ждем хафтобус.

С восточной стороны с грохотом приближалась машина, большая, неуклюжая, непохожая на полуторки, которые я видел у нас в кишлаке. Машина остановилась напротив нас, подняв столб пыли. Из машины вылез большеголовый мужчина лет сорока. Вид его сильно меня разочаровал, не думал, что у шофера автобуса халат может быть порван. Единственное, что мне в нем понравилось, так это усы.

Мама потащила меня к автобусу, но для этого надо было перейти арык. Мы бросились к мостку, но там скопилось уже много людей.

Мама стала расталкивать всех, то и дело дергая меня за руку. Я запнулся за чьи-то ноги и упал, но мама, не смотря на мои стоны, все тянула за руку, и я, боясь отстать, пробирался за ней.

Наконец мама оказалась возле усатого мужчины.

— Братец, куда едет ваш хафтобус?

— Куда же ему ехать,— пробурчал усатый,— в город, конечно.

Растолкав стоявших у дверцы людей, мама одной из первых бросила в машину свой мешок, затем втащила меня, и мы рухнули на жесткие сиденья.

— Слава богу, сынок,— сказала мама,— мы сели в хафтобус. А все почему? Потому что твоя мама — сильная. В молодости я участвовала в козлодранье, а разве я не рассказывала тебе, как однажды свалила Артыкбая-вора с коня? Если будешь проявлять слабость, затопчут ногами.

Я, гордясь ловкостью мамы, прижался к ней, но она, легонько отстранив меня, поднялась и стала помогать тем, кто в давке и сумятице пытался протиснуться в дверцу автобуса. Она резко втягивала за руки то старика, то старуху, то ребят и не очень-то любезно плюхала их на деревянные скамейки. Счастливики, попавшие в автобус, сначала охали, держась кто за бок, кто за ушибленную руку,

но затем сознание того, что они все-таки здесь, что они едут в город, заставляло их расплываться в улыбке.

Усатый шофер молча стал обходить пассажиров. Он остановился перед старухой и выразительно посмотрел ей на руки.

— Деньги? — спросила старуха.

— Что же еще, кроме денег? — пробурчал усатый.

— Сколько, милый? — с испугом спросила мама, засунула руку во внутренний карман камзола да так и сидела, вся сжавшись.

— Десять рублей, — сказал усатый и с досадой почесал шею.

— Эй, миленький, постыдись, — сказала старуха, — я не первый раз еду в город. Другой водитель хафтобуса брал по пять рублей.

— Буви!¹ — проворчал усатый. — Езжайте на той машине, где берут пять рублей.

— Нет вести у нынешней молодежи, — разозлилась старуха. — Ладно уж, пожертвую десятку ради внука. Бедный мой внук работал в городе, а теперь должен идти в армию.

Вдруг, указывая на меня, усатый спросил:

— Это чей ребенок?

— Я же говорила, наклонись, — проворчала мама и попыталась пригнуть мне голову, — миленький, это мой сын, очень маленький, даже еще обрезание не делали.

— Плати и за маленького, — сказал усатый, нахмурившись, будто только сейчас подрался с кем-то, но не был удовлетворен результатом драки.

Мама растерянно оглянулась, словно ища поддержки у пассажиров, и снова повернулась к шоферу.

— Неужели за малого ребенка возьмете деньги? — сказала мама тихо и порылась в кармане, видимо, намереваясь дать деньги, если опять будет ругаться, — отец его на фронте проливает кровь, вот везу к бабушке, к дядьям, мои братья работают на больших должностях. Может, и вам смогут быть чем-нибудь полезны.

— Не болтайте много, какое мне дело до того, где они работают. Если не возьму за вашего сына деньги, ваши братья сделают меня председателем колхоза, что ли?

— Поимей совесть, неужели за малого ребенка возьмешь деньги? — вступилась за маму старуха в черном.

¹ Буви — бабушка, бабка.

— Делаешь вам добро, а вы не понимаете этого,— сказал усатый мужчина и, резко повернув, сел за руль.

Мама улыбнулась и подмигнула мне, словно говоря: «Здорово я его провела».

Но пригнуть голову меня все-таки заставила, и пока мы доехали до Куйлюка, шея у меня совершенно задеревенела.

У местечка Куйлюк все вышли из автобуса. Мама, держа меня за руку и прижимая мешок к груди, все тем же решительным шагом направилась к новой остановке. Там ходит по железу трамвай, объяснила она мне.

— Гляди под ноги,— сказала мама,— и не оглядывайся по сторонам, чтобы не заметили, что мы из кишлака. Сейчас придет трамвай, будь осторожен. Он шипит как дракон.

Наказав мне не крутить головой, сама мама беспрестанно озиралась по сторонам, что-то шептала мне в ухо, видно остерегая от городских опасностей, но я ничего не слышал, а если слышал, то не понимал, но кивал головой, соглашаясь.

— Мама! — закричал я, увидев грохочущий дом,двигающийся на меня по железной дороге.

— Не бойся, это трамвай,— сказала мама и подтолкнула меня к дверцам,— только не отпуская мою руку, а то самариска тебе сразу голову оторвет.

Хоть я и не понял слова «самариска», но тут же подумал о драконе и, сильно задрожав, вскарабкался по ступенькам в трамвай. Мама все проталкивала меня вперед. Но впереди стояла плотная стена, и скоро я оказался зажатым плотной массой людей. Кто-то придавил локтем мою голову, кто-то наступил на ногу, третий уперся в живот, однако из боязни, что самариска оторвет мне голову, я стоял не дыша.

Но вот к нам пробралась стриженная голубоглазая девушка и протянула руку. Мама растерянно глянула на нее, затем на окружающих. Стоявшая рядом с нами женщина с локонами сказала маме:

— Сестрица, кондуктор деньги за билет спрашивает.— И добавила, отвернувшись: — Бедняжка, видно, из кишлака.

— Нет, сестрица,— сказала мама,— городские мы, просто задумалась и забыла дать деньги. Живем мы в махалле Ачават, ходили в гости и засиделись.

Не помню, чтобы мама когда-нибудь говорила неправ-

ду. Я подумал: может, мама боится признаться, что она из кишлака, из-за этой ужасной самарски.

Вышли мы на широкой, красивой улице. На столбах горели лампочки, и в окнах больших домов горел свет. Но что меня удивило больше всего, так это обилие на улице машин и людей. И как только все они не сшибались, не сталкивались? После пустых полей, кишлака с глиняными дувалами город заморозил меня. Хотелось кричать или петь, так бывает, когда найдешь то, что потерял.

Я решил, что, когда вырасту, непременно приеду учиться в город. И мне тут же захотелось вернуться в кишлак и рассказать друзьям и сестрам о том, как прекрасен город, прекрасней, чем райский сад у горы Каф.

ЗНАКОМСТВО

— А вот и Чорсу,— с облегчением вздохнула мама.

Мы прошли еще немного и оказались на берегу большой реки, вращавшей чигири¹. Через реку был перекинут высокий мост. Идти по мосту было интересно и немного жутко; когда заглядывал сквозь решетку перил, от бурного течения реки начинала кружиться голова. Уже свечерело, и мама торопилась. Пройдя еще немного по берегу Анхора, мы свернули на узкую улочку, совсем такую, как у нас в кишлаке.

Пропустив две калитки, в третью — высокую, одностворчатую — мама постучалась. Усталые, пыльные, мы с мамой с нетерпением ждали, когда же калитка распахнется перед нами. Но пришлось трижды с силой ударить по резной дверице, прежде чем из глубины двора послышался очень любезный голос.

— Кто там?

Мама посмотрела на меня смущенно и откашлялась:

— Сайфитдин, открой.

Звякнула щеколда, калитка приоткрылась, и на улицу вышел высокий, широкоплечий мужчина. Не успел он и слова сказать, как мама обняла его, прижала к груди, затем отстранила, минуту-другую глядела, словно бы изучая, и поцеловала в лоб.

Недовольное выражение исчезло с лица мужчины, он

¹ Чигирь — приспособление для отвода воды в арык, расположенный на возвышенности.

благодарно позволил маме излить на него нежность, а затем схватил меня, приподнял и расцеловал в щеки.

Это и был мой младший дядя Сайфитдин-ака.

— Ну как, племянник? — сказал он, опуская меня на землю. — Настоящим джигитом стал, да? Решил нас навестить? Как сестры твои поживают? Как там крикунья Санфа?

Я всю дорогу обдумывал и воображал встречу со своими дядями, мысленно готовился к ней, даже готовил слова, которые скажу, но теперь вдруг растерялся и единственное, что смог, — крепко обнять его за шею, когда Сайфитдин-ака оторвал меня от земли. На все же расспросы лишь кивал головой.

— Сайфитдин, — сказала мама, всхлипывая и прикладывая край головного платка к глазам. — Что ж вы такие бессердечные? С тех пор как не стало отца, даже и не подумаете проведать нас. А ведь я ваша единственная сестра...

Мама причитала так жалобно и беспомощно, что показалась мне маленькой, и мне захотелось, чтобы ее утешили. И действительно, Сайфитдин-ака погладил ее по плечу, сказал:

— Не плачь, сестра, сами знаете, война, некогда. Ну вы, слава богу, живы-здоровы...

Он ввел нас с мамой во двор, продолжая спрашивать:

— Как там племянницы?

Но, видимо, желание скорее увидеть бабушку, старшего брата оказалось сильнее, вопрос дяди Сайфитдина мама оставила без ответа.

Широкий двор ярко освещала луна, он был сплошь засажен виноградником, плети которого тянулись по стенам дувала. По кирпичной дорожке мы пошли к дому. Дорогу нам преградил низкий дувал, он отделял от двора-сада внутренний дворик, где в разных его концах утопали в зелени два домика с айванами. Как только мы вошли во внутренний дворик, там поднялся настоящий переполох. Поначалу я даже не мог понять, где тут бабушка, а где мамыны снохи.

— Дочка, доченька моя! — сквозь слезы приговаривала маленькая худенькая старушка и нежно обнимала дрожащими руками маму.

И я догадался — вот она, моя бабушка Улуг, мамаина мама. Наконец внимание хозяев переключилось на меня —

я оказался возле пахнувшей травами груди бабушки. Головы моей касались ее маленькие, сухонькие, но такие ласковые ладони. Бабушка отстранила меня, разглядывая, а я в свою очередь с восторгом уставился на нее: белолицая, с теплыми карими глазами и улыбкой, похожей на ласковую усмешку. От бабушки Улуг я перешел в руки высокого худого человека с тонким лицом. Это был мой старший дядя Бурханитдин. Я с удивлением смотрел то на него, то на маму. Как это так, думал я, ведь их просто невозможно отличить друг от друга. Даже улыбаться он умел так же, как мама, — одними глазами. Не успел я ответить на вопрос дяди Бурханитдина о своих старших сестрах, как был притиснут к пышной груди старшей снохи Анар, а затем забарахтался в складках просторного платья сухопарой снохи Мубор.

Снохи успели и нос мне утереть, и рассмотреть мои в дыпках руки, и одна из них отправилась тут же за кислым молоком, чтобы смазать трещины. В маленьком дворике вкусно пахло машхурдой¹, но бабушка заявила, что машхурда отменяется и по случаю дорогих гостей будет приготовлен плов.

За дастарханом все с почтением слушали маму — ее кишлачные новости. Хвалили маму за то, что взяла она на воспитание сироту. Особенно охали и ахали снохи — называли маму добрым ангелом.

А потом разговор незаметно перешел на прошлое.

Мама много рассказывала нам о прошлом, но, оказывается, она и сама не все знала. Например, о том, какие братья были у бабушки Улуг — настоящие палваны. Их было пятеро, потому и род бабушки называли «Пять Мирзы». Ни один род не осмеливался их обидеть, но со временем разбрелись братья по свету, где сейчас — живы ли, нет ли, — кто знает.

Бабушка говорила скороговоркой, то и дело посмеиваясь, сыновья, видимо, хорошо знавшие историю пяти братьев, слушали, однако, с вниманием. Я же прямо-таки в рот бабушке глядел. И не сразу оценил великодушие моих двоюродных братьев и сестры. У дяди Сайфитдина были пятилетняя дочь Муяссар и трехлетний сын Нажмитдин, а у дяди Бурханитдина трехлетний сын Хуснутдин. Пока я был занят пловом и тем, что впитывал разговоры старших, они принесли к моим ногам все имеющиеся у них бо-

¹ Машхурда — каша из маша с прибавлением рисовой сечки.

гатства — глиняные свистульки, старую, выдавшую виды куклу, блестящий мяч, подпрыгивающий на длинной резинке, несколько крупных пуговиц, тем самым выражая свои родственные чувства. И мы подружились.

После ужина дяди облачились в форму и отправились на службу, оказывается, они работали в пожарной команде и у них как раз было ночное дежурство.

А мы долго еще не ложились. Мама и бабушка все не могли наговориться. Наконец бабушка, словно что-то вспомнив, резво поднялась с курпачи, зашла в комнату и тут же вышла оттуда с узелком в руках.

— Возьми, доченька, для тебя берегла, — сказала она, протягивая узелок маме.

Мама развязала узелок и извлекла из него шелковое белое платье и от удивления или радости прижала его к груди.

— Анаджан, — мама обняла бабушку, но, видимо, и этим не смогла выразить всей благодарности и нежно поцеловала ее. — Я ничего не смогла привезти вам. Бедновато в кишлаке. Здесь, в городе, выходит, легче.

Мама увидела, как при этих ее словах переглянулись снохи, и, смутившись, добавила:

— Скучаю я по вас.

— Я тоже скучаю по тебе, дочка, — грустно проговорила бабушка. Она тоже посмотрела на сидевших с поджатыми губами снох и не сказала, видно, того, что хотела: переезжай-ка, дескать, доченька, сюда. А вместо этого вновь ушла в воспоминания. — Пятнадцать лет уже прошло, как умер твой отец. На днях ходила на его могилу, вернулась расстроенная. Не смогли похоронить его на родовом кладбище...

— А где оно, наше родовое кладбище? — спросила мама.

— Да есть такой уголок на Чорсуйском кладбище, — пояснила бабушка, — ты видела, знаешь. Давно уже там никого не хоронят. Раньше всех арпапайцев хоронили только там. Наши отцы и деды родом из махалли Арпапая. Твоего покойного деда во времена хана Алимкула знал весь Ташкент. Когда Алимкул выступил против войска Черняева, мой отец пожертвовал его джигитам пятьсот баранов. Когда же люди белого царя одолели, твой дед, бросив Ташкент, уехал в кишлак. Видимо, хотел быть в стороне от всякого рода неприятностей. Но и в кишлаке не суждено было нам жить. Проклятый Исмаил незаконно

раскулачил нашу семью. На самом же деле были мы в то время середняками — всего-навсего имели одну корову да паршивого вола. Когда-то твой отец повздорил с Исмаилом, а тот в отместку выгнал нас из дома, он ведь был тогда аксакалом — местной властью. Потом сам въехал в наш дом. А когда разобрались в несправедливости, нас уже в кишлаке не было. Опять перебрались в Ташкент, вот сюда.

Бабушка долго молчала, погруженная в картины прошлого; наконец глаза ее остановились на мне, и она всплеснула руками.

— Анварджан, внучек, чуть не забыла, тебе ведь тоже подарок есть.

Бабушка протянула мне голубую рубашку, и я тоже, подражая маме, обнял бабушку за шею и поцеловал в щеку. И сразу же надел рубашку. Рукава были длинными, да и сама рубашка ниже колен, но это нисколько не убавило моей радости. Хотелось показаться малышам. Я все боялся, что мне сейчас отломят полагающийся кусок лепешки, дадут кусочек сахара, а все остальное спрячут в плетеную корзинку. Но корзинки нигде не было видно, и никто не остановил меня, когда я взялся за второй кусок пшеничной лепешки.

После чая Муяссар повела меня на улицу. На противоположной стороне узенькой улицы, возле калитки, играли какие-то лохматые босоногие дети.

Я с удивлением смотрел на их черные кудрявые головы со спутавшимися волосами, грязную одежду и никак не мог поверить, что здесь, в городе, могут быть такие дети.

Вдруг улочку огласили визг и крики, грязные заморыши, ругаясь самыми бранными словами, принялись валтужить друг друга. Разом распахнулось несколько калиток, оттуда выскочили женщины в ярких цветастых одеждах и, отведывая оплеухи направо и налево, уняли драку.

Успокоившись, дети наконец заметили меня и тут же окружили плотным кольцом. Я улыбнулся, мне хотелось подружиться с городскими детьми, но в ответ на мою улыбку один из них наступил мне на ногу, а другой дернул за волосы. Я испугался, но не смел кричать, звать на помощь мам.

— Уходите, я папе скажу, — пригрозила Муяссар, отталкивая особенно нахальных. — Это сын моей тети. — Потом обернулась ко мне: — Будь осторожен, они цыгане. Могут снять с тебя одежду.

— Кишлячный,— сказал один, как мне показалось, самый черный мальчишка.

— Почему он так говорит?

Не успел я расслышать ответа Муяссар, как кто-то вцепился точно клещами мне в плечо, кто-то дал подножку.

— Папа! — закричала Муяссар.

Но голодранцы продолжали кружить возле меня.

— Сгинь, кишлячный, сгинь!

Выбежавшая из дома сноха Мубор, подняв с земли камень, пустила им в ребят.

— А вы сами-то кто, негодники!

Мубор-апа увела меня в дом и сказала, чтобы один я не выходил. Но странное дело, ребята-цыгане так заинтересовали меня, что я не смог долго усидеть во дворе и вновь вышел за калитку.

Улица опустела, только возле дувала сидел большеголовый мальчик с огромными печальными глазами. Увидев меня, он поднялся, постоял немного дичась, затем приблизился ко мне и улыбнулся. И я тоже улыбнулся. Тогда он, смущаясь, положил мне руку на плечо, и мы подружались.

— Ты кишлак? — спросил мальчик, и в его огромных черных глазах отразилось любопытство. Его речь показалась мне какой-то странной. — Ты есть гость? — продолжал мальчик, запинаясь. — Приехал из кишлак? Я цыган, ты узбек, не бойся. Понимал?

— Понимал,— сказал я, подражая мальчику.

— Пойдем наш дом,— мальчик повел меня, держа за локоть. — Моя есть голубь. Как твоя имя, моя имя Бисмат.

— Моя имя Анвар,— сказал я ему, и мне стало смешно.

Мы свернули в какой-то тупичок и вошли во двор без калитки. Во дворе был привязан серый осел, а возле осла стояла арба с приподнятыми вверх оглоблями. В дальнем углу стоял низенький домик, где ворковали, взлетая и опускаясь, голуби. Мальчик подвел меня к голубятне, запустил в «домик» руку и, достав голубя, посадил птицу мне на ладонь. Я никогда прежде не держал в руках голубей, да еще таких красивых, с необычным опереньем.

Я погладил голубя, в приливе восторженных чувств прижал его к лицу и тут вдруг почувствовал, как что-то тяжелое опустилось мне на плечо. Я поднял глаза — надо мной стоял пузатый рябой человек и что-то бормотал — наверное, ругался, потому что лицо у него было свирепое...

Я вскрикнул. Не от тяжести руки, а испугавшись вида этого человека. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут во двор вбежали все разом: мама, бабушка, снохи. Они вызволили меня из рук безобразного человека. Большеглазого мальчика-цыгана я больше не видал. Да и из двора меня больше не выпускали одного.

А через три дня мы вышли в путь. Бабушка, прощаясь, плакала, судя по всему, все порывалась что-то сказать, да так и не сказала. Снохи ласково улыбались. Дядя Сайфитдин проводил нас до Куйлюка. А уж до кишлака мы опять добирались своими силами.

Сестры разве что не висели на дувале, с таким нетерпением ждали нашего возвращения.

— Ну что, что сказали дяди? — спросила Магрифа, как только мы переступили порог дома.

— В городе не лучше, чем в кишлаке, — уклонилась мама от прямого ответа.

— Так что, выходит, мы не переедем в город? — разочарованно протянула Саифа. — А мы тут все глаза проглядели, ожидая вас, думали, возвратитесь с хорошими вестями.

— Будешь продолжать собирать свои колосья и кизьяки, — отрезала мама и больше ни о чем не стала говорить.

Только теперь я понял, почему мама, не отпросившись у бригадира, тайком уехала в город. Только теперь до меня дошел смысл настороженных взглядов Муборы-апа и снохи Анар, которые начинали проявлять беспокойство всякий раз, как мама начинала хвалить город. Мы, выходит, ездили с ней на разведку — нельзя ли и нам перебраться в уютный дворик, заросший виноградником. И вернулись ни с чем!

РАСПЛАТА

Из-за поездки в город мама три дня — в субботу, воскресенье и понедельник — не выходила на работу. Во вторник утром, когда мама с сестрами собиралась в поле, раздался стук в калитку. Стук был раздраженный, какой-то злорадный — мы все это сразу почувствовали.

Мама, побледнев, поспешила к калитке, распахнула ее.

Первое, что бросилось нам в глаза, злобная физиономия Артыкбая-вора. Намотав повод на левую, покалеченную, руку, правой он что есть силы колотил рукояткой камчи по резной дверце, хотя она уже и была открыта. За-

тем он спрыгнул с коня, привязал поводья к дверной щелчке и зашел во двор.

Сколько раз я слышал рассказы о дивах, изрыгающих проклятья. И вот мне почудилось, что передо мною див,— костлявое лицо побледнело, даже как-то посинело, глаза горели ненавистью, а изо рта вылетали ругательства. От этих ругательств и криков даже лошадь, привязанная у калитки вздрагивала и поровила отвязаться. Ей, видимо, было стыдно за своего хозяина, и она готова была ускорить куда глаза глядят. Я увлекся и стал сочувственно рассматривать почти красную лошадь с белой отметиной на лбу. Она была худой, неухоженной, хозяин явно не заботился о своем помощнике. И по всему было видно, что и конь не питал никаких теплых чувств к Артыкбай-вору.

Очередной вопль этого грубого человека заставил нас с лошадью вздрогнуть одновременно. Я увидел, что бригадир размахивает камчой перед маминым лицом, а мама и сестры, совершенно растерявшись от такого взрыва ненависти, пятились к айвану.

Мне стало страшно: неужели этот человек осмелится ударить женщину?! Мою маму! Которую я просто не узнавал. Ведь она же храбрая, она не боится самого раиса. Почему же сейчас молчит?

А Артыкбай-вор, сорвав голос, перешел на злобное шипение:

— Почему три дня не выходишь в поле? Ты что, забыла, какое сейчас время? Кому за тебя отвечать, мне?! Да я тебя... из колхоза выгоню!

Мама как-то жалобно улыбнулась и с нотками вины в голосе сказала:

— Артыкбай-ака! Почему угрожаете? Побойтесь бога! Ведь мы соседи до конца наших дней.

— Плевал я на твоего бога! — заорал Артыкбай-вор. — Ну и что, если сосед? Это тебе не мешало обвинить меня в воровстве, оклеветать. Я тебе этого не забуду, живо под суд отдам. И тебе не поможет то, что муж твой в армии и что когда-то получил орден. Не с чего мне бояться твоего мужа. Да еще и неизвестно, вернется ли он с войны!

Последние слова маму обидели куда сильнее, чем все оскорбления в ее адрес.

— Думайте, что говорите,— в голосе ее звучал гнев,— я не прячусь за спину мужа. Если муж занимал высокие посты, получил орден, то за свои заслуги. Правительство наградило его. А насчет того, вернется ли... Знайте, вер-

нется. Я жду его, вот эти галчата ждут его,— и мама показала на нас.

— Говоришь, не прячешься за спину мужа, а сама делаешь, что в голову взбредет. Да тебе за прогулы знаешь что полагается?!

— Артыкбай-ака,— все еще сдерживалась мама и старалась уладить дело миром,— было у меня четверо детей, стало пятеро. Дочка Рихси появилась. Работаю с дочерью от зари до зари, чтобы прокормить их всех. Я не собираюсь жаловаться. Но трудно иногда женщине одной, вот и потянуло к матери, к братьям, хотелось поделиться заботами, посоветоваться. Дорога дальняя, хафтобусов мало, думала приехать в понедельник, да не смогла. А я работы не избегаю, выйду, труд — дело привычное для меня.

Артыкбай-вор равнодушно выслушал маму, а затем, все так же не меняя тона, прорычал:

— Почему не отпросилась? Что, меня уже и за человека не считаешь? — И бригадир потряс в воздухе камчой.

— Эй, дядя,— вмешалась вдруг Саифа,— успокойтесь-ка лучше, а то плохо вам придется.

Артыкбая-вора точно кипятком облили. Он так и взвился от злости, что какая-то сопливая девчонка учит его уму-разуму; неизвестно на кого, может, просто так, для острастки, замахнулся камчой.

Но быстрая Саифа, испугавшись, видимо, что удар камчи предназначен маме, бросилась, чтобы схватить Артыкбая-вора за руку, и хлыст прошелся по ее голове и лицу, оставив сразу же вздувшийся рубец.

На мгновение во дворе воцарилась такая тишина, что был слышен шелест листвы на шелковице. Мама точно онемела. Она прижала руки к груди и с молчаливым ужасом смотрела на прекрасное юное лицо Саифы, сразу же обезображенное красным рубцом.

Но вдруг тишина словно взорвалась изнутри — мы разом, не сговариваясь, бросились на Артыкбая-вора. Саифа, как дикая кошка, в один прыжок очутилась рядом с негодяем и заломила ему назад руку, сжимавшую камчу. В то же самое время Магрифа закрутила ему назад левую руку, я повис на ноге, а Рихси, сбросив на землю тубетейку, вцепилась в волосы.

Артыкбай-вор мотал нас в разные стороны, рычал, грозил всех прибить, но вырваться не мог — мы вцепились в него мертвой хваткой. И только мама все еще стояла в

стороне, словно решая, какого наказания достоин этот человек.

И вдруг она подошла к нам, спокойно растолкала в разные стороны, а затем размахнулась и дала Артыкбай-вору такую оплеуху, что тот покачнулся.

— Вон! Убирайся вон с нашего двора, — сказала она тихо.

И бригадир понял, что теперь эта женщина будет разговаривать с ним иначе. Точно побитый пес выскочил он за калитку, а во дворе у нас грянул злой смех. И смех этот был самым оскорбительным наказанием для бригадира, считавшего себя мужчиной, представителем власти, имевшим право решать судьбы людей.

С тех пор Артыкбай-вор не появлялся в нашем дворе, не осмеливался ни стучать в калитку камчой, ни звать по утрам на работу. И мама и сестры по этому поводу говорили: «Ну что ж, нет худа без добра. Теперь не слышим хотя бы его отвратительный голос».

А я размышлял о другом. О том, почему на свете есть такие люди, как Артыкбай-вор?

Идет война, людям и так трудно, а бригадир делает все возможное, чтобы им было еще труднее. Мне ужасно хотелось стать поскорее большим и прогнать из бригадиров, а лучше и вообще из нашего колхоза Артыкбай-вора. А еще лучше, пусть кончится быстрее война, вернуться домой отец, зять Зиятбай, уж они-то не потерпят такого бригадира.

И каждую ночь теперь я засыпал с одной мыслью: пусть скорее кончится война.

ГОРЕ ЮНОЙ САИФЫ

Сестра Саифа была в нашей семье всеобщей любимицей. И маминым утешением. Три года было Саифе, когда она осталась без отца. Расулбай — первый мамин муж — погиб в голодное время от руки негодяя. Вдвоем с человеком по имени Савурбай обработали они поле и посеяли ячмень. А когда собрали урожай, Савурбай не захотел делиться с Расулбаем и убил его, распуслав слух, что тот упал с шелковицы. Но был мальчишка-свидетель, и в кишлаке узнали правду, доказать которую, однако, не взялся никто.

Саифа подросла и узнала имя убийцы своего отца.

— Рано или поздно, отомщу убийце,— сказала она маме.

Мама долго вдовствовала, но вот встретила моего отца и, уступив уговорам родных, вышла за него замуж.

По рассказам мамы мой отец был человеком добрым, душевно щедрым, он не обижал девочек — Магрифу и Саифу. И все-таки старшие сестры как-то чувствовали, что обойдены судьбой. Особенно остро ощущала это Саифа — от природы впечатлительная, нервная. То обстоятельство, что росла она без родного отца, не могло не сказаться на ее характере.

Она была, несмотря на всю свою доброту, вспыльчива и неуравновешенна. Приступы веселья мгновенно могли смениться в ней грустью, а иногда и приступами ярости. Но все-таки главное, что определяло ее характер, было врожденное чувство справедливости.

Она, может быть, была и не очень красивой, но все, кто смотрел на нее, тут же начинали улыбаться — таким располагающим, приятным было ее лицо с улыбающимися карими глазами.

Саифа была озорница и выдумщица. Озорство ее иногда переходило, как говорила мама, дозволенное. Так, когда в кишлаке поспедали яблоки, она подбивала мальчишек, и за какую-нибудь ночь сады пустели. Виновных отыскивали, наказывали, но стоило Саифе только кликнуть, и те же мальчишки вновь оказывались возле нее — ведь по весне первых бумажных змеев им делала она же, Саифа.

Когда отец ушел на фронт, Саифа, как-то сразу повзрослев, безропотно отправилась работать. И не уступала при этом взрослым.

И в то же время она осталась все такой же проказницей и озорницей.

Нас, малышей, она щипала, валила с ног, заставляла быть у нее «в услужении». Но, не приведи аллах, если нас обижала уличная ребятня, тут уж Саифа была скоро на расправу. Когда мы не могли выпросить у мамы хлеба, она исчезала и в скором времени возвращалась с полным фартуком фруктов, усевшись во дворе, приговаривала: «Ну, цыплята, ешьте».

И разве могли мы предположить, что с быстрой нашей, неутомимой Саифой произойдет несчастье?!

Как-то в наш двор вновь пришел тихий Касым. После того памятного похода на колхозный склад он к нам не

заглядывал, чувствуя себя перед мамой в долгу и ужасно смущаясь этого чувства.

Вошел он сегодня как-то незаметно, бочком протиснувшись в калитку. Замер посреди двора, не осмеливаясь без приглашения войти в дом.

Увидев тихого Касыма, мама поспешила ему навстречу и обняла так, как обнимала нас, своих детей.

— Касымджан, как ты? — И голос у нее был таким же ласковым, каким она обращалась к нам. — Как здоровье жены, как дети? Почему перестал приходить?

— Арифа-апа, — сказал тихий Касым, пряча сразу же ставшие влажными глаза, — спасибо, жена день и ночь молится за вас. Дети хвастаются, говоря: «Тетушка Арифа прислала нам хлеба». Пришли бы к нам в гости.

— Родненький, лишь бы у тебя все было хорошо, — ответила мама. — Мне ничего не надо. Хлебом, которым хочешь меня угостить, лучше накорми своих детей.

— Никто мне не сделал столько добра, сколько вы, — продолжал тихий Касым. — Все равно я у вас в долгу. Скажите, сделаю любую работу, если надо.

Саифа, как обычно, не стала дожидаться приглашения вступить в разговор.

— Касым-ака, — дернула она его за рукав, — хотите оказать нам услугу?

Лицо тихого Касыма просияло.

— С удовольствием, — сказал он с таким видом, словно был готов немедленно, если понадобится, хоть в воду броситься.

Саифа уперла руки в боки и протянула:

— Ну так... чем же вы нам можете быть полезны? — И вдруг глаза ее хитро блеснули. — А вот хоть этого сопливого, — она указала на меня, — с Камалом, который хоть и большой, а капризничает, поразвлекайте, посадив на закорки. А можно... можно на закорки посадить и... меня!

Все засмеялись. И тихий Касым тоже.

— Чтоб язык у тебя отсох, плутовка, — сказала мама, отсмеявшись и вытирая слезы, — такая взрослая девица и сядешь на спину Касыму! Что люди скажут? Дочь Арифы рехнулась! Касым, не обижайся, ты же знаешь, у нее в голове ветер.

— Она мне сестренка, я люблю, когда она шутит...

Тихий Касым не кончил говорить, как приоткрылась калитка — во двор нерешительно вошел Артыкбай-вор.

Это был его первый приход после изгнания, и вид у него был смиренный и даже несколько заискивающий.

— Касым, ты тоже здесь? — удивился Артыкбай-вор. — Хочешь Саифе наше решение сообщить?

— Да нет... я не знаю, — замялся тихий Касым. И вдруг решительно проговорил: — Я бы не хотел, чтобы Саифа подавала снопы на арбу. Арба высокая. Волю у Джумабая непослушные. Поставьте кого-нибудь из стариков.

— Кого поставлю? — нахмурился Артыкбай-вор. — Старикн на гумне! Если поставлю кого-нибудь из них, кто будет провеивать пшеницу? Если ты, табельщик, будешь так говорить, кто будет делать колхозную работу? Арифа, — Артыкбай-вор наконец-то решился посмотреть маме в глаза, — пусть Саифа выходит сегодня на поле Карамон. Будет подавать на арбу снопы. Не хватает людей.

— Одну не пушу, — заявила мама. — Рано еще ходить на поле одной. Пусть повзрослеет.

Бригадир стоял молча, лишь желваки играли на заросших щетиной скулах.

— Артыкбай-ака, — снова вступился тихий Касым, и в голосе его была все та же твердость. — Саифа не осилит арбу, сам выйду, буду работать вместо нее.

— Ты что, шутить вздумал с колхозной работой? — Артыкбай-вор начал потихоньку закипать. — Если пойдешь работать вместо нее, кто будет табельщиком? Тогда уж бросай свою работу, бери в руки серп. Из-за увечья тебя поставили на легкое дело, пожалели... Вот скажу председателю...

— Да хоть самому богу скажи, — совсем осмелел тихий Касым. — А только Саифа на арбу не пойдет. Я за свою сестренку знаешь что тебе сделаю!

— Заткнись ты, баба, — от смущенного вида Артыкбая-вора не осталось и следа, — кто бы хвастался, но не ты, тихоня!

— Ах ты вор, — закричал вдруг тихий Касым и схватился за валявшийся у порога топор со сломанной рукояткой.

— Эй-эй, — мама удержала тихого Касыма, — не горячись. Чего ты равняешься с этим наглецом.

— Он кого угодно из себя выведет, — сказал тихий Касым. — Не за себя хочу его наказать, за вас. Недавно, говорят, на вас руку поднял.

— Эй, Касым-ака, — весело проговорила Саифа, — оказывается, у нас есть старший брат! Спасибо вам. Только вы

не бойтесь за меня, пойду работать на арбу. Нет ничего трудного в том, чтобы подавать снопы на арбу. Если боитесь, возьму с собой вот этого сопливого. Пойдешь, дурачок?

— Пойду,— закричал я радостно, тотчас повиснув на руке Саифы.— А ты правда возьмешь?!

— Возьму,— сказала Саифа и нахмурила брови,— но с одним условием. Будешь собирать колосья. Если станешь хныкать, прогоню с поля.

— Буду собирать, не стану хныкать,— отвечал я в каком-то отчаянном восторге.— Мама, можно?

— Ладно уж, ступайте,— махнула рукой мама.— Видно, время такое, что дети рано взрослеют.

И я побежал готовиться к выходу на поле Карамон.

«Карамон» — ака это заманчиво звучит. «Геройское». Уж там-то, наверное, настоящая жизнь.

Я сунул в карман глиняную свистульку, самодельную рогатку, надел праздничную рубашку и объявил, что готов.

Саифа завернула в платок кукурузную лепешку, платок подвесила к серпу и закинула его на плечо.

— Ну, пошли, сопливый! — И она довольно чувствительно ущипнула меня за щеку.

Когда по узеньким улочкам вышли мы к таинственной мечети, сзади послышался скрип арбы. На арбе сидел парнишка лет шестнадцати, Джумабай, и громко погонял, держа в руках хворостину, неторопливых волов.

— Эй, Джумабай! — сказала Саифа, встав посреди дороги.— Ты куда едешь? Довези нас тоже до поля. Наверно, с тобой придется мне возить пшеницу.

— Еду на Карамон,— проворчал Джумабай, раздраженный тем, что волы его едва брели.— На этих волах и до полудня не доберешься до Карамона.

— Шайтан побери твоих волов! — весело сказала Саифа и повисла на высоком борту, затем перекинула гибкое тело на арбу и втащила туда за руку меня.— Сопливый, пройди на середину и держись крепко,— распорядилась она строго, а затем с издевкой сказала Джумабаю: — Видимо, волы эти все в хозяина! Дай-ка мне хворостину. Если они не поскачут, точно кони, назову себя другим именем.

Саифа, оттеснив Джумабая, устроилась поудобнее и начала хлестать волов, весело покрикивая. Волы, брызгая пеной, раскачиваясь, стали ускорять шаг, и вскоре на-

ша арба уже неслась резво, оказываясь то на правой, то на левой стороне дороги. А Джумабай, довольный, улыбался оттого, что волы наконец точно проснулись, что гонит их какая-то неведомая сила и что рядом сидит такая необыкновенная девушка и удостаивает его, такого невзрачного и неприметного парня, своим вниманием. Я же радовался и сам не знаю чему!

Миновав Ходжа-махаллю, мы спустились к саю Угам. Затем поднялись на холм. Колхозные сады тоже остались позади — впереди лежало «Карамонское» поле. Поле это походило на глиняное блюдо, в середине которого была глубокая ложбина, где старики на волах молотили зерно, а на склонах холмов женщины жали пшеницу. Саифа спустилась с арбы, чтобы поздороваться с женщинами, а затем вернулась.

— Тихо, тихо, родимые, — сказала она ласково волам и потом юноше: — Джумабай, ты будешь снизу подавать снопы.

— А может, лучше мне укладывать? — спросил нерешительно Джумабай.

— Э, не стыдно тебе, парню, так говорить! — резко ответила Саифа, взбираясь на арбу. — А ну, подавай скорее. А ты, сопливый, иди собирай колосья.

Лицо Джумабая потускнело, ему, видно, было известно, что это за труд — подавать снопы. Тяжеловато. Я наблюдал за тем, как Джумабай железными вилами подает снопы, при этом ноги его подгибались под тяжестью груза, как Саифа ловко укладывает их, улыбаясь, перебрасываясь репликами то с Джумабаем, то с женщинами.

— А ну, сопливый, займись делом, — крикнула она мне, видя, что я пока не сдвинулся с места.

И тогда я набрал охапку колосьев и стал кормить волов, а они неторопливо, степенно жевали, благодарные мне за угощение.

Когда третья арба, наполнившись, отправилась к гумну, я вспомнил об обещании, которое дал Саифе, и принялся за настоящую работу. Но одно дело было собрать букет из колосьев и другое — собирать их и складывать в мешок. Тут только я понял, какой жаркий день стоит, — пот катил с меня градом, хотелось пить. Но нить было нельзя — обещал ведь Саифе быть мужчиной. И только когда спина совершенно перестала гнбаться, я позволил себе сделать перерыв. Саифа же с Джумабаем точно со-

ревновались: никто из них не хотел признаваться в усталости.

Когда наполнилась душистыми снопами очередная арба, Джумабай крикнул снизу:

— Хватит, а то опрокинется,— и принялся стягивать потный, прилипший к груди легкий полотняный халат.

— Подай, чего боишься?! — подзадоривала его сверху Саифа.— Давай уж набьем поплотнее!

Джумабай секунду подумал и вновь заработал руками, то и дело поглядывая наверх и ожидая крика сестры: «Хватит!»

Но вот уже и Саифа поняла, что арба переполнилась. Она подала Джумабаю знак остановиться, а я, чтобы как-то помочь сестре, которая качалась там, наверху, на снопах, точно былинка на ветру, решил отогнать мух, налипших на морды волов. Видно, я слишком усердствовал, и волы решили, что их погоняют.

Они замотали головами и резко потянули арбу. И тут же раздался душераздирающий крик — не ожидавшая рывка, Саифа не удержала равновесие и вместе с явно лишними снопами рухнула вниз. Первую минуту ничего невозможно было разобрать — Саифа барахталась под накрывшими ее снопами, Джумабай хлестал волов по мордам, пытаясь удержать их на месте.

— Сестрица,— я пытался помочь Саифе подняться. Но у меня на это не хватило сил, и она вновь откинулась со стоном на снопы.

— Нога,— проговорила она едва слышно. И тут я увидел, что пятка ее левой ноги окровавлена,— земля вокруг пропитывалась кровью.

Саифа, едва сдерживая слезы, гладила кожу вокруг пораненной пятки, словно ее нестерпимо жгло. Я не мог смотреть на искаженное страданием лицо Саифы, на кровь, капавшую на землю, у меня закружилась голова. Да что же этот недотепа Джумабай, думал я, не спешит на помощь, волы-то могут и подождать. Я подскочил к Джумабаю, потянул его за рукав, и он, смущаясь, наконец подошел к Саифе и растерянно уставился на рану, затем перевел взгляд на лицо Саифы.

Я опять решительно дернул его за рукав; Джумабай, словно опомнившись, крикнул: «Сейчас!» — и побежал на гумно, где работали старики.

— Скорее, скорее! — закричал я, увидев двух стариков, направлявшихся к нам.

— Как же ты, доченька, так неосторожно работала,— проговорил высокий старик, присаживаясь рядом с Саифой и рассматривая пораненную пятку.

— Детка, потерпи немного,— проговорил второй, но чувствовалось, что оба не знают, чем помочь.

— Пойду домой,— сказала, морщась от боли, Саифа.— Одна мама знает, что делать.

— Джумабай,— сказал высокий старик,— отвези ее домой. Бедная, лишь бы не осталась хромой.

Я почувствовал, что кто-то положил мне на плечо руку. Обернулся — сзади стоял тихий Касым. Секунду-другую он с неподдельным ужасом созерцал ногу Саифы, затем опустился рядом, осмотрел рану и сказал:

— Домой ее надо везти, рану срочно промыть следует.— И, обернувшись к Джумабаю, спросил: — Что же случилось?

— Упала с арбы,— ответил, отводя глаза в сторону, Джумабай.

— Что же ты, дурак, позволил девочке забраться на арбу! — сказал тихий Касым.— У тебя совесть есть? Что скажем теперь Арифехон? — Тихий Касым вновь повернулся к Саифе: — Сестренка, милая, сильно болит? Лучше бы твоя беда пала на мою голову. Я виноват. Собирался прийти и опоздал. Джумабай, давай сюда арбу, отвезем скорее домой девочку.

Посадив Саифу на арбу, повезли домой.

Мама, узнав о несчастье, переменялась в лице.

— Ох, несчастная я,— стала она причитать,— что буду делать, если моя красавица дочь отанется калекой?!

Саифу завели в дом и уложили. Мама с Магрифой растолкли в ступе голубиный помет, сожгли лук, приготовили мазь и приложили к ране.

Вскоре Саифа начала ходить, держась за стены, немного хромая. Мама с тоской смотрела вслед своей любимице и что-то шептала. Наверное, просила своего неведомого бога, чтобы он сжалился над ее дочерью.

...Саифа сначала держалась бодро, но время шло, а хромота не проходила. И так и этак пыталась сестра поставить ногу... И вдруг однажды, осознав, что это уже навсегда, разрыдалась. Разве сможет она теперь так же легко бегать, так же стремительно ходить? И что может быть ужаснее прихрамывающей девушки?!

Мы слушали эти причитанья сестры, и сердца наши

разрывались от горя. А я так остро чувствовал боль Саифы, что и сам стал, казалось, хромать.

О, как тяжело жить девушке с увечьем! Этот стон до сих пор стоит у меня в ушах.

ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ

Мы перебрались спать на айван. Днем была теплынь, а утром и вечером еще прохладно. Но уже стоял май, а значит, жизнь наша в основном переносилась на айван и во двор. Помню, в один из таких теплых дней мама во дворе молотила на подстилке колосья, мы с Камалом крутились возле, не то помогая, не то мешая.

— Мамочка! Давайте суюнчи! — с этим громким криком Саифа вбежала с улицы во двор.

Мама перестала работать, выжидающе, словно предчувствуя радость, уставилась на сестру.

— За что суюнчи, доченька?

— Война... Война кончилась! — кричала Саифа. — Наши победили!

— Правда? — Платок с маминой головы соскользнул на плечи. Она еще раз тихо переспросила: — Правда? — А затем опустилась прямо на землю и плечи ее затряслись от рыданий.

Не знаю, сколько просидела так мама, а мы молча простояли возле нее, но вдруг ее точно вихрем подхватило, она заметалась по двору.

— Слава богу! Мужчины возвратятся домой. Отец с фронта вернется! — кричала она, размахивая головным платком, подбегала то к Мазифе, то к Рихси, чтобы поцеловать их, то заключала в объятия Саифу. — Да быть мне жертвой за вас, дети мои!

Возбуждение и восторг мамы передались мне, и я с криком «ура» понесся по двору.

Скоро в нашем маленьком дворике стало тесно от радости, и мама, и сестры, весело толкаясь и оттесняя друг друга, пытались выбраться через калитку на улицу. А когда наконец выбрались, то не узнали свою узкую глинобитную улочку. Пулей выскакивали из распахнутых настежь калиток босоногие ребяташки, выбегали простоволосые женщины, опираясь на посохи, выползали древние старцы.

Весть облетела кишлак мгновенно. Но это была всего лишь весть, радио тогда ни у кого не было, разве что на

площади у конторы, и все хотели знать точно, ждали с надеждой и нетерпением подтверждения.

— Эй, правда, что кончилась война? — вопрошал наш сосед Алимбува.

— Кто сказал? Кто это сказал? — допытывалась тетушка Ибо.

— Ариф-апа, дожили и мы до светлых дней, — это был хриплый голос соседки Махи-хола.

— Махи, голова у меня кружится, в глазах темнеет, — это уже говорит мама, — дайте глоточек воды.

— Помогите дедушке Хусану, он так спешил на улицу, что упал. — Я не узнал этот грубый голос.

А вскоре все голоса слились в сплошной гул.

— Чего ты стоишь! Слышишь, сестрица, война... война кончилась! Одолели врага, чтоб земля поглотила его!

— Если бы не одолели... Кончился бы наш род!

В этом гуле и толчее уже невозможно было понять, кто что говорит, кто смеется, кто плачет. У меня поплыло, замельтешило все перед глазами, закружилась голова.

И вдруг над дувалами улочки повис чей-то звонкий призыв:

— В контору! Надо идти в контору.

Все разом смолкли, как бы взвешивая предложение, и, придя к выводу, что оно разумно, устремились, кто бегом, кто шагом, на площадь.

Мы, ребятишки, конечно, неслись с победными криками впереди.

И не узнали свою старенькую площадь.

Она бурлила от страстей и эмоций!

Казалось, ничто не сможет устоять перед этой лавной человеческих чувств! Это было как обвал, как мощное движение селя.

Какими же должны были быть страдания этих людей, думал я ошеломленно, если радость их безмерна?! Разве может с этой радостью сравниться радость невесты, ждущей свадебного тоя, или радость матери, увидевшей своего первенца? Может быть, это сравнимо лишь с радостью человека, знающего, что он умирает, и воскресшего из мертвых?!

Я не сводил глаз со своей мамы. Наверное, откуда-то с неба падал на ее лицо преобразивший ее свет. Как выразить ей счастье женского, материнского сердца, в котором вострепнулась надежда. Вернется муж, отец ее детей, и жизнь снова наполнится смыслом.

Но не только о своей радости думала мама в эти минуты. Глаза ее были обращены к старшей дочери — Магрифе, к которой она всей душой желала счастья.

Магрифа же с Камалом на руках переходила от одного к другому и тихо повторяла: «Отец мой приедет», но не смела сказать: «Мой муж». Хотя по ее глазам было видно, что она больше думает, конечно, о возвращении Зиятбая, а не отца. Саифа крепко держала за руки Мазифу и Рихси, чтобы их не затолкали. У Рихси сами собой текли из глаз слезы. О чем думала она, что вспомнила, на что надеялась?!

Кто-то дернул меня за рукав, кто-то толкнул в бок — это были мои приятели. Я для солидности шмыгнул носом и объявил: «Отец привезет мне пистолет». Но дослушивать это известие уже было некому — мальчишки нырнули в самую гущу толпы.

А правда, было бы здорово, если бы отец привез мне настоящий пистолет, подумал я. «Отец, наверно, приедет на машине, — скончательно размечтался я, — в машине будут и другие военные, но главным среди них все-таки будет отец. Машина вылетит со стороны верхней махалли и, визжа тормозами, остановится в центре площади. Я растолкаю всех встречающих, повисну у отца на шее и скажу: «Мы ждали вас, мы плакали. Больше всех плакала мама, нет, я плакал больше. Нет, лучше скажу, мы вместе плакали». А отец, выпятив грудь с орденами — обязательно у него будут ордена, разве может человек, одержавший победу, вернуться без орденов, — подкиннет меня своими сильными руками и скажет: «Мой Анварджан! Ну-ка обними меня крепче. Вот и война кончилась, вернулся я, победив врага. Привез вам удивительные подарки. Вот этот пистолет тебе». И тогда Исамитдин лопнет от зависти и «генералом» его выбирать не станем уже никогда. Я сам поведу «солдат» в верхнюю махаллю, там мы возьмем «врагов» в плен, а когда начнется пора тоев, получим массу приглашений на плов.

Когда отец станет меня целовать, его усы будут щекотать мне лицо, — так было, когда зять Зиятбай нас целовал, но я все равно вытерплю. Интересно, а что скажет отец, увидев Рихси?

И я уже был готов к встрече героев. Однако в этот день никто не вернулся с фронта. Лишь через месяц стали появляться в нашем кишлаке фронтовики. Но среди них не было ни отца, ни зятя Зиятбая.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА

Время шло, наши все не возвращались. Весь кишлак жил в тревожном ожидании. Все разговоры в нашей семье начинались с одной фразы: «Вот когда вернутся стец и Зиятбай...» Каждый стук в калитку мы воспринимали предвестником долгожданной радости.

Вечер был как вечер. На улице уже стемнело, но еще слышался гомон детворы, игравшей в «белую кость».

Из всех дворов тянуло дымком и запахом постной похлебки.

Раздался стук в калитку, и мы разом поняли — это кто-то из наших фронтовиков. Стук был громкий, радостный, какой-то призывный. Мама, сестры, мы с Камалом на какое-то мгновение опешили, неуверенно и с надеждой переглядываясь, и вдруг как по команде ринулись к калитке, в которую вновь постучали нетерпеливо и требовательно.

— Кто там? — Мама, оттеснив сестер, что есть силы толкала калитку в сторону улицы.

— Открывайте скорее, готовьте суюнчи! — послышался незнакомый, но приятный голос.

— Папа приехал! — заорал я, дергая за подол то Рихси, то Мазифу.

— Мама! — сказала Саифа все еще растерянно мечущейся маме. — Калитка-то во двор открывается.

— Совсем выжила из ума! — воскликнула мама, отпрянула назад и дернула калитку.

На улице стояло двое мужчин: один высокий, заслонял собою весь проход. Его лицо сияло.

— Вот принимайте герся, — сказал он и отступил в сторону.

И я увидел невысокого человека, стоявшего с растерянным видом. Это был отец.

Мама рванулась птицей навстречу, но не решилась броситься на шею, даже поцеловать — ведь рядом стоял неизвестный мужчина.

— Приехали, приехали... — шептала она и прикладывала кончик платка к глазам.

— Как твое здоровье? Как дети?... — И отец тоже, видимо, постеснялся гостя, только и сделал, что погладил маму по голове.

И они стояли молча, жадно и радостно разглядывая друг друга. Но сестры нарушили эту святую тишину. Пригсваривая ласковые слова, они стали обнимать и целовать

отца. И тут уж он не скупился на ласки. Мне не хотелось затеряться среди этого шума и гама, и я стоял в сторонке и ждал. Ждал, когда освободятся руки отца, о которых я столько мечтал.

Наконец он обратил на меня внимание, просто и нежно сказал:

— Сынок, ты что, не узнаешь меня?

И вот тут-то я бросился ему на шею. Еще вчера, мысленно проигрывая встречу, я боялся, что задохнусь от его грубых усов. Но вышло наоборот — лицо отца было гладкое, мягкое, какое-то все уютное, я прижался к нему щекой и ни за что не хотел, чтобы отец опускал меня на землю.

Но ведь был еще Камал, и отец поступил по справедливости, он и племянника вскинул вверх, а потом взял нас обоих крепко за руки да так и вошел во двор.

И опять в нашем маленьком дворике началось кружение и суета, как в день приезда Зиятбая-ака. О госте совсем забыли, а ведь это был человек из района.

Первой спохватилась Магрифа. Она расстелила на сурь курпачи и усадила на почетное место гостя и отца. Я сразу же забрался к отцу на колени и принялся рассматривать его, мешая общаться с гостем, и с мамой, и сестрами.

У отца было необыкновенно живое лицо, на нем тут же отражались все чувства и мысли, владевшие им в данную минуту. Если говорили о чем-то радостном, веселом, лицо его озарялось детской чистой улыбкой, если переходили на тяжелые воспоминания, глаза его наполнялись печалью.

Мама, оказывается, написала ему о пропавшей посылке, и отец, рассказывая эту историю гостю, свел все к шутке. «Стоит ли печалиться из-за тряпок», — сказал он, и они с гостем весело рассмеялись. Но вот когда речь зашла о смерти Эркина, отец так сильно изменился в лице, что я испугался. Но не только гостя занимал отец, никого не обделил он своим вниманием. Все ему было интересно и важно. Вдруг взгляд его остановился на Рихси, и он спросил:

— А кто эта девочка? Она мне, кажется, незнакома.

Рихси жалобно посмотрела на всех нас, и на глазах ее показались слезы. Она, видимо, ждала, что отец назовет ее дочкой, у нее и в мыслях не было, что он скажет — «мне незнакома эта девочка». Рихси растерянно переводила взгляд с одного на другого, не зная, что сказать. Больше

всего ей, наверное, сейчас хотелось вскочить и убежать или, вцепившись в мамин подол, разрыдаться.

— Это наша сестра,— ответила отцу Мазифа,— мама ее привела.

Отец смущенно улыбнулся,— он понял, какую ошибку допустил, и сказал ласково:

— Извини, доченька милая...

И уж тут-то Рихси разрыдалась, но теперь, видно, оттого, что отец назвал ее совсем по-родному: «Доченька милая».

Открылась калитка, и вошли, прикрывая лица платками, соседки. Они здоровались с отцом, вышедшим им навстречу, плакали. А я опять думал над тем, почему же они плачут, ведь в доме нашем такая радость.

Немного погодя пришли руководители колхоза. Они выделили в честь приезда отца барана, мешок муки, полмешка риса. Джумабай привез все это на своих ленивых волах. Когда привезли колхозные подарки, мы наконец вспомнили, что отец при встрече поставил у калитки маленький сундучок с ручкой наверху. Бросились с сестрами на улицу, сундучок стоял на месте. Саифа подхватила его, внесла на айван и попыталась открыть. Но сундучок был на замке. Саифа не стала отрывать маму и отца от гостей, она велела принести ей нож и вскрыла сундучок. Там, как мы и ожидали, были подарки.

— Ну-ка, цыплята,— сказала сестра,— получайте подарки.

Для меня отец привез новый костюм, видно, взамен украденного. Я облачился, несмотря на жару, в брюки и пиджак и важно засунул руки в карманы.

Первое, что мне хотелось сделать, показаться отцу, но он был занят гостями, и тогда я сел в сторонке и стал ждать, когда он вновь обратит на меня внимание. А если и не обратит, то что за беда — он же вот, рядом. Захожу — подойду, прижмусь к нему. И завтра он будет рядом — и всегда!

Около полуночи подали плов, и гости разошлись уже где-то под утро. Я лег с отцом на айване. И сон мой был таким уверенным и счастливым, что мне даже ничего не снилось.

Утром, когда проснулся, отец с гостем уже пили во дворе чай. А ближе к полудню он проводил гостя. И только тут я окончательно успокоился — теперь-то уж отец целиком принадлежит нам. А рассказать ему надо мно-

го: и про то, как храбро мы с Мазифой сражались с волком, и о том, как горевали, потеряв свою кормилицу-козу. А как же умолчать об Артыкбае-воре?! И тех неожиданных дней, когда гостил в доме Знятбай-ака. Надо повиниться, снять тяжесть с души, поведав о том, как не уберегли мы маленького Эркина...

Но ничего этого я отцу не рассказал. Не смог, не сумел. Я лишь ходил за ним целыми днями следом и, когда выпадало счастье, крепко брал его за руку. Так было все-таки спокойней.

ЗДРАВСТВУИ, ШКОЛА!

Все лето кишлак жил в радостном возбуждении — ждали и встречали фронтовиков. Мальчишки всех трех махалей успевали на празднества в каждый счастливый двор. Играли только в командиров и разведчиков, хвастались бсевыми заслугами своих отцов и братьев.

Но ближе к осени тема наших разговоров изменилась. Друзья мои — ровесники и постарше — объявили, что пойдут в школу, но не в старую, в которой занимались дети кишлака, а в новую, которую откроют специально для новичков, так как старая маленькая и всех желающих учиться не вместит.

Я с жадностью слушал эти новости и мечтал о новой школе — я представлял себе ее в виде дворца, подобного тому, в котором живут пери. Да и разве в таком костюме, какой привез мне отец, можно идти в какую-то старую школу!

Сестры мои — Рихси, Мазифа — стали особенно ласковы с мамой, и вскоре я понял почему — они просили сшить им школьные сумки.

Я тоже решил добиться школьной сумки и буквально не давал маме прохода. И наконец она сдалась.

У нее была старая швейная машинка «Зингер», до войны она немного шила — себе, соседкам. Но когда началась война, женщинам стало не до нарядов, и машинка была отставлена до лучших времен. И вот мама всю ночь шила нам из желтого с крупными листьями ситца сумки. Завязки на сумках были красного цвета, что украшало их. Осталось только дожидаться того дня, когда можно будет идти в школу.

Накануне первого сентября Саифа стала нас, будущих школьников, приводить в порядок. Сначала принялась за

сестер. Нагрела воды, намазала им головы кислым молоком, промыла с мылом, которое привез отец, и заплела Мазифе волосы в мелкие косички. Затем схватила меня, и моя бедная голова подверглась тем же процедурам. Когда Саифа смывала кислое молоко и мыло, то так мотала мне голову, что я боялся, как бы она не оторвалась. А сестра приговаривала:

— Пропади пропадом твоя голова, уж такая большая, чтобы вымыть ее, надо палваном быть.

Мыло попало в глаза, голсва вот-вот готова была оторваться, но я все терпел, боясь, что иначе меня не пустят в школу и отберут прекрасную ситцевую сумку.

Наступило первое сентября. Саифа подняла нас с первым щебетом птиц. Мы чинно сидели за дастарханом и пили чай, а мама и старшие сестры без усталости напутствовали нас. Наконец мне позволили надеть костюм и перекинуть через плечо свою роскошную сумку. Саифа, прихрамывая, вошла в дом, а затем вышла с книжкой и тетрадь в руках.

— На, головастый! Учись хорошо! — сказала она, укладывая букварь и тетрадь в сумку.

Я знал, что тетради в нашем кишлаке были большой редкостью, и мне захотелось поцеловать Саифу за такой царский подарок.

Сумка с букварем и тетрадкой, словно крыло, поднимала меня от земли. Мне казалось — я лечу, а не иду в школу. Я даже хотел было закричать что-нибудь радостное, но подумал, что, наверное, теперь не имею права этого делать. Скорее всего следует «действовать» по-военному — четко и размеренно. Но по-военному не совсем получалось, потому что то и дело сумка моя как-то сама собой металась с одного плеча на другое, а ноги то и дело заставляли меня бежать вприпрыжку. Правда, я тут же спохватывался, напускал на себя вид «образованного» человека и начинал опять шагать размеренно — попутно то снимая с костюма невидимую пушинку, то солидно поглаживая сумку, где лежала тетрадь.

Когда я выходил уже с нашей узкой улочки, услышал голос Саифы:

— Эй, сопливый, подожди, сама поведу тебя.

Но я, сделав вид, что не слышу, двинулся дальше. После того, как миновал арык, встретил своих друзей — Турдибая, Самада, Миравлода и Абдурасула. Я был среди

них самым нарядным, самая красивая сумка была тоже у меня. Саифа все-таки догнала нас.

— Вы что, не знаете, что будете учиться не в старой школе, а в той, что открывается в Голубой мечети средней махалли. А ну идемте!

Сообщение о Голубой мечети немного расстроило меня — я-то думал, что иду во дворец.

Площадь перед Голубой мечетью была наполнена людьми. Возле одностворчатой двери здания, выходящей на север, стояли четверо мужчин и какая-то русоволосая женщина с тетрадью в руке. Это, как сообщила Саифа, были наши будущие учителя. Один из учителей взглянул на часы и вышел на площадь к народу. Он объявил, что здесь, в Голубой мечети, так как нет пока здания лучше, открывается школа для малышей. Затем вышел вперед красивый белолицый человек и, заглядывая в тетрадь, стал делать перекичку. Я все боялся, что он прочтет что-то не так и пропустит мое имя, и вздрогнул, когда услышал — Анвар...

Затем он представился и сказал, что будет нашим учителем. А звать его можно просто — Мирали-ака.

— А теперь, хуш келибсиз¹, — и Мирали-ака завел нас в школу.

Мечеть наскоро перестроили. Узкий коридор разделял ряд маленьких комнат. Мы вошли в крайнюю комнату с левой стороны. Комната была, как и коридор, узкая, но высокая. Одно небольшое окно выходило на улицу. И хотя это далеко был не дворец, комната мне все-таки понравилась.

— А теперь садитесь, дети, — разрешил Мирали-ака, и мы, толкаясь и оттесняя друг друга, кинулись к первому длинному столу и тесной гурьбой уселись на скамье.

Мирали-ака улыбнулся, но рассаживать нас не стал.

— Первый урок начнем со знакомства с родителями. Каждый, кого я подниму, не спеша назовет имя своих родителей, скажет, где и кем они работают.

Мы дружно закивали, а кто-то даже выкрикнул: «Ладно». И опять Мирали-ака улыбнулся, но замечания делать не стал.

О родителях все говорили охотно и складно, и учитель решил:

— Молодцы, ставлю всем вам пять. А теперь начнем

¹ Хуш келибсиз — добро пожаловать.

занятие. Сначала прослушайте внимательно то что я скажу вам, а затем все вместе повторите за мной. Итак... Отец и мать — самые дорогие, уважаемые люди. Повторите.

— Отец и мать — самые дорогие, уважаемые люди! — дружно согласились мы с учителем.

— Уважать их — наш святой долг!

— Наш святой долг...

— Прекрасно работаете, молодцы!

— Прекрасно работаете... — начали повторять мы, но Мирали-ака остановил нас.

— Это вам оценка. А когда нужно будет отвечать, я скажу. Вот теперь повторите: «Наш родной край — Узбекистан!»

— Наш родной край — Узбекистан!

Мы и на этот раз ответили дружно, но Мирали-ака не похвалил нас, а молча минуту-две смотрел на свой класс. Видимо, он давал нам время осознать смысл произнесенных нами слов.

— Все мы родились на этой земле. Могилы наших предков тоже на этой земле. Поэтому земля эта дорога всем нам!

На этот раз кое-кто сбился, и учитель терпеливо заставил класс повторить это дважды.

— Узбекистан — часть нашей великой Родины — Советского Союза.

— ...Советского Союза.

— Есть на свете одно великое имя — Ленин. Этот человек принес нам свободу!

— ...великое имя — Ленин!

И опять на какое-то время в классе воцарилась тишина. Мы думали.

Наконец Мирали-ака весело спросил:

— Ну как, понравился вам первый урок?

— Понравился, — уже слаженным хором ответили мы.

— Теперь все это повторите дома, завтра спрошу...

Ребята по возможности чинно вышли из школы и уже на улице, весело толкаясь и дергая друг друга за сумки, рассыпались в разные стороны. А мне почему-то не хотелось ни толкаться, ни ставить подножки. Я все еще повторял за Мирали-ака: «отец и мать», «Узбекистан», «Ленин».

Как только зашел к себе в калитку, навстречу выбежала мама, прижала к себе:

— Ну-ка, чернявый, расскажи, что ты выучил сегодня? Я только и ждал этого вопроса и так, словно передо мной не мама, а учитель и я отвечаю на его вопрос, громко сказал:

— Отец и мать — самые дорогие люди! Узбекистан — родной край! Великое имя — Ленин!

— Боже мой! — воскликнула мама. — Если за один день столько выучил, что же будет через год?! Сам станешь учителем.

Я скромно молчал, хотя против того, чтобы самому стать учителем, ничего не имел.

А мама все продолжала меня обнимать, повторяя:

— Жеребеночек мой... Ну-ка скажи, скажи еще раз, чему вас научили.

И я без усталости звонко и радостно восклицал: «отец и мать», «Узбекистан», «Ленин»!

МОЛЧАНИЕ

Война кончилась. Но не для всех. Она кончилась для тех, кто вернулся с войны, для их счастливых семей. А для тех, кто не вернулся с поля битвы, для их отцов и матерей, жен и детей она не кончилась. Отец наш вернулся, и для мамы, Саифы, Рихси, Мазифы, меня и самого отца война кончилась. А вот для сестры Магрифы и ее сына Камала, для не пришедшего с фронта зятя Зиятбая она все еще продолжалась.

Дома тех, кто вернулся живым, наполнились теплом и смыслом. А тех, кто не вернулся?! Их продолжали ждать. Каждый вечер на площади возле колхозной конторы собирались матери невернувшихся сыновей, жены непршедших мужей.

Магрифа, взяв за руку Камала, точно на вторую смену, каждый вечер шла к конторе. Возвращалась с печальными глазами, тихая, неразговорчивая. Приезд отца и обрадовал ее и опечалил — ведь она-то ждала, что вернется он вместе с Зиятбаем.

Как-то, уже в поздний час, вся семья наша сидела вечером во дворе за вечерним чаем. Вдруг каждый из нас прислушался — показалось, в калитку постучали. Стук повторился, и был он столь нерешительным, что сразу же заставил сердце забиться в предчувствии недоброго. Отец кивнул мне, и я направился было к калитке, но властный голос Магрифы остановил меня:

— Эй, подожди. Я сама это сделаю.

Она подошла и каким-то отчаянным жестом распахнула калитку. Стоявший на улице секретарь сельсовета Миркабул входить во двор не спешил. Лицо его выражало растерянность и смущение.

Магрифа молча и выжидающе смотрела на Миркабула.

И тогда тот виновато пробормотал: «Вот», и протянул сестре вчетверо сложенный листок бумаги.

— Что это? — Магрифа взяла бумагу, но открывать не решалась. — Говори!

— Это... это... — Миркабул озираясь по сторонам, точно искал поддержки. — Это... письмо, — наконец выдал он из себя.

— Какое письмо? Почему говоришь «это»?.. — Магрифа схватила Миркабула за руку. — Отвечай, что за письмо?

— Вы не волнуйтесь, то есть я хочу сказать... ваш муж... — Миркабул замолчал и затравленно уставился на меня, словно просил: «Да скажи своей сестре, пусть отпустит душу на покаяние, не виноват я».

А Магрифа, сразу женским сердцем своим почуяв беду, словно обзумела. Она трясла, точно орешину, Миркабула и требовала:

— Говори, что случилось?

— Похоронка на вашего мужа!.. — в отчаянье закричал Миркабул и заплакал.

— Что?.. — Магрифа с такой злостью толкнула Миркабула, что он едва удержался на ногах. — Дурак! Ты думай, что мелешь! Какая похоронка — война давно кончилась. — Она все больше свирелела. — Я тебе покажу, негодяй, похоронку!

Отец, мама и сестры бросились к калитке, стали оттаскивать от перепуганного насмерть Миркабула обезумевшую Магрифу. А та, вцепившись мертвой хваткой в воротник парнишки, продолжала кричать:

— Вы слышите?! Этот щенок принес похоронку на моего мужа. Что я ему плохого сделала?!..

Мама обняла за плечи, тихо сказала:

— Доченька, отпусти парня, он не виноват. Где бумага?

Я поднял с земли истоптанное письмо, протянул маме. Мама подержала в дрожащих руках и протянула Саифе:

— У тебя глаза молодые.

Саифа развернула бумагу, молча прочитала и сказала:

— Зять...

И мы сразу все поняли.

— Царствие ему небесное! — мама провела ладонями по лицу и вновь обняла Магрифу.

— Мама!.. — вырвался у той вопль из груди.

— Доченька, возьми себя в руки, — говорила тихо и ласково мама. — Что соседи скажут!

Возле нашей калитки действительно уже собрались люди, и Миркабул им что-то испуганно объяснял.

Мама увела Магрифу в дом, а отец протянул к Саифе руку, взял письмо и громко прочитал:

— «Холов Знятбай... На земле Чехословакии... в бою против врага пал смертью храбрых...»

Отец покачал головой, он не мог понять, почему же так долго шло это «черное» письмо.

— Как же так вышло? — обратился кто-то из соседей к отцу, но он, не ответив, ушел в дом.

А Магрифа, отпустив Миркабула, начала обвинять маму.

— Вы во всем винсваты, — сказала она, высвобождаясь из маминых объятий. — Я сделала невозможное, залечила рану Камала. И для чего? Чтобы враги убили его? Уж лучше бы вы тогда не мешали разрубить ему ногу. Хоть и был бы калека, да зато живой!

— Опомнись, доченька... — сказал отец Магрифе. — Лучше честно пасть в битве с врагом, чем стать калекой из трусости! Твоя мать никогда не позволила бы так скатываться...

И тут Магрифа зарыдала.

— Потеряли мы отца, — причитала она, прижимая к себе Камала. — Все глаза проглядели мы, ожидая его, но не вернется он никогда!

Слезы облегчили ей душу, вернули способность мыслить, и она наконец сказала те слова, которых мы все от неё ждали:

— Камал, сынок, твой отец погиб героем!

Утром Магрифа надела все синее, мама повязала синий платок, в нашем доме начался траур.

УРОК ДОБРОТЫ

Наступила зима. Еще несколько дней назад все было в мире иначе — оголтелые воробьи шумными стаями носились над желтыми садами, роняющими на уже холодную

землю листья: вороны, срывая спелые орехи, оставшиеся после сбора урожая, раскалывали их сильными своими клювами, съедали зерна и сбрасывали вниз кожуру. Но вдруг теплый ветер резко сменился холодным, куда-то разом исчезли воробьи, наохлились на оголенных деревьях вороны, закружились в воздухе первые снежинки, пришла пора белых снегов. И теперь было уже неизвестно, что для нас важнее — школа с ее открытиями или ледяной каток на площади, откуда мы возвращались домой с посиневшими носами и окоченевшими руками.

Удивительное началось время. Вот это удивительное время и подарило мне светлые, как белый снег, чувства...

Папа давно уже собирался пойти на работу, но мама находила тысячу причин, чтобы еще хоть немного удержать его дома. Дело кончилось тем, что отец стал сердиться и наконец как-то объявил вечером:

— Оказывается, на колхозной ферме нужен учитель. Никто не соглашается идти туда. Сказал, что я пойду.

Мама всплеснула руками:

— Только вчера вернулись вы с фронта, дети еще вдоволь не нагляделись на вас. Вы бы сначала подумали, прежде чем соглашаться. Да и мыслимое ли дело — колхозная ферма! Расстояние немалое. Легко ли будет ходить по снегу, по холоду туда и обратно. Дорога плохая, волки рыскают.

Отец, видно, все уже решил, но хотел по-хорошему, мирно добиться согласия мамы.

— Любишь ты придирается по пустякам, — сказал он шутливо. Но тут же стал серьезным. — Там, на ферме, есть дети, оставшиеся без отцов. Сам был сиротой, знаю, что это такое — сиротство, малограмотность. Детей должен кто-то учить. Если когда задержусь, заночую там. У чабанов.

Мама покачала головой, ох как ей не хотелось отпускать его из дома, но, видя решительность отца, стала сдаваться.

— Кто же вам будет там готовить? — спросила она, прибегая к последнему женскому аргументу. — Кто лепешки испечет?

— Как? Разве ты не знаешь моих способностей, — улыбнулся отец. — Да я лучше тебя пеку лепешки. Чем только не приходилось заниматься мне в сиротстве.

И мама вынуждена была дать согласие, чтобы отец пошел учителем на колхозную ферму.

Как мама и предполагала, дорога действительно оказалась тяжелой. Уже через неделю отец стал оставаться ночевать. Домой возвращался по суббстам. Усталый, но радостный. И часами мог рассказывать о своих учениках. Со всех ближайших отделений он набрал двенадцать ребятшек, дела в «школе» налаживались.

Мама эти разговоры слушала неодобрительно, ее явно что-то мучило. Что именно, мы вскоре узнали, так как в доме разразился скандал. Колхоз отцу давал карточки. По ним выдавались ксе-какие продукты, но главное — мука. После ухода отца на ферму, муку пришлось делить. Мама и так-то была против работы отца на ферме, а тут еще вдобавок дележ муки, явно сказывавшийся на семейном благополучии. И она не выдержала, сорвалась:

— Преподавали бы здесь, не пришлось бы делить муку, было бы выгоднее,— сказала сердито мама.— Еще не поздно, возвращайтесь в кишлак. Если учителям, которые не могут сопли подтереть, нашлась работа, то вам не найдут, что ли?

— Эй, чтоб ты разбогатела,— попытался отшутиться отец. Но, видя, что мама злится всерьез, стал объяснять ей:— Дело не в том, найдется или нет мне место в кишлаке. Если захочу, завтра же меня назначат директором. Ни у кого нет ордена, а у меня есть. Просто некому работать на ферме. А там дети — их учить надо.

— Если бы стояли твердо на своем, как другие, не послали бы вас,— не унималась мама.— Что, кроме вас, нет никого? На фронт вы ушли добровольцем и тут хотите...

— Хватит,— оборвал ее резко отец.— Прекрати. Иначе вообще не буду приходить с фермы.

Мама тут же умолкла, по-видимому, угроза отца напугала ее. На этом спор закончился, и никогда уже больше вопрос о муке не обсуждался в нашей семье.

Когда отец возвращался, я буквально «прирастал» к нему, и стоило ему присесть у сандала, я устраивался рядом и принимался за расспросы. Отец, уставший после долгой дороги, с удовольствием грел ноги у сандала и, чуть прикрыв глаза, рассказывал мне о бескрайнем белом поле, тянувшемся по краям дороги, о волках и лисах, рыщущих в поисках добычи. О сайгаках, которым трудно переносить жестокие холода. Все это было захватывающе, и мне захотелось во что бы то ни стало попасть на далекую и так богатую событиями ферму. Хотелось увидеть волка, лису, сайгаков. Я стал умолять отца взять меня с собой. Отец

просьбе не удивился. Он внимательно посмотрел на меня, подумал о чем-то и наконец кивнул — ладно.

Вечером мы вышли в путь. День выдался теплым, выглядывало солнышко, и снег кое-где подтаял. Даже к вечеру не похолодало. Я с удовольствием шагал по дороге и все ждал, когда же появятся волки, лисы, сайгаки. Но пусто и тихо было в поле, на дороге. Вскоре я притомился, и отцу пришлось какую-то часть пути нести меня на спине. Я даже вздремнул было, но громкое мычание коров, блеянье коз и овец известило, что мы прибыли.

Отец опустил меня на землю и завел в длинный-предлинный, широкий-преширокий, с четырех сторон обнесенный глинобитной стеной двор фермы. Навстречу выбежала свора собак, но, узнав отца, сразу повернула обратно. В дальнем углу двора были пристройки. Мы вошли в какую-то мрачного вида комнату. Видимо, здесь раньше никто не жил — стены были не оштукатурены, пол — земляной. В правом углу комнаты стоял сандал, покрытый ватным одеялом, в левом — железная печка, в нише лежали сито и подстилка для просеивания муки. На глухой стене висела небольших размеров черная доска. Отец перехватил мой удивленный взгляд и сказал, что эта комната и есть школа. Школа мне не понравилась, но что обрадовало, так это обилие дров. Отец разжег печку, насыпал в сандал жару, и комната стала прогреваться. Он заварил чай в черном от копоти кумгане. И чай этот мне показался ароматным и вкусным. Спать легли на ветхие курпачи.

Утром, когда открыл глаза, увидел, что отец, расстелив скатерть, просеивает муку. Немного спустя, засучив рукава, начал месить тесто. И я удивился. Много раз наблюдал я за тем, как это делают мама и Магрифа. Но отец все это совершал просто мастерски. Все движения его были экономны, расчетливы и несуетливы. Замесив тесто, он завернул его в скатерть и вышел наружу. Немного спустя вернулся, развернул скатерть и вновь промесил тесто, затем попробовал на язык соль и разделил на части. Пересчитал. Один раз, другой.

Увидев, что я за ним наблюдаю с немим вопросом в глазах, объяснил:

— Одной недостает.

Он собрал все кусочки, вновь перемесил тесто и снова разделил.

— Почему вы так делаете? — не выдержал я.

— Так падо, потом узнаешь, — уклонился он от ответа.

Наконец тесто было поделено на четырнадцать частей. Раскатано в лепешки. В тандыре уже горели угли, и начался самый ответственный момент — выпечка.

Когда в меру румяные, ароматные лепешки появились на дастархане, я не выдержал и схватил одну. Но отец попридержал мою руку и сказал:

— Не спеши, сынок. Я тут не один. У меня есть друзья. Мы завтракаем все вместе. Потерпи немного, скоро они придут. Слышал, говорят: «Отбившегося от стада съедает волк»?

— Слышал,— ответил я рассеянно, так как думал о другом: «Что же это за друзья и сколько их здесь у отца?»

Отец, завернув в чистое полотенце лепешки, положил их в нишу. Затем вынул раскаленные угли из тандыра и выложил в сандал. Вымыл с мылом руки. И стал ждать.

— Не балуйся, когда придут мои друзья,— попросил он меня.— Чтобы не говорили, что у дамло¹ сын озорной.

— Ладно,— успел лишь сказать я и тут услышал во дворе веселые голоса и какую-то возню у двери. Отец открыл дверь.

— Здравствуйте! Доброе утро! — раздались крики детей, и в этих криках можно было едва разобрать приветливый голос отца: «Пришли, мои хорошие? Очень соскучился по вас». Я осторожно выглянул во двор. Дети примерно моих лет буквально облепили отца — кто висел на шее, кто на руках, а отец приподнимал их, кружил. Наконец ребята увидели меня и, словно по команде, смолкли. С немym вопросом в глазах повернулись к отцу.

— А это и есть мой сын Анвар, о котором я вам говорил,— сказал отец.

Ребята осторожно приблизились ко мне, оглядели с интересом. Они улыбались. Кто-то погладил меня по щеке, кто-то дотронулся до плеча. Я же стоял преисполненный гордости и важности оттого, что привлек к себе внимание. Оказывается, это почетно быть сыном учителя.

— Анвар-ака,— прошептал какой-то смуглый мальчик.

— Как тебя зовут?— спросил я его, немного смущаясь.

— Анварбай,— сказал отец,— вот это мои друзья, о которых я говорил тебе только что. Ну-ка, познакомься.

Мы стали знакомиться, и дети сначала робко, а затем все свободнее спрашивали меня.

— Вы будете дружить со мной?

¹ Д а м л о — учитель.

— А со мной?

— Буду дружить,— ответил я.— Со всеми буду дружить.

И тогда обрадованный отец завел всех в класс.

— Ну, занимайте свои места,— сказал он, а сам достал из ниши дастархан с лепешками.— Анварбай, ты тоже садись рядом со своими друзьями.

В комнате воцарилась тишина.

— Сейчас даст хлеб,— прошептал кто-то.

— Так,— отец раскрыл дастархан.— Кто первый сегодня? С кого начнем?

— Я возьму,— ответила худенькая девчушка и подошла к отцу.

— Вот,— отец дал девчушке лепешку и поцеловал.

Другие ребята тоже, выходя, по очереди взяли свою долю. Очередь дошла до меня.

— Анвар! — Услышав голос отца, я вскочил.— Это тебе.

— Спасибо,— сказал я, взяв лепешку, и покраснел. Потому что я впервые вот в такой обстановке брал хлеб из рук отца. Взять-то взял лепешку, но, вернувшись на свое место, задумался, не зная, что делать. А дети не торопясь ели хлеб.

— Вот это мне,— сказал наконец отец, взяв с дастархана оставшуюся лепешку, отломил немного и положил в рот.

Я проголодался, но, несмотря на это, может быть, потому, что отец не съел свою лепешку и я был гостем, решил не есть хлеб. Теперь мне стало понятно, почему отец удержал меня за руку, когда я хотел отломить кусок от лепешки.

Дети съели хлеб, и, довольный, отец начал урок. Дети все еще учились писать буквы, отец на доске, подвешенной к стене, написал буквы «А», «Б», «В», «Г». Несколько раз прочитал. Потом начал вызывать ребят. Заставлял написать, прочесть. За это время два раза делал перемену. Выйдя во двор, мы весело и непринужденно играли. Одним словом, подружились.

После уроков дети не хотели уходить, не хотели расставаться с отцом. Отец, поцеловав каждого, проводил домой.

Когда мы возвращались в кишлак, отца остановил старик с белой бородой, погонявший коз и овец.

— Не скучно вам здесь, сынок? — спросил, опираясь на посох.— Заходите к нам в гости. Не будьте таким стеснительным. Дети полюбили вас. Как только откроют гла-

за, сразу бегут к вам. Лишь одно не по душе нам... Зря вы от своих детей отрываете кусок...

— Не понимаю вас, ота? — смущенно проговорил отец.

— Говорят, вы из своей муки печете детям лепешки, — продолжал старик. — Мы вам должны помочь.

— Хусан-ота, — сказал отец, поняв, о чем ведет речь старик, — война кончилась. Кончилась победой. Это наш успех. Скоро и хлеба будет много. Я сам рос в сиротстве. Люди пригрели меня. Если даю детям хлеб, то даю от чистого сердца. Ведь среди моих учеников тоже есть сироты.

— Пусть будет вам счастье в жизни, — старик похлопал отца по плечу. — Мясо есть. Хлеба маловато... Мясо, оказывается, не может заменить хлеба. Дети, в надежде получить хлеб, ходят в школу.

— Хусан-ота, я сам был на войне. Пусть больше не повторятся те страшные дни, — сказал отец. — Я плакал, глядя на страдания детей. Еще тогда поставил перед собой цель: если вернусь на родину невредимым, всю жизнь посвящу детям. Я достиг своей цели. Нет в мире ничего, дороже детей. И не будет.

— Пусть будет вам счастье в жизни. — Старик, проведя руками по лицу, благословил отца.

Мы пустились в путь. Когда уже дошли до кишлака, отец попросил меня:

— Анварджан, не говори маме о том, что я испек лепешки и раздал их детям.

— Почему? — спросил я удивленно.

— Когда вырастешь, поймешь, — ответил отец.

Я опустил голову. Ведь я спешил домой с одной целью — поскорее рассказать маме, сестрам о том, что видел и пережил на ферме. Просьба отца заставила меня задуматься. Я никому не сказал об уроках отца. Но сам часто вспоминал этот урок, урок доброты, преподанный мне отцом. Я стал видеть в нем не просто отца, но и преданного своему делу учителя, всей душой любящего детей, человека, решившего, как он сам выразился, посвятить всю свою жизнь детям. До этого дня я как-то не задумывался, что необходимо делать людям добро, приносить пользу, даже не ведал об этом. Я только знал, что есть хорошие и плохие люди. К хорошим людям я питал любовь, а к плохим — ненависть. К отцу, к матери, сестрам испытывал естественное чувство — чувство любви. Но вот я увидел, как отец, отрывая от своей семьи, печет ученикам лепеш-

ки, и задумался о том, что человек и чужим должен делать добро. Тогда я, помню, решил, что, когда вырасту, обязательно стану, как отец, учителем, пойду на ферму учить детей, буду печь своим ученикам лепешки. Я в этот день заново открыл для себя отца.

ЧЕЛОВЕК В ЛОХМОТЬЯХ

Как-то вернулся я из школы сильно проголодавшийся. Войдя во двор, сразу глянул в сторону кухни, из дымохода валил густой дым, значит, мама что-то готовит. Я зашел на кухню, дернул за рукав маму, хлопотавшую у котла.

— Есть хочу,— сказал я, как обычно, притопывая за-коченевшими ногами.

— Зайди в дом, сейчас положу тебе каши,— сказала мама, помешивая в котле.

Я в ожидании ужина вышел во двор, и тут вдруг открылась калитка, и показалась голова осла. Я с изумлением уставился на калитку. Судя по тому, как ссел недовольно мотал головой, он не желал входить во двор, но кто-то, видимо, здорово понукал его сзади, и он вынужден был зайти. Следом за ним показался человек в лохмотьях. А заключала шествие тощая вислоухая собака. Появление этих трех живых существ, похожих друг на друга, ошеломило меня. Осел был грязный, с клочковатой свалывшейся шерстью, из-под которой выпирали ребра. Потник на нем был замызганный, шея обвязана веревкой в сорок узлов, к ушам и хвосту привязаны разноцветные тряпки. Осел нехотя двигался, понукаемый хозяином, судя по тому, как он быстро мотал головой, его, видно, часто били по голове. Да от такого хозяина, подумал я, чего угодно можно ждать. И действительно, хозяин осла представлял жуткое зрелище. На грязной, с обвисшими клочьями волос голове сидела изодранная тубетейка. Халату его, наверное, было тысяча лет, на спине, рукавах, подоле торчала грязная вата. Ноги обмотаны грязными тряпками. Но самое удивительное было в том, что чем больше я присматривался к этому человеку, тем более занимательным он мне казался. Несмотря на сутулость, на чудовищную худобу, чувствовалось, что когда-то это был настоящий палван. И даже устрашающего вида шрам, пересекавший его высокий лоб, не мог окончательно изуродовать когда-то красивое его лицо. И я подумал: что же, какие несчастья

звергли этого могучего, некогда красивого человека в такое безысходное положение?

Собака была под стать своему хозяину. Изголодавшаяся, она казалась тихой, безобидной. Не то чтобы кого-то тронуть, она, видимо, лаять и то разучилась. И пугливо и затравленно смотрела на окружающих.

Эти три живых существа как бы говорили о том, что род всего сущего на земле в далеком прошлом был один. Их движения, состояние абсолютно были похожи, различие между ними состояло только в том, что были они — человек, осел, собака. Но мне при всей их одинаковости показалось, что осел был немного плутоватым; найдя во дворе клок сена, он тут же принялся его жевать, да еще и отворачивал морду от хозяина и собаки, чтобы те не увидели. Человек же с собакой были более преданы друг другу. Собака ни за что бы не взяла подачку, не получив на то разрешение хозяина.

Человек в лохмотьях взирал на все окружающее равнодушно, время от времени, однако, с большим чувством сострадания поглаживая своих товарищей по несчастью по голове. В такие минуты и осел, и собака прикрывали глаза и, опустив головы, помахивали хвостами, тем самым выражая сочувствие хозяину. Человек в лохмотьях грубым и дребезжащим голосом разговаривал с животными. И я разобрал в его бормотанье лишь одну фразу: «Вы ведь тоже твари божьи, лишь обидчики не обращают на вас внимания». А осел с собакой словно немymi взглядами отвечали ему: «Верно говоришь ты, господин наш, люди действительно наши обидчики».

Человек в лохмотьях, видимо забыв, зачем сюда зашел, с какой целью, возился с ослом и собакой посреди двора.

Но вдруг он, окинув испытующим взглядом двор, задержал глаза на мне и улыбнулся. Осел с собакой уставились на хозяина, тем самым они как бы давали ему понять, что при первом же знаке его готовы закричать или залаять. А человек в лохмотьях, все так же наивно улыбаясь, двинулся ко мне. Походка его была какой-то спешащей, дергающейся, а лицо оставалось кротким и равнодушным. Хоть мне и был этот человек интересен вместе с его необычными животными, но его приближение вызвало в моем сердце страх. Хотелось убежать, спрятаться, но в то же время было и страшно интересно, что сделает, что скажет этот человек. К интересу примешивалось и другое

чувство, чувство жалости. И я сам себе мысленно говорил: не бежать надо, не прятаться, а пожалеть этого человека, по возможности облегчить его участь.

Когда человек в лохмотьях приблизился ко мне, я, забыв о жалости и сострадании, чуть не вскрикнул от ужаса. Прижавшись к стене спиной, я решил, если он набросится на меня, защищаться, даже руку поднял, чтобы прикрыть голосу от возможного удара.

— Как поживаешь, племянник? — спросил человек в лохмотьях и положил тяжелые руки мне на плечи. — О племянник, да ты настоящим джигитом стал. Как тебя звали?

Мне хотелось высвободить плечо из цепких рук человека в лохмотьях, хотелось вскрикнуть, убежать, но приятный голос и беззащитная улыбка остановили меня. Более того, его улыбка и голос убедили меня, что он безопасен, что он не может никому принести вреда.

— Анвар, — сказал я и сразу же отвернулся, потому что от одежды человека в лохмотьях исходило такое зловоние, что невозможно было выдержать. И все-таки, несмотря на это, я уже чувствовал к нему расположение.

— Оказывается, отец твой пришел с фронта, — продолжал человек в лохмотьях и погладил меня по голове так же ласково, как своих осла и собаку, — но вы даже не сообщили мне об этом. Мать твоя вроде не была столь бессердечной, ведь я, когда вернулся с фронта, в первую очередь послал за твоей матерью. Где же она теперь, твоя мать?

Я хотел ответить, что мама на кухне, но тут она сама вышла. Вытирая на ходу руки, поспешила навстречу человеку в лохмотьях.

— Здравствуйте, Мехман-ака. — Мама, положив руки на плечи человеку в лохмотьях, некоторое время стояла так молча. — Почему перестали приходить к нам? Все глаза проглядела, ожидая вас, каждый день оставляю еды, думая, что придете. Как здоровье Турсун, как поживает сноха?

— Оказывается, муж твой приехал, а ты мне не сообщила, — сказал человек в лохмотьях.

— Давно уже, вы разве не слышали? — удивилась мама. — Я посылала Мазифу, она, видать, не сказала вам. — Мама смахивала пыль с одежды человека в лохмотьях. Она всячески старалась выказать внимание человеку в лохмотьях, это еще более усиливало мое удивление. — Здорова ли Турсун? А сноха?

— Я давно не видел их,— стветил человек в лохмотьях,— соскучился по Турсун, а чахоточную сноху твою ненавижу. Сестры Зульфия с Зеби тоже не приходят.

— Мехман-ака,— мама старалась по возможности успокоить человека в лохмотьях, не знала, куда усадить,— опять нездоровится вам. Как всегда зимой. Видимо, из-за холодов. Показались бы врачу или лекарю, может, они помогли бы...

— Да, все вы такие.— Вдруг лицо человека в лохмотьях стало печальным, обиженным:— И здорового человека запишете в дураки. У кого мне лечиться? У твоего лекаря Аглама, что ли? Он наглый безбожник, обманывает людей. А бог твой тоже несправедлив.

— Я вовсе не думаю так,— растерялась мама.— Когда вы уходили на фронт, были совершенно здоровы.

— У тебя сено есть?— спросил хмуро человек в лохмотьях.— Бедный мой осел голоден, если найдется сухая лепешка, дай и собаке тоже.

— Пройдите в дом, с радостью покормлю вас,— заборотала мама,— а сено есть, лежит еще с той поры, как заготовили для козы. Козе нашей волк перегрыз горло.

— Ты сказала, волк перегрыз горло?— В глазах человека в лохмотьях сверкнули искры гнева.— Какая коза, та, что с белой отметиной на лбу? Вот проклятый. Что натворил, уж больно красивая была коза, стройная.

— Пройдите в дом.— Мама, взяв человека в лохмотьях за локоть, повела в сторону крыльца.— Эй, Саифа, выйди-ка сюда, кинь ослу дяди Мехмана сена, а собаке дай хлеба.

Сестры, выйдя из дома, спустились во двор и принялись выполнять поручение мамы.

— Арифа, почему твои дочери не здороваются со мной?— пробормотал огорченно человек в лохмотьях.— Брезгуют мною, да?

— Мехман-ака, не обижайтесь, молодые они, еще глупые,— мама начала успокаивать человека в лохмотьях.— Зайдите в дом.

— Оставь, я не зайду в дом, посижу здесь, а то еще скажете после меня, что испачкал вашу курпачу.— Человек в лохмотьях взобрался на крыльцо.— Если есть хлеб или еще что-то, дай.

— Зайдите в дом, я варю кашу, поедите,— мама приглашала человека в лохмотьях зайти в комнаты,— вы не думайте о тсм, что запачкаете курпачу, да станет она жертвой за вас.

Но человек в лохмотьях уперся и ни за что не хотел подняться даже на айван. Мама смирилась с этим и ушла на кухню. Саифа сбросила с крыши сено, Магрифа подобрала его в охапку и положила перед ослем. Мама немного спустя вышла из кухни и, дую на кашу в глиняной каше, направилась к человеку в лохмотьях. Поставила перед ним еду. Человек в лохмотьях довольно причмокнул, какое-то мгновение рассматривал кашу, затем начал есть.

— Глянь, как мои дети едят,— сказал он, указывая на осла с собакой, и, обернувшись к маме, удовлетворенно улыбнулся.

— Ладно, поешьте сами досыта.— Мама отряхнула халат человека в лохмотьях:— Одежда ваша загрязнилась. Мехман-ака, как только съедите кашу, зайдите в дом. Я дам вам новый халат, сапоги, наденете.

— Пусть будет тебе счастье в жизни,— сказал человек в лохмотьях, тронутый маминым великодушием, и шмыгнул носом.— Ты умная. Даже сестры родные так не добры ко мне, как ты. Покойный дядя Мирза был хорошим человеком. Ты похожа на дядю Мирзу. Помнишь, как заставлял он тетушку Угул варить еду в двух котлах и раздавал сиротам да вдовам? Сайфитдин тоже хороший, зато Бурханитдин не годится, скупой человек. Они далеко, хочется увидеть их, но не добраться мне до Ташкента.

После того как он поел, мама ушла в дом, вынесла шинель отца, в которой он вернулся с фронта, поношенные сапоги и дала человеку в лохмотьях. Человек в лохмотьях, взяв одежду, улыбнулся, глаза его наполнились слезами.

— Пусть будет тебе счастье в жизни! — вновь поблагодарил он, и слезы выступили на его печальных глазах.

— Оставьте старое, постираю,— мама тоже заплакала.— Приходите почаще, не пропадите надолго.

Человек в лохмотьях встал с места; спустившись во двор, погладил по голове осла, собаку и вдруг, подняв голову, закричал так страшно, что все мы задрожали. Я метнулся к дому и, прижавшись к стене, неотрывно глядел на человека в лохмотьях. А сестры, как птенцы, в гнездо которых заползла змея, громко завизжав, бросились врассыпную. Человек в лохмотьях в этот момент, словно на него валилось дерево, вытянул вперед руки, защищаясь от невидимой беды.

Мама кружилась позле него, точно мотылек, бьющийся в лучах света.

— Вот надвигается!— Человек в лохмотьях начал хрип-

ло кричать:— Бегите! Бегите! Всех вас убьет. Вон, вон приближается!

— Мехман-ака! Мехман-ака! — Мама, ухватив за руку человека в лохмотьях, встряхнула его легонько.— Что вы говорите? Что надвигается? Не пугайте людей.

— Вон, не видишь, вон!— Человек в лохмотьях, указывая на небо, пятился назад.— Вон. Они стреляют. О, мой лоб! Мой лоб! — Он снова закричал, а затем, задрожав всем телом, рухнул на спину.

Стреляют?! Так вот от чего он прикрывался руками, от выстрела, нацеленного ему в голову! Мне и самому стало казаться, что в меня кто-то целится, и я невольно прикрыл руками голову. А человек в лохмотьях лежал посреди двора, прижимая одну руку к страшному, глубокому шраму на лбу, другой все еще указывая в небо.

Мне стало так страшно, что все поплыло перед глазами,— мама, сестры были как в тумане.

— Что же делать теперь, а?! — спросила растерянно мама, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Что с ним? — шепотом спросил я.

— Дядя был на войне, тяжело ранен в голову,— объяснила мама,— из-за этой проклятой раны развилась у него болезнь, иногда случаются приступы...

Я все еще не отрывал руку ото лба — мне казалось, что это я был на войне и тяжело ранен в голову. Боль этого человека стала моей болью.

А Мехман-ака наконец стих и лежал неподвижно, лишь ревел его осел да лаяла собака. Мама окликнула сестер, но ни Магрифа, ни Саифа не появились. Тогда мама сама принесла в кассе воды и стала брызгать на лицо человеку в лохмотьях. Затем она легонько пошлепала больного по щекам, погладила по плечам:

— Мехман-ака! Вставайте!

«Как же может он встать,— думал я,— если обрушилось небо и придавило его?».

Но мамины хлопоты привели наконец человека в лохмотьях в чувство. Мама, взяв его под мышки, с трудом подняла. Мехман-ака долго и серьезно глядел на небо, затем вздохнул и повернулся к маме.

— Арифа! — сказал он заплетающимся языком.— Он выстрелил! Прямо в лоб выстрелил. Посмотри, кровь капает?

— О чем вы говорите? — спросила мама удивленно.— Нет никакой крови.

— Враги застрелили меня,— ответил челсвек в лохмотьях.— Я должен скорее уйти, добраться до своей лагунги.

Мама, видимо, ничего не поняла, стояла и молча смотрела на человека в лохмотьях. А Мехман-ака, пошатываясь, подошел к своим верным товарищам и, взявшись за уздечку осла, повел их на улицу. Мама вышла следом за ними, погладила осла и собаку по голове. Этим, видно, хотела сделать приятное человеку в лохмотьях. Но он даже не заметил этого жеста. Низко опустив голову, побрел он в сторону сая. Мама долго глядела ему вслед, а когда вошла во двор, мы увидели, что она плачет. Вытирая кончиком головного платка глаза, сказала с горечью:

— Единственный сын несчастного дяди оказался в таком положении. А какой был крепкий человек. Всею виной война, ранило его в голову, теперь вот он лишился рассудка.

И она отчитала моих сестер за то, что они неумно вели себя с больным человеком, что надо быть милосерднее, уметь сострадать.

И наконец она погладила меня по голове, давая тем самым сестрам понять, что я, их брат, вел себя более достойно.

А у меня перед глазами все стояла эта жуткая картина — больной, несчастный человек защищается в диком ужасе от неба, которое вот-вот обрушит на него невидимый выстрел, и враг, невидимый враг вновь расстреляет его.

И тут я впервые осознал, что война кончилась, но раны, нанесенные ею, заживут не скоро.

Душа моя долго не могла обрести покой после приступа, случившегося с человеком в лохмотьях. Я кричал по ночам, предупреждая Мехмана-ака об опасности. И мама не на шутку забеспокоилась о моем здоровье. Долгое время потребовалось, чтобы я успокоился, перестал бояться, что еще раз расстреляют Мехмана-ака.

Вот так отзвук войны коснулся и моей души.

ВЕСНА

Приближалась весна, о которой мечтал, которую ждал с нетерпением, порождавшим в душе моей неясное волнение. Радость, которую дарила мне школа, посвящая в тайну слов, раскрывая их сокровенный смысл — «папа и

мама», «Узбекистан», «Ленин»; семейный уют и покой, доброта учителя Мирали-ака помогли, а вернее, зародили во мне чувство любви. Благодарность к родителям, нежную любовь к Родине, трепетную священную любовь к вождю Ленину.

Но эта любовь сделала меня и уязвимым. Если люди не понимали моих чувств, это обижало меня, в такие минуты я стремился к одиночеству. И разные мысли одолевали меня, перед которыми я терялся. Мне казалось, я расту не по дням, а по часам, а взрослые не замечают этого, не считаются с моими желаниями, ограничивают мою свободу.

Мне почему-то казалось, что весна, которая вот-вот наступит, многое изменит во мне и в моих отношениях с людьми. И я стал ждать ее с волнением и мысленно окрестил — «моя» весна. Я ждал ее, призывал. Мне совершенно не было дела до других, ждали они или не ждали, пытались или не пытались сделать весну «своей». Похожая на меня — я таким представлял себя сам, — нежная и простодушная весна того года была моей, и точка. В ту пору я еще не задумывался, какая это по счету весна, с тех пор как существует человек, вообще — со дня сотворения мира, так же, как не знал, сколько на свете людей пытались сделать ее «своей», может быть, даже они жаждали этого сильнее, чем я. Ничего этого я не знал, но решил, что нынешняя весна будет «моей».

Обычно зима, прежде чем уступит место весне, особенно ярится, сопротивляется приходу тепла. Вот-вот наступит тепло, и вдруг опять — леденящий душу холод. Наши предки называли это словом «хут»¹. С наступлением поры хут в кишлаке кончается у хозяев сено, для скотины начинаются тяжелые дни, птицам приходится туго, люди потеснее усаживаются вокруг сандала. В пору хут нередко снегопады, поднимается холодный ветер, в течение короткого времени земля покрывается толстым слоем снега. Но вот небо проясняется, становится прозрачным, начинается таяние снегов. А по ночам холодный ветер вновь усиливается, утром на выступах крыш, на желобах, на кочерге, прислоненной возле тандыра, появляются желтоватые сосульки.

Накопившийся за домами и возле дувалов, под деревь-

¹ Хут — последние зимние холода, соответствуют периоду с 22 февраля по 21 марта.

ями снег, почерневший от долгого лежания, тает, заливая все кругом водой. Люди переступают через лужи, ручейки, прыгают по камням и кочкам.

Во дворах своя жизнь. Под стрехами чирикают воробьи, воркуют горлицы, возле очага под навесом стоят на одной лапке, прикрыв один глаз, а вторым следя, нет ли какой опасности, куры, уставшие без толку искать зерна. Вороны, раньше с удовольствием ворошившие мусор во дворе и возле дувала, улетели на окраину кишлака, на оголившиеся поля, в надежде найти там поживу.

Прежнее унылое мычание коров теперь звучало возбужденно и мятежно. Вот это «возбуждение» поднимало «хут» с земли в вышину. Пора хут имеет несколько ветров. Один — колючий, неуютный, от него лица и руки делаются задубевшими, грубыми, другой приносит мягкое дыхание весны, пробуждает в душах томление, безотчетное желание, заставляет ощущать, как где-то в глубине тела бродит какое-то теплое умиротворение. И запахи у поры хут разные. Запахи гниющего навоза, прошлогодних лежалых трав, мусора и запах возрождающейся к жизни земли, скорой поры цветенья.

Вот таким калейдоскопом предстала мне в тот год весна. И я со дня на день ждал ее прихода.

Утром и вечером дул сильный ветер, стуча по желобу на крыше, по куску железа на тандыре, раскачивал деревья, будто хотел вырвать их с корнем. Но ветер этот был уже теплым, мятежным, он был предвестником весны. Недаром на ветках деревьев набухли почки.

С приходом весны воды Кызылсая, разливаясь, выходят из берегов, ребята спускаются к берегу пасти скотину, а старики выходят прогуляться.

Нынешняя весна, говорили в кишлаке, будет неблагоприятной (о, неужели весна окажется неблагоприятной!). Примета такая есть — осенью деревья сбрасывали листья сначала с нижних ветвей, вот потому зима и затянулась на пятнадцать дней.

Зима прошла. Началась пора облаков. Небо два дня было окутано сизыми облаками, к вечеру они сгустились, потемнели. Мычание скотины, кудахтанье кур, раскачивающиеся под сильными порывами ветра деревья пробуждают в душе тревогу, ожидание чего-то неизвестного.

Мама, сестры сидели вокруг сандала и разговаривали совсем как в зимние вечера. Вдруг особенно сильный порыв ветра оторвал от окна приклеенную вместо выбитого

стекла бумагу, и она забилась, затрепетала, словно что-то предвещающая. Я вскочил так, словно меня кто-то окликнул, позвал неведомо куда. И выбежал во двор. Во дворе было уже сумеречно, почти темно, едва различимы были тан-дыр, дувал, бывшее стойло для козы.

Моросил дождь, он все усиливался, порывы ветра бросили мне в лицо холодные брызги. Но мне не было холодно, я, ничего не замечая, все ждал чего-то.

И это скоро началось. Ветер становился все сильнее, темнота сгущалась, капли дождя делались крупнее, беспокойство мое возрастало.

Разные мысли теснили мне голову, но ответа на них я не находил.

Но вот сверкнула первая молния. Она была столь причудлива, что напомнила ветвь шелковицы. Молния сначала показалась мне алой, но нет, в ней, кажется, преобладал желтый цвет.

Вторая вспышка на небе была еще более могущественной и красочной. Тонкие огненные нити пронзили огромное небесное пространство, какое-то мгновение, подрагивая, освещали землю невысказанно яркой вспышкой, затем, так же внезапно, как и возникли, исчезли во мраке ненастной ночи. Я все еще стоял, замороженный этим величественным зрелищем, как вдруг мир потряс мощный, раскатистый грохот — то был гром, первый весенний гром, и мне казалось, что и вспышка молнии, и раскаты грома сначала возникают в моей крови, а уж потом в небе.

Почему именно в эту весну так потрясла меня стихия природы, ведь и раньше я наблюдал молнию, слышал гром? Не знаю. Но только я чувствовал, ощущал каждой клеточкой своего организма, что надвигающаяся буря пробуждает во мне неведомые, неясные чувства.

Мелкий дождь превратился в мощный ливень. Я весь промок, но не чувствовал холодных струй, не испытывал желания укрыться в теплой комнате. Когда вспыхивала молния, невольно руки мои тянулись к этой огненной ветви, но как только гремел гром, руки слабели и сами собой, словно в бессилии, опускались.

Грозная игра, происходившая, между молнией и громом, была захватывающей и в то же время возвышенной. Детским еще умом своим я пытался осознать мощь природы, мощь ее стихийного проявления, я был потрясен и заморожен открывшимся для меня заново чудом. Сколько раз мама, глядя на закат солнца или на грозное небо, вос-

кликала: «Гляди, сынок, какое чудо!» Я радовался вместе с мамой, но радовался ее радостью. А теперь мне эта радость открылась самому. И я понял маму по-настоящему.

Сам, я сам открыл величие и красоту окружающего мира, не понимая еще этого до конца.

Потом, много позже, я буду вспоминать этот ливень, эту весеннюю грозу и удивляться тому, как, оказывается, маленькая человеческая душа может быть отзывчива и восприимчива к прекрасному.

И так я стоял замороженный до тех пор, пока передо мной не возникла обеспокоенная Саифа.

— Анвар, что ты делаешь под дождем? — воскликнула она растерянно. — Мы же потеряли тебя! — Она крепко сжала мое плечо, удивилась еще больше. — Да ты весь промок, идем сейчас же домой.

— Не пойду, — сказал я и попытался высвободить плечо из рук Саифы. — Не пойду.

Я сопротивлялся, но Саифа подняла меня и понесла в дом.

— Что с тобой, тебя кто-нибудь обидел? — спросила мама, когда я расплакался так, словно меня лишили самого дорогого.

Мне не хотелось ей отвечать, да я и не знал, что ответить.

Когда отец вернулся из школы, мама рассказала ему о странном моем поведении.

Я уже лежал под одеялом у сандала.

Отец откинул одеяло, ласково спросил:

— Кто тебя обидел, сынок? Почему ты плакал?

— Никто не обидел, — объяснила Саифа отцу. — Стоял под дождем, пытался перекричать гром, я занесла его домой.

— Странно, — сказал отец.

И меня оставили в покое.

Слезы продолжали душить меня.

«Не понимают, они меня не понимают», — думал я горько. Но и сам не понимал, что со мной. Просто я встретил «мою» весну. Осознанно встретил, и приход ее потряс меня.

Утром, когда я вышел во двор, небо было чистым и ясным, деревья стояли умытые, с проклюнувшимися зелеными листочками. Все вокруг оглашалось радостным щебетом птиц.

— Здравствуй, весна! — воскликнул я. — Ты пришла? А вот и я!

«Здравствуй, Анвар! — казалось, ответила мне весна. — Вот я! Твоя весна!..»

* * *

Пришла весна. Моя весна!.. Начались первые дни моей весны. Ранняя весна... Однажды ранней весной я лишился частицы своего сердца — братишки Эркина. Я тогда испытывал тяжелую, очень тяжелую боль, сердце мое надолго, очень надолго погрузилось в печаль... Эта же весна, моя ранняя весна одарила меня несравненной радостью, сделала счастливым. В войне победил мой народ. Спас человечество от угрожающего ему рабства. Мое будущее счастье тоже зависело от этой победы. Победа! Победа была одержана.

А вот, весна, пора проводить и тебя, мою раннюю весну. Я не забуду ни страданий, ни тревог, ни радостных и счастливых мгновений, которыми ты нас так щедро осыпала. До свидания, моя ранняя весна! Возвращайся!.. Хорошо, если ты по пути растеряешь те муки и тревоги, на которые не скупилась, и оставишь в своей волшебной сумме только счастливые мгновения. Я встречу тебя радостным приветствием: «Добро пожаловать, моя весна!»

А пока прощай!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОЩАНИЕ

Душа моя трепещет при одном только упоминании о весне. И какой же мной овладевает восторг, когда наступает эта несказанная пора. И так — с той поры, как только я помню себя, осознаю в окружающем мире. Велико состояние, которое прошел я с «мсей ранней весны», очаровавшей меня навеки.

Как хочется иногда вернуть ту весну, ведь это весна детства — самой прекрасной, самой трепетной поры жизни. Но, увы, человеку не дано этого, разве что в ностальгических воспоминаниях, в мечтах, которые память уносит в далекое, невозвратно далекое прошлое, которого, как бы того ни жаждал, даже не приблизишь... Почему-то та пер-

вая, осознанная мной как бытие, как жизнь, весна всегда ассоциировалась у меня со скакуном, завоевывавшим призы, очаровывавшим зрителей, приносившим славу наезднику и ушедшим в прошлое, оставив память по себе как нечто потрясающее и мимолетное. И что удивительно — не была «моя ранняя весна» безоблачной. Слезы? Их было достаточно. Переживания? Тяжелые, недетские — хоть отбавляй! Ведь трудную военную годину мы, дети, пытались уже как-то осознать, объяснить себе, как пытались объяснить и поступки людские, а они были разные. Мы тогда не могли еще понять, что такое подлость, предательство, зато точно знали — где несправедливость.

Но самое прекрасное в «мсей ранней весне» — Победа. Тогда я впервые столкнулся с высшим проявлением духа народа — в те потрясающие дни никто не смел быть несправедливым. Лучшее, что было в людях, выплеснулось вместе с ликованием. И не потому ли «моя ранняя весна» самая светлая пора в воспоминаниях? И не потому ли весна так властна надо мной?

* * *

День ласкового солнца. Орлы — гордые птицы — поднимают весну высоко в небо. Время пробуждения, торжества жизненных сил.

В один из таких дней в нашу покосившуюся и скрипуче поющую калитку кто-то постучал. Такой стук всякий раз доставляет мне радость, так как каждого гостя, пришедшего в наш дом, первым встречаю я...

Как обычно, я стрелой понесся по дорожке, по обе стороны которой цвели ирисы. Открыл завершающую, как всегда, нашу калитку. Передо мной стоял Насыр; по лицу его трудно было понять — то ли плакать он собирается, то ли смеяться. Об одном можно было догадаться — он готовился что-то сказать. Насыр, не переступая калитки, оглядел внимательно наш двор, неимоверно вытянув при этом шею, и справился:

— Мать дома?

— Дома! — ответил я с готовностью. — Позвать? — И молниеносно пролетев по дорожке, затормозил у летней кухни, где мама шумовкой вычищала в котле самое лакомое — прижарок.

— Что с тобой, откуда ты несешься? — повернулась она ко мне, не переставая работать руками.

— Вас Насыр-ака звет! — прокричал я и тут же повернул, чтобы унести снова к калитке.

Мама схватила меня за руку, придержала и первой направилась к гостю.

— Заходите, Насыр!

Мать взглянула на встревоженные глаза гостя и побледнела.

Тот не спешил переступить порог, топтался на месте и все не решался заговорить.

— Возвращался я сейчас с поля, — стал он наконец объяснять. — Возле Кизилсая увидел Махкама-ака и... — Насыр-ака вновь замолчал.

— Что случилось? Да говорите же скорей, — лицо мамы вдруг приняло страдальческое выражение, словно она уже догадывалась о приходе в дом несчастья. — Так что же с дядей? Что-то давно не появлялся...

— Махкам-ака... он лежит возле сая, собака с ослом — рядом. Собака не подпускает к нему.

— Он живой? — Голос мамы задрожал, лицо ее как-то сморщилось и постарело.

— Поторопитесь, — Насыр-ака уклонился от прямого ответа, старался не смотреть маме в глаза. — Я сообщу домашним...

— Домашним? — повторила мама. — Бедной дочери будет трудно...

Насыр-ака резко повернулся и через минуту скрылся за углом. Мама еще какое-то время смотрела вслед ему, словно не верила в то, что он только что был здесь. Затем она кинулась к веранде с криком:

— Марифа, Саифа! Где вы, выходите! Дядя... — Мать не могла больше выговорить ни слова. Она стояла в каком-то оцепенении и ждала, когда покажутся мои сестры, а увидев их, не выдержала и зарыдала.

Сестры вихрем вынеслись из дому, обняли маму.

— Что с вами, мамочка? Почему вы плачете? — спросила Марифа-апа и, достав платок, принялась вытирать слезы на лице мамы.

Саифа-апа, ласково поглаживая маму по спине, сказала:

— Кажется, бог вас создал для слез. Плачете и за себя и за других. Господи, да разве можно быть такой плаксою?

— Не трещи, — сказала с обидой мама, — ведь дяди... лишились...

Сестры мгновенно смолкли, мне показалось, они не знали, как реагировать на эту черную весть — ведь дядя наш был не в своем уме, он ужасно страдал...

— Открой сундук,— сказала мама Марифе,— возьмем на всякий случай для похорон белую материну. И поспешим.

Мама то быстрым шагом, то бегом устремилась в сторону Кизилсая. Сестры за ней, а я за сестрами. Сколько раз вот так, в тревоге и недоумении, я следовал за ними навстречу какому-нибудь печальному событию. Что увижу я теперь? Умершего дядю?

Смерть... я однажды видел ее совсем рядом; мой маленький брат скончался на моих глазах! И вот снова надо пройти через такое же потрясение. Я бежал, задыхаясь, хотя мне вовсе не хотелось видеть зрелище смерти, испытывать душевную боль, видя горе родных, но все происходило помимо моей воли. Человек в лохмотьях — таким всегда был в моем представлении дядя Махам. Человек в лохмотьях с отсутствующим взглядом и блаженной улыбкой, он олицетворял для меня слово «ужас». И в то же время у меня с ним уже было связано представление о добре.

Может быть, и для мамы он был чем-то большим, чем безумный, страдающий нищий? А иначе разве бы ее так потрясло сообщение о его смерти? Сейчас она бежит, не видя ничего вокруг, точно сама лишилась рассудка.

О господи, только бы она не споткнулась, иначе упадет и разобьется. Вот и солнце окончательно скрылось за горизонтом, и мир утратил краски, словно сейчас, когда человек в лохмотьях покинул землю, они стали ненужными. Мама вдруг резко остановилась, приблизилась к саю, сняла калоши и стала омыwać ноги, от брызг платье ее стало мокрым, и я забеспокоился, что маме станет холодно. Мама протянула руку куда-то в сторону, словно говоря — это там.

Сначала я ничего не мог разобрать: в сумерках как-то темные пятна. Но, присмотревшись, понял, что это собака и осел. «А где же человек в лохмотьях?» — подумал я со страхом и прижался к матери. Мама все так же протягивала руку, и я увидел его: дядя лежал между собакой и ослом. Мама направилась в ту сторону, мы за ней, но, когда мы приблизились, собака злобно зарычала и оскалила зубы — она никого не подпускала к своему хозяину. Но самым удивительным было для меня то, что и осел вел

себя агрессивно, он поворачивался к нам задом и взбрыкивал, норовил лягнуть.

Собака и осел производили странное впечатление. Глядя на их ободранную и висящую клочьями шерсть, на выпирающие из-под кожи кости, я думал: «Откуда же они, эти несчастные животные, берут еще силы рычать и лягаться?!»

Человек в лохмотьях спокойно лежал на драной курпаче, будто только что уснул после тяжелой работы. Рваная калоша валялась рядом. На его истощенном и уже безжизненном лице все еще оставалась блаженная улыбка, словно он был несказанно счастлив в этой жизни.

— Война забирает и в мирное время,— вдруг услышал я тихий голос мамы.

«Война? При чем тут война? — подумал я.— Ведь Победу мы отпраздновали!»

Скромно и тихо лежал он на курпаче, а я стоял недалеко и никак не мог поверить в то, что никогда уже не увижу привычной картины: осла, собаку и бредущего следом человека в лохмотьях.

Не знаю, о чем думали мои сестры, но и они стояли молча.

И вновь мамин голос вывел нас из оцепенения.

— Господи,— воскликнула она раздраженно,— дадут ли наконец эти твари подойти к человеку! Ведь покойнику надо подвязать подбородок и перевязать ноги, чтобы, не приведи аллах, не перекрестились... а то других за собой потянет.

Мама вновь рванулась к Махкам-ака, но осел и собака и на этот раз не подпустили ее к покойнику. Собака, скаля старые желтые зубы, рычала, время от времени поворачивая голову к ослу, словно ища у него поддержки. И тогда осел фыркал и взбрыкивал, выражая полную готовность защитить хозяина.

Мама все больше нервничала.

— Мама...

Мы не знали, как и чем ей помочь.

Она беспомощно озиралась по сторснам, и тогда я робко предложил:

— Позвать отца?

Но мама ничего не ответила и лишь приложила палец к губам: дескать, слышите?

Мы действительно услышали цокот копыт. Вскоре пока-

зался всадник — огромный, как дэв, Юлдаш-ака, сторож с бахчей.

— Что случилось? — удивился Юлдаш-ака. — Почему вы здесь?..

— Бедный дядя... — мама вновь заплакала. — Видно, судьба... С осени нездоровилось. И вот эти проклятые твари не подпускают нас...

— Много развелось диких собак, — проворчал Юлдаш-ака. — Некоторые и на людей нападают.

— Юлдаш-ака, прогоните их. Слыханное ли дело, не можем забрать покойного.

Глаза Юлдаша-ака налились злостью. Он соскочил с коня, вытащил из-за голенища сапога камчу и, словно собираясь отомстить злейшему врагу, ринулся на собаку. Собака зарычала, но не успела отскочить, и в следующее мгновение лоб ее рассек удар камчи. Собака завyla и волчком завертелась на месте, а удары сыпались на нее яростно и беспощадно.

Собака, словно шар, каталась по сухой траве, оставляя на ней следы крови.

Сердце мое сжалось — сторож сейчас забудет ее на смерть.

— Хватит, не бейте, не бейте! Мама, скажите, пусть не бьет! — закричал я, хватаясь за подол матери.

Но она была занята своим горем, ей сейчас было важно подойти к человеку в лохмотьях и совершенно все равно, как Юлдаш-ака отгонит собаку. А тот все еще в иступлении пинал пса, точно мяч. Осел, судя по всему, пришел в ярость оттого, что расправляются с его товарищем по долгим скитаниям, и что было сил лягнул сторожа. Но тут же получил страшный удар камчой между глаз; зашатался и ошарашенно замотал головой.

— Мама, остановите его, остановите! — зарыдал я.

Но Юлдаш-ака и сам уже прекратил экзекуцию, видя, что животные точно парализованы. Я закрыл лицо руками. А когда решился посмотреть на то, что происходит, увидел — мама и сторож хлопочут возле человека в лохмотьях.

— Подождите, я пришлю арбу! — сказал сторож.

Он вскочил на коня и вскоре растворился в сумерках.

Мама же обессиленно опустилась на землю у ног покойника и уставилась невидящим взглядом в курпачу, на которой лежал умерший. Я присел рядом и так же, как мама, уставился в одну точку, душа моя и сознание из-

немогали под бременем обрушившихся на меня событий; я не знал, кого жалеть больше, павшего ли жертвой войны человека в лохмотьях или несчастных животных, пострадавших от человеческой злобы.

Потом, когда я стал взрослым и смог уже анализировать события, то, вспоминая сцену у Кизилсая, думал о том, а как бы поступил этот сторож с ребятишками, пробравшимися за арбузами на бахчу? Неужели тоже бил бы камчой?!

Растерзанные животные недвижно стояли в сторонке. Я никак не мог понять — за что их наказали.

А вдруг они сдохнут?! Мама будет оплакивать нашего дядю. А я еще и осла с собакой — верных его друзей!

Наконец-то приехали на арбе наши родственники. Поднялся невообразимый шум — вопли, рыдания, под которые подняли и уложили человека в лохмотьях на арбу.

И мы тронулись. Тут произошло невероятное — стоявшие недвижно, словно бездыханные, собака и осел, шатаясь, потащились следом за арбой, увозящей их хозяина.

— Да что же это за наказание? — воскликнула мама. — Опять эта ужасная собака и этот жалкий осел!

Кто-то из родственников спрыгнул с арбы и принялся палкой отгонять животных. Те замерли на месте. Но, как только родственник уселся на арбу и мы двинулись, вновь продолжали свое шествие.

И тогда кто-то хлестнул лошадь, она пошла быстрее, затрусилась рысцей. Осел с собакой понемногу отстали — они не могли двигаться так быстро, истощенные голодом и обессиленные от побоев. И несчастные скоро пропали с глаз.

Арба остановилась возле маленькой мечети верхней махалли. Со двора вышли несколько женщин и мужчин и с воплями окружили арбу. Мне показалось, что рыданиями наполнился весь кишлак, небо и весь мир.

Я стоял в сторонке, не зная, что делать, когда ко мне подошла девочка лет десяти, удивительно похожая на человека в лохмотьях.

— Что же мне теперь делать? Отец умер. У меня нет ни братьев, ни сестер, никого... Что со мной будет?

Девочка заплакала.

— Не плачь! Не плачь! — я стал утешать ее. — Я же есть... Давай я буду твоим братом... Только не плачь...

— Ой, отец! — Девочка оттолкнула меня и бросилась к моей маме: — Тетя, что я теперь буду делать?! Отец умер.

— Нет, не умер,— говорила мама, прижимая ее к себе.— Милая моя, хорошая, не плачь! Иногда люди долго спят. Отец твой устал, вот и уснул. А скоро он проснется. Обязательно проснется.

Я смотрел на маму и не понимал, зачем она так говорит. Разве тогда, когда человек просто засыпает, так плачут?!

Покойника занесли в дом. Нас, детей, поместили в соседней комнате, уложили, велели спать. Но никто из нас не мог уснуть.

А девочка время от времени выходила из комнаты и спрашивала у моей мамы:

— Ну что, отец еще не проснулся?!

И столько было надежды в ее словах!

Став взрослым, я сам столкнулся однажды с необходимостью обмануть ребенка, обмануть во имя его же спокойствия. Но не смог. Я вспомнил эту девочку и подумал, а каково ей было, когда она все-таки узнала правду?!

ПРЕДАННОСТЬ

После кончины человека в лохмотьях в нашем доме выдерживали траур. Я часто заставлял мать плачущей. И однажды рассердился на нее. Почему она все время плачет? Разве не ясно отец сказал ей — слезы иссушают, уносят здоровье? Почему она нисколько не думает о себе, да и о нас тоже? Ведь она совсем перестала смеяться, перестала рассказывать прекрасные сказки, а мы тоскливо ходим за ней по двору и ждем, когда же она отойдет, снова станет внимательной к нам и веселой.

Но вот однажды мама сломала семь веточек тутовника, обернула с одного конца ватой и обмакнула в хлопковое масло.

— Пойдем зажжем свечу на могиле покойного дяди Махкама,— сказала она, обращаясь ко мне, словно не было у нее человека ближе.

Я был горд, что мама считает меня уже взрослым, помощником, и охотно согласился.

Когда мы подошли к кладбищу верхнегузарской махалли, на землю уже опускался вечер. Кладбище утпало в зелени, было чистым, ухоженным, и только некоторые осевшие могилы наводили на меня страх — мне казалось, что провалившаяся земля придавила покойника и ему там, в могиле, тяжело, неудобно.

Я почему-то приподнялся на цыпочки и так, осторожно, почти крадучись, шел по заросшей по обе стороны комочками тропе. Тишина в надвинувшихся сумерках казалась еще более значительной и таинственной.

Впервые в душу мне закралось сомнение — зачем же люди рождаются, если они должны умереть?! И вдруг мне захотелось броситься обратно. Вон, прочь отсюда! Зачем я здесь? Я-то ведь никогда не умру!

— Анвар! Сынок! — Мамин голос вернул меня к действительности. — Сынок, посмотри, что это?

Мы осторожно приблизились к могиле дяди. На еще свежем холме лежала, свернувшись в клубок, собака.

Но почему пес, так злобно не подпускавший нас к хозяину там, у Кизилсая, теперь лежит молча и даже не шелохнется?

— Мама... — сказал я, — что здесь делает собака?

— Пошла вон, чтоб ты околела... — мама, наверное, хотела грозно прикрикнуть на пса, но у нее вместо крика получился шепот.

Собака продолжала лежать.

Тогда мама подняла ком земли и легонько запустила в животное.

— Мама, не трогайте, — сказал я, — пусть лежит.

Мама взяла палку и ткнула ею пса, затем подняла на меня взгляд и прошептала:

— Сдохла...

Я уставился на маму и вдруг закричал:

— Сторож бил ее, вот она и умерла! Он злой, нехороший!..

Мама печально покачала головой:

— Нет, сынок, она умерла не от ран, а от тоски. Собака не смогла жить без своего хозяина.

Возвращались мы большой дорогой. Когда приближались к мечети, то услышали крик осла, похожий на железный скрежет. В том доме, где девочка осталась ждать своего отца, оставленный на произвол судьбы осел кричал от тоски и голода.

— Мама, — сказал я и взял ее за руку, глядя в ту сторону.

— Тоскует по хозяину. Да и голодный, некому его кормить...

Мама, не останавливаясь, шла дальше, а я бежал рядом. Я все пытался остановить ее, чтобы предложить про-

стой выход — осла-то надо забрать к себе, вот и все. Но мама не слушала ни хныканья моего, ни моих рассуждений, и мы все удалялись и удалялись.

Мама и меня не пустила к ослу, а ведь я бы его пожалел. Ну что с того, что он грязный и тощий, я бы обнял его за шею, объяснил ему, что не все люди такие, как сторож Юлдаш. Я бы... Но тут мы пришли домой, и расспросы сестер прервали мои размышления.

Однако собака, свернувшаяся клубком на могиле хозяина, тоскливо кричащий осел, сам их хозяин, человек в лохмотьях, не выходили у меня из головы. Я впервые столкнулся не только с человеческим горем, но и страданием животных.

Так, значит, осел и собака тоже могут любить — и хозяина, и друг друга?! Значит, они ничуть не хуже, чем мы?! Почему же тогда люди бьют их, пинают, морят голодом?! А я? Что сам я сделал для животных? Ничего. Но мне вдруг захотелось что-нибудь сделать, что-то значительное, такое, чтобы люди обратили на это внимание, чтобы они подумали о тех собаках, ослах, которые ежедневно в чем-то помогают нам, но которых мы не хотим понимать. Так что же мне сделать?! И вдруг мне в голову пришла мысль: а что, если я вылеплю их обонх из глины? Я буду стараться — ведь учитель говорил, что я хорошо рисую и леплю, мои глиняные птицы даже стоят в пионерской комнате. Вылеплю фигурку и человека в лохмотьях, и осла, и собаку и стану показывать всем в кишлаке. Я изображу их страдания, безысходное горе, и тогда люди, быть может, их пожалеют.

Сестры позвали меня ужинать, но есть мне ни капельки не хотелось. Меня охватило такое волнение, что я испытывал внутреннюю дрожь, а сердце билось часто-часто.

Ведь мама не раз говорила, что первый человек был создан из глины. Земля родила первого человека. Я тоже сделаю фигурки из глины и этим, быть может, их увековечу, сделаю такими же бессмертными, как сама земля.

Я решил немедленно приступить к осуществлению своего замысла и помчался на окраину кишлака: там, в овраге, была замечательная глина, ею пользовался наш гончар Эркин-ака, да и мы, мальчишки, старались брать глину только там. Уже стемнело, но я хорошо знал все тропинки вокруг и мог даже с закрытыми глазами найти то место, которое искал. Вернувшись домой, круто замесил глину и принялся за дело. Домашние, так и не дозвавшие-

ся меня ужинать, легли спать, а я сидел на айване и при свете керосиновой лампы мям глину. Мне казалось, что сквозь мои пальцы текут судьбы человека в лохмотьях, собаки и осла. Они то рвутся, то тесно переплетаются, смешиваются, становятся единой массой. Я думал о том, что надо сделать так, чтобы фигурки мои были словно живые, во всяком случае, точь-в-точь такие, какими я их видел, знал.

Было уже за полночь, луна поднялась высоко и заглядывала ко мне на айван, а я все трудился точно одержимый. На меня словно что-то нашло, но тогда я еще не знал, что имя этому «что-то» — вдохновение.

Наконец работа была закончена — человек в лохмотьях вел в поводу осла, за ними плелась собака; изможденные и убогие, они всем своим видом как бы пытались поведать миру о своем горе.

Мне захотелось оживить фигурки, вдохнуть в них жизнь. Соседская бабушка, Мархамат-апа, часто, когда у нее что-нибудь не ладилось, шептала: «О аллах, помоги мне». Может, и мне позвать на помощь аллаха? Эх, жаль, его нет!

Я аккуратно пристроил фигурки на айване сушиться и побрел спать. Скорее бы наступило утро! Я буду ходить по улицам кишлака и показывать всем мальчишкам свое творенье. И взрослым буду показывать. Только сторожу Юлдашу-ака не покажу.

Разбудили меня веселые солнечные лучи. Я вскочил с ощущением, что меня ждет нечто важное и радостное. Вприпрыжку выскочил на айван и обмер — фигурок моих не было. Выбежал во двор, решив, что их, может, кто-нибудь вынес на солнышко. Но и там — ни человека в лохмотьях, ни его верных друзей.

Мама разжигала огонь в очаге, сестры собирались на работу.

— Саифа-апа! — крикнул я, всхлипнув.

— Чего орешь! — обернулась она. — Обжегся, что ли?

— Отдайте, отдайте мне их!

— Что он просит? — удивилась Марифа-апа.

— Мои фигурки!.. Они были на айване!..

— Да вон они, твои каракатицы, я их бросила в тандыр, — проговорила Саифа.

— В тандыр?! — закричал я. — Махкама-ака, и собаку, и осла бросила в тандыр? — Мне стало жарко, точно это я

плавился от огня, а не мои глиняные фигурки.— Ты убила их! Зачем ты убила их?

Я подскочил к сестре и давай колотить кулаками по ее крепкой спине. Мама подбежала ко мне, схватила за руки:

— Что случилось?

— Она... она...— я не мог ничего другого вымолвить, захлебываясь слезами.

Саифа презрительно скривилась.

— Налепил каких-то чучел, я их и выбросила. Надо бы табибу его показать, стал какой-то бешеный.

Мама глянула на нее строго и сказала:

— Нельзя так, Саифа! Он ведь старался.— Потом погладила меня по голове, присела на корточки и улыбнулась:— Я рада, что у тебя доброе сердце, сынок!

ОБИДА

В нашем кишлаке наконец открылась настоящая школа. Это было событием.

Но еще большим событием — для меня, конечно, — было то, что директором ее назначили моего отца. Я ужасно гордился: ведь учитель, а тем более «главный» учитель — самый уважаемый человек в кишлаке.

Я заметил, что в нашей махалле люди как-то особенно уважительно стали здороваться с мамой. А ко мне иногда обращались весьма возвышенно: «Эй, сын многоуважаемого Усмана-домлы!»

И только отец оставался спокоен и был, казалось, совершенно равнодушен ко всему. По-прежнему уходил рано, а возвращался поздно, главным в его жизни была работа.

Но вот однажды он явился домой раньше обычного. И не один. В калитку к нам вошли колхозный агроном Алмат-ака и учитель Миркашиф-ака.

Миркашифа-ака я знал хорошо, он приходил часто к отцу по делам, а вот Алмата-ака видел раза два всего-то, не больше. Но он мне понравился — голубоглазый, белолицый и особенно стройный в своей старенькой военной форме. Особенно же я почувствовал к нему расположение, когда он дружески потрепал меня по волосам и как равного спросил:

— Ну как дела, сын Усмана? — и засмеялся.

Я было охотно приготовился ему рассказывать о своих делах, но отец подхватил своих друзей под руки и повел

в мехманхану¹. Я, конечно, поспешил за ними. Однако, к моему удивлению, отец сказал:

— Сынок, иди поиграй во дворе.

Вот так так! В кои-то веки пришел рано, да еще таких интересных людей привел, и отправляет от себя. Никогда не было такого. Напротив, как только выдавалась свободная минута, зсвет, бывало, меня, точно обходиться не может без своего сына.

Видя мою растерянность, веселый Алмат-ака сказал:

— Э, Усман! Сын твой уже мужчина, пусть и он примет участие в нашей пирушке.— Посмотрел на меня, подмигнул и добавил:— Вот решили обмыть назначение твоего отца.

— Пусть сстается,— поддержал агронома и домла; и они весело и деловито стали рассаживаться за дастарханом.

Отец извлек из внутреннего кармана пиджака одну бутылку, из кармана брюк — другую, затем сам принес пиалы, хлеб и несколько луковиц.

— Закуска,— объявил он.— А потом жена шавлю подаст.

Алмат-ака радостно потер руки, откупорил бутылку и разлил по пиалушкам. Он был оживлен, весел, и только странным мне показалось, что руки у него как-то дрожали.

— С повышением тебя, Усман, с хорошей должностью,— сказал Алмат-ака, обращаясь к отцу, и первым поднес пиалу к губам.

Я смотрел на отца. Он не был так оживлен, как Алмат-ака, наоборот, взял в руки пиалу как-то задумчиво, пить не спешил, и лицо его выражало не радость и удвольствие, а сморщилось, словно ему предстояло выпить рыбий жир. Наконец он стремительно опрокинул содержимое пиалы в рот, еще больше скривился, а затем шумно выдохнул.

Я почувствовал, как мне свело скулы от отвращения. «Ну и гадость, наверное,— подумал я.— Зачем же они пьют эту жидкость?»

А мужчины закусили хлебом, хрумкая луком, и, ласково взглянув друг на друга, хором пропели: «Хорошо пошла!..»

Я ничего не понимал. «Как же «хорошо пошла», когда все вы морщились и кривились и носы воротили от пиал?!»

¹ Мехманхана — комната для гостей.

За дастарханом же уже завязалась оживленная беседа. Я не столько слушал, сколько смотрел. Глаза у всех маслянисто блестели, мужчины дружески хлопали друг друга по плечам, весь их вид говорил о том, как им хорошо вместе.

Неутомимый Алмат-ака вновь наполнил пиалы.

— А теперь выпьем за то, что мы — дома, — сказал он и одернул гимнастерку. — Оказывается, если сумеешь обмануть смерть, можно вернуться и из ада.

— Да, да, — подхватил отец. — Сейчас страшно вспомнить, через что мы прошли. — И он уже куда более решительно, чем в первый раз, выпил.

Не успели они поставить пиалы на дастархан, как Алмат-ака наполнил их снова.

— За возвращение надо выпить капитально, — заявил он. — Вспомните-ка, сколько солдат не вернулось! За них выпьем!

Миркашиф-ака и отец не возражали. Но меня удивила не столько поспешность агронома, сколько то, что теперь они уже пили не морщась. И я было засомневался, действительно ли невкусно то, что они пьют. Может, они морщились, чтобы меня обмануть?

За первой бутылкой последовала вторая. И с каждой новой пиалой разговор за дастарханом становился все более шумным и безалаберным. Я уже ничего не понимал — гости перебивали друг друга, совершенно не слушали отца. И к тому времени, когда мама внесла касы с шавлей, Миркашиф-ака уже не сидел, а полулежал возле дастархана, обняв подушку. Алмат-ака еще сидел, но лицо его из белого превратилось в багровое, голубые глаза налились кровью.

Мне стало не по себе. От того приятного, веселого человека, что недавно потрепал меня дружески по волосам, не осталось и следа. Не лучше выглядел и отец. Взгляд его стал мутным и каким-то чужим, говорил он заплетающимся языком, то и дело сбиваясь с мысли.

Двумя бутылками, однако, не обошлось.

Алмат-ака оказался человеком запасливым. Я так и не понял, откуда он ее извлек, но очередная бутылка появилась на дастархане.

В комнате было душно, стоял резкий сивушный запах, но трое «друзей» уже не замечали ничего. Мне даже показалось, что они не замечают и друг друга.

Я вскочил и выбежал на айван. Мне хотелось плакать.

Вдруг двери мехманханы распахнулись, оттуда вывалились гости — они едва держались на ногах. Взмокшие, слипшиеся волосы, блуждающий взгляд... Я с ужасом ждал появления отца — неужели и он вот так же будет шататься и чуть ли не падать, отец, которого я привык видеть всегда подтянутым и строгим?!..

И он вышел...

В тот день я возненавидел пирушки, где пьют такую вонючую жидкость.

ХАМАЛ¹

Прошел год с той поры, как я, надев через плечо лямку сшитой мамой школьной сумки, впервые вприпрыжку отправился в школу. В тот день мне хотелось всему миру сообщить об этом важном событии. Школа! Сколько тайны и притягательности было для меня в этом слове. Отправляясь в школу, я ждал только чудес, праздников и веселья.

Но оказалось, что школа — это не только тайна, не только радость, но и труд, часто сопряженный с разочарованиями и огорчением. И если бы не Мирвали-ака — мой первый учитель, кто знает, не разлюбил ли бы я школу совсем? Мирвали-ака как-то незаметно и ненавязчиво вошел в мою жизнь. Как это удалось ему, не знаю, но он стал для меня примером для подражания. Я хотел быть похожим только на него, Мирвали-ака заслонил даже авторитет отца.

Когда кончился учебный год и я понял, что на целое долгое лето мне предстоит расстаться с учителем, я разревелся от огорчения. Да и с друзьями мы будем видеться не так часто. Нет, мне решительно не нравилось, что существуют летние каникулы.

Правда, лето у меня было насыщенным, и, если честно признаться, я позабыл о своих огорчениях. Я отдался на волю безмятежного безделья, более того, иногда, когда мы с мальчишками убегали в поле или в горы, мне в голову приходила мысль о том, что это даже хорошо, что ни о чем не надо думать — ни о том, чтобы писать, ни о том, чтобы читать. Живи себе, что вольная птица.

Но вот в один прекрасный день отец показал мне на отрывной календарь.

¹ Х а м а л — первый теплый ветер весной.

— Анварджан, сынок, — сказал он, — а знаешь, сколько дней осталось до первого сентября?

Первое сентября! Мгновенно всплыли в моей памяти все мои друзья, мой домла Мирвали-ака, класс, в котором так уютно себя чувствуешь, особенно когда старательно сделаны все уроки.

Я помчался к своему другу Турдыбаю, чтобы напомнить, что через неделю мы идем в школу, и вдруг узнал от него странную новость. Его отец откуда-то узнал, что нас во втором классе будет учить другой учитель — новый.

Сообщение это меня потрясло. Как это — новый? Разве может кто-нибудь заменить Мирвали-ака? Нет, нет, не хочу, не буду ходить к другому учителю! Лучше снова пойду в первый класс к Мирвали-ака.

Вечером отец мне сказал, что пока еще не все решено.

Целую томительную неделю ждал я, когда же наконец выяснится, правду ли сообщил мне Турдыбай.

Но вот и первое сентября. Утром кишлак преобразился — по всем улицам шли дети с тряпочными школьными сумками, были, правда, и счастливицы, обладатели черных блестящих портфелей. Но их были единицы.

Турдыбай, Миравлод и Абдурасул поджидали меня у своих калиток. Не успели мы сойтись, как страстно заспорили о том, стоит ли идти учиться к новому учителю. Ребята осторожно предложили смириться, я же во все горло доказывал, что учиться надо только у Мирвали-ака, потому что это самый замечательный человек на свете.

— Нет, нет и нет, — кричал я самозабвенно, — пусть нам отдадут нашего домлу, или мы уйдем из школы!

На линейке к нам подошел незнакомый человек, оглядел нас внимательно и объявил:

— Я ваш учитель, зовут меня Абдулла-муаллим. Прошу всех пройти во второй класс.

Все сорвались с места и, крича и толкаясь, кинулись занимать места за партами. Я же остался стоять на месте. Я не знал, как поступить. Мне не хотелось идти во второй класс. Вдруг я ощутил плечом ласковое прикосновение и почувствовал, что меня увлекают к входу.

— Что же ты, малыш? — Голос нового учителя был ласковый.

Я покорно вошел в школу.

А в это время в нашем классе царило настоящее столпотворение — мальчишки щипали друг друга, дергали девчонок за косички, делили места за партами. На приход

учителя, похоже, никто не обратил внимания. Абдулла-ака прошел к столу и спокойно наблюдал за нами. Я ждал, что вот-вот терпение его лопнет и он прикрикнет на нас, призовет к порядку. Но неожиданно Абдулла-ака улыбнулся и весело проговорил:

— Вижу, что за лето вы здорово выросли, набрались сил. Это очень хорошо, надеюсь, так же энергично вы будете и заниматься!

Класс затих и с интересом стал прислушиваться к словам нового учителя. А Абдулла-ака уже обходил ряды и для каждого мальчика и каждой девочки находил доброе слово.

Мы и сами не заметили, как знакомство перешло в урок. Я тоже достал учебник, тетрадь, позабыв о недавних клятвах — ни за что не посещать уроков нового учителя. Прозвенел звонок. Но никто не шелохнулся — так интересно было слушать Абдулла-ака, — пока он не сказал: «Ну, идите, дети, отдыхайте». Я встал и вслед за друзьями нехотя поплелся из класса.

Когда начался второй урок, я решил как следует рассмотреть нового учителя. Да он был настоящим палваном! Высокий, плечистый, с сильными руками. Какой же мальчишка не мечтает стать богатырем? Я подумал, что щедушный Мирвали-ака внешне здорово проигрывает Абдулле-муаллиму, но тотчас отогнал от себя эту мысль.

Вечером я начал было рассказывать отцу о новом учителе и вдруг растерянно замолчал: вспомнил о Мирвали-ака — о том, как этот уже немолодой человек играл с нами в куликашки, как он брал мою руку в свою ладонь и водил ею по строчкам, чтобы буквы были четкими. Такой же четкости он добивался от нас в каждом деле. Каждый день Мирвали-ака встречал нас по утрам у школы и ни разу не изменил своей привычке. «Ну, цыплята мои, — обычно говорил он с улыбкой, — все собрались? Тогда — добро пожаловать в класс». А сколько раз случалось, что он приносил из дома лепешки и делил их на равные куски. И мы оживлялись, откладывали буквари и радостно тянули руки к хлебу. Это он впервые сбъяснил нам, что понятия «мать», «отец», «кишлак», «Родина» — неделимы, что это — одно прекрасное целое.

Но вот пришел другой человек, новый учитель, и я в первый же день очарован им, забыл о Мирвали-ака. Я не видел его весь день и даже не спросил, где он, что с ним!

Ведь я считал его своим самым лучшим другом, я любил его, старался подражать ему даже в мелочах.

— Папа, а где Мирвали-ака?

— Он перевелся в другую школу, поближе к кишлаку, где он живет.

На другой день я сидел на уроках Абдуллы-ака и совершенно ничего не воспринимал. Я настраивал себя критически, мне хотелось найти в новом учителе недостатки, чтобы иметь основание относиться к нему с прохладцей или, в крайнем случае, равнодушно: и тем самым, мне казалось, я сохранил верность нашей дружбе с Мирвали-ака. Ну, учитель и учитель... Но опять произошло чудо — к концу занятий я вдохновенно решал задачи, составлял предложения и смотрел на Абдуллу-домлу восторженным взглядом, словно на волшебника.

Шли дни за днями. Я устал сравнивать поселившихся в моем сердце двух учителей, перестал выискивать слабости у Абдуллы-ака, я одинаково полюбил их обоих.

Однажды весной увидел, как мама, выйдя во двор, вдруг вскинула руки, точно определяя силу ветра, несколько раз глубоко и радостно вдохнула свежий воздух и сказала:

— Наконец-то подул хамал. Завтра утром лопнут почки, завтра начнется цветенье.

— Мама, а что такое хамал? — спросил я.

Она на минуту задумалась, а затем сказала:

— Это — весенний ветер... Это такое время, сынок, когда в природе уже все-все готово ожить, зацвести, пойти в рост, но не хватает еще самой малости — ласки, тепла. И вдруг подует хамал — теплый, веселый ветер. И сразу лопаются почки, все зацветает.

Сейчас я с грустной радостью вспоминаю о той поре своей жизни, когда я не знал, которому из двух прекрасных людей отдать предпочтение. Оба они были для моей души, готовой раскрыться навстречу огромному миру, ветром хамал. Они помогли набухшим почкам лопнуть, и сердце мое открылось для принятия всего прекрасного и доброго.

ЭХО ВОЙНЫ

За нашим огородом протекал неглубокий, но довольно быстрый сай, он рассекал надвое кишлак, пробегал возле школы. Берега поросли кустарником и камышом. Узкая

тропинка пробивалась сквозь сплетение растений — это был кратчайший путь к школе, и мы с Турдыбаем охотно им пользовались.

Но вскоре нам пришлось изменить своей привычке. Верзила Пердаш, старший сын в огромной семье Юлдаша-ака, повадился подкарауливать нас и отбирать те жалкие лепешки, что выдавали нам дома для завтрака в школе. И раз, и другой, и третий остались мы без хлеба и решили больше не рисковать. Мы сменили путь, стали ходить большой многолюдной дорогой.

Здесь тоже было полно впечатлений. Особенно интересным местом был мост. У моста рос тутовник, и под ним, прямо на траве, часто сидели в тени приуставшие сельчане.

Особенно любили здесь задерживаться женщины. Они громко и бурно обсуждали самые разные события — семейные, кишлачные, колхозные.

Мы с Турдыбаем полюбили недолгие остановки у моста, когда возвращались из школы. Нам нравилось прислушиваться к разговорам, наблюдать за мимикой, за реакцией слушателей.

А однажды, вот так же из любопытства остановившись недалеко от тутовника, мы стали свидетелями материнского горя.

Три женщины сидели на траве в тени тутовника. Но наше внимание сразу же привлекла та, что раскачивалась, точно огромный, грузный маятник, из стороны в сторону. Волосы ее были абсолютно белыми, а глаза слезились и, казалось, ничего вокруг не видели. Она тяжело дышала и то и дело прижимала руки к груди, голос ее осел — видно, от постоянных причитаний.

— Тетушка Хамби, перестаньте так убиваться, — пыталась остановить это отчаянное раскачивание женщины товарищ ее в бархатной безрукавке. — Видно, судьба такая... Ну, а бог даст, кто-нибудь из них вернется!

Лицо старухи искажилось, судя по всему, слова эти еще более усилили ее страданье. Она в который уже раз прижала руки к груди, ломая пальцы, и, глядя куда-то в пустоту, прохрипела:

— Если бы хоть один из сыночков был жив, разве бы уже не пришел?! Разве бы заставил так страдать свою мать?! — Она вдруг сделала такое движение, словно хотела вскочить и броситься на недруга. — А все он, этот сын

ослицы, проклятый Сали! Если глаза его не вытекут, не умру спокойно.

— Да сгорит его дом! — охотно поддержала ее та, что была в темном. — Бог все-таки наказал негодя, ребенок его родился горбатым!

— Арофат, не говорите так, дети не виноваты и не должны отвечать за грехи отцов, — не согласилась с ней женщина в бархатной безрукавке. — А Сали действительно подлец, слава аллаху, что выгнали его из раисов! Многие семьи из-за него разрушились. Мужа в армию определит, а сам к его жене похаживать начинает.

— Нет, если аллах его не накажет, не смогу умереть спокойно, — вновь выкрикнула тетушка Хамби. — Из-за него, шайтана, лишилась я и младшенького, ведь ему и семнадцати не было! Лишилась троих своих джигитов! Все внутри горит у меня, сжигает грудь.

— Успокойтесь, тетушка Хамби, — вновь стала утешать ее женщина в безрукавке, она повернулась к той, что была в темном, и тихо сказала: — Бедная, видно, потеряла рассудок от горя.

— Ох, сыночки мои, ох, джигиты, — причитала тетушка Хамби. — Абдукадыр так и стоит перед глазами. Помощник, опора наша с отцом. Любил меня, жалел. Когда однажды простыла, ноги отнялись, ночь целую напролет не отходил от меня, растирал, косточки мял. Бедный мальчик, так и не увидел счастья своих детей. Невестка моя Карасач до сих пор убивается, да и как не убиваться — не найти ей лучше Абдукадыра. Двадцать пять годочков ему было, когда похоронка пришла.

Седая женщина замолчала, продолжая раскачиваться. Но, видно, и вправду у нее внутри все горело огнем, горело, и жар этот рвался наружу.

— А средненький мой был каким! Тихий, и воробышка не обидит. Проклятый Сали, вскоре за старшим определил ему идти. Я ругаю раиса, проклинаю его, а сынок успокаивает меня: «Мамочка, да разве в Сали дело?! Фашисты напали на страну, защищать родину иду. Чтобы ты, невеста моя никогда не знали рабства». Святой он у меня был, Абдулхаким мой! Не узнала с ним счастья Хадича, не вернулся жених ее с войны. Выдали родители Хадичу за нелюбимого. Так как же мне не плакать?! Все прахом пошло, одна я на свете осталась! И даже Хадича не ходит ко мне, забыла! Да и кто я ей?! Мать погибшего жениха!

Обе женщины, что были с ней рядом, плакали, вытирая широким рукавом глаза. Видно, нечем было им утешить безмерное горе матери, молча слушали они, надеясь на то, что воспоминания о сыновьях облегчат душу страдавшей Хамби-холы.

— Абдурасул мой был совсем мальчонкой. Способный был, поехал в город на тракториста учиться, стал специалистом. Говорю я раису: «Эй, Сали, оставь Абдурасула в колхозе». Так нет, и этого послал на фронт. Потом уже узнала, что сам напросился Абдурасул, ходил к раису, сказал, что хочет уйти добровольно. А этот проклятый Сали и рад, последнего сына отобрал.

— Тетушка Хамби! Не убивайтесь! Судьба ваша такая. На все божья воля. Бог дал, бог взял.

Тетушка Хамби непроизвольно дернулась, руки ее с заломленными пальцами вновь метнулись к груди.

— Бог, говоришь? — закричала она громче прежнего. — Где он, ваш бог? Как допустил он, чтобы погибли три таких джигита?! Пусть посмотрит ваш бог на мои глаза — я их выплакала по сыночкам!

Тетушка Хамби вдруг вся затряслась, забилась, женщины еле удерживали ее. На губах ее выступила пена. Та, что в темном, пыталась приподнять Хамби-холу, но это оказалось нелегким делом.

Вдруг женщины увидели нас и замахали руками, подзывая к себе.

— Сыночки, помогите отвести Хамби-холу, приступ у нее начался.

Мы не шелохнулись. Зрелище было, видно, не для наших детских душ. Но зов повторился, человеку было плохо, нас просили помочь, и мы, преодолевая страх, приблизились к женщинам и принялись помогать им.

С трудом довели Хамби-холу до дома, оставили на попечение женщин и вышедшей невестки и бросились бежать.

Бежали так, словно за нами гнались, словно нас настигала война со всеми ее несчастьями и бедами.

— Мама! — закричал я, влетая во двор. — Мама!

Она, перепуганная, слетела навстречу мне с айвана.

— Что случилось, сынок, что с тобой?

Я обвил руками ее ноги, прижался к ней всем телом и прошептал:

— Как хорошо, что я не пойду на войну!

ЛИСТОПАД

Как бы я ни любил весну, но и осень не доставляла мне огорчений. Весна у нас на юге стремительная и, как правило, краткая.

Осень же начинается незаметно. Постепенно, неспешно спадает жара, солнце умеряет свой пыл, и в природе как бы начинается период умиротворения. Уже сентябрь, а вокруг все еще зелено, все так же благоухают цветы, оглушительно пахнет райхон.

В садах на деревьях гнутся ветки от обилия плодов. Тепло, а по северным меркам — так прямо жарко. Вокруг разлит запах спелых яблок, арбузов, дынь.

Но вдруг однажды происходит невероятное — дневная жара сменяется вечерней свежестью, ночью неожиданно задувает ветер, и пачинается первый осенний ливень. Сразу холодает. Дня два люди с тоской смотрят на хмурое небо, не хотят надевать теплой одежды, все не верят, что солнце скрылось всерьез.

И правда, на третий день небо проясняется, вновь наступает теплая пора и уже надолго, до середины ноября. Вот тут-то и начинается настоящая осень. В одну ночь листья сменяют свою окраску, и кажется, весь мир становится золотым.

Весну я люблю за уверенность в своих силах, за способность заставить все вокруг дышать, цвести. А еще за ласточек, нежных и стремительных птиц. Осень же мне нравится за ее смирение, за ее печальную покорность судьбе. И еще за неповторимый запах сухих трав.

Два раза в году над нашим кишлаком пролетают журавли. В ту осень мне впервые страстно захотелось вслед за ними полететь в дальние страны. «Что там, вдали? — думал я. — Какие кишлаки, какие люди? Во что играют там дети?!»

И мне стало обидно при мысли, что я не умею летать. Вот бы иметь такие же крылья, как у орла, и парить высоко, и лететь куда вздумается.

Однажды, когда я старательно подметал двор, сметая в кучу нападавшую листву, я услышал знакомый нежный переклик. Поднял голову и увидел совсем низко летящий живой трепетный треугольник.

— Журавли, журавли! — завопил я что есть силы.

Из дома выскочила Рихси,

— Эй, сладкий мой, чего кричишь? Что случилось? — спросила она испуганно.

— Сестра, смотрите, журавли летят на юг! Как это здорово!

Рихси подняла голову к небу, и вдруг глаза ее наполнились слезами.

— Эй, журавли! — закричала теперь она сквозь всхлипы. — Передайте привет моей маме, братьям, если встретите их!

Мы прислушались к высокому небу и ясно различили сыплющиеся сверху голоса птиц. Что они ответили Рихси — не знаю, только сестра уже не крикнула, а в этот раз прошептала:

— Скажите им, что Санию не убила война, что она жива и не умрет, пока не увидит вас.

Рихси-апа опустила голову и закрыла лицо руками.

— Рихси, — тронул я за плечо сестру. — Не плачьте, журавли передадут ваш привет. Слышите?!

Мы вновь затихли, и над нашей крышей, над кишлаком, над всем желтым миром разнесся тревожный и прекрасный крик — птицы обещали выполнить все наши наказы.

Четкий треугольник уменьшался, таял вдали, а мы, взявшись за руки, стояли с Рихси посреди нашего маленького двора и думали о том огромном мире, который лежит где-то там, за нашим кишлаком, и куда открыты пути только ветру да птицам.

И тогда мне подумалось: «Если так прекрасен наш кишлак, с его садами и желтыми полями, то каким же должен быть весь мир, о котором нам столько рассказывал папа!» И эта непознанная, неоткрытая красота волновала мое сердце, манила в неизвестные края, и, глядя вслед птицам, я твердо решил стать путешественником.

Возле летней кухни у нас рос тутовник, в одно прекрасное утро я не обнаружил на его верхушке золотой листвы. Я удивился: почему только верхняя часть кроны сбросила листья? И тогда мама объяснила мне, что зимы бывают разные — теплые и холодные. Деревья же подсказывают дехканам, какая именно придет в этом году зима. Если листва опала только с верхних веток, значит, быть теплой и снежной зиме.

Тутовник, оголившийся сверху, представлял теперь любопытное зрелище — половина его была все еще пышной, багряной, а половина — черной и... кричащей. Орали

и прыгали с одной голой ветки на другую три-четыре вороны.

Как только оголились в кишлаке деревья, люди стали перебираться со дворов, где они день-деньской проводили в беседках, на айван, а с айванов холод отправлял их в комнаты.

Пришла пора осенних игр. Мы снова вспомнили про лянгу, про змеев — ведь теперь ветер был таким, что мог и нас унести вместе с нашим бумажным летуном.

Как-то после школы мы с Турдыбаем отправились к реке — мы знали, что там всегда полно ребятишек. Одни смотрели за козами или телятами, другие прибежали на берег реки просто поиграть, потому что это было самое красивое место во всем кишлаке.

Вода в сае текла степенно, как-то даже слишком смиренно, не то что по весне, когда горный паводок заставляет ее нестись точно безумную. На водной глади плыли желтые ладьи-листья, зеленая вода отражала рыжее солнце. Желтый шуршащий ковер под ногами.

Не сговариваясь, мы с Турдыбаем стали хватать охапками листья и осыпать ими друг друга. При этом так хохотали, словно кто-то щекотал нам пятки. Вскоре мальчишки, сидевшие на теплых камнях, повскакали и присоединились к нам, и все вместе мы устроили такой «листопад», который не под силу было устроить ни одному ветру.

Сейчас, когда я, солидный и благоразумный, чинно иду по осенним улицам, усыпанным листвой, я вспоминаю ту нашу игру в «листопад» и наш радостный смех. Тогда мы знали, что все в природе старится и увядает, но и помыслить не могли, что когда-нибудь придет срок увядания и в нашу жизнь.

До сих пор в моих ушах стоит этот звонкий детский смех посреди притихшего, печального желтого мира.

СВАТЫ

В тот день после уроков я задержался с мальчишками на окраине кишлака. Домой прибежал голодный. В калитке меня встретил Камал.

— На, держи! — сказал я, пытаюсь всучить ему сумку с книжками, чтобы сразу помчаться на летнюю кухню.

— Сам держи, — отрезал Камал и спрятал руки за спину.

— Ах ты вредина, — прошипел я и отпустил ему по носу чувствительный щелчок.

Камал заревел и вцепился мне в штанину.

Не знаю, во что бы вылилась наша стычка, но тут калитка, скрипнув, приоткрылась, в щель просунулась старушечья голова. Глаза зорко осмотрели двор, видимо, нашли то, что им нужно, и тогда калитка наконец распахнулась, и во двор вступила сама старуха.

— Сестра, заходите! — пригласила она, обернувшись, свою такую же старую спутницу с улицы, а затем обратилась ко мне: — Эй, мальчик, мать твоя дома?

— На кухне, — сказал я, удивляясь не столько ее скрипучему голосу, сколько весьма решительному тону. Была она высокая и тощая, словно оглобля, спутница же ее оказалась полной противоположностью — маленькая, круглая и, по всему виду, довольно робкая. А вот лица у них были похожи, напоминали печеные яблоки. Круглая старушка держала в руках белый узелок.

Пока я рассматривал неожиданных гостей, мама сама появилась из кухни. Увидев, что я не спешу оказать знаки уважения — приветствовать, провести их в мехманхану, она ласково проговорила:

— Проходите же, проходите в дом, тетушка Хасият. Как поживаете, как ваше здоровье?

Высокая старуха приобняла маму и похлопала ее по спине.

— Скажите лучше, Арифа-апа, как здоровье ваших детей, ваше и уважаемого Усмана-домлы?! — проскрипела она.

Я стоял и все ждал, когда же кончится этот поток приветствий. Но оказалось, что на очереди еще круглая старушка — и ее надо было расспросить, и ее обнять и похлопать, приветствуя, по спине. Наконец мама подхватила старух под руки и повела их в дом. Старухам трудно было взбираться по ступенькам на айван, они охали, то и дело прикладывали руки то к бедрам, то к коленям, но вот наконец с помощью мамы поднялись.

Мама усадила гостей на курпачу и хотела было отправиться на кухню, но высокая решительно сказала:

— Садитесь, Арифа-хон, садитесь, милая, чай мы только что пили.

Тон у старухи был таким повелительным, что мама, забыв про обычай гостеприимства, опустила рядом.

Некоторое время в комнате стояла тишина, и мы с

Камалом, забившиеся в угол, потеряли было надежду узнать, зачем же явились эти старые женщины.

Маме, видно, тоже было любопытно. Дело в том, что, когда отец вернулся и жить нам стало немного легче, мама купила швейную машинку и с некоторых пор обшивала нашу махаллю. Может быть, старушки принесли материю на платье? Но расспрашивать гостей о причине визита не положено. И мама лишь молча поглядывала на их белый узелок.

— Не беспокойтесь, не хлопочите о чае, — мягко произнесла круглая и вдруг неожиданно добавила: — Царство ему небесное.

Мама вздрогнула, а мы с Камалом высунулись из своего угла. Круглая продолжала:

— Зять ваш, Зиятбай, хороший был человек. — Она бросила взгляд в сторону Камала, и тот заполз обратно в угол. — Вон и сыночек его славный какой...

Старушка приложила пухлую руку к глазам. И у мамы по лицу потекли слезы.

— Арифа-апа, — наконец перешла к главному круглая, — у сестры Хасият сын вдовцом остался, если будет угодно небу, может, соединим его судьбу с судьбой вашей дочки Марифы?

Мама, судя по всему, растерялась и долго не могла сообразить, что ответить. А когда заговорила, голос ее дрожал:

— Уважаемые, хоть и не родной, а отец есть у Марифы, с ним посоветоваться надо, да и дочку, главное, спросить следует.

— Надирхон неплохой парень, — в разговор вступила высокая. — С войны, слава богу, вернулся. И тут такое горе. Хочется, чтобы он увидел хоть немного радости. Трех детей его к себе заберу.

— Тетушка Хасият, — уже более спокойно проговорила мама. — Надирхон хороший йичит. Неважно, что есть дети. Есть ведь такие семьи, где ждут не дождутся ребенка, а бог не дает. Своего внука я бы тоже оставила при себе.

— Тогда благословим их, — обрадовалась круглая и протянула свой узелок маме. — Вы, я вижу, добрая мать.

«Как же так, как это «благословим»? — хотелось мне крикнуть из своего угла. — Кто может заменить нам нашего Зиятбая-ака?!»

Но мама вышла на айван и принесла несколько лепешек, увязала их в белый узелок и протянула круглой.

Я возмущился — я-то в отличие от Камала уже знал, что значит обменяться хлебом. Это почти породниться.

Старухи поднялись и засобирались уходить.

— Подождите, уважаемые, сейчас подоспеет ужин, — стала их уговаривать мама.

Высокая решительно направилась к выходу, у дверей задержалась и успокоила маму:

— Не хлопочите! Вот если судьбе угодно, породнимся, тогда не раз за ужином посидим.

Я толкнул Камала в бок: дескать, слышишь? Но Камал ничего не понял.

Нет, не может быть, чтобы место Зиятбая-ака занял кто-то другой, думал я. Папа никогда не согласится на это. И стал ждать прихода отца, совершенно забыв о сестре Марифе-апа.

Когда отец вернулся, мама, даже не дав ему переодеться и поговорить с нами, провела в спальню. Но, видимо, реакция отца была не такой, как она ждала, он после разговора выглядел очень недовольным. Еще бы — ведь мама уже обменялась со сватьями хлебом!

Мама нервно расхаживала по нашему дворику, как бы ища себе дело и не находя его. Когда хлопнула калитка и появились вернувшиеся с поля Марифа и Саифа, мама обняла за плечи старшую сестру и опять, теперь уже с ней, удалилась в маленькую комнату.

Долго, очень долго длилась их беседа. Саифа уже поставила касы с шурпой на дастархане, а они все не появлялись. Наконец вышла мама, торопливо села за дастархан, подала знак, чтобы мы ели.

— А как же Марифа-апа? — спросила Мазифа. Она вскочила из-за дастархана и побежала в маленькую комнату.

Мы с Камалом тут же ринулись следом.

Марифа-апа сидела на курпаче, обняв колени и устремив невидящий взор на пламя керосиновой лампы. На наш приход она не обратила никакого внимания. Даже Камал не привлек ее взгляда. Мне стало жаль своего брата; я забыл о недавней стычке с ним и боялся только одного — что Камала уведут из нашего дома. Мне тут же захотелось поделиться с ним своим богатством — отдать ему перочинный ножик, парход, вырезанный из щепки. Но реализовать свои благие намерения я не успел.

Вдруг дверь в маленькую комнату распахнулась, и на пороге появилась Саифа-апа. Лицо было бледным, глаза сверкали. Видно, она только что узнала от мамы о приходе сватов. Но они приходили сватать не ее, не хромую Саифу.

— Ах, ты, кажется, еще и не рада?! — сказала она со злыми слезами в голосе. — Тебя, взрослую женщину, сватают, несмотря на то что и ребенок есть, а ты...

Она словно захлебнулась словами и замолчала. Молчала и Марифа-апа, она даже не отвела взгляда от лампы. Это, видно, еще больше подхлестнуло Саифу-апа, ее раненное обидой самолюбие, слова ее стали еще злее.

— Как бы прекрасно ни пел соловей, ему никогда не обрести крылья орла. Мне не стоит и мечтать об орлиных крыльях. Тебе же судьба посылает второй раз удачу, а ты еще делаешь вид, что не нуждаешься в ней!

Я видел, что Саифа-апа готова была разрыдаться, и вспомнил, как однажды мама говорила отцу: «Бедняжка наша Саифа — кто хромую девушку возьмет замуж?..»

Марифа-апа сердито посмотрела на Саифу и сказала:

— Иди займись своими делами. Вижу, ничего-то ты не понимаешь.

— А что тут понимать? — не унималась Саифа. — Или соглашайся, или откажись, а не гляди так, словно тебя на преступление толкают.

И вдруг сидевшая недвижно Марифа-апа стремительно вскочила и закричала:

— Да, да, на преступление! Забыть Зиятбая — это преступление. Я не предаю память его отца, — она подхватила Камала на руки и стала осыпать лицо его поцелуями.

Камал с перепугу заревел и цепко обнял мать за шею.

— Дитя, дитя мое! — выкрикивала Марифа-апа. — Нет совести у людей. Даже у матери. Замуж меня хочет отдать. Как же я могу? Ведь Зиятбай-ака вот где у меня, — и она стукнула кулаком себя в грудь.

На крики прибежали мама с отцом, они стали успокаивать старшую сестру, но это не так-то легко оказалось сделать.

— Если я здесь лишняя, то уйду, — рыдая выкрикивала Марифа-апа. — И крошку этого несмышленного с собой заберу.

Мама испугалась не на шутку и, видно, уже пожалела о том, что так неосмотрительно дала согласие на брак. Она-то лучше, чем кто-либо другой, знала, как любила

Марифа своего мужа и как тяжело переживала его утрату.

В доме разразился скандал, все кричали, мама и сестры плакали, а я был доволен. Радовался, что сестра не опозорила светлой памяти Зиятбая-ака. Что ее любовь была настоящей.

Вскоре в нашем маленьком дворике все стихло. Несмотря на поздний час, мама, прихватив Саифу-апа, отправилась к сватам, чтобы принести им свои извинения.

ОХОТА

Как-то отец отправился в районный центр — его вызвали в отдел народного образования. Вернулся он, неся в чехле ружье. Я завопил от радости, огласив наш маленький двор криками «ура». Когда отец был на войне, я мечтал, что, вернувшись, он обязательно подарит мне ружье, из которого убивал фашистов. Каково же было мое разочарование, когда мечты мои не сбылись. Зато теперь-то уж я был самым счастливым мальчишкой на свете.

Однако играть с ружьем мне не разрешили. Отец повесил его на стену и только изредка снимал, чтобы почистить и смазать. Когда же я просил дать мне его хотя бы подержать, он говорил:

— Ничего, сынок, скоро пойду на охоту, возьму тебя с собой.

И вот этот долгожданный день настал. В один из выходных дней отец разбудил меня пораньше и объявил:

— Собирайся, идем опробовать ружье!

Меня из постели точно катапультировало. Я быстро собрался и тут вспомнил, как умолял меня, слушая мое хвастовство, друг Турды взять и его на охоту. «Скажи своему отцу, пусть возьмет», — канючил он и подобострастно заглядывал мне в глаза. Сейчас, в приливе великодушия, я решил передать его просьбу отцу. К моему удивлению, отец легко согласился.

Я побежал к другу с радостной вестью, а когда мы вместе вернулись, отец стоял у калитки, а мама, как всегда, давала ему советы.

— Будьте осторожны, — это она говорила уже нам вслед, — говорят, пули возвращаются!

Папа рассмеялся и переспросил:

— Что они делают? Возвращаются?.. — И покачал головой, видимо удивленный маминым невежеством.

Путь наш лежал к Кизилсаю. Папа шел легко, размашисто, по-военному, а мы, чтобы не отстать, трусили рысдой. В этот ранний час народу на улицах кишлака было еще мало, и я ужасно жалел, что нас никто не видит. Когда в средней махалле нам встретился незнакомый человек, я, не дожидаясь, когда он догадается задать свой вопрос, похвастался ему, что мы идем с отцом на самую настоящую охоту.

Утро было серое, какое-то сырое — то ли дождь собирался, то ли снег. Мы дошли до Кизилсея и стали подниматься вверх по течению, к холмам, которые переходили в горную грядку.

Дорога становилась все круче, вот и холмы, давно потерявшие свой травяной покров и превратившиеся в какие-то мрачные бурые бугры. На ходу папа рассказывал нам о различных зверях, что водятся у нас и не водятся, но шага не сбавлял, а мы не решались признаться ему, что давно взмокли и уже устали. Тот восторг, который мы испытывали с Турдыбаем, покидая двор, несколько потух. Оказывается, ходить на охоту не так-то просто. Мы даже устали слушать о повадках зверей, об их следах и уловках.

— А вот и гряда Окота начинается, — объявил отец.

Мы с другом радостно озирались, нам думалось, что сейчас мимо начнет пробегать множество зверей — пышнохвостые роскошные лисицы, рыскающие в поисках жертвы огромные серые волки, а может быть, появится и сам царь зверей — тигр! Папа наконец умерил шаг, теперь он внимательно осматривал окрестности, мы во всем подражали ему. Но вокруг все пока что было пусто и безмолвно, и я постепенно стал нервничать. Мало того, думал я, что он не дает мне подержать ружье, нам еще и с охотой не везет, о которой я так красочно живописал Турдыбаю.

Все мои мечты о великолепной охоте рассыпались в пух и прах. А разочарованный Турдыбай поглядывал то на меня, то на отца, как мне казалось, с сожалением и словно бы вопрошая: «Ну, где же ваша добыча?»

И я решил разрядить тягостную атмосферу ожидания и объяснил другу, что мы должны преодолеть перевал, и вот тогда-то и начнется настоящая охота, мы увидим, как папа будет заряжать ружье, целиться, а потом... Тут Турдыбай нетерпеливо перебил меня и заявил, что первым принесет подбитую дичь он. Я возразил, что у меня точно

такие же права и даже немного больше — ведь это все-таки мой отец.

Мы так раскричались, что отец остановился и приложил палец к губам — тише. Мы приумолкли и снова терпеливо принялись ждать, когда же прозвучит выстрел.

Так, в ожидании, мы достигли перевала. Остановились, чтобы передохнуть. Сели на камни. Я посмотрел вниз — величественный пейзаж открылся перед нами, от красоты которого захватывало дух. Мы с Турдыбаем чуть не завопили от восторга, но отец вновь приложил палец к губам.

— В горах не кричат, — сказал он тихо. — В горах надо уважать тишину.

Налюбовавшись окружающим миром, мы с Турдыбаем вновь вспомнили, зачем пришли сюда, в горы.

— Папа, — решил я наконец высказать свои сомнения. — А где же все звери?! Когда же мы услышим выстрел?

Отец смущенно молчал. Чувствовалось, что он и сам немного расстроен. Как же, обещал сыну зрелище — а вот, ничего.

Мне стало жаль отца. Ну правда, не виноват же он в том, что звери обходят почему-то нас стороной.

— Папа, ты не волнуйся, — подбодрил я его. — Звери обязательно появятся. Побродим еще.

Отец улыбнулся, похлопал меня по плечу и поднялся. Мы продолжали путь и вскоре достигли пещеры. У входа в нее увидели маленький родничок. Вокруг на камнях белел птичий помет — наверное, это и был «Птичий источник». Несмотря на холодную погоду, мы напились прозрачной влаги, от которой ломило зубы.

Турдыбай загрустил, кажется, он так устал, что с радостью бы вернулся в кишлак. Только гордость не позволяла ему признаться в этом.

Вдруг с соседней скалы скатился камень, за ним второй... Отец замер, весь напрягся, глядя в ту сторону.

— Вы подождите здесь, — сказал он и, схватив ружье, стал стремительно взбираться по горной тропе. Вскоре он исчез из вида, и мы не сомневались, что он сейчас настигнет зверя. Вот-вот прозвучит долгожданный выстрел, и мы наконец сможем закричать «ура» и броситься за добычей. Но было тихо. И тогда мы не сговариваясь кинулись в ту сторону, куда ушел отец. Карабкались, цепляясь за кустарник, царапая руки. Вдруг Турдыбай закричал:

— Вон, вон! Смотри!

Я осмотрелся, но ничего не увидел. Турдыбай и сам теперь растерянно озирался.

И тут... Совсем недалеко от нас, смешно перебирая ножками, выбежал маленький белый козленок. На секунду он замер, увидев нас, и, точно солнечный луч, мелькнул над тропой, скрылся в кустарнике.

— Какой хорошенький, — прошептал я, чуть не задохнувшись от восторга.

Те козлята, что рождались у нашей погибшей козы, тоже были славными, но они были черные. А этот — белый. И такой юркий, что мы его и разглядеть-то толком не успели. Но почему же козленок один, а где его мать?

— Турдыбай, где же коза? — спросил я друга, обернувшись к нему, и увидел незнакомого человека. Тяжело дыша, он приближался к нам, держа наготове ружье и вглядываясь в заросли.

— Вон он, вон! — снова закричал Турдыбай, показывая куда-то рукой, и я, не успев еще ничего сообразить, услышал выстрел. Он мне показался оглушительным. Белый козленок, вновь появившийся на тропе, вдруг резко подскочил, точно его подбросило, и рухнул наземь.

Незнакомый мужчина удовлетворенно крикнул и опустил ружье.

— Ну, джигиты, — окликнул он нас. — Пошли смотреть добычу.

Мы с другом побрели следом за охотником.

Белый козленок бился на земле. Из глаз козленка текали слезы.

Только что этот белый комочек резво бежал по горам, может быть, в поисках своей матери. За что же убил его охотник? «Отец, где же отец?!»

Я стал озираться по сторонам.

Отец спускался сверху, приветственно махая рукой огромному, точно глыба, человеку, убившему маленького козленка.

— Поздравляю, — сказал он, подходя. — Вы, Махкам-ака, превосходный стрелок. А вот нам сегодня не повезло!

Я с удивлением глянул на отца.

И вдруг меня стало рвать. Отец бросился мне на помощь, но что он мог сделать — внутренности мои точно выворачивало наизнанку. Турдыбай с перепугу ревел и цеплялся за рукав отца.

— Уйдем, уйдем отсюда! — истерично кричал мой друг. Кое-как довел нас отец до родничка, умыл нам лица,

дал попить ледяной воды. Но успокоить так и не смог, нас обоих била дрожь, и мы оба не могли произнести ни слова.

В эту ночь меня мучили кошмары, снилось, будто белый козленок — это я. За мной идет по пятам огромный охотник. Пуля разрывает мне бок, от страшной боли я кричу и зову на помощь отца...

МЕСТЬ САИФЫ

С тех пор как с Саифой случилось несчастье, с тех пор как она поняла, что уже никогда не избавится от хромоты, характер ее резко изменился. Веселая выдумщица, озорница, она стала раздражительной, обидчивой, злой.

Она все так же была неистощима на выдумки, только теперь они носили какой-то мстительный оттенок, словно Саифа решила за свою беду расправиться со всем белым светом.

На поле сестра по-прежнему удивляла даже мужчин своей смекалкой, неутомимостью, азартом. А вот придя домой — расслаблялась, ничего не хотела делать. Если же мама просила ее о чем-нибудь, с досадой отмахивалась — дескать, оставьте меня в покое. Без дела слонялась она по двору и не приведи кому-нибудь из младших попасться ей под руку — тут уж жди «воспитания». А оно выражалось у нее по-разному — то ограничится просто подзатыльником, а то и найдет за тобой провинность, за которую можно и плеткой отстегать.

Мы с Мазифой, да и Рихси с Камалом, боялись ее и старались обходить стороной.

В последнее время Саифа сдружилась с дочкой Буви-хон — Шарофат. Шарофат была бойкой и дерзкой девушкой, может, потому с ней особенно-то никто в кишлаке и не дружил. С Саифой же они нашли общий язык.

Шарофат частенько оставалась у нас ночевать, они за-суживались далеко за полночь, болтали, пересмеивались, придумывали всякие каверзы.

И вот они наделали в кишлаке настоящий переполох. Саифа с Шарофат стали писать письма своим бывшим одноклассникам — девушкам и парням. Они хорошо знали характер каждого, все слабости и недостатки и в письмах обыгрывали и высмеивали их. Письма были остроумные и злые, Саифа заставляла нас громко читать их, хохотала до упаду, а затем заставляла разносить по дворам.

Мазифа, Рихси и я отказывались это делать, удирали на улицу, но после изрядной порции «воспитания» вынуждены были подбрасывать письма в заранее намеченный Саифой двор. Делать это надо было с предосторожностью, а иначе, мы знали, хозяева отдубасят нас так, что плетка Саифы покажется ласковой трепкой.

Парни и девушки, получившие анонимки, злились, искали их авторов, грозили оборвать уши, переломать ноги, но выяснить, кто это делает, так и не могли.

Наконец Саифе и Шарофат наскучило издеваться над своими сверстниками, и сестре пришла в голову новая идея.

Как-то она собрала нас, малышей, в тесный кружок, пообещав сообщить нечто важное. Мы с любопытством уставились на сестру, даже рты пораскрывали. А сестра не спешила, она с заговорщическим видом смотрела то на одного, то на другого, нагнетая таинственность.

Наконец я не выдержал и сказал:

— Саифа-апа, ну говорите скорее... — и придвинулся к ней поближе.

Саифа была довольна.

— Вот что, — объявила она тоном, не терпящим возражений, — сегодня идем к Артыку-вору. У него на сеновале хранятся дыни, лучшие в кишлаке. Если немного возьмем, он не обеднеет.

Мы онемели. Взять без разрешения — значит украсть, а воровство у нас в кишлаке считалось самым страшным пороком. Нет, это невозможно.

— Ну, что молчите? — прикрикнула на нас Саифа, сощурив глаза. — Или уже забыли, что Артыкбай-вор украл у нас посылку? Мы должны отомстить, а месть — это благородное дело.

Мы молчали. И тогда голос Саифы зазвучал еще более резко.

— Вот что! Без лишних разговоров пойдете со мной. А тот, кто откажется или, упаси аллах, проболтается маме, получит по заслугам.

Рихси посмотрела на нас, ища поддержки, но мы опустили глаза. И тогда она решилась:

— Я не пойду, Саифа-апа! Не сердитесь!

Саифа не то что рассердилась, а просто рассвирепела. Она никогда не била Рихси, но тут мы поняли, что нашей приемной сестре не миновать трепки. Саифа приняла такую угрожающую позу и так сверлила нас глазами, пере-

водя взгляд то на одного, то на другого, что мы готовы были на что угодно, только бы избежать ее гнева. Рихси притихла: поняла, что и ей не миновать нашей участи.

Вечером, после ужина, дождавшись, когда отец с матерью уйдут к себе в комнату, Саифа подала нам знак — пора.

Мы вышли на улицу и стали обсуждать вопрос: с чьего двора удобнее подобраться к сеновалу Артыка-вора — с нашего или с его. Решили, что лучше всего Саифе пробраться к нему во двор. Она взберется по лестнице на сеновал, затем поднимет лестницу и опустит ее со стороны улицы, где будем «дежурить» мы. Она скатит дыни со стога, подаст мне, стоящему на лестнице, сколько сможет; затем мы перебросим лестницу снова во двор.

Раз уж мы согласились участвовать в этом деле, ничего не оставалось, как одобрить разработанный ею план.

Саифа вывела нас на улицу и определила каждому место у задней стены сеновала Артыкбая-вора.

— Ты, Мазифа, — давала она последние наставления, — переберешься по лестнице ко мне. Рихси — сонная муха, посторожит внизу, а этот — деревянная голова (речь шла обо мне) — будет принимать дыни и осторожно складывать, чтобы не побились. Все поняли?

Мы дружно закивали.

— И главное — не шуметь. Воры работают молча. Следите за мной — буду подавать вам знаки.

Мы заняли каждый свое место, а Саифа, точно тень, проскользнула во двор Артыка-вора. Действовала она смело, так как еще с утра прознала, что соседи вечером приглашены на плов в верхнюю махаллю.

Долго, невероятно долго не было слышно со двора ни звука. Мы вздрагивали при каждом шорохе, готовые тотчас дать стрекача и не смея сдвинуться с места.

Но вот на крыше сеновала показался темный силуэт. Мы обрадовались и облегченно вздохнули: наша предводительница достигла цели. Но Саифа не была бы Саифой, если бы и здесь не проявила своего характера — несколько раз она, посмеиваясь, прошлась по крыше, легко прищипывая и прищелкивая пальцами.

У нас зуб на зуб не попадал от страха — а ну, как увидит кто-нибудь! Мне хотелось крикнуть сестре: «Да заканчивай ты поскорее свое дело!» — но кричать было нельзя. Оставалось ждать. А Саифа, решив, что достаточно пощекотала нам нервы, наконец-то принялась осторож-

но спускать довольно громоздкую лестницу к нам на улицу.

Когда лестница со стуком коснулась земли, Саифа шепотом приказала:

— Рихси, поднимайся!

Бедная Рихси, едва сдерживая слезы, стала подниматься по лестнице. И тут мы снова услышали шепот Саифы, на этот раз он показался мне зловещим:

— Быстрее, растяпа, слышишь, кто-то идет.

Голоса приближались. Мы узнали Артыкбая-вора — его хриплый, лающий говор ни с каким другим не спутаешь. Хозяева возвращались домой.

— Сюда, все сюда, — шипела на нас Саифа. — Да поднимайтесь же быстрее!

«Как же так, по плану ведь было не так!» — мелькнула у меня мысль. Но мы с Мазифой уже, отталкивая друг друга, кинулись к лестнице, кое-как взобрались на сеновал, где Саифа подхватывала нас и буквально швыряла на солому. Мы падали и тыкались носом прямо в дыни, их пьянящий аромат дразнил воображение.

Хозяева между тем были уже во дворе. Артыкбай-вор, услышав шорох на сеновале, насторожился и сказал:

— Надо бы проверить, что там такое! Ушли и даже калитки не заперли.

Кажется, хозяин собрался подняться на сеновал.

— Да будет вам, — урезонила его тетушка Ибо. — Дождь моросит, солома и шуршит.

— Ну и дура ты, — прохрипел Артык-вор, — я что, дождя бы не почувствовал? На небо посмотри — звезды горят.

Тетушка Ибо вздохнула:

— Ну, значит, кошки лазают. Да что вы, Артык-ака, раскричались, Эргаш испугается, он ведь спит давно у меня на руках.

Хозяин вроде бы успокоился и, стуча сапогами, потопал в дом.

Во дворе вновь стало тихо, вскоре хозяева и лампу потушили — видно, улеглись спать.

Предводительница наша подождала еще какое-то время и распорядилась:

— По местам.

Мы с Мазифой скатились с лестницы, заняли свои «позиции», а Рихси стала принимать у Саифы дыни и пода-

вать мне, я брал из ее рук благоухающие шершавые кругляши и осторожно укладывал в сторонке.

Мне даже понравилось это занятие, и с каждой новой, будто спустившейся с небес дыней я все более воодушевлялся, мне уже не казалось, что заняты мы недобрым делом.

— Все! — услышали мы донесшийся сверху шепот.

Лестница стала медленно подниматься и исчезла за кромкой дувала. Несколько томительных минут ожидания — наконец калитка скрипнула, и показалась наша предводительница.

Она распределила, кому сколько нести, и мы с поклажей двинулись в сторону пустыря. Расселись там тесным кружком, Саифа достала из кармана безрукавки складной ножик, и пир начался.

Мазифа, Рихси и я забыли, что дыни украдены, а сами мы — воры, нас занимало одно — отведать скорее пахучей сладости. Мы не ждали, пока Саифа нарежет дыню кусками, хватали их и о коленку раскалывали, чуть не мурлыча от удовольствия, вгрызались в сочную мякоть.

К дому брели с трудом, едва, казалось, тащили отяжелевшие животы.

Когда легли спать, мне вдруг показалось, что скрипнула калитка. «Артык-вор идет! — пронеслось в голове. — Видно, все-таки узнал!..»

— Саифа-апа, — шепотом позвал я сестру. — Мне страшно, нас теперь будут, наверно, судить.

— Спи, дурачок, — сказала она. — Главное, не проболтайся!

Я ворочался с боку на бок, вздрагивал при малейшем шорохе, наконец провалился в какой-то тревожный зыбкий сон, а когда утром проснулся, первой мыслью было: «Не узнали ли о нашем воровстве?..»

Покой ко мне не вернулся и в школе. Я не понимал ничего из того, что объяснял учитель, мне все время казалось, что вот-вот дверь класса распадется и появится Артык-вор. «А-а, вот где этот мальчишка, что украл мои дыни!» — завопит он. И все узнают, что я вор, позор навеки падет на мою голову. И у меня тоже будет кличка Анвар-вор, обо мне будут шептаться в кишлаке, от меня будут прятать в домах хорошие вещи, когда я приду в гости.

После школы я, нигде не задерживаясь, помчался напрямик домой с единственным желанием — рассказать все

маме. Но ее не оказалось дома. А когда она вернулась, пришла с работы и Саифа. Точно догадываясь о моих намерениях, она погрозила мне украдкой кулаком.

Несколько дней я жил в постоянном страхе.

«Ну и ну,— думал я.— Как это, оказывается, тяжело быть вором. Нет, нет, никогда и ни за что я не возьму теперь даже чужой иголки, даже крошки хлеба, пусть хоть мне придется умирать с голоду».

ПЕРВЫЕ ПОИСКИ ИСТИНЫ

Сначала я ничего не замечал: ну, возвращается отец поздно, ну, не обращает на нас внимания — так это все от усталости. Много работы, утомляется человек. Эту мысль в нас старательно поддерживала мама. Приходившего поздно отца она провожала сразу в маленькую комнату, приносила туда ему ужин. А утром мы просыпались, когда отца уже не было.

Но вот однажды вечером я кинулся навстречу отцу, обнял его — и в лицо мне ударил крепкий сивушный запах.

— Папа! — закричал я испуганно. — Ты опять пил водку?

В моей памяти еще была жива картина «обмывания» его директорской должности, и я не хотел, боялся опять увидеть его таким, как в тот раз. Отец приложил палец к губам — дескать, не поднимай шума. И, пошатываясь, прошел в маленькую комнату.

С тех пор я не ложился спать, пока не приходил отец. Несмотря на все запреты матери, я кидался к отцу и всякий раз от него несло той вонючей жидкостью.

Я был младшим в семье. Но не только я, никто из детей не имел права делать замечаний отцу, во мне все кричало, все протестовало. Но мама! Почему молчит мама? Не хочет, чтобы в доме были скандалы? Или боится, что мы, дети, перестанем уважать главу семьи, любить своего отца? А может, она корит его в наше отсутствие? Но почему тогда он ее не слушается?..

Правда, бывали такие дни, когда на отца словно находило просветление — тогда он не пил, домой возвращался засветло, приносил нам от Хашима-чайханщика белые лепешки и сахар, занимался с нами и с виноватым видом поглядывал на ставшую молчаливой маму. В доме сразу становилось как-то уютно, а на душе спокойно. И я ду-

мал: «Отец сильный человек, уж если немцев победил, то водку победит подавно».

Но проходило немного дней, и все начиналось сначала.

Начались холода, выпал первый снег. К полудню он таял, превращался в кашицу — улицы кишлака раскисли. Большинство жителей сидели теперь по домам, возле сандалов, и глядели с нетерпением в окна в ожидании теплых дней.

Мои старшие сестры ходили в амбар — на зимние работы, а я с младшими пропадал на улице. Домой мы возвращались мокрые, грязные, сбрасывали у порога обувь, одежду и спешили к сандалу погреться.

Однажды вечером, когда вся семья грелась вот так у сандала, распахнулась дверь и в комнату ввалился отец.

Вид его был ужасен. Наверное, он не раз падал, пока дошел, — на нем сухого места не было. Волосы слиплись, шапку, как видно, где-то обронил, в уголках рта пена.

— Боже мой, — прошептала мама, подходя к нему, чтобы помочь раздеться. — Как не стыдно появляться перед детьми в таком виде?

— Так, может, мне лучше вообще не приходиться? — невнятно прорычал отец и громко рыгнул.

— Да тише вы, тише, — уговаривала мама. — Пройдите тихонько к себе и ложитесь спать. Или лучше выпейте горячего крепкого чая...

— Не хочу нич-ч-чего, — мотая растрепанной головой, сказал отец и, грубо оттолкнув маму, тяжело опустился на табуретку.

Маме, видно, стало перед нами стыдно за то, что он так обращается с нею. Она покраснела, но сделала вид, будто ничего особенного не случилось, и продолжала его раздевать. Когда отец поднял ногу, чтобы мама стянула сапог, я не выдержал и бросился на помощь. Но опоздал — отец не удержал равновесия и рухнул на пол.

Сестры испуганно вскочили. А мама стала поднимать нашего отца, подхватив его под мышки.

— Надоела ты мне, — хрипел хозяин; а когда маме наконец удалось все-таки его поднять, он заорал: — Убирайся прочь, старая ведьма! — и наотмашь ударил маму по лицу.

Я вскрикнул и метнулся было к отцу с кулаками. Но вспомнил, что старших надо чтить при любых обстоятельствах, и ноги мои словно приросли к полу.

Мама стояла, закрыв лицо руками. Ее позорили при

детях. Да и сам отец так опозорился, что дети уже никогда не смогут сказать о нем, что он благородный человек. Мама опустила руки и впервые в жизни посмотрела отцу прямо в глаза!¹ Этим она как бы сказала, что больше не считает его хозяином в доме, что она лишает его своего уважения.

— Неужели для этого вы вернулись с войны? — резко спросила она и заплакала.

Отец, видно, не ожидал такого от всегда покорной жены и, нам показалось, вдруг протрезвел. Но в следующую минуту мы услышали его хриплый голос:

— Ах вот как, ты недовольна, что я вернулся?!

Марифа-апа решила погасить разгорающийся скандал.

— Отец,— сказала она как можно мягче,— мама так не думает. Если бы вы только знали, как она ждала вас! Думала, когда вы вернетесь, то и радость вернется в дом...

— А ты молчи! — оборвал ее отец.— Кто ты такая, чтобы делать мне замечанья?!

— Послушайте,— вмешалась Саифа,— не говорите так. Мама никогда не смотрела вам прямо в лицо. Но вы ударили ее, обидели... Мы вам не позволим бить маму.

Мама стояла, покачивая головой, словно не зная, на что решиться, но вдруг осевшим голосом сказала:

— Ну-ка уходите все отсюда! Мы сами разберемся, кто прав, кто виноват,— и выпроводила нас всех в другую комнату.

Долго не выходила мама из мехманханы, выясняя отношения с отцом. Наконец она появилась с опухшими глазами и покрасневшим носом. Не глядя на нас, прошла на кухню. Мы молча двинулись за ней.

— Боже мой, почему я такая несчастная,— приговаривала мама, принимаясь готовить ужин.— Первый муж Марифай погиб от рук негодяя... десять лет просидела вдовой, только чтобы не было у моих девочек отчима. Но родичи, это все они... настояли, чтобы вышла замуж. Говорили — нужен сын тебе, наследник. И вот результат... Наследник есть, а счастья нет!

Речь шла обо мне. И не знаю почему, я почувствовал себя в чем-то виноватым. Бросился к маме, обнял ее за шею и заревел. Мама поняла, что неосторожным словом

¹ По восточному обычаю, когда муж ругает жену, она не имеет права смотреть ему прямо в лицо.

ранила меня в самую душу, она прижала меня к груди и, нежно целуя в глаза, прошептала:

— Анварджан, сынок, благодарю бога за то, что ты есть у меня!

Теперь уже мы плакали вместе, и я понимал, что дорожке мамы у меня никого нет на свете и я не могу, не должен обмануть тех надежд, которые связаны у нее с сыном.

— Мамочка, не плачьте! — это был голос Марифы.

Я поднял голову.

— Говорит, что уйдет, — пусть уходит, — продолжала Марифа. — Не будет вас мучить. Видно, судьба такая... Каким хорошим он был до войны. А теперь... Пусть уходит.

Мама понимала, что Марифа произносит эти жестокие слова из любви к ней, жалеет ее, но все-таки прервала старшую дочь:

— Не говори так. Разве замуж выходят, чтобы разводиться?! Даст бог, Усман-ака образумится, станет прежним.

В эту ночь мама почевала в комнате сестер, но уснуть, видно, не могла. Долго слышал я доносившиеся оттуда вздохи и горестный шепот: «О боже!»

Мама ждала чуда, надеялась на бога, которого, как говорили нам учителя, не было. Но если его нет, почему же тогда люди, в особенности старики, возлагают на него столько надежд?

Этот вопрос давно занимал меня, возбуждал воображение. А может, учителя не правы и он есть, этот бог?! Тогда почему же не доходят до него человеческие мольбы? Взять хотя бы тетушку Хамби! Уж как страстно умоляла она его оставить ей в живых хотя бы одного сына! И что же?! Где она, милость божья, где его всемогущество?!.. А мольбы мамы? Всякий раз, когда новое несчастье обрушивалось на наш дом, она поднимала глаза к небу, ждала оттуда спасения, помощи от бога. Но ни разу, ни единого разу он не помог ей. Почему?

Мысли мои шли дальше, множились, причудливо переплетались, и вот уже мне пришло в голову безумное желание превратиться во всемогущее существо. Уж тогда ни одной мольбы, ни одного желания я не оставил бы без внимания. Я-то знаю, что такое горе, страдание, отчаяние, я прошел через них вместе со своей семьей, со своей матерью.

Я лежал в постели с открытыми глазами, натянув до подбородка старенькое, латаное одеяло, и представлял се-

бе шахские хоромы и живущего в них бога. Конечно же на боге бархатный красный халат, расшитый золотом. Сапоги тончайшей кожи, тоже красные; белоснежная чалма усыпана драгоценными камнями. Одет точь-в-точь как шах. Тут мои мысли заметались. Во-первых, я плохо себе представлял, что такое драгоценные камни, о которых слышал от мамы, когда она рассказывала; во-вторых, все сказки в один голос утверждали — не может быть шах добрым, справедливым. Ведь он ничего не делает сам, у него одних слуг целая армия. Девушки-пери услаждают его слух райским пением...

И грош цена такому богу, который похож на шаха. Обыкновенный человек, если он справедливый, добрый, великодушный, куда нужнее всем-всем на земле — уж он-то не откажет в помощи, если к нему обратится страждущий.

Но ведь таким был мой отец и до войны, и когда вернулся с фронта. Не зря же люди со всего кишлака шли к нему за помощью, за советом. Что же случилось с ним, с моим отцом, почему он стал пить?! Неужели друзьям Алмату и Миркашифу удалось втянуть его в свою компанию? Или они тут ни при чем? Может, есть какая-то другая причина?

Как мне было ни обидно, а от кандидатуры отца на роль бога пришлось отказаться. Скорее всего, решил я, на него похож мудрый, добрый Шермат-бобо. Никто в кишлаке точно не знал, сколько лет аксакалу. Говорили, за сто. А еще говорили — всю жизнь был честным, трудился как палван, жил скромно, потому и живет долго.

Я представил бога в облике Шермата-бобо, вроде бы получалось неплохо. «Так что же это получается, — вдруг пришла мне в голову мысль. — Если я хочу стать всемогущим, значит, должен походить на Шермата-бобо?!» Я некоторое время размышлял на эту тему и пришел к выводу, что это не так уж и плохо — походить на столь уважаемого и достойного человека.

Итак, образ бога я в воображении создал, теперь осталось только превратиться в него и начать творить добрые дела. Надо сильно, страстно, всей душой захотеть — и тогда забьются за твоей спиной крылья, и ты взмоешь ввысь, расположишься где-нибудь на облаках и будешь оттуда смотреть на землю, жаждущую твоей помощи.

Но с чего начать свои добрые дела? Э, в этом деле нельзя спешить, надо делать все по порядку.

Память вернула меня к первым моим самым сильным

потрясениям. Я бы, будучи всемогущим, отвел топоры, от ударов которых погибла моя яблоня,— это было мое первое страдание, моя первая потеря. «Яблонька моя, не бойся! — закричал я, совершенно забыв, что все вокруг спят.— Я спасу тебя!»

Вдруг я почувствовал сильный удар ногой лежавшей рядом Саифы-апа. Сквозь сон она прошипела:

— Балбес, я тебе сейчас покажу яблоньку! Только зори еще раз на весь дом.

«У, рыжая ведьма! — обругал я мысленно сестру.— Нет от тебя покоя ни днем ни ночью».

Молча посетовав на сестру, я решил все-таки довести до конца список добрых дел, которые предстоит осуществить мне.

Яблонька уже возвращена в наш маленький двор. Это я успел. А вот теперь... Я вспомнил горе нашей семьи, лишившейся козы-кормилицы, а заодно и козлят. Надо наказать волка и вернуть козу в наш сарай.

Но что это я о яблоньке да козе? Надо вернуть маме Эркина, нашего младшего братика,— излечить в ее сердце боль о нелепо погибшем сыне. И другую рану в маминем сердце излечил бы — как страдает она оттого, что любимая ее Саифа стала хромой... А ее любимый зять Зиятбай? Его я непременно верну в нашу семью... Да, чуть не забыл, ведь есть еще златоволосая Рихси, живущая надеждой отыскать когда-нибудь своих маму, папу. Я помогу ей, я сделаю так, что она найдет их и больше никогда не расстанется с ними, никогда не потеряет.

И наконец, главная наша забота — отец! Он станет прежним — добрым, нежным, подтянутым. Глаза мамы вновь наполнятся радостью, когда отец будет возвращаться по вечерам усталый и голодный, а за ужином станет спрашивать нас о делах, об успехах в школе; а потом, всей семьей, мы удобно устроимся вокруг жаркого сандала, и отец примется рассказывать всякие истории, мы будем слушать и смотреть на него влюбленно и преданно.

«Ата, атаджан! — закричал я, плача от радости.— Не бойся, ты опять хороший, мы все любим тебя!»

Новый удар в бок не заставил себя ждать — Саифа расвирепела.

— Если ты сейчас же не успеешь, отдеру тебе уши,— пообещала она.

Я застонал, всхлипнул и схватился за бок. Нет, уснуть я не мог, а все продолжал плакать, сам не зная отчего: от-

того ли, что ныло в боку, или оттого, что злая Саифа помешала мне вернуть счастье в нашу семью.

«Прости меня, яблонька,— шептал я,— прости, отец, все простите. Это рыжая ведьма, она виновата, что не стал я всемогущим...»

ДО СВИДАНИЯ, МАРИФА-АПА

В один из зимних дней отец не вернулся домой. За ужином Рихси, опустив голову, несмело сказала маме:

— Папа Усман велел передать, что уходит, что искать его не надо.

Я сначала не понял, о чем речь, но мама, словно объясняя нам, что произошло, горько заключила:

— Это она, проклятая, увела его из дома, водка...

В голосе мамы слышались и горечь, и безмерная усталость.

Отец последние дни стал просто невыносим, почти каждый вечер кончался для мамы слезами. И все-таки я был поражен тем, что мама говорит об уходе отца так спокойно, точно давно смирилась со своей судьбой. Но ведь надо же он отец, мы любим его, мы так ждали его возвращения с войны! Нам казалось тогда, что каждый день с ним будет счастливым. И вот... Как же это можно, в мирное время потерять отца?! У меня в голове это не укладывалось, а душа разрывалась от горя. Мне хотелось немедленно отправиться на его поиски, сказать, что нам он нужен, хоть какой, даже... Эх... Я бросился было к маме с просьбой отпустить меня на поиски, но она отстранила меня равнодушной рукой и сказала:

— Ему сначала не к нам надо возвратиться, к себе! Стать таким, каким он был!..

И я почувствовал свое бессилие — ничем я не облегчу ни ее страданий, ни отцу не смогу помочь и его беде. Лишь поклялся самому себе, что никогда в рот не возьму эту прозрачную вонищую жидкость, столько раз проклятую мамой. Она может превратить в жалкое, отвратительное существо даже такого умного и хорошего человека, как мой отец.

Семья осталась без кормильца, без мужчины, без опоры. И кто знает, может быть, поэтому решилась Марифа на поступок, за который раньше я бы осудил ее с беспощадным детским максимализмом.

Дело в том, что в один прекрасный день вновь явились

в наш дом сваты. Надо сказать, калитка нашего двора никогда не закрывалась. В ту пору, когда отец только вернулся, стали соседи, да и знакомые из других махаллей приходить к отцу посоветоваться, просто поговорить о жизни, о событиях в мире. Затем стали являться к маме ее заказчицы; охотно приходили и молодые вдовы к Марифе, чтобы вместе поплакать, погоревать.

Поэтому, когда однажды во двор вошли две женщины и мужчина, мы отнеслись к этому как к чему-то обычному.

Правда, я тут же понял, что люди эти пришли издалека — это заметно было по их усталому виду, да и обувь на ногах была пыльной. А кроме этого, платки у женщин были надвинуты низко на лоб, в нашем же кишлаке их повязывали по-другому.

Женщины, ни молодая, ни старая, не привлекли моего внимания, а вот мужчина понравился — были в нем степенность и благообразность, глаза его глядели приветливо, умно.

Осенние дни стояли ясными и теплыми, все мы по-прежнему основную часть времени проводили во дворе. Рихси, я и Мазифа сразу же окружили гостей, но мама опередила нас.

— Проходите, добро пожаловать! — пригласила она; но прежде чем провести гостей в дом, крикнула Саифе: — Доченька, расстели курпачи в мехманхане.

Пока мама обменивалась традиционными приветствиями, расспросами о житье-бытье с каждой женщиной в отдельности, а потом с мужчиной, Саифа приготовила комнату к приему гостей. Все вошли в дом. Саифа стала хлопотать на кухне, готовить угощение.

Мы, дети, все ждали, когда же и нас позовут в мехманхану, но о нас словно забыли. Даже обедали мы отдельно, во дворе. После обеда из дома вышла мама, поманила меня и попросила почему-то шепотом:

— Сынок, сбегай, позови тетушку Шафаат и Хаджи-аксакала.

Я догадался, что это неспроста. Видимо, мама хочет с ними посоветоваться. Но о чем?

Тетушка Шафаат и Хаджи-аксакал пришли в дом, и опять все тихо.

Только вечером после ужина узнали мы, что за гости пожаловали к нам. Это были сваты из Паркента. Оказывается, племянница отца, Анзират, направила их к нам, расписав достоинства и красоту нашей Марифы.

То, что пришли сваты, это для меня не было особым событием. Но вот согласие Марифы меня поразило. И не только меня, Саифа тоже сновала по двору сама не своя. Кажется, мы одинаково сильно волновались, хотя и думали по-разному. Саифа сгорала от обиды, от зависти, страдала от сознания своей неполноценности, а еще больше оттого, что не могла скрыть своих чувств.

Когда мама, на несколько минут оставив гостей, вышла во двор, Саифа подскочила к ней точно ужаленная и с горечью сказала:

— Стараетесь для своей Марифы! А у вас ведь и еще дочери есть.

Мама растерялась. Что она могла ответить своей любимице, за судьбу которой изболелась вся ее душа!

— Доченька,— проговорила она, словно извиняясь.— Для Марифы, пока я жива, всегда есть место в этом доме. А не будет меня? Что тогда? Давай лучше порадуемся, что жизнь ее наконец устроилась.

Я тоже страдал, но совсем другие чувства владели мной. Я не мог понять: почему Марифа так резко отказала человеку из нашего кишлака, человеку, которого она хорошо знала, и дала согласие жениху, о котором и понятия не имела? Что заставило ее это сделать? Ведь теперь она уйдет от нас, уйдет так далеко, что и в гости не сходишь, да еще и Камала заберет.

Сваты уехали обрадованные, а мама стала готовиться к предстоящей свадьбе. Стирала, штопала, что-то шила, примеряя на Марифу. Старшая сестра равнодушно относилась ко всем маминым хлопотам, ни тени радости не было на ее лице. Она лишь имела вид человека, покорившегося судьбе.

СВАДЬБА

У нас в доме еще никогда не было свадьбы. Конечно, я, как и все мальчишки кишлака, был завсегдатаем на всех тоях. Но одно дело смотреть на пир откуда-нибудь с дувала, а другое — быть хозяином, самому принимать и угощать гостей. Я был переполнен ожиданием радостных событий, хотя и не мог до конца разобраться — чего же мне больше все-таки хочется, чтобы во дворе нашем гремели карнаи, сурнаи, кипел праздник такой, что собирает весь кишлак, или чтобы Марифа-апа переменила решение и осталась с нами? Ведь свадебный той — хоть это большой

и необычный праздник,— он быстро кончится. А вот Марифа-апа — это праздник ежедневный.

И все-таки вольно или невольно в мое воображение, в мои мечты властно врываются картины свадебного торжества — очень уж велико было мое желание, чтобы и у нас, в нашем маленьком дворике, было по-настоящему весело, празднично и торжественно. А то все беды да несчастья, слезы и причитания. С какой завистью я смотрел на мальчишек, в чьих дворах проходил той — по случаю рождения ребенка или свадьбы.

Со свадебным тоем, конечно, не мог соперничать ни один другой. Я грезил наяву — мне виделся наш новый зять, жених Марифы-апа. Он приедет из далекого и загадочного Паркента — в ослепительно белой чалме, расшитом золотом халате и хромовых сапогах. Конь под ним будет золотогривый. А сам он — красавец палван. Среди этих грез я вдруг вспоминал всегда так скромно одетого Зиятбая-ака, и мне становилось стыдно. И тут же мое воображение текло по иному руслу. Я начинал мысленно разыгрывать сцены свидания Марифы и погибшего Зиятбая. То я произносил монолог от лица Марифы, то от лица Зиятбая. Вот Марифа-апа просит прощение у своего мужа, и я нахожу самые жалостные, самые трогательные слова. Вот Зиятбай умоляет свою жену не забывать его, не оставлять одного там, в далеком краю, откуда он не вернулся. Но кончались эти сцены, как правило, неопределенно — я ведь не знал, что на самом деле думает моя старшая сестра.

Она ходила молчаливой, задумчивой по двору, по квартире — словно смотрела на все окружающее и не могла насмотреться. В такие минуты мое сердце пронзало чувство жалости, мне хотелось помочь ей, как-то облегчить ее участь, но я не знал — как. Моему детскому сердцу были еще непонятны ее тревоги и думы, мне были еще неизвестны сложные законы жизни, заставляющие или торжествовать победу, или покоряться судьбе.

Наконец-то день, которого я так ждал, наступил. С утра, чуть забрезжил рассвет, я уже был на ногах; вместе с мамой, Марифой и родственниками встречал посланцев жениха. Во дворе разгружали подарки для невесты, снимали с арбы мешки с рисом, морковью, котлы для плова и шурпы, мясо. Я сновал меж незнакомыми людьми и старался во всем принимать участие.

Двор постепенно заполнялся гостями, шли с нашей ма-

халли, а также знакомые из средней и верхней махалли. Все ждали прибытия жениха. И только ошпазы¹ невозмутимо занимались своим делом: разводили огонь под котлами, промывали рис, шинковали морковь, нарезали мясо. Одним словом, готовили свадебное угощение. Вдруг, словно шелест ветра, пронесся шепот: «Едет, жених едет».

Я бросился через открытые ворота на улицу — вот сейчас, сейчас запоют торжественно карнай и сурнай, загремят радостные бубны, оповещая весь кишлак, весь мир о том, что во дворе Усмана-ака — той.

Но вместо этого я увидел скромную процессию — на подводах приехали друзья жениха. Сам он хоть и был верхом, но от того героя, каким нарисовало его мое воображение, был далек. Я готов был расплакаться, у меня было такое чувство, будто меня обокрали.

Мне, мальчишке, тогда было невдомек, что свадьба, когда женщина выходит замуж во второй раз, проходит совершенно по другому ритуалу.

Жених пришел в дом, и туда же устремились самые почетные из гостей. Я прорваться в дом не сумел — меня отеснили к летней кухне, и я стоял там растерянный и несчастный — не было того ослепительного фейерверка веселья и радости, который я ожидал. И даже обряд бракосочетания проходил без меня. Когда жених и невеста показались наконец в дверях айвана, я, работая что есть силы локтями, пробрался все-таки поближе — надо же было как следует рассмотреть будущего зятя. Высокий, стройный, одет скромно, но держится с достоинством. Особенно же мне понравились глаза — добрые, приветливые.

Как только молодые стали спускаться по ступеням, их осыпал дождь монет. Затем родственники жениха стали рассыпать вокруг джиду, сушеный урюк, курт, мелкие монеты. Мальчишки бросились подбирать это богатство.

— Эй, Анвар! — подтолкнул кто-то меня. — Что же ты?! Подбирай! Это освящено. Это принесет счастье. Бери.

Я стоял неподвижно, не решаясь наклониться за монеткой или шариком курта, хотя и обожал его.

— Анвар! — вновь сказал кто-то. — Бери скорей, загадывай желание!

Но я все раздумывал — то мне хотелось так же радостно и безоглядно, как мои приятели, кинуться за освященными монетами, то вдруг меня пугала мысль: а не украду

¹ Ошпазы — повар.

ли я тем самым счастье Марифы? И я так и не посмел урвать себе кусочек счастья от счастья, предназначенного для сестры.

Скромно шла свадьба Марифы, и была она недолгой. К вечеру те самые подводы, на которых привезли подарки, были готовы, чтобы увезти Марифу из нашего дома.

Сестра переоделась для дороги и выглядела совсем не празднично. К глазам она то и дело подносила платок. Мама, сестры успокаивали ее, я же готов был крикнуть жениху, чтобы ехал прочь один, без Марифы, которая там, вдали от родного дома, умрет от горя.

Мама обняла свою старшую дочь и сказала:

— Дочка, судьба твоя такая — покинуть нас.

Я возмутился — при чем тут судьба, ведь это она, мама, первой дала согласие на ее замужество. Это она благословила дочь на то, чтобы та забыла зятя Зиятбая. Кто объяснит мне — почему она так поступила и почему так говорит?!

Марифа уходила, и никто, никто не пытался ее удержать. Я бросился к ней, обвил ее ноги и зарыдал.

— Сестра, сестричка моя милая! — выкрикивал я сквозь слезы. — Не покидайте меня! Я вас люблю. Больше всех люблю! Не покидайте!

— Отступись! — мать резко оттолкнула меня и, подхватив сестру Марифу под локоть, повела на улицу.

Ее поступок обидел меня, оскорбил. За что мама обидела меня? Только за то, что я посмел сказать сестре то, чего никто не хотел сказать: Марифа, не уходи, если тебе не хочется уходить. Не совершай поступка, который противен твоему сердцу, твоей душе!

Если бы я только был большим, если бы я был сильным, уж я бы помог Марифе решить свою судьбу так, как она хочет. А сейчас...

Я мог лишь сквозь слезы видеть, как подхватили мою старшую сестру под руки, усадили на арбу. Послышался окрик: «Эней, милые!» — просвистела камча, подбадривая коней, и под печальную песню, предназначенную для проводов, тронулась процессия.

Последнее, что я слышал, были слова Марифы-апа, обращенные ко мне:

— Золотой мой, не забывай свою сестру!

Постепенно двор опустел, мама и наша родня принялись за уборку.

Саифа собрала всех сестер и меня и повела в большую комнату.

— Ну-ка, цыплята мои, садитесь поближе,— сказала она, устраиваясь на еще не убранной праздничной курпаче.— Теперь я буду за старшую. Видели, Марифа-апа бросила нас.

— Нет, нет,— сказала Мазифа и тихо заплакала,— сестра Марифа нас не бросила. Завтра прибежит к нам...

— Она же любит нас,— поддержала ее Рихси,— конечно, завтра же убежит оттуда...

— «Убежит», «прибежит»! — передразнила их Саифа.— Да кто это от мужа бегаёт? Вот когда я...— Тут она осеклась и замолчала.— Ну-ка, Мазифа, спой нам песню «Подснежник»,— резко переменяла тему Саифа.

Мазифа удивленно уставилась на сестру, а та уже со слезами в голосе повторила:

— Спой!

Когда подснежник расцвел,
Сварили айран из него...—

запела Мазифа тонким голоском. Саифа и Рихси подхватили грустную и нежную мелодию, а я смотрел на них и думал о том, что никогда теперь не будет сидеть с нами сестра Марифа, о том, почему же все-таки дала она согласие жениху из далекого Паркента.

Но ответ на этот вопрос пришел ко мне позднее. Нет, не забыла Марифа Зиятбая и потому не могла выйти замуж в кишлаке, где все его знали, где все напоминало о нем. И когда поняла, что жизнь свою ей все-таки устраивать как-то надо, решила: уж лучше уехать в чужие края.

ПАДЕНИЕ КУМИРА

А жизнь в нашем маленьком дворе шла своим чередом, и постепенно, как это мне ни казалось невозможным, мы привыкли к тому, что за дастарханом теперь не хватало трех дорогих нам людей — отца, Марифы, Камала. И если с судьбой старшей сестры я примирился, то судьба отца приносила мне страданье.

Немногие вернулись с войны, думал я, отцу повезло, он вернулся, так как же это возможно — пропасть без вести в мирное время? Вот уже год он не давал о себе знать. Где он, что с ним?! Каждый вечер я ждал знакомого стука в калитку. Но напрасно.

С неразлучным другом Турдыбаем мы уже ходили в третий класс. По дороге в школу мы разыгрывали всякие истории, особенно нам нравилось воображать себя героями войны, бесстрашно побеждающими врага. Игрой в войну мы увлекались до той поры, пока не произошла с нами реальная история, связанная с последствиями страшной войны.

Мы с Турдыбаем конечно же слышали от старших, что тетушка Хамби окончательно свихнулась, но никогда больше не встречали ее в кишлаке.

И вдруг... Мы шли по берегу сая в школу, как всегда громко разговаривая и смеясь, когда перед нами неожиданно возникло странное существо. Седые космы ниспадали до пояса, поверх рваного черного платья одета такая же драная и грязная душегрейка, на изможденном лице горят каким-то запредельным огнем ввалившиеся глаза.

Существо это мне напомнило человека в лохмотьях. Да, они были похожи в своем безумии, в своем потерянном виде.

— Это же безумная Хамби,— дернул я за руку Турдыбая.— Бежим.

Но было поздно.

— Мой барашек,— обратилась вдруг к нему старуха.

И мы удивились тому, как ласково прозвучал ее голос.

— Почему боишься меня? Я никого не обижаю. Если спросишь у людей, какой была Хамби, тебе скажут: «Она была красивой и доброй женщиной. Но лишилась трех сыновей и стала ненормальной». И аллах не пощадил их, чтоб упасть ему навзничь с неба.

Мы слушали безумную Хамби с открытыми ртами и не находили в ее словах ничего ненормального. Единственно, что в ней было из ряда вон выходящее,— запах. Тошнотворный запах немытого тела и грязного отрепья.

— Ты сын аксакала Хаджи. Твоя мать Шарафат хорошая женщина,— продолжала старуха и приблизилась к нам настолько, что стало нечем дышать от смрада, исходящего от нее.— Не дай вам бог пережить своих детей, жаль, что вы еще не понимаете этого.

Старуха умолкла и громко высморкалась. Мы с Турды стояли точно замороженные, надо бы убежать, да ноги не двигаются с места. Мы терпеливо ждали, что будет дальше.

— Жеребенок мой,— это тетушка Хамби обращалась уже ко мне.— Ты сын Арифы. И твоя мать хлебнула горя.

Жаль мне ее. И ты жалеешь свою мать. Негодяй Усман пьет, бродяжничает где-то, а Арифа семью кормит, детей растит.— Вдруг старуха рассмеялась:— Вижу, ты стоишь и думаешь: «Ну, завела свою песню сумасшедшая Хамби». Многие так считают. И обращаются со мной как с сумасшедшей. А я... я просто несчастная мать. Нет мне жизни без моих сыночков. Понимаешь ли, жеребенок мой?

Я беспрестанно кивал головой, мол, понимаю.

— Если понимаешь, это хорошо,— вроде бы успокоилась Хамби. Она на минуту задумалась, а затем неожиданно спросила меня:— Вот если бы ты потерял трюх сыночек, что бы ты испытал?

Я растерянно молчал. Что я мог ответить? Как мне представить себя отцом или матерью, как понять, что испытывают они? Вот если бы она спросила, что бы я испытал... Но закончить мысль я побоялся. Одной только мысли я ужаснулся: что было бы, случись что-нибудь с матерью!

— Молчишь? — опять раздался ласковый голос старухи.— Да где уж тебе, несмышленишу, ответить. Вырастешь, поймешь... А я... Мне давно пора к моим детям. Да вот бог смерти не дает.

— Тетушка Хамби,— осмелился я обратиться к старухе.— А зачем вам умирать? Не надо, живите!

— Ах, жеребенок мой,— опять невесело рассмеялась тетушка Хамби.— И это когда-нибудь поймешь. Умереть бывает легче, чем жить.

Она замолчала, и мы с Турды не решались нарушить молчание.

— Эй, сумасшедшая,— раздался чей-то строгий окрик.— Уйди, не пугай детей!

Мы оглянулись, к нам подходил наш первый учитель, Мирали-ака.

Тетушка Хамби тоже узнала его, обиженно спросила:

— Мирали, почему гонишь меня, разве не помнишь, как в войну я делилась с тобой пшеничными отрубями? А этим крошкам я зла не желаю.

Тетушка Хамби приблизилась ко мне почти вплотную и протянула руку, чтобы погладить меня по голове.

— Прочь, сумасшедшая! — закричал Мирали-ака и оттолкнул от меня старуху.

Тетушка Хамби не удержалась на ногах и упала. Я бросился к ней, принялся ее поднимать. А затем обернулся к учителю.

— Мирали-ака,— спросил я дрогнувшим голосом,— зачем вы толкнули старого человека? Вы же сами нас учили уважать старых.

Мирали-ака стал оправдываться:

— Но ведь она сумасшедшая. От нее можно ждать чего угодно. Я хотел уберечь тебя...

Но я уже не слышал того, что говорил домла Мирали. Я бежал прочь от того места с единственной мыслью: «А ведь первый учитель говорил нам одно, а сам совсем не такой...»

БЕДА, О КОТОРОЙ МЫ НЕ ЗНАЛИ

Я не любил, когда кто-нибудь из соседей начинал расспрашивать меня об отце. Мне было больно слышать вопросы о том, где он, по-прежнему ли пьет, не женился ли на другой?! Я старался уклониться от ответов и долго еще потом переживал, переполненный воспоминаниями об отце.

Известие о нем пришло неожиданно и внесло смятение в наш семейный мир.

Я только-только возвратился из школы, успел разве что портфель в угол забросить, как скрипнула калитка и во двор вошла незнакомая девушка.

Я выбежал навстречу и выжидательно уставился на нее.

— Ты Анвар, да? — спросила она меня. — А мама твоя дома?

— Дома,— удивленно ответил я. — А что?

— Пусть она выйдет сюда, скажи ей.

Я побежал на кухню, схватил за руку маму, потянул за собой.

— Девушка какая-то просит вас.

Мама удивилась не меньше меня, девушка была явно не из нашего кишлака.

— Проходите, доченька,— она приобняла незнакомку,— проходите в дом.

— Спасибо, но я спешу,— остановила девушка мать. — Я по делу.

Мама насторожилась, но на расспросы не решалась, сказала лишь:

— Ну раз пришли, будьте уж гостьей.

— У меня столько дел,— сказала незнакомка. — Усманали-ака... ваш муж... очень уж просил, вот и пришла.

Руки мамы задрожали, она бросила испуганный взгляд на девушку, осторожно спросила:

— Что с ним?

— Усман-ака болен. Я медсестра районной больницы. У нас он лежит.

Мама поднесла широкий рукав платья к глазам, перебила гостью:

— Что-нибудь серьезное?

Медсестра мягко положила руку маме на плечо, сказала успокаивающе:

— Не переживайте так, постараемся ему помочь. Оказывается, после ранения в голову осколок у него остался. Головные боли его уже давно мучили, а в последнее время стали просто невыносимыми.

Мама в растерянности и смущении слушала медсестру. Она теперь стала догадываться, почему пил отец. Наверное, он... хотел заглушить боль. А она, его жена, не поняла этого, не помогла вовремя. У мамы был такой виноватый вид, точно на смотринах она разбила священную фарфоровую посуду и опозорилась навсегда. Этой священной фарфоровой посудой был отец.

— Да не волнуйтесь вы, будем лечить вашего мужа,— повторила медсестра и стала прощаться.

— Стойте,— крикнула ей вслед мама.— Скажите Усману-ака... Хотя нет, не надо, я сама все скажу.

В этот же вечер она стала готовиться в дорогу. В доме у нас было необычно тихо — не знаю почему, но каждый из нас чувствовал себя немного виноватым перед отцом.

Никто из нас не догадался о его тайных муках и страданиях, мы не помогли ему в трудную минуту. Но даже и тогда, когда мы не знали о его беде, мы не должны были позволить уйти ему из дома. Надо было бороться до конца, надо было помочь ему избавиться от недуга.

Рано утром всем семейством отправились в район. Но невеселым было наше свидание с отцом, оно оставило во мне тягостное и тревожное чувство.

Он похудел, постарел, глаза его смотрели угрюмо и безысходно. Казалось; в нем не было сил бороться со своей болезнью. Нам он вроде бы обрадовался, но улыбка его была такая жалкая, что стало как-то не по себе. Уходили мы без надежды в душе.

Всю обратную дорогу мама плакала. Я спросил у нее: поправится ли отец, вернется ли к нам?

— Не знаю,— прошептала она, глотая слезы.

ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ

Бывают такие мгновения в жизни, когда ты и сам себя не понимаешь — вроде бы одна половина существа твоя, а другая — чужая. Не знаешь — радоваться или печалиться. Наверное, это оттого, что радость и печаль идут рука об руку.

Стояли последние дни осени, а холодов еще не было. В природе все было тихо, умиротворенно. Вот в эти тихие дни неслышно, словно крадучись, пришла в наш дом радость.

В долгие осенние вечера мы все крутились возле Саифы, но она почему-то не обращала на нас внимания. Необычно задумчивой была сестра в последнее время, и мы, не понимая, что с ней, пытались детскими своими шалостями расшевелить ее. Но тщетно.

— Оставьте Саифу в покое,— сказала мама.— Вы — дети. Вот и играйте в детские игры.

Но игры почему-то не клеились.

Вот и в тот день тоже. Я слонялся по дому, обшарил все полки в поисках чего-нибудь съестного и, не найдя ничего, подошел к Рихси. Она рисовала узоры на запотевшем стекле.

— Ну как? — Рихси обернулась ко мне.— Получилась у меня корова?

Я посмотрел на стекло и закричал: «Эй, гляди, к нам гости». Во двор вошли две женщины — маленькая горбатая старушка, прикрывавшая лицо платком, и молодуха в бархатном камзоле. У меня екнуло сердце при их виде — не знаю почему, но я решил, что это свахи.

— Эй, красавица,— дребезжащим голосом, с сильным присвистом из-за отсутствия передних зубов позвала старая.

Мы с Рихси уже стояли в дверях веранды и с жадным любопытством разглядывали незнакомок.

— Детки, мама дома? — это уже обращалась к нам молодуха.

— Она у тети Махи,— ответили мы враз.

— У нас важное дело,— растерянно проговорила молодуха.

— Беги за мамой,— шепнула мне Рихси и стала приглашать гостей в дом.

Я помчался к соседям.

Мама и тетушка Махи сидели во дворе на берегу арыка, соседка жаловалась на своего мужа, а мама ее утешала.

— Пришли гости, вас спрашивают...— завопил я от самой калитки.— Да быстрее же, они по важному делу.

Мама даже забыла отчитать меня за то, что я закричал, не дождавшись окончания их разговора. Она резко поднялась — «важное дело» заставило ее поспешить.

При виде женщины мама растерялась, ее явно смутили их дорожные наряды — видно, были они из зажиточной семьи.

В мехманхане она усадила старшую на самое почетное место, попросила Рихси расстелить дастархан и заварить чай. Начались расспросы о здоровье, разговоры о погоде — я сгорал от любопытства. Судя по всему, мама тоже изрядно нервничала.

— Арифахон! — сказала наконец старая. — Мы пришли породниться с вами.

У мамы пиала дрогнула в руке. Она вскинула вопросительный и в то же время испуганный взгляд на старушку — уж не ослышалась ли она. Но та подтвердила:

— Да, да, породниться.

— Хорошо сделали, что пришли. — Мама так вся и засияла. — А у меня с утра веко подергивалось. К чему бы это, думаю.

— К радости, к счастью эта примета, — закивала старушка. — У меня единственный племянник. Он со мной пришел из Карахтая. Очень уж ему приглянулась ваша дочь. И если суждено...

— Да, девочка моя стала взрослой, — сказала мама, и голос ее дрогнул. Она опустила голову, чтобы скрыть набежавшие слезы. Как ждала мама этого дня, как переживала за свою ненаглядную Саифу.

Мы с Рихси, стоя подле двери, радостно толкали друг друга локтями.

— Вам не только одну, десять дочек отдам, — продолжала мама, справившись с волнением. — Но свадьбу делать не просто...

— И у нас особенно богатства нет, все война проклятая вытряхнула. Да уж как получится... Посоветуйтесь с родными. Если согласятся, назначим день свадьбы.

— Сара-апа,— обратилась к ней мама,— с кем же мне советоваться? Мать, братья в городе. Не смогу поехать туда, далековато.

Женщины вроде бы даже обрадовались.

— Решайте сами... скажете: завтра — так завтра же и устроим свадьбу.

— Что я могу сказать...— мама от волнения даже стала заикаться.— Я согласна...

— Ну что ж,— заключила старшая,— завтра придут мужчины, чтобы разломить лепешку.

...И вновь меня охватило нетерпеливое ожидание праздника, я не знал, чему отдать предпочтение — радости или печали.

Как хорошо, говорил я Рихси, что Саифа наша теперь будет счастлива. Нет, нет, тут же я брал свои слова назад, это нехорошо, что сестра уйдет от нас. Мы просто не сможем без нее.

Зачем только мама дала согласие? Тут мои мысли потекли по другому руслу — почему мама не захотела ни с кем советоваться? Ни с родственниками, ни с соседями. Неужели она боялась упустить сватов? Боялась, что никогда более не представится Саифе такая возможность?

На дворе уже было темно, а Саифа почему-то задерживалась. Мы с Рихси так и не дождались ее у калитки — нам хотелось первыми сообщить сестре нужную новость и получить суюнчи, но вечерний холод загнал нас домой.

Когда же наконец хлопнула дверь на веранде, мама, опередив нас, кинулась навстречу Саифе. Обняла ее нежно, погладила по голове. Сестра удивленно и в то же время вопросительно уставилась на маму. Мы дружно выглядывали из-за маминой спины.

— Да в чем дело, говорите! — воскликнула нетерпеливо Саифа.

— Дочка моя! — начала мама, счастливо улыбаясь.— Не спросила тебя и дала согласие...

— Какое согласие, на что? — в глазах Саифы появилось ожидание, она не смела надеяться на радостное известие и в то же время жаждала его услышать.

— На замужество, доченька,— торжественно проговорила мама.— Сваты приходили нынче.

— Сваты? Ко мне? — она все еще недоверчиво смотрела то на маму, то на паса.

Но счастливое лицо мамы и наши сияющие физиономии, видно, были красноречивее всяких слов. И паша дерзкая, наша гордая сестра разрыдалась. Это были слезы радости.

Но вот она успокоилась и стала прежней Саифой.

— А кто же он такой, мой жених? Может, тоже какой-нибудь хроменький? О! Вот это будет тогда славная парочка.

Мама не выдержала, рассмеялась, а затем замахала на сестру рукой.

— Да ну тебя, языкастая. Парень он отличный, правда, росточком не вышел. Да мужчине не обязательно быть красавцем. Зато из хорошей семьи. Кто не знает домлу Алама!

Саифа напустила на лицо серьезную мину и сказала нарочито строго:

— А ну-ка хвалите мне еще жениха. Еще немного, и я полюблю не только его, но и самого домлу Алама.

— Мухтаром его зовут, — мама не обращала внимания на шутки дочери. — Говорят, что смиренный...

— Да, знаю, знаю я его, — прервала его Саифа. — Во время сенокоса он все на меня поглядывал. Скромный уж очень, краснеет, точно девушка. Ну, карлик, вкус у тебя неплохой, жена у тебя будет красавица. Ах да Мухтарбай! Ну ничего, я тебя быстро проучу, оттаскаю пару раз за уши!

— Эй, ненормальная, — мама уставилась на нее с удивлением. — Ты что такое болтаешь? Стыдись, дочка. Ведь пора стать взрослой, серьезной. О аллах! Еще опозоришь меня...

— Не бойтесь, мамочка, я пошутила, — рассмеялась Саифа. — И потом, не обязательно драть за уши, есть и другой способ проучить...

Мама всплеснула руками, запрочитала:

— Нет, вижу, никогда ты не станешь человеком. Тебе бы только высмеивать да издеваться над людьми!

— Моя милая мамочка. — Саифа обняла маму. — Никогда так не поступлю. Вы правильно сделали, что дали согласие. Теперь я всем своим подружкам нос утру. Назначайте день свадьбы.

— В субботу,— ответила мама.

— Хорошо, я согласна. Свадьба так свадьба, все-таки жених похож на человека.

Сестра ушла в маленькую комнату, а мама долго смотрела вслед ей и бог знает, о чем думала...

ПРИМИРЕНИЕ С СУДЬБОЙ

Я не мог еще четко формулировать свои мысли, определять чувства, но это, однако, не мешало мне задумываться над такими сложными вещами, как человеческая судьба, обстоятельства.

Я понимал, что Саифа выходит замуж не потому, что любит Мухтарбека, а потому, что ее вынуждают обстоятельства. Покуда ни случилось с ней несчастье, красивая и гордая сестра моя вела себя независимо с парнями, даже высокомерно. А теперь вот она должна была покориться судьбе. Я мысленно сравнивал Саифу с девушкой из легенды, которая долго ходила по роскошному лугу, усыпанному тюльпанами, все выбирала лучший цветок. Да так долго выбирала, что завяли все цветы. Осталась девушка ни с чем.

А тут хоть Мухтарбек! Но не было радости на лице сестры,— нелегко это, наверное, уходить к нелюбимому.

За три дня до свадьбы собрала нас Саифа, как обычно, всех вместе. Мы обрадовались, мы были готовы на любую шалость. Но Саифа, похоже, забыла все свои проказы. С грустью спросила она верных исполнителей всех своих выдумок:

— Ну, что скажете?

Мы молчали, не зная, куда повернет разговор Саифа-апа.

Она, улыбаясь, смотрела на нас таким взглядом, словно прощалась с чем-то большим, чем родной дом, сестры и братья. Может, она прощалась со своей юностью?!

— Все-таки нехорошо получается.— Саифа покачала с сожалением головой.— Все-таки нехорошо они так... я говорю о взрослых. Конечно, вы избавитесь от сестры, которая все время вас мучила. Но не скучно ли будет вам без меня? Кто будет вам таскать за пазухой лучшие персики, яблоки, груши? Кто вас будет водить на бахчи? А кто по вечерам станет рассказывать всякие истории?

— Саифа-апа,— вдруг всхлипнула Мазифа,— не уходите, пожалуйста, не уходите.

— Почему бросаете нас? — поддержала ее и Рихси.

— Я никому не отдам вас, — сказал я решительно. — Выгоню вашего Мухтарбая из дома.

— Ах, цыплятки мои, — воскликнула растроганная сестра. — А я-то думала. Ну, ничего. Все сладости будут ваши, когда придете в дом зятя. А теперь... — глаза ее блеснули азартом. — Ну-ка покажите, как вы будете горевать, когда меня поведут в дом жениха!

Она подняла за подбородок голову Мазифы:

— Ты, кажется, больше всех меня жалеешь, а?

— Вы... я очень люблю вас, — зарыдала Мазифа.

Сестра Саифа громко засмеялась, а затем погладила Мазифу по голове.

— Ну-ка, Рихси, теперь твоя очередь...

— А как мне плакать, сестра?.. Покажите сами. Вы же пока тут.

— Да ну тебя, рыжая, — Саифа тихонько ударила Рихси. — Уведут сестру твою, а ты даже не сможешь заплакать... Ну, головотяп, — обратилась она ко мне, — покажи этим лентяям, как плакать...

Сложные чувства испытывал я к сестре Саифе. Я, конечно, любил ее, подчинялся ей беспрекословно, но... и ненавидел порой. Ведь ей ничего не стоило отлупить меня, отхлестать по лицу, унижить. Но вот она уходит от нас, и я словно бы теряю частицу самого себя. Теперь мне всегда будет чего-то не хватать. Может, безоглядной удали, бескорыстной дружбы, гордости, непосредственной искренности?!

Я понимал, что сестра Саифа шутила сейчас с нами, шутила, может быть, в последний раз, заставляя нас оплакивать ее уход. Но я заплакал по-настоящему. И в конце концов заставил расплакаться и саму Саифу.

* * *

Подобные хлопоты и суету я уже пережил, когда готовилась свадьба Марифы, и меня мало теперь занимали котлы для плова, сладости для гостей. Даже друзья, которых я пригласил на свадьбу, не могли отвлечь моего внимания от главного. Я ждал появления жениха, мне хотелось знать, в чьи руки мы отдаем сестру Саифу.

И вот когда наконец жених вступил во двор, я бесцеремонно растолкал всех гостей и родственников и прибли-

зился к нему вплотную. Маленького росточка, невзрачный, рядом с Саифой он выглядел, конечно, убого. Но вот лицо его мне понравилось. И не столько лицо, сколько глаза — большие, теплые, излучающие ласковый свет.

Я с облегчением вздохнул. Нет, человек с такими глазами не сможет причинить зла нашей озорнице Саифе. И я уже без горечи и душевной боли собирал Саифу в дом жениха. Даже когда подружки ее запели грустную свадебную песню, причитая и всхлипывая, я подумал: «Не такой песней надо провожать огнеую, страстную, неугомонную Саифу». Я почему-то поверил, что сестра будет счастлива.

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО!

Я проснулся чуть свет — словно кто-то окликнул меня за окном. Сестры еще спали, а мама уже хлопотала в кухне.

Отчего я проснулся? Не знаю, но на душе было как-то беспокойно. Словно я чего-то ждал. Чего-то хорошего, большого.

В комнату вошла мама, увидела, что я лежу с открытыми глазами, присела рядом, погладила меня по голове.

— Вот так, незаметно, и уйдете все от меня, — сказала она со странной улыбкой. — Саифа нашла свою судьбу, а я вот не знаю — радоваться или плакать.

— Но я-то тебя никогда не оставлю, — заверил я маму. — Я буду тебя защищать.

Мама нагнулась, нежно поцеловала меня в голову и прошептала:

— Надежда моя, опора!

Я почувствовал, как радость заполнила все мое существо. Наконец-то и в наш дом пришли счастливые дни. Мама улыбается, она довольна, что у нее все, как положено, как у добрых людей.

Две главные заботы сняла она с плеч — устроила жизнь своим старшим дочкам. А мы?! Мы уже тоже выросли, не доставляем столько хлопот. Я скоро стану настоящим мужчиной, помощником. С такими мыслями я вскочил с постели, поспешно оделся и помчался на улицу — надо было с кем-то поделиться тем, что я испытывал.

Не с ребятами, нет. А с деревьями, горами, что вдали, орлами, высоко летающими в небе. Как жаль, что у меня

нет собаки, думал я. Мой верный пес был бы всегда со мной — и в горе, и в радости. А сейчас у меня радость, радость, которую я не могу объяснить. Я только могу громко и беззаботно кричать и носиться по улице, воображая, что за мной бежит мой верный друг — пес.

Когда-нибудь я пойму свою беспричинную радость — но это уже будет в моей поздней, взрослой жизни. Я был радостен и счастлив потому, что детство и должно быть радостным и счастливым. Все страдания и испытания были в прошлом, и жажда радости брала свое.

Скоро, очень скоро я распрощаюсь с детством, с порой «ранней весны». А пока — неумемная радость заполняет мое сердце!

КЛАД

Перевод Айдера Османова

Он остановился перевести дух. Провел шершавым рукавом стеганого халата по лицу. Со лба, мешаясь с каплями пота, стекал талый солоноватый снег. Он медленно обернулся, чтобы закричать на отставших жену и сына. Но в рот, будто кляп, влетел ветер, не дал сорваться с языка гневным словам. Он лишь глотнул побольше воздуха — в горле засадило, словно в нем застрял кусочек льда. Заметил, что жена и сын плетутся из последних сил, сдержал себя. Жена несла на голове узелок с провизией, поддерживая его одной рукой, другой же подобрала полы пальто. Она высоко поднимала ноги, стараясь ступать в оставленные им следы. И все же увязала в глубоком снегу, то и дело оскальзывалась, падала на колени.

Снег поредел. Уже не валил большими, как клочки распушенной ваты, хлопьями. Но мороз сделался злее. Наверно, оттого злится, что они наперекор ему идут в гору, поднимаются все выше и выше, туда, где и летом-то не шибко жарко.

Кругом белым-бело. Впереди и по сторонам горбятся белые горы. Над головою белое небо. Будто на мир набросили саван. Лишь оставленная позади долина подернута синеватой дымкой. За этой дымкой проглядывается извилистое русло горной реки, не замерзающее благодаря неустанному ее движению. Отсюда кажется она желтоватой веревкой, оброненной кем-то на снег. Несколько плоских глинобитных домов примостились у ее берега. И дома те не более спичечного коробка. Там кишлак, мимо которого они недавно прошли. Словно пучки сорной травы, стоят на дворах голые деревья. Да, надо было разрешить жене, когда она просилась зайти к кому-нибудь погреться. Он не разрешил. Он очень спешил... Во-он кое-где над крышами вьются тонкие струйки дыма, тянутся к небу. Значит, внизу по-прежнему ветра нет. Видно, он ярится лишь здесь, толкает в грудь, хлещет в лицо снежной пылью, не хочет пустить в свои владения, туда, куда в эту пору года не ступает нога человека.

Мужчина отыскал взглядом чуть просвечивающий в зените клубок солнца. Уже полдень. А они не преодолели еще и половины пути.

Женщина приблизилась, протянула руку — хотела, видно, чтобы он поддержал ее, вконец обессилевшую. Он повернулся, зашагал дальше. Намеренно не взглянул ей в лицо — чтобы не увидеть ее страдания. Те ли еще муки предуготовила им судьба — пусть привыкает...

Тропа, по которой столько раз приходилось ходить летом, под снегом неприметна. Он угадывает ее чутьем. Старается опознать грозно нависшие по сторонам скалы, ориентируясь по ним. Ветер завывает и свистит, обтекая каменные лбы скал, подхватывает снежную крупу, швыряет в глаза.

Мужчина прислонился плечом к скале, постоял минуту, тяжело дыша. Что и говорить, лет двадцать — тридцать назад он мог, ни разу не отдохнув, преодолеть эти горы из конца в конец. А нынче возраст все же дает себя знать. Ему уже без малого пятьдесят. Полвека, считай, позади.

Слегка оттолкнувшись от скалы, он опять зашагал вперед, навстречу падающему с вершин ветру. Движения его были легки, будто скала передала ему свою силу. Он был статен, широкоплеч. И телом все еще достаточно крепок. Недаром и по сей день жители окрестных селений помнят его как победителя на козлодраниях.

Морщины, избородившие широкий лоб, две глубокие складки по углам рта, слегка выдвинутый вперед квадратный подбородок придавали его лицу надменное выражение. Может, он и в самом деле в кругу друзей был горделивым и надменным. Но сейчас в его сощуренных глазах таилось отчаяние. Наконец он не выдержал, воздел над головой руки, воскликнул хриплым голосом:

— Чем мы не угодили тебе, создатель! За что ты так немилосерден к нам!

Жена с сыном опять были далеко, не могли услышать его слов. Он и не хотел этого. Они не должны знать, что и ему иной раз изменяет воля.

— О всевышний! Накажи тех, кто разогнал по всему свету людей, имена которых славились далеко окрест. О аллах! Объясни, кому понадобился этот колхоз? Ведь столько существует земля — и обходились без этих колхозов! О аллах, что же это такое!

Ему вспомнилось вдруг, ради чего он подался в столь неурочное время в горы. С ног до головы его обдало го-

рячей волной, и кто-то невидимый подтолкнул вперед. Он снова явственно услышал предсмертные слова отца: «Летнее становище в горах... Угол... Много золота... Закопал. Хватит всем твоим потомкам...» Постепенно глаза отца стекленели, речь становилась несвязной. В груди у него что-то булькало, хрипело. «В каком?! В каком углу?!» — закричал сын, затормошив старика, словно мог еще его пробудить. Тот открыл рот, будто хотел сказать еще что-то, но не успел — так и переселился в иной мир, недосказав главного.

«Интересно, в каком углу он зарыл? Снаружи или внутри помещения? — думает мужчина, стараясь представить отцовский ветхий дом, выложенный из бесформенного дикого камня, куда они выезжали каждое лето, выгоняя на пастбище отары овец. Это было просторное квадратное помещение без окон, без ниш. Внутри неровные стены, с выступающими боками камней, обмазаны глиной. Камыш в потолке подгнил и пахнет плесенью... — Ну и скрягой был старик! Не мог раньше сказать, пока смерть не ухватила за горло. Или, может, боялся, что я могу прибрать к рукам его богатство? Теперь гадай, в каком углу он зарыл его!..»

— Это золото мое! — вырвалось из его груди. Он вздрогнул, не узнав своего голоса. Остановился, размышляя. — Это законное наследство отца сыну, — рассуждал он. — Его никто не сможет у меня отобрать. Никто-о-о!

— Конечно, оно ваше. Его никто и не собирается у вас отбирать, — слышался за спиной спокойный голос жены.

Только теперь он заметил, что стоит. Через плечо взглянул на женщину. Она улыбнулась. Но брови ее были горестно изломлены, лицо бледное. На лбу бисеринки пота. Дыхание учащенное, грудь высоко поднимается и опускается. Конечно, ей совсем невесело. Она улыбнулась для него — чтобы придать ему сил, и пусть муж не думает, что она сожалеет, отправившись с ним в такую трудную дорогу. Это ее долг — следовать всюду за мужем.

Плотно сжатые губы мужчины тронула еле приметная улыбка. Но от ее взгляда не могло ускользнуть ни малейшее изменение в его лице. Он пошел медленнее, чтобы жена и сын не слишком отставали. Ему подумалось, что жена выглядит значительно старше своих двадцати четырех лет. И ему стало жаль ее. Аллах не слишком милостиво обходился с ней — вначале дарил ребенка, потом отбирал. Поэтому ожидание следующего ребенка всегда радовало

и одновременно внушало страх. Смерть третьего сына навсегда оставила на ее красивом лице печать скорби. Впрочем, уже в четырнадцать лет, став его женой, она превратилась в серьезную рассудительную женщину. В том возрасте, когда ее подружки, может, еще не помышляли ни о чем другом, кроме игр и забав, она уже столкнулась с грубой действительностью, с тем, что надо быть всегда покорной мужу, исполнять любую его прихоть. Постепенно свыклась с этим, научилась пересиливать себя.

Рослая, с тонкой талией, широкими бедрами, она в юности слыла красавицей. А он давно присматривался к ней — еще когда она была девчонкой. К счастью, ее отец был не из богатых — охотно согласился выдать за него дочь, потребовав умеренный калым. В четырнадцать лет она стала его третьей женой. А сколько же ему было тогда? Около сорока. Но она полюбила его пылко, насколько было способно на это ее неискушенное девичье сердце. Позабыла разницу в их возрасте и даже старалась заглушить в себе ревность к старшим женам. Ведь по шариату он и для них являлся мужем, отцом их детей. Да, его жена принадлежала к той категории женщин, которые не отступают от принятых однажды решений, не отворачиваются от судьбы, не сетуют на нее, принимают все как естественное, как бы тяжело ни приходилось в жизни. Родители ей с детства внушили страх перед богом, и она боялась сотворить грех, строго блюла все порядки. Муж редко бывал с ней ласков, но она замечала, что он любит ее больше, чем остальных жен, и этим была счастлива. Однако даже в минуты близости он бывал груб, а она в ответ одаривала его лаской и нежностью...

Кажется, он действительно любит ее, эту покорную малоразговорчивую женщину. Иначе откуда в нем быть угрызениям совести после того, как обидит ее. Правда, достаточно лишь одного его приветливого взгляда, чтобы жена позабыла обиду и вновь обрела счастье. И все же в такие дни он ходит хмурый. Не по себе ему было: чувствовал себя виноватым и не хотел, чтобы она это заметила. А она замечала, сама подходила, просила извинения, что огорчила его.

Мужчина остановился, подождал, пока приблизится жена. Она шла с трудом, сынишку вела за руку. Дорога вымотала ее силы. Она, видать, была голодна. С тех пор как вышли из дому, ни маковой росинки не было у них во рту. Да и ребенок, которого она носит под сердцем,

наверно, требует свое. Сегодня с утра она не может отогнать навязчивое видение — чашку куриного бульона. Сколько раз уже сказала про бульон, облизывая сухие, потрескавшиеся губы. Надо было, черт возьми, нарезать утром курицу, накормить ее. Но не хватало времени, он спешил. Да и сейчас такое топтание на месте не приведет ни к чему доброму. Время клонится к вечеру. Если до темноты они не доберутся до хижины, худо придется им. Вот и мороз начал крепчать.

Жена едва открыла рот — наверно, опять хотела сказать про бульон, — он резко повернулся и зашагал, оставляя на рассыпчатом, как песок, снегу глубокие следы.

Мальчик с большими любознательными глазенками, обрамленными пушистыми длинными ресницами, больше походил на мать, чем на отца. Голова его была покрыта материнским шерстяным платком, обхватившим грудь крест-накрест и завязанным на пояснице. Идти так было очень неудобно, он еле поспевал за матерью. Хотя она его держала за руку, он вдоволь наглотался снега, поминутно падая. Ноги запутывались в полах длинного чапана. Галоши наполнились снегом, и его тонкие ичиги давным-давно намокли. Ему казалось, что кто-то больно ухватил клещами за пальцы его ног и силится оторвать их — так они замерзли. Но он про это помалкивал. Еще хуже его донимал голод. Вложив окоченевшую руку в теплую ладонь матери, он из последних сил плелся за ней и канючил. Ему невдомек было, почему они покинули теплый уютный дом и пробираются по горам невесть куда. Этого он не мог уразуметь.

— Мама, есть хочу, — прохныкал мальчик.

— Э, пиалку бы куриного бульона, — простонала женщина. — Ну, ладно, следует довольствоваться тем, что посылает аллах.

Она сняла узел, что несла на голове, на ходу развязала его и, отломив кусок лепешки, подал сыну. Мальчик стал торопливо, жадно есть, пыхтя, то и дело утирая рукавом нос. Глядя на него, мать проглотила слюну, снова взяла сына за руку и заторопилась, боясь отстать от мужа. Горы постепенно окутывала тьма, и в ее сердце закрадывался страх. В лощинах клубились сизые облака, словно пар над котлом, невольно напоминая ей кипящую смолу, в которой на том свете варятся грешники.

— Интересно, никто не заметил, когда мы выходили из деревни? — донесся голос мужа и рассеял ее мысли.

— Было темно, наверно, никто не заметил, — сказала она. — Да и мало ли куда мы можем пойти спозаранку.

В последние годы ее мужу не раз приходилось отправляться в путь и в лютый мороз, и в безжалостный зной. Он был связным между аксакалом кишлака и беком, который жил в другом селении.

Всплывшая было из-за вершин луна потонула в толще облаков. Сделалось темно. Весь мир будто разделили надвое — на белую и черную половины. Снова повалил снег. Ветер вскручивал его, и казалось — вокруг пляшут привидения в белых одеяниях.

— Мама, я устал, — взмолился мальчик. — У меня ноги замерзли.

— Ох, будь проклят этот день. Я тоже до смерти устала. Не будь у меня этого узелка, сынок, взяла бы тебя на руки. Потерпи немного. Эх, если бы сейчас пиалку горячего куриного бульона...

— Поторапливайтесь, — хмуро бросил мужчина и ускориł шаги. — Если заблудимся, станем добычей волков...

Снег залепливал глаза. Трудно было дышать. Женщина приостановилась, схватилась за сердце. На минуту она потеряла из виду мужа. И следов его не разглядеть в темноте, снег успевал заметать их. Она стояла, боясь сделать шаг не в ту сторону, и в тревоге озиралась, все еще не решаясь позвать мужа на помощь. И в этот момент впереди послышался радостный голос:

— Слава аллаху, дошли!

Жалобно скрипнула дверь, словно приветствуя хозяйку.

Женщина, увлекая сына за руку, почти бегом метнулась к спасительной хижине.

Муж стоял посредине комнаты, свыкаясь с непроглядной теменью. Она не видела его, лишь слышала тяжелое дыхание. Присутствие близкого человека успокоило ее, развеяло страх.

— Ты лампу прихватила с собой? — спросил муж.

— Вы так торопили, что я про нее забыла, — виноватым голосом ответила женщина.

— Пойди собери хворосту, — распорядился муж. — Без огня здесь очокуриться можно...

— Руки совсем замерзли... как не мои, — сказала женщина, направляясь к двери и не желая признаться, что боится выйти одна. Глава семьи не любил, когда кто-нибудь трусил.

Но тут заплакал сын.

— Мама, не ходи, я боюсь без тебя. У меня тоже руки замерзли...

Женщина вернулась, принялась его успокаивать, дышать на его руки.

Муж вышел, хлопнул дверью. Вскоре он вернулся с охапкой дров. Видно, нашел в сарае.

Развели костер. Уселись близ огня на циновке. Съели по лепешке, подслащивая ее сушеным урюком. На корявых стенах плясали розовые блики. От камней, выступающих из-под штукатурки, падали тени, то вытягиваясь, то сжимаясь, будто хотели сбежать от света и никак не могли оторваться от стены. С черного провисшего потолка свисали камышинки, похожие на чьи-то пушистые хвосты от нависшей на них копоти. А по углам притаился мрак.

Мужчина резко встал. Внимательно огляделся по стономам. В его прищуренных глазах отсвечивались красноватые угли костра. Потом он прошелся вдоль стен, припоывая то там, то здесь по земляному полу ногой. «Бог даст, выкопаю золото и подамся через горы еще дальше в те места, где можно зажить спокойно,— рассуждал он про себя.— Не то зачем было тащить за собой женщину и ребенка, мучить их. О аллах, подскажи, в каком углу искать...»

— Мы скоро станем богатые,— сказал он, стараясь хоть как-то загладить вину перед женой.— Будем жить, как хотим, есть — что хотим. И одеваться ты у меня будешь, как султанша. Подадимся на чужбину — зато будем сами себе хозяева. Землю у нас отняли, скот отняли, оставили в исподнем. Золото не отберут. Не отдам я им золото! Нет! Стало быть, умен был мой старик: как только прослышал про колхозы, продал и скот, и землю, и роскошный дом — превратил все это в золото. Вон, оказывается, каким богачом был, а ютился в тесной каморке в моем доме. Поглядели на него — брать с него нечего. Разве только душу. Но душа его оказалась богу нужна. А золото — мне! Только вы у меня держите язык за зубами.— При этих словах глаза его хищно сузились, он резко обернулся.

Но никто, оказывается, его не слушал. Мать и сын, тесно прижавшись друг к другу, дремали у гаснущего костра.

По крыше шелестел ветер, свистел в отверстиях, оставленном для выхода дыма. В этом шуме его чуткий слух

вдруг уловил протяжный вой, донесшийся издалека, вой, от которого мурашки поползли по спине. Это волк-вожак созывал отощавшую свою стаю...

Мужчина стоял, прислушиваясь, еще несколько минут. Потом опустился прямо на землю, прислонился к холодной стене и обхватил руками колени. Однако тревога, вселившаяся в сердце, пересилила сон. Только сейчас вдруг дошло до его сознания, что они в горах одни, на несколько верст вокруг ни души. Представилось, как серые лохматые тени обступили дом, клацают зубами, ждут, когда откроется дверь и из нее выйдут люди... Он замотал головой, чтобы отогнать страшное видение. Однако ему не удалось заставить себя закрыть глаза даже на минуту.

Так прошла ночь.

Рано утром женщина поставила чугунный кумган на очаг, выложенный во дворе из камня, согрела воду, совершила омовение и вошла в комнату, намереваясь разбудить мужа. Но он уже был на ногах и расчищал угол от мусора.

— Я согрела воду,— сказала она.— Умоетесь?

— Ступай, я сейчас,— ответил муж, нетерпеливо ожидая ее ухода. Ему вдруг показалось унижительным в присутствии женщины копаться в мусоре, уподобясь барсуку.

Женщина вышла во двор, сняла половичок с навеса, что был возведен над дверью, расстелила и стала ждать мужа. Встретила его кротким поклоном, протянула кумган с теплой водой. Тот скрылся за каменной оградой, чтобы совершить омовение и умыться.

После утренней молитвы женщина сходила к роднику, принесла воды для чая. Мужчина разбудил сына и отослал к матери.

— Ступай погрейся у очага,— сказал он.

А сам вынес из сарая ржавый кетмень и приступил к поиску клада. Он копал с осторожностью. Перед каждым ударом кетменя ему казалось, что вот на этот раз он наверняка заденет о крышку обитого железом сундучка и по земле, засверкав, словно искры, рассыплются золотые монеты. Но желанный стук все никак не раздавался.

Мужчина не падал духом, в предвкушении счастливой находки он не замечал пота, сбегавшего по нему ручьями. Он думал только о золоте. Ему казалось, будто он жил все это время в ожидании этой минуты, в которой было больше радости, чем ее перепаало на всю его жизнь. Но где оно, заветное мгновенье? Далеко ли, близко ли.

В углу образовалась широкая яма глубиной в метр, но сундучка не было. Мужчина, тяжело дыша, присел на корточки, утерся рукавом.

— Папа!

Этот возглас сначала испугал его, а потом удивил. Он оглянулся, посмотрел исподлобья на сына.

— Мама сказала, чтобы вы шли пить чай.

— Иди, сейчас приду,— прохрипел он, стараясь унять бившую его нервную дрожь.

«Это первый угол... Еще целых три. В одном из них ожидает меня моя минута. Ради нее стоило преодолеть такой путь... Угол! Но ведь у дома имеются и внешние углы, снаружи. Может, он закопал во дворе? Нет, вначале, пожалуй, следует обыскать комнату...»

Ободренный этой мыслью, он вышел во двор. Но куски лепешки комком застревали в горле. Залпом осушил пиалу чая и распорядился, чтобы жена собрала к вечеру побольше хворосту—ее надо было занять чем-то. Низко пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, он шагнул в дом.

Принялся копать в другом углу. В ушах постоянно звучал скрежет, который раздается при ударе остря кетменя о крышку сундучка. Затем... ему слышался звон множества рассыпавшихся желтых монет. Он отчетливо представил себе это, на его лице появилась улыбка. Мысль, что вот-вот это произойдет, непрерывно стучала в мозг, будто о темя били серебряным молоточком.

Вдруг кетмень ударился о что-то твердое, высек искру. Минута! Он отбросил свое орудие и, упав на колени, принялся разгребать землю руками. Однако ноющие ладони наткнулись лишь на камень, расколотый надвое. «А-а-а»,— застонал он, схватившись за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. С силой ударил камень о стену.

Он работал до темноты. Во всех углах, чернея, возвышались груды навороченной земли. В изнеможении свалился на циновку. Долго лежал неподвижно, словно в забытьи. Очнулся от чьего-то прикосновения к плечу.

— Не нашлось?— послышалось ему. Голос звучал где-то далеко-далеко. Прошло некоторое время, прежде чем он догадался, что к нему обращается жена.

— Если бы нашлось, я, наверное, не лежал бы как труп!— прорычал он и, резко поднявшись на локте, впился в нее глазами, будто это она была виновата в его невезении. Женщина заметила в его взгляде что-то такое,

что испугало ее, поспешила отойти к разведенному ею костерку. Неспешно опустилась на циновку, положила голову сына себе на колени и стала гладить его волосы, стараясь убаюкать малыша.

...Минул второй день. А потом и третий. Прежде чем копать землю снаружи, пришлось вокруг дома отбросить сначала снег. Его напало за эту зиму немало. Благо сейчас погода установилась погожая, в бирюзовом небе, к которому лишь кое-где прикоснулся кистью с известкой небрежный маляр, сняло яркое солнце. Правда, оно согревало не столько землю, сколько душу. Земля была скована морозом. Кетмень звякал о нее и отскакивал. А он спешил. Погода с часу на час могла испортиться, мог снег повалить снег. Хорошо еще, что на глубине в полметра почва становилась мягче, начинала поддаваться свободнее. Он работал не отдыхая. Несведущий, глядя на него со стороны, мог подумать, что человек, лишившись ума, хочет выкопать свой дом, чтобы перенести его на новое место.

Вчера и сегодня мужчина не произнес ни слова. Молча брал из рук жены кусок лепешки, запихивал в рот и тут же принимался за дело. На вопросы отвечал односложно. Женщина видела, что муж не в себе. Сказала было ему, чтобы отдохнул, но вызвала в нем этим лишь вспышку гнева. Больше не досаждала ему разговорами. Лишь сердце обливалось кровью, когда глядела на него. О аллах, как он за эти дни изменился: осунулся, оброс щетиной, глаза ввалились, стал сам на себя не похож...

Женщина поднималась чуть свет, собирала хворост в лощине, поросшей редкими кустами, затем разводила огонь в очаге и, поставив греться воду для умывания, отправлялась на огород. Она ковыряла смерзшуюся землю палкой, разгребала руками, ломая себе ногти, в надежде найти остатки прошлогодней моркови или редьки.

Дни были короткие. Не успеешь повернуться, как начинало смеркаться, словно вечер гонялся за утром, желая схватить его за ворот. Опять комнату с заиндевевшими стенами наполнял черный мрак, женщина торопливо разводила огонь, чтобы выгнать его наружу, в ночь, ветреную и морозную. Но мрак не уходил — как продрогший пес, пятился в углы, прятался в ямах, развороченных мужем. Они поближе подсаживались к дымящему костру, и каждый молча думал о своем.

Женщину тревожило и заботило, что запас провизии

у них на исходе. А муж будто забыл, что человеку нужна еда: не подай она ему куска лепешки, не поднеси кипяточку, чтобы погрелся, он и не попросит. Это, может, и хорошо, что он терпелив. Она тоже может вытерпеть еще день, ну, пусть два. Но с ними же ребенок. За что он-то мучается, бедный? Вон как исхудал, родименький...

Настало утро четвертого дня. Мужчина вышел во двор. Занимался мутноватый рассвет. Свинцовое небо низко нависло над землей, темные косматые тучи, цепляясь рваными подолами за скалы, сползали с гор, казалось, заволакивали весь мир. Неподалеку, под старой корявой шелковицей, мужчина увидел груды камней. «Откуда они взялись? Их там никогда не было...» — подумал он. И не успел удивиться — попятился. Один из валунов с хриплым рычаньем скакнул в сторону и опять замер. Это была стая волков, один, два, три... Много. Матерые, со впалыми боками и выпирающими ребрами, они были до того истощены, что казалось, будто охотятся друг за другом, — стоит одному повернуть голову в сторону, как тут же на него накинется остальные.

В душу проник холод, от которого начало дрожать тело. Может, впервые мужчина ощутил страх. Его сердце сжалось, лоб покрылся испариной. Побледневшие губы зашевелились, и он промолвил с дрожью в голосе:

— О боже милостивый! Неужели мы станем добычей этих тварей!

В следующую минуту волки исчезли. Словно растаяли. Постепенно прошел страх, сковавший его. «Может, мне померещилось?.. — подумал мужчина и, поглядев еще раз, для верности, по сторонам, вошел в дом. — С голоду еще не то покажется...» Жене говорить ничего не стал. «Как бы не рехнулась баба со страху».

— Лепешки почти кончились, — робко заметила жена. — В понсках моркови и редьки я переломала себе все ногти.

— Хорошо искала? — осведомился муж.

— Посмотрите, все пальцы в крови. Я больше не могу руками. Вы бы лучше кетменем...

— Не видишь разве, кетмень не отдыхает! — раздраженно прикрикнул муж.

На рогожке зашевелился мальчик, спавший у погасшего костра.

— Я хочу есть... Когда мы будем есть?.. — спросил он тоненьким голоском, глядя то на мать, то на отца и силясь подняться.

— Сейчас, сынок,— со слезами в голосе сказала мать и, присев на корточки, стала разворачивать узелок.— Сейчас я дам тебе кусочек лепешки. Вот и урюк, один для тебя сберегла. Ешь на здоровье. А мы с отцом повременим...

— Не забудьте, на этом хлебе придется добираться до деревни. Ешьте с расчетом,— заметил муж.

Каждый день приносил новые муки. Без тепла, без горячей пищи они начали терять последние силы.

На пятый день женщина разломилась последнюю мерзлую лепешку на три части. Большой кусок подала мужу, чуть поменьше — сыну и последний ломоть взяла себе. Молча поели, подобрали с дастархана последние крохи. Однако поднялись с чувством неутоленного голода.

— Что теперь будем делать? — наконец решилась спросить женщина.

— Откуда мне знать! — резко, со злостью сказал муж. Сдавать свои позиции и он явно не собирался.

— Может... вернемся в деревню?

— Дура! — крикнул он, выкатив глаза.— Хочешь, чтобы кто-нибудь другой присвоил мое золото? Если бы я был уверен, что про него отец не сказал моим братьям раньше, чем мне, я бы мог подождать и до весны. Не притащился бы в эту пору в такую даль!

Женщина опустила голову, молча вышла.

Наступила ночь. Одинокий домик на горе окутал мрак. В изрытой комнате царило черное безмолвие.

Обессиленный мужчина, что-то невнятно приговаривая, дремал на циновке. Женщина сидела рядом, сгорбившись, она обняла вздрагивающего во сне сына, согревала его своим телом. А мальчику виделся сон. Золотистые лепешки, которые мать вынимала из тандыра, во сне превращались в яркие, уплывающие солнца. Он шевелил тонкими, слабыми руками и тихо просил хлеба. Женщина, проглатывая слезы, успокаивала его, думала, где раздобыть еду, чтобы спасти сына. Может, и есть поблизости какая-нибудь дичь, но ружья-то у них нет.

— Мама,— позвал мальчик. Он был мокрый от пота и тяжело дышал. У него был жар, он бредил.

Из глаз матери выкатились слезы. Она закусилась губы, чтобы не застонать. Мальчик затих, но от него веяло жаром, как от тандыра.

Надо для него раздобыть еду, подумала женщина и вслух повторила свои мысли:

— Отец, проснитесь! Надо для сына раздобыть еду. Слышите? Проснитесь же...

Муж мерно посапывал во сне, иногда скрипел зубами.

Это последний оставшийся в живых ребенок женщины. Тронх она положила в землю. Этот — последний, единственный. Он был смыслом всей ее жизни. Табибы предвещали и этому ее мальчику смерть, когда он тяжело заболел два года назад. Но она выходила его. А теперь... теперь сама привела его к зубастой пасти смерти. Нынешним летом она чуть не потеряла его навеки. Он тонул в реке. Она бросилась с высокого моста в бурлящий поток, успела схватить, прежде чем его втянуло в водоворот. Боролась с рекой из последних сил и потеряла сознание лишь после того, как вытащила свое дитя на берег. Она не умела плавать, раньше ей никогда не приходилось купаться в глубоких местах. Ей странным казалось, что она выплыла. А когда подросшие люди привели ее в чувство, сказали, будто она хорошо плавает...

— Бог милостив,—говорила ей мать.— Он видит твою любовь к нему. Оставит тебе твоё дитя.

Ей вспомнилась мать. Она была очень доброй, умела успокаивать в трудную минуту. И сейчас тоже она нашла бы какое-нибудь утешение. В молодости мать была красивой и веселой. А неумолимое время превратило ее в маленькую сгорбленную старушку со сморщенным, как засохшее яблоко, лицом. Мать всю жизнь безропотно тянула свою ляжку, но никогда не поддавалась унынию. Обычно у нее собирались ее подруги поболтать, побалагурить. Ее любили сверстницы за веселый нрав, за песни, которые сама выдумывала и пела по вечерам... Теперь же она день-деньской сидит одинокая у сандала, мутными слезящимися глазами смотрит на домочадцев, а иногда тихо поет грустную песню.

Ее темное лицо, глубоко сидящие под едва намеченными бровями глаза выражали бесконечное горе.

Женщина вспоминала песню, родное лицо матери, знакомое до мельчайших морщин. Время отняло у матери сначала красоту, потом силу. Она все это передала детям. И наконец осталась одна, беспомощная, недугом пригвожденная к сандалу.

Таков страшный закон природы. Он не делает исключения никому. Старость — приговор каждому. И ее тоже ожидает участь матери. Кто знает, может, ей еще и не суждено дожить до такого возраста. Если муж не найдет

свое золото, они умрут в этом доме в объятиях черного мрака! А если найдет... старость все равно настигнет ее. У сына будет своя семья. А она будет день-деньской сидеть у сандала, как мать, одинокая, беспомощная, никому не нужная. Может, молодые будут говорить между собой, даже не опасаясь, что она услышит: «Почему эта старуха задержалась на белом свете?» И она станет молить бога, чтобы он поскорее призвал ее к себе. Возможно, и она, как мать, тусклыми невидящими глазами будет бессмысленно взирать на других и тоже будет изливать душу в песне.

Под тяжестью унылых дум все ниже опускались ее плечи. Она склонилась к сыну, обхватив его руками, как бы оберегая от всех напастей мира. Ее сморил сон.

В полночь подул сильный ветер, яростно обрушился на дом, грозя снести крышу, свалить стены. Дверь дергалась, будто кто-то пытался ее отворить снаружи: то налегал, то тянул к себе. Но накинутая на петлю цепочка удержала ее. В приотворившуюся дверь ворвалась холодная струя воздуха и снежная пыль. Женщина проснулась от холода. Она осторожно встала, чтобы плотнее закрыть дверь. Взялась за ручку и вскрикнула. Прямо перед собой увидела оскаленную клыкастую пасть и два жадных горящих зеленоватых глаза. Поодаль промелькнуло еще несколько теней, ясно различимых на белом снегу. Она торопливо закрыла дверь, замерла в ужасе, не ведая — звать мужа на помощь или теперь это ни к чему. Она слышала, как у самого порога хрустит снег под огромными лапами матерого волка. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, все тело сжалось, будто сделалось деревянным. Ей казалось, едва она сдвинется с места, как на нее набросится вся стая.

Мальчик застонал во сне. Его жалобный голос сразу же вернул ее к действительности. Теперь она уже не думала о волках. Теперь ей почудилась смерть в образе клыкастой страшной старухи. «Не дам!» — прошептала она пересохшими губами. Торопливо подошла к сыну, прижала к себе его горячее, легкое тельце. «Если бы муж перестал перекапывать пол в комнате, а занялся поиском пищи! Но он этого не сделает, будет копать, пока не найдет, что ищет, или не умрет, обессилев».

Начало светать. Сквозь щели в двери в комнату началливаться свет. Мрак отступил. Она посмотрела на желтое, как воск, лицо сына, притронулась ко лбу губами и

ужаснулась. Мальчик горел. Плотно укутала его своим платком, положила на циновку и вышла во двор, чтобы собрать хворост и разжечь огонь.

На дворе стояло безмятежное утро. Пурга утихла. Робко поблескивали звезды, постепенно угасая. Смутным пятном белела луна, не успевшая сойти с небосвода, чтобы уступить место солнцу. Было тихо и пустынно. Вдали перебежали с места на место тощие волки, будто затеяли какую-то игру. Недалеко от очага сидел крупный волк с впалыми боками и свалывшейся шерстью, внимательно разглядывал ее. Она сделала несколько шагов в его сторону. Волк не двинулся. Вдруг ее осенила неожиданная мысль. Она круто повернулась, вошла в дом и тут же вышла, держа в руке кетмень. Волк продолжал сидеть на том же месте. Она крепко сжала черенок кетменя и медленно двинулась к волку. Расстояние сокращалось. Она забыла о давнишнем страхе. Боялась теперь другого — что волк убежит от нее. Волк и не думал отступать. Когда до волка осталось всего три-четыре шага, она медленно занесла кетмень, с силой замахнулась. Волк отпрянул в сторону, но не убежал. Снова уселся, как бы дивясь причудам этой женщины. Она опять стала приближаться. Осторожно подняла кетмень. Но волк теперь знал о ее намерении. Грозно зарычал, сделал прыжок в ее сторону, но наткнулся на лезвие кетменя, отскочил и медленно затрусил к своей стае. Женщину прошиб пот. Из комнаты донеслись плач сына и сонное бормотанье мужа. Постепенно сошло с нее нервное напряжение, она повернулась и направилась в дом.

Муж неподвижно сидел на прохудившейся во многих местах циновке, подперев руками худые, обросшие щетиной щеки, прикрыв глаза пухлыми веками. Можно было подумать, что он все еще спит. В минуту бессильной досады он окружал себя непроницаемой стеной молчания. Будто плотно закутывался в некое покрывало, чтобы не ощущать более ничего, кроме самого себя. Заслышав шаги жены, он встрепенулся, тяжелым взглядом обвел изрытую комнату. Прежней уверенности уже не было. Жена не стала досаждать ему разговорами, чтобы не вызвать вспышки гнева. Тихо подошла к сыну, опустила на колени. Мальчик к утру пропотел, но жар окончательно вымотал его. Он был не в состоянии встать. И хлеба не просил больше. Лежал на спине, бессмысленно уставясь в потолок. Женщина понимала, что для мальчика наступил второй пери-

од голодовки: чувство голода исчезло, разум притупился. Теперь он до самого конца не почувствует голода.

Женщина, забыв о голоде и усталости, бодрствовала.

Мужчина попытался встать... Но ослабевшие руки и ноги ему не подчинились.

— Идите в ближайшую деревню. Раздобудьте чего-нибудь съестного,— проговорил он свистящим голосом.— Я не могу идти с вами. Я, кажется, заболел. Свою голову и ту трудно держать на плечах.

Женщина не могла понять: то ли он не может подняться из-за болезни, то ли просто не желает оставить свое золото. Вспылила и наконец решила сказать то, о чем все последние дни думала:

— Если и найдете свое золото, сыты им не станем. Мы можем умереть с голоду, обладая этим проклятым золотом. Идемте вместе.

— Ступайте!

Мужчина зло сверкнул глазами и отвернулся. Он сознавал, что не следовало бы отправлять в такую даль обессиленную жену и больного сына. Всю свою жизнь, когда он бывал неправ, он прекрасно это сознавал, но тем не менее, как бы бросая вызов судьбе, упрямо старался добиться своего.

Он не видел, как жена с трудом подняла сына и, слегка покачиваясь, переступила порог. Он не видел, как она обернулась за порогом и сквозь слезы посмотрела на него. Сердце ее сжимало предчувствие недоброго. В этот миг она вдруг почувствовала, как сильно любит этого черствого, сурового человека.

— Сегодня не работайте, отдохните. Мы к вечеру вернемся. Обязательно вернемся,— сказала она. Слезы, которые она удерживала с трудом до последнего мгновения, полились у нее по щекам.

На горных вершинах ослепительно сияли белые лохматые папахи, освещенные еще невидимым солнцем. А провалы между горами были наполнены синим туманом. Там, внизу, в ущельях, все еще таится ночная мгла. Туда солнечный свет пробьется еще не скоро.

Женщина, крепко прижимая к себе ребенка, медленно спускалась с гор. Далеко внизу, прыгая по черным камням, шумела река. Со скал свисали ледяные карнизы, делая их похожими на причудливые хрустальные дверцы. Морозный ветер бил в лицо, слезы застилали глаза. Женщина шла, стараясь ступать как можно тверже. «Если ос-

туплюсь, надо будет падать назад,— думала она.— Иначе ребенок может ушибиться... Скоро наступит весна, потеплеет, стает снег. Потекут с гор веселые ручейки. Воздух наполнится веселым гомоном птиц, по земле расстелется зеленый ковер с ярко-красными пятнами тюльпанов и маков... Ребенок у меня должен родиться весной. Люблю детей весеннего рождения. Пойдешь с ним к соседям, посидишь, поболтаешь, глядишь, и жить веселее станет. Хоть бы девочка родилась. Подрастет — вот уже и помощница. Девочки все же ближе сердцу матери...»

К полудню они добрались до деревни, через которую проходили в тот злосчастный день. Над крышами, как тогда, вились тонкие струйки дыма. Здесь было тепло, подле дувалов, с южной стороны, уже начал подтаивать снег, и прямо из-под него начинала подниматься зеленая травка. Как приятно ей было сейчас увидеть эту травку. Где-то замычала корова, ей тоненьким голоском ответил теленок. Знакомая и близкая сердцу деревенская жизнь подбодрила женщину, воскресила утерянную надежду. Но, вспомнив окутанный таинственным сумраком одинокий домик на горе, она снова впала в уныние. Чем-то зловещим и страшным повеяло на нее со стороны гор при этой мысли. Там остался родной ей человек в единоборстве с голодом и стужей. И еще с самим собой...

Она постучала в перекосившуюся от ветхости, сохранившую следы былой резвы калитку и поклонилась молодой женщине, отворившей ей.

— Дай бог увидеть вам счастье ваших детей. Пожалейте этого малышку. Мы пришли издалека, выбились из сил...

Хозяйка, увидев прилично одетую женщину с ребенком на руках, растерялась, приветливо сказала:

— Входите, пожалуйста. Вас, наверно, постигло несчастье? Сын ваш совсем слаб. Дайте мне его, вы сами с трудом держитесь на ногах. Входите, отдохните.

Хозяйка взяла на руки мальчика, торопливо пошла к дому. А женщина стояла и все никак не могла распрямить онемевших рук. Ей вдруг показалось, что запахло куриным бульоном.

— Милая, вы варите курицу? — невольно спросила она, входя в дом.

— Нет, я готовлю мучное блюдо, отведайте.

-- Благодарю вас,— сказала женщина тихо.

Женщина отлучилась в другую комнату, принесла две

горячие лепешки. Мальчик выхватил одну из них, торопливо отломив, засунул в рот, но жевать у него не хватило сил.

— Дай бог вам счастливой старости. Пусть будет суждено вам увидеть счастье ваших детей, аминь,— приговаривала гостья, утирая кончиком платка набежавшие слезы.

— Аминь! Да сбудутся ваши слова. Ешьте.

Женщина сделала несколько глотков мучной похлебки и почувствовала головокружение. У нее потемнело в глазах. Но вскоре она пришла в себя, доела лепешку и, поблагодарив добрую хозяйку, снова взяла сына и пошла по кишлаку просить милостыню.

Наступил вечер...

Покидая кишлак, она ясно представила трудность обратной дороги. Наступит ночь, можно наткнуться на волков. Не лучше ли заночевать здесь?

Увидев девочку, игравшую у ворот, спросила:

— Мама дома?

— Дома,— ответила девочка.— Позвать?

— Скажи, что ее спрашивает тетя.

Из двора вышла рябая женщина среднего возраста.

— Сестра, мы из соседней деревни, припозднились, не разрешите ли переночевать у вас? Да сбудутся все ваши желания...

— Входите, голубушка, о чем разговор. Всегда рады гостям. Одна ночь— не тысяча, от нас не убудет,— сказала женщина, обнимая незнакомку.

— Спасибо, да суждено будет увидеть вам счастье своих детей.

Вошли в дом. Гостья отказалась занять почетное место, указанное хозяйкой, а скромно опустилась на краешек ковра.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, почувствуйте себя как дома, ведь вы наша гостья, а гостей и сам пророк угощал.

— Благодарю, здесь тоже удобно. Мы привычные...

Пока хозяйка разговаривала с гостьей, малыш разомлел от тепла и, уютно устроившись на коленях у матери, сладко посапывал.

Гостья отхлебнула через край касы два-три глотка похлебки из джугары и отодвинула посуду. Ее одолевал сон.

— Странные времена наступают, сестрица,— заметила хозяйка.— Все перевернулось вверх дном, творится что-то непонятное. Поговаривают о создании каких-то колхозов.

Якобы прогонять будут баев, а их земли раздадут беднякам. Будто все станут равными...

— Все станут равными? Неужели это правда? — спросила гостья. — Может ли быть такое?

— К нам приехали представители из самого Ташкента, каждый день вызывают мужчин, о чем-то говорят с ними...

— Ой, когда же кончится это тревожное время, когда же наступят тихие, мирные дни? — пролепетала гостья.

— Бог знает. Говорят, и женщины станут равными с мужчинами и будут работать на полях.

— Может ли быть такое, хозяйюшка?

— Почему бы и нет? До каких пор мы будем сидеть среди этих голых стен и быть рабынями при мужьях? Станем работать наравне с ними, хлебом никто не попрекнет.

Гостья примолкла, эти новости ошеломили ее. Она теперь думала о женщинах, которые будут трудиться на полях.

— Где ты об этом слышала, подруженька? — спросила она.

— Так говорят мужчины. Школы, мол, откроют, детей будут учить.

Наговорившись, они легли спать.

«Неужели отец сказал это в бреду? Может, здесь и нет никакого золота, — с ужасом думал мужчина, — вроде бы всюду перекопал. Сделаю последнюю попытку, вот здесь, поближе к двери... Не успокоюсь, пока не найду...»

Эти мысли заставили его снова встать на ноги.

На вершинах гор сверкали оранжевые лучи заходящего солнца. Подул холодный порывистый ветер, провозвестник близкой бури. Ослабевший от голода, он поднял дрожащими руками кетмень, тяжело ударил им о землю. Он работал почти в полуобморочном состоянии. Но стоило присесть на минуту, перед глазами тут же начали мерцать горы золота.

Через некоторое время кетмень с глухим стуком ударился о что-то твердое. Глаза его радостно сверкнули, бешено заколотилось сердце. «При ударе о камень был бы иной звук, — подумал он, — если богу угодно, кажется, нашел». Исчезло чувство голода, прихлынула сила. Он начал торопливо и осторожно разгребать землю. Наконец показался угол обитого железом сундука. Он отбросил кетмень, бросился в яму и начал расчищать сундук руками. Убе-

дившись, что это не бред, он схватился за голову и захохотал. По щекам его струились слезы, смывая пыль с лица, оставляя темные полосы.

— О аллах милостивый, благодарю тебя тысячу раз!— вскрикнул он.— Асаль, Сабирджан, смотрите, я нашел золото! Это все мое!

Продолжая сидеть на земле, он поставил перед собой сундук и, открыв крышку, стал любоваться золотом.

Через некоторое время он очнулся, быстро вскочил на ноги, перетянул сундук в дальний угол комнаты и начал перебирать золото. Один... два... три... двадцать... сто...

— Все это теперь твое, Салибай,— приговаривал он.— Все это твое... теперь ты станешь богачом, каким был почтенный бек, пусть пухом ему будет земля. И тебя будут величать беком, Салибай. Ведь у кого золото, тот и бек...

Он принялся заново пересчитывать золото. Один... два... три... двадцать... сто... Вмиг прерывал подсчет и быстро захлопывал крышку сундука, подозрительно озираясь по сторонам. Убедившись, что никто не подсматривает, снова принимался считать.

Передохнул и затем перенес находку в другой, более темный угол, снял с себя чапан, накрыл им сундук. Поразмислил немного и снова зарыл клад в землю. И это его не успокоило. Снова вырыл, положил под голову и лег, прислонясь к нему затылком.

«Теперь ты веришь, что все это твое, Салибай? — спросил он сам себя.— Верю, теперь мое».

Долго лежал неподвижно, не чувствуя, как его разгоряченное тело вбирает в себя холод и сырость земли. Вдруг ощутил острый приступ голода, закружилась голова, в глазах помутнело. Он не в силах был пошевелиться. Ему казалось, что он не в доме, а в лодке, которая носится в бурю по волнам, предоставленная самой себе. На миг потерял сознание. Придя в себя, с трудом занес руку, пощупал сундук.

— На месте,— прошептал он.— Возьми себя в руки, Салибай. Ты не имеешь права сейчас, именно сейчас, погибнуть.

Желание жить победило, мужчина медленно приподнялся и, опираясь на дрожащие руки, с трудом сел. Это был последний вызов судьбе человека, находящегося на грани жизни и смерти. Он обеими руками прижал к груди сундук, в его глазах затеплился радостный огонек. Потом лицо его перекосилось от боли. «Неужели тот, кто обла-

дает таким количеством золота, непременно должен умереть? — подумал он.— Отец приобрел его и умер. Теперь я».

Его отец был самым богатым человеком в кишлаке. Когда-то он назывался Саидбаем, у него было неисчислимое количество друзей в десятках кишлаков, городах и даже среди русских богачей. Он обладал множеством отар овец, табунами лошадей... На его земле трудились десятки батраков... В последний раз отец женился на девочке, которая была моложе его младшего сына... И все-таки наконец оказался в плену у старости. Долго увертывался старик, но смерть победила его, перед смертью тайком от жен и детей он спрятал свое золото под этим порогом. Вот почему до последнего часа старик все смотрел в сторону гор и не прятал своих слез.

Салибай сидел у изголовья больного отца и никак не мог уразуметь, почему он все время смотрит в окно, в сторону синеющих вдаль гор, и горестно вздыхает.

По обету, данному во время молебна, отец должен был каждый день жертвовать один золотой в пользу бедных. Однако он подкупил муллу, и тот нашел выход. В мешок пшеницы положили одну золотую монету, принесли воспитанникам медресе и спросили: «Вы нуждаетесь? Вот вам милостыня — решайте, возьмете пшеницу или то, что находится внутри ее?» Воспитанники удивились, не понимая, что еще может быть в мешке, кроме пшеницы. Тут вмешался мулла: «Бай-ака,— сказал он,— они возьмут пшеницу, продадут ее и купят себе все необходимое». Воспитанники не смели перечить мулле. Таким образом, из мешка извлекли единственную монету, и бай-ака не жертвовал ни одного золотого.

Но все это было в прошлом. Теперь старик беспомощно лежал в пустом доме и из последних сил противился смерти. Но она оказалась сильнее его.

Салибай вспомнил это и глухо застонал. Теперь он понял, что золото, как продажная женщина, переходит из рук в руки, но никому не бывает преданным. Оно не было преданным и тем, кто ради него проливал кровь, рисковал жизнью. В чьих только руках не побывало это золото, но никому оно не заменило куска хлеба... А ему бы сейчас хоть ломоть лепешки, хоть малую крошку...

Покосившись на дверь, он определил, что на дворе ночь. Тоненькая полоска лунного света слабо озаряла его угол. От порывов ветерка створка двери тихо покачива-

лась и поскрипывала. Днем во время работы он оставлял ее открытой, чтобы в комнату вливался свежий воздух. Опыяненный золотом, он забыл ее запереть на ночь.

Он чувствовал, что с ним происходит что-то странное, но не мог определить, что именно. Чего-то не хватало ему. Сундук с золотом покоился у изголовья, но все равно чего-то недоставало. Наконец он понял, что его гнетет тишина, царившая в доме. На смену глухим ударам кетменя, сливавшимся с ударами его сердца, прерывистому дыханию, ноющей в мышцах боли, на смену его яростным усилиям, увенчавшимся находкой заветного клада, пришли спокойствие и глухая тишина. Будто он в склепе, а не в доме.

Через некоторое время чувство одиночества стало проходить. Ему показалось, что в комнате кроме него присутствует еще кто-то. Кто же это? Неужели вернулась Асаль и сын? Тогда почему же они не подходят к нему? Дверь опять тихо скрипнула, как от порыва легкого ветерка, в ней промелькнули два зеленых огонька и исчезли... Потом опять... Он вспомнил, как в детстве вечерами бегал с мальчишками в сад ловить светлячков. Вон сколько их вокруг него. Только откуда они взялись зимой? Он судорожно схватил землю, бросил в них. Его обостренный слух уловил легкие шорохи. Два светлячка стали расти, приближаться и неожиданно превратились в два рыжих огненных глаза. С трудом дошло до его помутневшего сознания, кому принадлежат эти глаза.

— Асаль! Сабир! — крикнул он, но голос его настолько ослаб, что он и сам его не услышал.

Он собрал последние силы, хотел встать, намереваясь в последний раз испытать счастье в борьбе за жизнь, но, увы, тело ему не повиновалось. Он ощутил вдруг жгучую тягу к жизни. Лучше быть нищим, ходить в отрепьях — но жить. Совсем близко от себя он увидел оскал желтых зубов, и лицо его обдало жаром и вонью из раззявленной клыкастой пасти.

Женщина, приблизившись к дому, заметила множество волчьих следов вокруг. Торопливо вошла в комнату. Увидев клочья окровавленного чапана и холодно мерцающие кругляшки рассыпанного и перемешанного с землей золота, в ужасе закричала, бросилась назад. Упала без чувств. Ее привел в себя плач сына. Мальчик силился поднять мать и сквозь слезы приговаривал:

— Мама, мама... Скорее уйдем отсюда, а то волки съедят...

Она поднялась, порывисто обняла сына, прижала его голову к груди, боясь оглянуться назад. Ей невольно вспомнилась тревога, охватившая ее на обратном пути, предчувствие недоброго. Вдруг подумала, что если бы пришла вчера, этого, может, и не случилось бы... Дала волю слезам. Но, увидев бледного, перепуганного насмерть мальчика, который еще не оправился от болезни, усилием воли заставила себя успокоиться.

— Да благословит его аллах! — сказала она, вздохнув. — Да будет ему место в раю.

Прошептала молитву и провела руками по лицу. Глядя на нее, то же самое проделал мальчик.

Они медленно, держась за руки, отправились в обратный путь. Под огромной нависшей скалой увидели утоптаный волчьими ногами снег. Замирая от страха, свернули на другую тропу.

— Да благословит аллах всех, кто покончил с этим миром, пусть им будет место в раю... — приговаривала женщина, крепко сжимая руку сынишки.

Мальчик боязливо озирался по сторонам, молча жался к матери.

— Сабирджан, — ласково обратилась мать к нему. — Пойдем не домой, а к дяде. У них уже колхоз. Люди помогут нам. Я буду работать с ним в поле. Ты будешь ходить в школу. У нас будет свой дом. Совсем новый. Там люди живут по-новому. Собираются на хашар и строят друг другу дома. Как-нибудь заработаем на хлеб. И дядя твой все же не чужой нам — брат мне. А свой своему поневоле друг...

— Я хочу домой...

— Нет, родненький, в свой дом мы больше не вернемся. Бог даст, наш завтрашний день будет светлее...

— А что такое школа?

Женщина долго молчала. Она и сама толком не знала, что такое школа.

— Это дом, где учат жить по-новому, сынок, — сказала она.

К вечеру они вступили в кишлак. Ноги вязли в жиже талого снега, перемолотого на дороге колесами арб. На просохшей обочине зеленела трава. «Скоро настанет весна, — размышляла женщина. — Потекут ручейки, земля покроется цветами...» И она почти ощутила мягкий, нежный запах весенних садов.

РАССКАЗЫ



СТАРИК И ПОЛЕ

*Моему учителю Максуду Шейзаде
посвящается*

Уже несколько дней кряду небо было сплошь обложено темными, как волчий загрибок, тучами, и то моросил, то проливался ливнем на землю дождь. Было ветрено и холодно, казалось, вот-вот замелькают в воздухе белые мухи. Неожиданно наступившее в разгар весны ненастье задерживало сев хлопчатника. И это страшно угнетало старика. Он знал, что запоздай на несколько дней с севом, и созревший хлопок придется собирать уже под снегом. «Эх,— вздыхал он, поглядывая в сумеречное небо,— за какие грехи ты меня наказываешь?..» Как бы то ни было, не мог он все эти дни сидеть в укрытии, дожидаясь милости неба. Не привык он в эту пору года сидеть сложа руки. Чтоб не разорвалось сердце, чтоб успокоить душу, он, пренебрегая дождем, весь день проводил в поле. В низменных местах прокладывал дренажные арыки, быть может, справедливо считая, что по ним стечет излишек воды, скорее просохнет земля, и можно будет раньше других начинать сев. В деле своем он ни с кем не советовался, да никто и не осмеливался отговаривать упрямого старика. Однако нет-нет да и оборачивался кто-нибудь из сидящих в шийпане в его сторону, с озабоченным видом качал головой. «Как бы не простудился старик...» Пожилые сидели на паласе за дастарханом и пили горячий чай, согревая продрогшую душу, молодежь за единственным металлическим столом с пластиковым верхом резалась в домино. Рокот трактора с поля то приближался, и тогда сквозь сетку дождя прорисовывались его контуры, то удалялся, и трактор исчезал, словно растворяясь в этой мокроте. «Эх, как бы не простудился старик...»

Этот почтенный человек за свои восемьдесят лет пертерпел немало трудностей, но ничто его не заставляло так переживать, как дождливая весна. В молодые годы, правда, он не считался с ней — трудился, и все. Коль наступил срок — дождь ли, снег ли, — пахал, сеял. Сил было не занимать. Если всходы на каком-либо из участков казались

ему чахлыми, перепаживал, пересейвал. А теперь... Эх, старость не радость. Когда человек стареет, становится слабым, а от этого и раздражительным, капризным. И никакие лекари уже не избавят его от этой болезни... А еще десять лет назад он не чувствовал, чтобы в нем сколько-нибудь убавилось сил. Правда, он еще тогда передал бразды правления в колхозе Азаду, молодому грамотному человеку, только что закончившему специальные курсы. Но сделал это не из-за возраста. Каждый должен знать свое место и заниматься тем, что умеет делать хорошо. Тот, кто хоть час может усидеть среди стен кабинета, тот пусть и руководит колхозом. А стихия Турсуна-ота — эта земля, поле. За десять лет, которые с тех пор минули, вон сколько целинных земель освоил он в тугаях, где прежде водились лишь кабаны, шакалы да гадюки, и стал руководить бригадой. Бригада — не колхоз, бригада ему под силу. Тут, прямо на поле, пощупав землю рукой, помяв ее в ладони, замесив слюной, улавливая в аромате ее тончайшие оттенки, и принимаешь решения: когда свозить удобрения, когда пахать, когда сеять. Семь колен предков Турсуна-ота занимались этим. Так что опыт он получил от них в наследство с кровью, молоком. Не было года, чтобы он сверх плана не взял высокого обязательства и не выполнил его. Он не мог себе представить жизни без этого раздольного поля. Лишиться ему поля все равно что рыбе лишиться воды. Наверное, поэтому в то время, когда многие молодые руководители после сбора урожая в накрахмаленных рубашках и отглаженных брюках, сверкающих штиблетах, с немалыми деньгами улепетьваются за тридевять земель, к морю, отдыхать и возвращаются лишь месяц спустя, повидав мир, старик все это время возит на свое поле навоз. «Что ж, гуляйте, отдыхайте. А в следующую страду снова поглядим, чей хлопок будет лучше, хоть вы все по-научному да по-научному... Я все делаю, как предки мои делали. А их еще ни один ученый не превзошел...» Саттар-ота не признавал минеральных удобрений. Считал, что они на землю действуют как слабительное: она быстро отдает растениям все питательные вещества, все свои силы и в конце концов становится бесплодной. По этому поводу не раз спорил он с руководителями колхоза и нередко даже ссорился, не уступал, и те не оставляли его в покое, ругали, шпыняли до самой осени. Успокаивались, когда старик, как и обещал, снимал высокий урожай, сдерживал данное слово.

А с весны все повторялось сначала...

Поле старика превышало сто гектаров. Вот уже три дня по нему ползали взад-вперед гусеничные тракторы и вспарывали землю, оставляя глубокие борозды, сразу же заполнявшиеся мутной водой. Если бы природа раздобрилась, проявила щедрость и с начала весны послала побольше солнечных дней, то в два счета покончили бы с севом и душа старика преисполнилась бы радости. Однако же... «Эх, чем прогневал я тебя, о господи!..» В небе ни единого просвета. Нижние края туч лохматятся и сеют над землей дождь. Кто это сказал, что в такую погоду хороший хозяин и собаку из дому не выгонит? Нашего Турсуна-ота не знает тот, кто это сказал. Турсун-ота и сам не прячется в укрытие, и трактористам не дает передышки, а те, недовольные, ворчат себе под нос, однако не смеют перечить упрямому, настырному хозяину поля. Они еще в кабине, и на них не льется сверху вода. А старик уже который час сидит на плуге, словно прилипнув к железному сиденью. Повязал скрученным в жгут платком лоб, чтоб не заливало глаза, на голову накинуд мешок, сделав из него капюшон, и то в одну сторону крутит скользкий руль, то в другую, налегает всем телом, а порою, выходя из себя, кричит на тракториста за то, что плуги недостаточно глубоко входят в землю. Будто тракторист виноват в этом, будто он делал этот чертов плуг. Однако молодой парень останавливает трактор, нехотя вылезает под дождь; ослабляет одну гайку, позвякивая ключом, затягивает другую и снова спешит укрыться в кабине, оскальзываясь на гусенице, сплошь облепленной грязью.

«Когда человек старится, и бог к нему теряет интерес,— сетовал Турсун-ота.— Ну, почему бы ему не разогнать эти тучи? Знает ведь, что мне надо сеять. Когда я был молодым, он был ко мне благосклоннее... Эх-хе-эх, стоит состариться, и все — и бог, и руководители — перестают обращать на тебя внимание... Только для старушки своей я такой же, какой был прежде. Не замечает, что поседел, что многих зубов во рту не хватает. Все так же приветлива и ласкова, какой и раньше была. Бедняжка сидит целыми днями одна и ждет меня. Наверняка и сейчас ждет. Сварила рисовый суп, приправленный обжаренным на кунжутном масле луком, сидит и ждет: а вдруг муж пообедать домой придет... Но разве полезет кусок в горло, когда тут такое творится! А что, если всевышний выказывает мне свой гнев из-за того, что я перестал хо-

дить в мечеть? Давно не радовал я молитвами души своих предков. Повинен я перед ними, повинен... Что, если завтра и ко мне придет смерть? Ведь не найдется человека, который бы вспомнил меня добрым словом, попросил всевышнего отпустить мои грехи... Да-а, верно, пожинаешь то, что посеял. Бог даст, вот только закончу сев и обязательно пойду в мечеть, помолюсь, попрошу у предков прощения... Ох, что это со мной?..»

Он долго сидел скособочась на холодном металлическом сиденье, и от этого у него затекла спина, он не мог выпрямиться. К пояснице будто прижали раскаленное железо, боль от нее расходилась по всему телу. В плечах была такая ломота, что терпеть уже становилось невозможно. Прямо суставы будто кто выкручивает. Старик чертыхнулся. Он, кажется, не просто стареет, а постепенно становится непригодным к такой работе. А раньше, бывало, снег ли, дождь ли...

Сверкнула молния, в одно мгновение проведя лиловой кистью по округлым бокам туч. Вдалеке сердито пророкотал гром. Старик ждал, что с часу на час тучи рассеются, а вместо этого небо ниспосылало новую угрозу. И вправду, сегодня оно было грозное, небо. Иссиня-черные и серые тучи громоздились друг на друга, меняя очертания, приобретая разные формы, то напоминая сцепившихся в мертвой хватке львов, то становясь похожими на воинов в шлемах, со щитами, огненными копьями, разящих друг друга. Холодные капли секли морщинистое лицо старика, запрокинутое к небу, смачивая его обветренные губы.

Трактор резко остановился, и старик чуть не соскользнул с сиденья.

— Гроза начинается! — крикнул тракторист, высунувшись из кабины. — Вон какие молнии! Давайте сматываться, пока не поздно, Турсун-ота!

— Замолчи! Делай свое дело! — заорал старик, раздосадованный, что чуть было не слетел в грязь. — В кабине своей не раскиснешь. — И, снова подняв к небу глаза, зашептал: — О боже, пощади меня на старости лет, останови дождь... сними с солнца эту чадру, открой его светлый лик...

— Гроза же начинается! — стоял на своем тракторист. — По инструкции не полагается работать во время грозы в поле. И землю вон как развезло, скоро трактор увязнет...

Старик сидел, вцепившись в руль плуга так, что на

пальцах побелели ногти. Он и сам был не на шутку встревожен, примечая, как их со всех сторон обступает мгла; лишь на какие-то мгновенья она расступалась при ослепительно белых вспышках молний и снова накатывалась со всех сторон, еще более темная и непроглядная.

— Вон все люди давно в шийпане, балуются горячим чаем!..— старался перекричать рокот мотора молодой тракторист, раздраженный упрямством хозяина поля.— А мы что, рыжие?..

Старик уныло молчал. Он всегда чувствовал себя на работе как на поле брани. Мыслимо ли уйти с поля брани из-за какого-то дождя. Примчался ветер, плеснул в лицо холодными каплями. Он этого и не заметил. Что там какие-то капли, если он давно промок до нитки, перестал ощущать даже холодные струи, которые попадали, просачиваясь сквозь мешок, за шиворот, пробегали, щекоча, между лопаток. Чувствовал только, что начал зябнуть. Но в таких случаях он всегда принимался за какое-нибудь дело и таким образом согревался.

Заглушив мотор и ступив одной ногой в гусеницу, тракторист размахивал руками, что-то доказывал. Турсун-ота не слушал его, всматривался в синевато-серую мглу, досадуя, что и сегодня надежды его не оправдались: не разогнал ветер туч и солнце не дотянулось лучами до земли...

Вдалеке мелькнули две яркие точки. Они приближались. По раскисшему проселку в их сторону ехала с включенными фарами машина. В их свете струи дождя вскручивались, метались из стороны в сторону и казались хрустальными. У края поля машина остановилась.

— Э-ге-ге-е-ей, Турсун-ота-а!..— послышался голос.— Идите скорее сюда! Мы за вами!.. Простудите-е-есь!..

«Ишь пожалели меня,— пронеслось в голове старика.— Не помню, чтобы я сам себя когда-нибудь жалел... Вот когда не сдержу на старости лет своего слова... тогда действительно буду достоин жалости...» Старик сошел с плуга и уже собрался было направиться к дороге.

— Турсун-ота! Ждем вас. Работа не волк, в лес не убежит...— снова донесся сквозь шум дождя голос агронома.

— Позор отцу, воспитавшему такого! — в сердцах произнес старик, останавливаясь.— Что говорит, а! «Работа не убежит...» И как только язык поворачивается?..— Старик изменил направление и, бурча что-то под нос, зашагал по полю, решив выйти не к дороге, где стояла машина, а го-

раздо правее, на тропинку, что тянется вдоль насыпного берега широкого арыка. Вон и одинокая шелковица смутно виднеется сквозь завесу дождя, она как раз у самой воды и растет.— Еще и руководителем называется. Аг-ро-но-ом!.. А завтра с кого спросят, если Турсун-ота не сдержит своего слова? С меня и спросят. Слово дал — так сдержи, если ты мужчина. А не можешь сдержатъ, то и не разбрасывайся ими. Это вы привыкли жить так: на ладони — легкое, а тяжелое под ноги. На работе лишь бы показаться, а чем вы там занимаетесь, один аллах знает, да и тому, наверное, не просто докопаться. Дома же себе строите — дворцы, а не дома, машины покупаете, любовницами обзаводитесь. Только о себе и печетесь. Было б вам хорошо, а там... хоть трава не расти. Нас же, стариков, за чудаков принимаете. А кто совершал революцию? Мы, старики. И колхозы мы создавали!.. Для таких, как ты, что ли, старались?.. «Работа не убежит...» Еще как убежит! Если не работа, так время бежит. Это одно и то же!.. А я ведь, когда в городе был, слово дал первому секретарю, он руку мне пожал, поверил, значит...

— Отец! Садитесь в машину! — окликнул его агроном.

Старик лишь отмахнулся и не взглянул в его сторону. Увязая по щиколотку в грязи, он с трудом добрался до тропинки и медленно зашагал по ней. Надетый на голову мокрый мешок трепетал от ветра, шлепал его по спине. Впереди показалась приземистая хижина с плоской глиняной крышей, на которой щетинилась зеленая трава и тускло алели примятые дождем венчики маков. В маленьком дворике, обнесенном низким полуразвалившимся дувалом, росло несколько деревьев, стоявших нынче прямо в желтой воде и раскачивающихся от ветра, словно в плавном танце. А что, им небось хорошо — напьются вдоволь воды, обмоются под небесными струями, смоят пыль с молодой листвы.

Проходя мимо хижины, старик остановился. Ему слышалось, что кто-то поет. Или померещилось? Нет, в самом деле. Сайфи поет. Значит, выздоравливает. Сайфи работал трактористом. Осенью он упал с трактора и сломал ногу. Саттар-ота на арбе отвез его в райцентр и устроил в больницу...

Дверь в хижину была открыта настежь, но завешена мешковиной. Старик отвернул ее край и заглянул в полутемную комнату.

— Хорманг¹, отец, дай бог вам здоровья, заходите! — приветствовал его Сайфи, прервав песню; придвинул к себе костыли и приковылял к двери, пожал старику руку.

— Спешу,— сказал старик.— Как здоровье? Скорее бы уж выходил на работу... Трудно мне без тебя. Эти молодые парни меня не понимают. Без тебя от меня отвернулась удача...

— Заходите. Вы же весь промокли. Пообсохнете. Ваша сноха сварила коджу...

— Пойду-ка лучше домой. Ломает всего. Старуха согреет в очаге кирпич, приложит к пояснице. Выздоровливай.

До дому старик добрался не скоро. Шел он медленно, словно силы враз покинули его. И ноги стали какие-то непослушные, подгибались в коленях и почему-то дрожали.

Во дворе его встретила жена и сразу же принялась корить:

— Вай-вай-вай, что же вы себя совсем не жалеете, а?.. Хотите загнать себя на тот свет?.. Если бог не дает хорошей погоды, то старайся не старайся, а дело с места не сдвинется. А вы хотите спорить со всевышним? Зачем себя так мучить?

Он, тяжело ступая по деревянным прогибающимся ступенькам, поднялся на айван. Жена сняла с него мешок, с которого ручьями стекала вода. С плеч старика поднимался пар.

— Все еще думаете, что молодой, такой же сильный, как прежде. Другие в вашем возрасте давно уже дома сидят да с внуками забавляются...

Старик насупился, однако промолчал. А про себя подумал, с трудом стаскивая сапоги: «Хорошо, что ты у меня есть, женушка, единственная отрада души моей. Дети и внуки далеко, аж в городе, а ты всегда рядышком...»

Жена его некогда считалась самой красивой девушкой в округе, статной была, высокой, почти с него ростом. А сейчас она показалась ему сгорбленной и маленькой. Тоже состарилась, бедняжка.

Тяжело вздохнув, вошел в боковую комнату. Старуха подала ему сухую одежду.

Вспомнилась Турсуну-ота давняя-предавняя пора, когда он в тележке разъезжал по кншлакам, торгуя керо-

¹ Хорманг — «Не уставайте» — обращение к тем, кто работает. Своеобразное приветствие.

сином. Сколько лет уж минуло, а все кажется, что вчера это было. Джигит — что молодой лев. Не знал, куда силы девать, ни воды не боялся, ни огня. С утра до вечера трудился. Зато в праздники веселился и развлекался, как это делают настоящие джигиты: принимал участие в улаках, но особенно любил помериться силой с прославленными палванами-борцами. И хоть бы раз почувствовал усталость!.. На следующий день снова запрягал в телегу пару лошадей, наполнял железные бочки керосином и отправлялся в кишлаки.

В Таш-кишлаке каждый день к полудню его ожидала белолицая, чернобровая, с прямым тонким носом и черными косичками, в которые вплетены звонкие монисты, девушка. «Мулла-ака, налейте немного керосина», — с улыбкой обращалась она к нему, протягивая бидон. А он брал у нее посуду и буквально тупел от волнения; голова у него шла кругом; блаженно улыбаясь, он пялился на девушку, не в состоянии вымолвить ни слова. Едва хотел что-то сказать, начинал занкаться и сам разбирал с трудом, что говорит... Так мотался каждый день в этот кишлак, а вернее, к той девушке, которая ждала, спешила навстречу его повозке, завидев издалека. Он радовался встрече, хмелел от ее певучего голоса. «Налейте немного керосина...» Он наливал ей керосин бесплатно. «Нет, мулла-ака, если не возьмете денег, то больше никогда не попрошу у вас керосина!» — притворно сердилась девушка, а глаза у самой смеялись. «А разве тебе больше не понадобится керосин? Рассчитаешься когда-нибудь за все сразу!..»

Осенью он рассказал об этой девушке отцу и матери. Вернее, не рассказал, а лишь намекнул, в Таш-кишлаке, мол, живет красавица, каких нигде больше нет. Мать с отцом сразу все поняли, переглянулись, улыбнулись, и не прошло и недели, они, прихватив кое-чего из гостинцев, отправились к родителям той девушки. Но, к сожалению, родители ее не согласились выдать дочь замуж в чужой кишлак, к тому же за какого-то там керосинщика. А девушка, послушная воле родителей, верная обычаям, как ни горевала, однако не выходила больше встречать парня, продающего керосин. Он же, если прежде лишь проезжал через кишлак раз или два за день, туда и обратно, то теперь останавливал телегу прямо напротив ее ворот и вел бойкую торговлю с утра до вечера. К нему выстраивалась длиннющая очередь. Сюда стали приходить и из других кишлаков, кому был нужен керосин. А он то и дело на

секунду-другую прерывал торговлю и, приставив ко рту огромный рупор, который сам смастерил из жести, кричал во всю мочь своих легких, поворачиваясь для вида и направо, и налево, и назад, и подольше — когда он глядел в сторону ее ворот: «Ке-ро-си-и-ин!.. Покупайте ке-ро-си-и-ин!..»

Однажды, когда он уже в сумерках покинул Таш-киш-лак, братья девушки подкараулили его на дороге и крепко поколотили. Турсун был рослым сильным йигитом, из тех, о ком говорят «Кулаком способен гору раскрошить», но когда его били, он и руки не поднял. «Все равно рано или поздно породнимся, зачем же мне обижать вас,— подумал он.— Я знаю об этом, а вы нет, потому и глупость свою выказываете. А посмотрю-ка я на вас полгода спустя!..»

После этого Турсун продавать керосин напротив ворот девушки перестал, а стал поджидать ее у родника, спрятавшись в зарослях. Родник находился за околицей, и сюда приходили по воду, когда хотели приготовить особо вкусный чай для гостей. Несколько раз приходила и его любимая, но всякий раз с подругами, и он не рискнул подойти к девчатам, которые могли испугаться и, чего доброго, догадаться о его намерениях, поднять шум. Но, как говорится, у терпения — золотое дно. Однажды вечером он все же дождался ее. Едва увидел знакомую фигурку, вприпрыжку спускающуюся по тропинке, по которой, стекая вниз, струился розоватый закатный свет, но уже не в силах разбавить густую синь в лощине, у него бешено забилось сердце, словно подавая сигнал: «Лучшего момента тебе не дожидаться!..» Она была одна. Едва набрала в кувшин воды, он выскочил из засады; она и вскрикнуть не успела, как он схватил ее и, зажав рот рукою, помчался сквозь заросли, не разбирая дороги, посадил ее в повозку — а она и не думала кричать, удивленно пялила на него глаза и улыбалась, — хлестнул резвых коней плетью, и они рванулись с места, понеслись словно на крыльях... Они уже приблизились к его родному кишлаку, уже впереди, за купами деревьев, мерцали неяркие огни, когда телегу на крутом повороте занесло, и она опрокинулась. Йигит и девушка вылетели из нее, упали в траву, мимо них пронеслись с гулким погромохиваньем железные бочки, обрызгав их керосином, — и попади на его пылающее сердце хоть капля, он весь занялся бы ярким костром. Бог миловал. Турсун вскочил и бросился к девушке. Она ле-

жала неподвижно. Он подхватил ее на руки, прижал к груди, а слезы так и потекли из глаз... И в этот момент девушка открыла глаза, улыбнулась и спросила: «Плачете? Неужели...» И он понес ее на руках в кишлак. В тот вечер домой вернулся без керосина, но с невестой.

Свадьбу справили на следующий же день. Гулял, веселился весь кишлак.

Правда, долгое время Турсун не мог бывать у тестя и тещи. И те тоже за целых полгода ни разу не переступили их порога. Но в конце концов старики простили молодых...

— О чем так задумались? Чем-то опечалены? — тихо обратилась к нему старуха и отвлекла от приятных воспоминаний; она, оказывается, расстелила перед ним дастархан, поставила в глиняной каше горячий рисовый суп, а он и не заметил.— Не терзайтесь понапрасну. Небо вон посветлело, все будет хорошо.— И, вздохнув, добавила:— Всю жизнь отдали хлопку, себя не жалели. Разве кто-нибудь отблагодарил?..

— Лучше помолчи, старуха! Ради благодарности я разве стараюсь?! — сказал он, и голос его прозвучал грубовато; заметил, что по лицу жены пробежала тень, и мысленно обругал себя, виновато опустил голову.

Старуха же не сводила с него печальных глаз, медленно наполнявшихся слезами.

— Может, я провинилась в чем? Так сказали бы...

— Прости меня... Газету не принесли?

— Принесли,— вздохнув, она поднялась, взяла с подоконника газету и протянула мужу.

Старик нацепил на нос старые мутные очки, набросил на уши засаленные нитки, привязанные вместо отломавшихся дужек, и прочел «Прогноз погоды». Поморщился и отбросил в сторону.

Наступила ночь. Где-то далеко-далеко глухо погромыхивал гром, будто на опрокинутый медный таз взобралось босоногое дитя и топчется по нему пятками, топчется... Спать они легли, лампу не погасив. Старуха только чуть подвернула фитиль, чтобы не слишком много выгорело керосину. Старик, завернувшись в свой чапан, лежал на боку, подложив, как маленький, под щеку ладони. Ему не раз в душные летние ночи приходилось заночевывать в поле — в шийпане или прямо на траве под деревом,— при-

вык спать не раздеваясь, завернувшись в стеганый чапан, как солдат в походную шинель, теперь и дома так — мол, утром легче вставать. Наверное, и во сне он видел то же самое, что днем: мелкий, словно пропущенный через сито, дождь, свое раскисшее поле с желтыми лужами в бороздах; он то и дело вздрагивал, что-то бормотал, дергал рукой, сжимая и разжимая кулак, будто то влево, то вправо крутил баранку плуга, опуская зубья на предельную глубину и чуть приподнимая, когда трактор, напрасно взывая, начинал буксовать, выбрасывая из-под себя ошметки грязи, зарываясь с каждым разом все глубже. И снова старик что-то бормотал, вздрагивал и дергался. А старуха приподнимала голову, беспокойно прислушивалась, качала скорбно головой, заботливо укрывала его, боясь ненароком разбудить, и снова тихонечко укладывалась, шепча молитву...

Едва забрезжил рассвет, старик испуганно проснулся, беспокойные глаза его отыскивали белеющее окно. Прислушался. Дождь перестал. Старухи в комнате уже не было. Он встал, подошел к окну и провел ладонью по запотевшему стеклу. Тучи истончились, вылиняли, в просветах голубело небо. И сразу с сердца будто камень свалился, легко стало на душе у старика. Он вышел во двор и, присев на корточки на берегу арыка, умылся. А старуха тем временем уже приготовила завтрак.

...Солнце только едва подрумянило нижнюю кромку провисших над горизонтом туч, а Турсун-ота уже легко шагал в сторону колхозных мастерских. Он решил сегодня с утра возить в поле навоз, скопившийся возле конюшен. Пахать нельзя, так хоть землю удобрить. А по пути, сделав изрядный крюк, он постучал в голубые, вымытые дождем ворота и крикнул:

— Эй, Хашимджан, заводи свой трактор!

Через минуту во дворе послышались шаркающие шаги, калитка отворилась, в проеме ее появился полуодетый, с опухшим от сна лицом Хашим; он сладко зевнул, похлопывая себя по толстым губам ладонью, прежде чем смог ответить на приветствие.

— Заводи трактор! — повторил старик.

— Вы что, Турсун-ота, по полю сейчас и лошадь не пройдет, не то что трактор! — недовольно воскликнул Хашим визгливым голосом.

— А по дороге? По дороге пройдет твой трактор?

— На то и дорога! А что толку?

— Будем удобрение возить.

— Ну, сколько можно? Всю зиму возили! Можно хоть в такой день дома посидеть? Смотрите, ни одна собака по улице не бегаёт!

— Всю зиму, говоришь? А сам ты всю зиму хлеб не жрал?.. То-то же! И сейчас три раза в день ешь. Земля тоже подкормки просит. Пошли!

— Позавтракаю хоть,— буркнул Хашим, насупясь.— Вы идите, догоню.

Старик кивнул и зашагал в сторону мастерских, заложив руки за спину, держась прямо; чапан на груди распахнут, и под нательной белой рубашкой виднеется красный треугольник обветренной загорелой груди.

Хашим сплюнул и от досады даже притопнул. Недовольно ворча, направился к айвану, где его поджидала жена.

— Кто это был? — поинтересовалась она.

— Опять он, кто еще может!

— Турсун-ота, что ли?

— Давай скорее завтрак, дрыхнешь до обеда! — озлился Хашим.

Тракторный прицеп, оказывается, стоял около конюшни. На том самом месте, где старик его в прошлый раз оставил. Гляди-ка, за целый месяц никому не понадобился. Может, прав Хашимджан, а? Может, он и вправду не в себе? Все нормальные люди после трудов отдыхают, а он ни себе, ни другим покоя не дает. А что значит — покой? Сиденье дома у сандала за чаепитием? Или лежанье на мягких курпачах кверху пузом?.. Нет, покой — это, когда на душе покойно. А он, Турсун-ота, отдыхает душой только тогда, когда на поле его полный порядок.

Турсун-ота принес из конюшни вилы и стал грузить в тележку навоз. Куча от дождей упрела, отяжелела, из-под нее шел пар. Он раскидал верх и стал брать там, где посуше. Сразу прилетела невесть откуда стайка галок и давай в трех-четырёх шагах от него рыться, искать букашек, червей. Они хорошо знали Турсуна-ота, не боялись. Мимо шли колхозники, приветствовали, желали не уставать.

— Хорманг! — уважительно кричали ему.

— Бор булинг! — отвечал старик, не прерывая работы.— Долгой жизни вам!

И когда со стороны мастерских раздался рассекший ти-

шину резкий рокот трактора, Турсун-ота уже до половины загрузил прицеп.

Когда трактор ехал по кишлаку, дети бежали следом, цеплялись, повисая, за тележку, кричали старику, сидевшему наверху, держась за черенок воткнутых в навоз вил: «Салам, дедушка! Не ругайте нас, мы только немножко прокатимся!..» Он улыбался в бороду и молча кивал — ведь что ни скажи, шум трактора проглотит слова, и они все равно не услышат, не поймут. Старик лишь смотрел, чтобы никто не забегал сбоку, где колеса, и ему казалось, что за ним по пятам бежит его босоное детство...

Эх-эх, чего только не испытал старик на своем веку, чего только не повидали его глаза... В те времена не было ни автомобилей, ни тракторов. Вся работа выполнялась вручную. Телеги не трактор катил, а тасили медлительные волю. И землю пахали с помощью волов, канавы между грядками прокладывали сохой, обрабатывали кетменями. Собранный урожай на арбах свозился в райцентр. А иной раз наступала ранняя зима, и хлопок оставался под снегом, дождем. И люди тогда ходили по междурядьям по шиколотку в грязи и собирали курак — коробочки несозревшего хлопчатника. Вечерами курак разносили мешками по домам. И стар и мал сидели ночи напролет и при тусклом свете копилки шелушили курак, выуживая из него кровотоющими пальцами смержшийся, похожий на дольки чеснока хлопок.

Молодой Турсун с ранней весны и до поздней осени ходил за волами. Сам пахал, сам сеял, а потом вместе с женою собирал урожай, садился в скрипящую медлительную повозку и колесил между хлопкопунктом и колхозом, подгоняя равнодушных ко всему волов окриками и длинной палкой с гвоздем на конце...

Сейчас, слава богу, все по-другому. Трудные работы выполняют машины. А ведь совсем незаметно пришло это счастливое время. Так глянешь на заре на солнце — оно вроде неподвижно, на самом деле оно движется по небу, поднимается все выше, выше, а глазу-то и незаметно; глянул еще раз — оно уже над самым темечком висит... Так и время летит стремительно, однако незаметно...

Его прекрасная жена родила ему двух дочерей и сына. Дочерей выдал замуж в соседние кишлаки. Когда выдавал их, тогда и вспомнил родителей своей жены, понял, почему они не хотели отпускать свою единственную дочь в другой кишлак: сердце прямо кровью обливалось, когда думал о

м, что теперь не каждый день сможет видеть взлелеянные им цветочки, нежных красавиц, похожих на мать. Эх, а что поделаешь. Женихи оказались не менее настырные, ем был и сам он в былые времена.

Сын отправился учиться в город. Там влюбился в дочку большого начальника и остался навсегда. Теперь и сам стал большим человеком, ответственным работником. В кабинет к нему заходят с особого дозволения. В кишлак приезжает крайне редко. А когда приезжает, в доме у них собираются и председатель, и парторг, и все местное начальство. Режут барана, готовят плов, вино льется рекой. Но, как ни крути, сын теперь уже городской человек. И родителей зовет в город. Но старик разве согласится? Разве он сможет там жить? Это же все равно что рыбу из пресного озера пустить в соленое море. «Нет,— сказал он сыну.— Не смогу я жить в домах-клетках. Задохнусь без простора; без моего поля...»

Выгрузив с прицепа навоз, старик, переводя дух, облокотился на черенок вил и огляделся. Весь мир после дождя, подобно невесте, был чист и прекрасен; свежий, бодрящий, пахнувший благодатной землей воздух вливался в грудь, наполнял силой. Горячее солнце поднималось все выше и выше, высушивая небо, над теплой землей стелился пар. «Небо очистилось, слава всевышнему. Дошли до него мои стенания. Завтра же помолюсь, совершу намаз. Порадую души предков... Наверное, можно и не молиться, коли столько людей обходится без этого, но все же после молитвы на душе становится легче, светлее...»

Домой старик воротился перед самым наступлением сумерек. Дела у него сегодня действительно пошли на лад. В течение всего дня солнце щедро грело землю. Он трудился не покладая рук. И Хашимджан, ворчун этакий, хоть и без особого желанья, а все же помогал. Перед вечером, отпустив йнгита домой, сам пошел в мастерские, лично проверил, прицеплены ли сеялки к тракторам. Будто долго их прицепить — раз-два и готово. Но старик любит, чтобы у него заранее все было готово. Дня через три-четыре, если погода опять не испортится, он сядет на сеялку, повяжет лоб скрученным в жгут платком, чтобы пот не стекал в глаза, потуже затянет бельбаг и скамандует Хашимджану: «Ну, давай, йнгит, трогай! Басмилло...»

И только когда закончат сев, вздохнет старик свободно и успокоится его душа...

Хлопчатник засеяли за четыре дня.

Огромное красное солнце уже коснулось нижним краешком горизонта, когда они прошлись до последней делянки, полосу за полосой. Хашимджан наконец остановил трактор и выключил мотор, высунулся из кабины, чумазый, белозубо скалясь. И Турсун-ота поднялся с железного сиденья сеялки, с трудом распрямив спину, утер потное лицо рукавом и окинул взглядом ровное, как стол, серое поле, окаймленное по краям высокими, насыпными, уже всю зеленными берегами арыков, вдоль которых молодые шелковицы трепетали на ветру молодыми листочками, и чудилось старику, что вереница юных девушек-красавиц издалека машет ему зелеными платочками. И птицы весело щебечут в малиновом поднебесье, поздравляют с окончанием сева, и ветерок ласково похлопывает по плечам, по спине. А солнце-то, солнце! Давно оно так нежно не улыбалось, так подзадоривающе не подмигивало, уходя на покой.

По мнению старика, в этом году бог милостив к нему. А значит, не откладывая, надо браться за другие дела.

— Хашимджан, здорово мы с тобой поработали, сынок.

— Здорово, ота.

— Сеялку теперь можешь поставить в мастерских под навес.

— Верно, ота. Свое дело мы сделали.

— А вместо нее навесь агрегат, которым углубляют арыки.

— Зачем это? — разинул рот Хашимджан и часто хлопал ресницами, на которых толстым слоем лежала пыль.

— Как зачем? Сам не понимаешь?.. Скоро хлопчатник взойдет, поливать придется, арыки должны быть чистыми. А ты что, всего раз за зиму и умываешься?.. То-то же... В арыках тоже всякий сор копится, землю ветром заносит. Словом, почистить надо.

— Эх, ота, — Хашимджан в сердцах рубанул по воздуху кулаком. — Ни себе покоя не даете, ни другим!

— Эх, сынок... пока жив, молод, не нищи покоя. Он еще впереди, еще так надоест. Как подумаю о нем, так не по себе делается...

Домой старик вернулся, как обычно, в сумерках, подошел к своей старухе, улыбаясь.

— Поздравь, жена, сев закончил.

— Поздравляю. Сколько в вашей жизни было этих севов! А потом — уборка...

— А ведь это и есть жизнь, жена. Сначала сей, потом собирай урожай. Какая без этого жизнь?

...Ночью ему не спалось. Лежал, заложив одну руку под голову и уставясь в потолок. Права старуха: если собрать весь хлопок, который он за жизнь свою собрал, то образуется огромная белая гора, вершина которой достанет до облаков. А что себе взял? Только курпача: у него набита этим хлопком да стеганный ватный чапан. Для людей, значит, старелся. Не зря, выходит, жил.

В последнее время что-то слишком часто стал он думать о былом. Или, может, все старики, когда замечают, что тело становится дряблым, а в руках иссыкает сила, начинают искать отраду для души только в прошлом?.. Но жизнь ведь не была сплошным праздником, были в ней и такие дни, при воспоминании о которых больно ноет сердце, будто его сжимают клещами.

Вспомнился отец, который всю жизнь батрачил на чужих, так и не дожил до светлых дней.

Турсун одним из первых вступил в комсомол, активно участвовал в составлении списка бедняков. Вместе с председателем сельского Совета Мирисмаилом ходил по домам, призывал бедняков вступать в колхоз.

Отец рассказывал, что Турсуна мать родила прямо на хлопковом поле. Выходит, он познал это поле от самого рождения, знал, где и что растет, как теперешние дети знают свой уголок, где у них сложены игрушки. А с годами он стал мастером своего дела. И когда отец умер, было кому на этом поле заменить его. Десять лет Турсун был бригадиром, сеял хлопок на ста гектарах. Урожай год от году становился все лучше. Прославился Турсун сначала в районе, а потом и на всю республику. Он сильным парнем был, не знал усталости... А как-то неожиданно-негадано из центра, из газет, журналов, радио прибыли журналисты и давай его фотографировать, вопросы задавать. Гости есть гости, и бригадир их всех принял как гостей, отвечал на все вопросы. А через неделю в газете вдруг напечатали, что ему присвоено звание Героя. Поздравлениям не было конца. Он был так растерян, так взволнован, что теперь уже не помнит многих подробностей того дня. Одно помнит хорошо: в тот день он впервые понял, что такое счастье, впервые испытал его вкус.

Через три дня знаменитого бригадира пригласили в

город. В огромном белом зале его встретил пожилой, с поседевшими висками человек и с улыбкой прикрепил ему на грудь под гром аплодисментов Золотую Звезду. От радости Турсун даже прослезился...

Его часто выбирали делегатом на курултай — съезды хлопкоробов. Уговаривали выступить, даже давали готовые тексты докладов, чтобы, мол, не затруднять. Он отказывался от таких бумаг. «Все равно читать не умею. Скажу о том, что сам видел, знаю...»

А однажды ему все-таки всучили такую бумажку. Насильно. У него и сейчас перед глазами ярко освещенный зал, заполненный людьми. Когда на трибуну поднялся Турсун, прославленный бригадир, высокий, в повидавшем виды стеганом чапане, обутый в ичиги и калоши, с черной, аккуратно подстриженной бородкой, то все в зале поднялись с мест и приветствовали его аплодисментами. У него от волнения прямо дух захватило поначалу, и он целую минуту не мог и слова вымолвить. А потом отпил из стакана воды и произнес глуховатым севшим голосом:

— Товарищи!..— и положил перед собой бумагу.— Тут один уважаемый товарищ дал мне готовый текст. Если хотите, вы и сами можете бумажку эту прочесть. А мне, с вашего позволения, хочется сказать про то, чего там не написано...— И он стал говорить о том, что обещания легко даются, но не всегда выполняются. А некоторые руководители нередко пытаются втирать кому-то очки.— Я же не могу обманывать людей, с которыми тружусь, не могу идти против совести,— продолжал Турсун-ота.— Земля похожа на корову. Трудно заранее сказать, сколько она даст молока. Ее тоже надо холить, кормить. От предков нам осталась поговорка: «Дехканин — и отец земли, и ее дитя». Да, это так. Но кой-кто норовит оставаться пожизненно дитем и высасывать из земли все соки, словно это материнская грудь. А чем он кормит землю? Только и знает пичкать ядохимикатами.— Он отпил еще воды, прокашлял горло.— Я, вы знаете, поднял урожай до пятнадцати центнеров с гектара. В этом году тоже получу не меньше. И заметьте, я ни разу не травил мое поле ядохимикатами... Большинство из вас, здесь сидящих, образованные, много знающие люди. Думаю, поймете меня правильно. Об одном вас прошу: подумайте о будущем своих детей... Давайте раз и навсегда прекратим дефолиацию самолетами. Перейдем скорее на метод... Э-э-э, как его?.. Бело... биологической дефолиации. А химикалиями, если мы иног-

да и спасаем растения, то губим людей. Многие колхозники заболевают желтухой. Участились случаи преждевременных родов. Даже скот и тот не выдерживает, болеет...

С трибуны он спустился, чувствуя, как у него ослабли от волнения ноги, перед глазами все расплывалось. Долго не смолкали аплодисменты. Он уже сел, а ему все хлопали и хлопали. «Настоящий хлобкороб! Заботливый хозяин!..» — слышались голоса. Руководитель с седыми висками, тот самый, что приколол ему на грудь Золотую Звезду, крепко пожал ему руку и сказал:

— Вы правы, почтенный отец! Партия и правительство скоро решат и этот вопрос. Ведется работа. Очень скоро перейдем на новый метод.

Вроде бы давно все это было, а вспомнишь — греет.

А поле Турсуна-ота в точности такое же, каким оно было и десять лет назад, и двадцать лет, и тридцать... По весне такое же, земля есть земля. И только когда хлопчатник вымахает выше пояса, зацветет, на каждой ветке завяжутся коробочки, которые Турсун-ота будет подпитывать и радоваться, — только тогда любой из стариков кишлака сможет сказать, что это поле совсем другое, куда щедрее, чем было в прежние времена. А почему так? Потому что бригадир щедр, он, Турсун-ота, не жалеет ни сил, ни времени для своего поля. Вот оно и платит ему тем же...

Поле с каждым днем все больше радовало всходами.

С работы Турсун-ота вернулся в приподнятом настроении.

Жена готовила еду под навесом, служившим летней кухней, отмахиваясь от дыма, с треском ломала о колено сухую гузапаю, подбрасывала в очаг и не заметила мужа. А он зашел в родной дом, в котором пятьдесят лет прожил душа в душу со своей суженой, направился к подоконнику, где лежала подшивка старых пожелтевших газет. Полистал, нашел ту, которая его интересовала. Долго смотрел на свое почти выцветшее фото. Эта фотография нравилась ему больше всех. На ней он в белом чекмене, слегка тронутая сединой борода, усы красиво подстрижены. А слева на груди сияет Золотая Звезда. Вновь в памяти всплыли трудные и славные времена. Но тогда он был молод, силен, и любые трудности были ему нипочем...

Турсун-ота отложил газету и опустился на курпачу.

Прислонясь к стене, закрыл глаза. Опять в голову назойливо лезли мысли, которые он отгонял от себя, которых боялся, которые заставляли его волноваться и терять присутствие духа. «С любыми невзгодами может сладить человек,— думал он.— А против законов, установленных самой природой, он бессилён. Только в преклонном возрасте начинаешь понимать, как все-таки природа безжалостна. Человек рождается на свет, живет, суетится, к чему-то стремится, а когда всего достигает и ему бы радоваться, уже приходится подумывать о смерти. Несправедливо это. Нет, несправедливо...»

— Для чего же рождается человек? Чтобы трудиться, бороться за правду! — неожиданно проговорил он вслух.— Лишь до тех пор он живет по-настоящему, пока несет людям добро.

— Ба!.. Когда же вы вернулись? — удивилась старуха, входя в комнату.— А я вашу любимую шаулю приготовила. Сейчас принесу.

— Сын не приезжал? — спросил старик.

— Что-то давненько не показываются ни сын, ни дочери,— вздохнула старуха.

— Заняты очень. Работают,— тихо произнес старик, опустив голову.— А так хочется повидать внуков...

— Ничего, помрем — соберутся все.

— Не кори их. Молодежь сейчас знаешь как занята, не то что мы...

Старуха задумчиво постояла у порога, потом тихо повернулась и вышла. Через несколько минут в большом блюде принесла шаулю. Они молча поели. Молча легли спать. Ворочались, вздыхали. Наверное, думали об одном и том же, о своих детях.

Старик опять поднялся ни свет ни заря. Небо было ясное. В глазах старика засверкали чистые, радостные искорки. Не желая терять ни минуты, он не стал дожидаться завтрака, попросил жену завязать ему еду в узелок. Повесил узелок на руку, возложил на плечо кетмень и отправился в поле. Долго ходил он по своему полю. Прямо душа радовалась — так дружно начал всходить хлопчатник, длинные зеленые строчки убегали по серой земле вдаль. Хлопчатник!.. Старик!.. Он жил ради этого хлопчатника, ему радовался, из-за него горевал. Старался. И земля воздавала сторицею. А ведь некоторые бригады бегают, жалуется, что им семена плохие достались,

хлопчатник на их участках всходит неровно, а кое-где и вовсе пересевать придется...

Старик направился к арыку, вскрыл кетменем пере-мычку и пустил на поле воду. Потом отправился вдоль грядок и стал следить за тем, чтобы вода тоненьким слабым ручейком струилась по дну ложбинок, чтобы растекалась всюду равномерно, не касаясь стеблей нежных рощиков, а лишь смачивая землю у их корней.

— Отец! — резко окликнул его кто-то.

Турсун-ота даже вздрогнул; опустив кетмень, он медленно обернулся и, заслонясь испачканной в земле рукой, посмотрел в сторону дороги, откуда донесся голос; там он увидел остановившийся зеленый газик с брезентовым верхом и медленно оседающую на дорогу пыль; на высоком берегу арыка, держась за ствол шелковицы, стоял недавно назначенный председатель, молодой йигит, закончивший в прошлом году институт.

— Почему меня не спросили? Почему поливаете без разрешения?

— Азадбек, оставь меня в покое, — проворчал старик так тихо, что вряд ли тот услышал. — Я сам отвечу, если что не так...

— Все не так! Кто вам сказал, что в эту пору можно поливать хлопчатник? Прекратите сейчас же!

— Сукин ты сын, а ну вон с глаз моих! — гневно выкрикнул старик, сверкнув глазами. — Поговори сначала с самим хлопчатником, спроси у него, чего он хочет, а потом распоряжайся! Ну, поговори, а я погляжу да послушаю. Сидел бы лучше в своем правлении и носа не высывал. Так-то!..

В грудь ему словно вонзили иглу, и последние слова он произнес с трудом, отвернулся и заработал снова кетменем. Заурчав, машина уехала. Он и не обернулся. Махал кетменем назло боли, прокладывал дорожку тоненькой струйке воды, которая ползла медленно и шипя, заглатывая мелкие комочки земли. И вдруг ему показалось, что не вода это, а, извиваясь, ползет змея. Закружилась голова, и потемнело в глазах. Держась за скользящий в горячих ладонях черенок кетменя, он опустил на землю... И, как назло, никого вокруг. Из всех знакомых одни птицы летают взад-вперед над полем. Старик беззвучно шевелил губами, обращаясь к ним, просил их полететь в кишлак, сказать его старухе, что ему худо, ой как худо...

Прохладный ли ветерок овеял, родное ли поле придало сил, только через какое-то время ему полегчало.

Домой он добрался с трудом. Старуха сразу заметила, что с ним что-то неладно. Уложила его в постель, принесла ужин, он и есть не стал. Старуха села рядом и, сдерживая рвущийся наружу плач, пыталась отвлечь его разговорами, вспоминала об их молодости, о том, как он похитил ее, рискуя жизнью, а он уставился в темный потолок и молчал.

Лишь поздней ночью он закрыл свои спокойные мудрые глаза. В ушах у него шумело, и ему казалось, что налетел ураганный ветер, наваливается на дома, силясь их свалить, — гнет чуть ли не до земли вековые деревья, рвет на столбах провода. За такой бурей обычно следуют грозы. Что будет с хлопчатником, господи? Что будет с хлопчатником?..

Неожиданно стало тихо.

ВОЙНА

Завтра, когда на западе заалет бескрайний горизонт, послышится характерный, ни на что не похожий звук «хххууупп, хххууупп...», а на круглом диске огненного солнца, уже начинающего опускаться в синюю бездонную глубину, возникнет, как всегда неожиданно, едва заметная черная точка. С каждым мгновением эта точка будет расти и расти, приближаясь, обретая форму, цвет, и, наконец, станет различима лобовая часть паровоза. Еще велика скорость, поэтому состав — это пока еще сплошная движущаяся масса, сужающаяся к концу. Но вот она начинает обретать форму, она все ближе и ближе. Вот уже завихрился с обеих сторон состава пыльный песок, постепенно смолкает равномерный перестук колес, и вагоны, лязгая сцеплениями, как бы сопротивляясь чему-то, нехотя останавливают свой бег.

Из открытых наполовину окон вагонов высовываются чуть ли не до пояса молодые веселые ребята, кто в пилотках, кто без, машут чьи-то руки за их спинами — это те, кому недосталось места у окна, веселая суета захватывает всех: и встречающих, которые беспорядочно толпятся у вагонов, стараясь угадать, в каком же их сын, брат, жених, и тех, кто возвращается, отслужив свое, положенное. И уже непонятно, кто что выкрикивает — имена, приветственные возгласы: «Добро пожаловать!», «Вот мы и вернулись!..», «Благополучия, радостей вам в мирной жизни!..».

А потом вдруг наступает тишина. Оглушительная тишина. И Мозифу охватывает лихорадочное беспокойство. Оно будет расти и расти по мере того, как пустеет с каждой минутой платформа, как отходят от окон вагона те, кто не сошел здесь, на их станции, и едет дальше. Она с надеждой будет вглядываться в лица тех, кто еще стоит в дверях вагонов у окон. Может быть, он забыл, где ему выходить?.. Вот этот... Такое же скуластое лицо, как у Дехкана. А руки, руки точно его, мускулистые, большие. И такое же открытое лицо. И лоб. Ну, пусть он повернется

сюда, к ней лицом как следует, ну, повернись же, повернись, молит она. Нет, снова только показалось.

Тридцать лет — как один день для нее. Один долгий-долгий день. День, когда она встречает эти вагоны на станции. Сколько их уже было! Без конца и без счета. Ну, пусть те, прошлые встречи были впустую. Пусть. Но теперь-то наконец, на этот раз он должен вернуться? Пусть только не вернется! Он не имеет права так мучить ее. О, нет, он вернется на этот раз. Она даже представляет себе, как все это будет. Если он не заметит ее в тот же момент, что и она, Мозифа закричит: «Дехкан, Дехкан! Видишь, я дождалась тебя, мой дорогой, мой любимый!» И он легко соскочит с подножки, быстрым движением пригладит свои непослушные, растрепанные ветром жесткие волосы, отведет ее руку в сторону и таким знакомым жестом проведет ладонью по голове, отбросив волосы назад, скажет ей: «Мозифа! Моя Мозифа! Вот я и с тобой! Видишь... даже поседел».

Да. Завтра, как и каждую осень в это время, возвращаются в их кишлак демобилизованные ребята. С ними завтра вернется и ее Дехкан. Иначе не может быть. Иначе несправедливо устроен мир. А до завтра он будет ей улыбаться с последней фотографии, которую не так давно увеличили в районном ателье: она стала неважно видеть, поэтому, пристально и подолгу иногда разглядывая карточку, не узнавала. Испугалась, и соседка посоветовала увеличить. Так она и сделала. Теперь все в порядке. Со стены на нее смотрел ее Дехкан. Веселый и беззаботный. Каким она впервые его увидела. Только вот до самого ворота строго застегнутая гимнастерка напоминала, что здесь, на фотографии, смеялся он специально для нее, потому что в тот день, когда она была сделана, никто уже не веселился: началась война.

Мозифа долго еще, безвольно опустив руки, стоит посреди комнаты, там, где ее настигли воспоминания. Она смотрит на нишу в стене, где висится горка ярких одеял, ее приданое. Они новые. Мозифа закрывает глаза, делает несколько шагов вперед и протянутыми руками упирается в зеркало, которое висит на стене. Она вытягивает шею и лбом касается холодного стекла. В мыслях ее ожидают синие горизонты, круглое огненное солнце, зеленые вагоны. И заново, в десятый, сотый, тысячный раз, она отдается на волю этих воспоминаний.

...Тогда еще не шла война. И в помине ее не было. Нет,

конечно, поговаривали о том, что она может случиться. Но человек так устроен, что не хочет думать о плохом. Тем более о войне. Их только-только сосватали. Завтра по обычаю в их будущей комнате должна гореть лампа. Все время. Так полагается. Кто мог подумать, что лампа эта не погаснет в ее комнате ни на миг во все последующие годы ее одиночества? Кто мог подумать тогда такое?

...Светает. Первой на улицу кишлака выходит Мозифа. За нею из своих домов тянутся Саодат, Асолат, тетушка Айша. Тетушка, бедняжка, так торопилась, что даже забыла впопыхах накинуть на голову платок. На ходу повязывая его, она, зевая, спрашивает Мозифу:

— Чего это ты сегодня поднялась так рано? — Она кулаком потирает заспанные глаза. — Опять идешь встречать наших парней?

— Да, иду вот...

— Ну, и правильно делаешь! — одобряет Айша. — Соседи наши так даже и не помышляют теперь об этом, все-то им некогда. А помнишь, как прежде-то? Весь кишлак, бывало, шел провожать да встречать своих воинов, все до одного. Ведь, что ни говори, все мы дети одних родителей! Вот только Дехкан твой все не возвращается...

Мозифа в ответ только вздыхает.

Из-за гор поднимается солнце. Люди выходят из своих домов и неспешно идут дорогой, которая пересекает кишлак. Идут к железнодорожной станции. Идут встречать сыновей, возвращающихся со службы. До станции, конечно, недалеко, всего каких-нибудь три километра, не более. Чтобы преодолеть это расстояние, нужно не так уж много времени, во всяком случае, не целый же день. Но так тут повелось — выходят с утра. Поезд прибудет в пять пополудни. И хотя тетушка Айша недовольна, Мозифа видит, вон сколько народу идет встречать сегодня. В толпе, медленно идущей к станции, есть и такие, у кого уже давно все отслужили или только в очередной набор пойдут. Но они тоже идут. Это их дети. Общие дети. А как же иначе?

...Той же дорогой шла Мозифа тогда, в сорок первом. Только три дня и побыла она женой Дехкана. Только три дня. Всю остальную жизнь ждала его возвращения. Всю жизнь. И этой же дорогой провожала его. Коротким, что и говорить, было ее счастье. Как сон. А их любовь — словно мгновенно скрестившихся два ярких, ослепительных луча. Такой же мгновенной, неожиданной была и разлука.

А потом потянулись годы ожидания. Как ей представлялось, если Дехкан вернется, то обязательно по этой дороге. Другой нет и быть не может. Они не разминутся. Если в тот день она почему-либо его не встретит... Но так не может быть. Она знала эту дорогу до мельчайших изгибов и поворотов. Ей даже стало казаться, что и с Дехканом она впервые встретилась на этой вот дороге, один конец которой обрывался у станции, а другой уходил в степь, теряясь за горизонтом. Там Дехкан и жал до войны пшеницу.

Вот с тех самых пор все и пошло у них. Они знали тогда о войне разве что из книг. Воевали их отцы. В гражданскую. А они были уже дети мирного времени. Так же, как нынешнее поколение молодых. Они тоже не знают войны. И, дай бог, пусть никогда не узнают о ней. Пусть так всегда и будет. А ее жизнь? Разве она не похожа на одну из тех, о которых рассказывается в этих книгах? И не всякий ведь поверит в такое. Вот только разве ее сверстницы из кишлака могут подтвердить, что все оно так и было на самом деле.

...Когда все это началось, ее мать, которую все звали тетушкой Хасият, пекла лепешки для колхозников. В колхозе тогда не хватало на уборке людей, и тетушка Хасият вынуждена была печь лепешки прямо в поле, ей для этого и шалаш поставили под открытым небом. А возить на полевой стан эти лепешки выделили специального человека — молодого парня, широкоплечего, богатырского сложения. Словом, джигит, да и только. Ездил этот парень на коне ярко-рыжей масти, почти красной, ну просто залюбуешься. Едва солнце достигало зенита, он уже гарцевал перед шалашом тетушки Хасият. Появлялся всегда неожиданно, налетал, словно ветер, и уж, глядишь, тут как тут, потирает темный от пыли и пота лоб. «Тетушка Хасият! Проголодались работнички! Ждут не дождутся!» Тетушка, как правило, к этому времени напекала гору румяных, вкусно пахнувших лепешек, вынимала их из тандыра при нем, натянув до локтей нарукавники, чтоб не обдавало жаром. «Вот только дай заверну в дастархан!» А он присаживался на корточки у тандыра и, обжигаясь, отламывал, нетерпеливо отправляя в рот, горячие куски, запивал водой прямо из ведра.

Случалось, тетушка Хасият не успевала напечь столько, сколько нужно, — народа много в поле, весь кишлак. Тогда на помощь ей приходила Мозифа. Разрешил брига-

дир. Дехкан, а это был он, безудержно шутил по этому поводу:

— Эй, девушка! Испеклись ли твои лепешки? Что-то ты не очень проворна, у тетушки это получается быстрее!

— Скажите, какой нетерпеливый! — смущаясь, отвечала Мозифа. — Подождите немного, и будут готовы! И куда это люди так спешат?..

— Ох, девушка! Люди на жатве устают знаешь как, и аппетит у них хороший после работы. Давай-ка, милая, шевелись поживее! Не то мой конь выщиплет всю солому из вашего шалаша!..

Парень принимал из ее рук дастархан, ловко вскакивал на коня и пулей летел в степь. Конь бежал резво, но, когда совсем исчезал из виду, Мозифе становилось грустно, хотелось, чтобы скорее настало завтра и чтобы снова приехал за лепешками этот парень. Но долго, очень долго тянулось время сначала до вечера, потом до утра, потом до рассвета, потом до обеда. И с полудня она уже не отрывала взгляда от дороги, по которой он приезжал сюда. Как всегда, и в тот раз голос его раздался неожиданно:

— Эй, девушка! Готовы ли твои лепешки? Вынимай их поскорее! Знаешь, я и тебя с собой скоро увезу! Вот увидишь!

— Подумать только, какой дерзкий парень! Такое говорит! — Она опустила ресницы, не смея взглянуть на него, и чуть слышно прошептала: — Пожалуйста, тише! Если вас услышит моя мать, мне непоздоровится. Как не стыдно говорить мне такое!.. Я ведь помолвлена! А если люди узнают, позора не оберешься!

— Да пусть говорят что хотят! Нам-то какое дело? От судьбы не уйдешь — знаешь такую поговорку?

— Не шутите, прошу вас. Если ваши слова дойдут до того, с кем я помолвлена, тут уж не до смеха будет... И вам, и мне.

— Ну, вот и давай вместе поплачем над этим несчастным, он этого заслуживает!..

Дерзость его, вызов людям просто ошеломили ее. Она не в состоянии была возразить, показать свое несогласие.

С того самого дня Мозифа ждала его еще нетерпеливее.

...Неожиданно что-то больно ударило ее по ноге. Девора, шныряя между взрослыми, и тут затеяла игру в фут-

бол. С упоением гоняла вместо мячика камень. Мозифа потеряла ушибленную ногу, улыбнулась тетушке Шафаат, которая встречала сегодня своего младшего сына.

— Молодец ты у нас, Мозифа! — похвалила та. — Не ленишься, каждый раз ходишь наших парней из армии встречать.

— Да... — рассеянно согласилась Мозифа.

Разве им объяснишь? Что она может возразить? Да и не интересно это никому. Хорошая женщина тетушка Шафаат, добра к ней, но ведь не скажешь же тетушке, что идет она, Мозифа, на станцию встречать не тех, кто уходил служить два года назад, а теперь вот возвращается обратно, нет, не их, а своего Дехкана. И никакая сила в мире не заставит ее отступить от этого решения.

«Гаа-гаа-гаа...» — оглашает небо призывными криками стая диких гусей. Они летят на юг, в очень теплые края, теплее даже, чем у них здесь. Летите, белые гуси!.. И возвращайтесь назад. Летят гуси, значит, уже наступила осень, как тогда, в сорок первом.

...И тогда они так же вот перелетали, только с юга на север. Звонко в высоком небе переливались их голоса. Кажется, это было в тот день, когда Дехкан охрипшим от волнения голосом сказал: «Мозифа! Жди меня сегодня, как стемнеет, на берегу канала, я должен тебе сказать что-то очень важное...» Он так и сказал — важное. Ну, и что из того, подумала она тогда гордо. Прямо вот сейчас она после работы побежит к этому каналу? Как бы не так. Подумаешь, поманил — и сразу побежала. Нет, не будет этого. После работы она пойдет домой, потом к подруге, а дальше будет видно. Пусть подождет. Но когда дошла до места, где дорога поворачивала к каналу, невольно замедлила шаг. Остановилась. И сама того не помнила, долго ли так простояла в нерешительности, только услышала вдруг приближающийся конский топот. Вот он все слышнее и слышнее. Из-за опустившегося на землю тумана Мозифа не могла сначала понять, с какой стороны он приближается, этот топот. И пока раздумывала, перед ней вырос красный конь Дехкана. Потом... Потом она уже помнит себя на этом красном коне. Все было как во сне. Дехкан повернул коня в степь... Он все-таки похитил Мозифу, как и обещал!

— Остановите коня, остановите! — молила она. — Что скажут люди? Пойдут сплетни! Мама... меня... убьет!

— Пусть увидят люди! Пусть говорят! — нежно и на-

стойчиво твердил он ей в ухо.— Подумаешь, чего только не говорят люди, а девушек похищали во все времена!..

Ночь тогда была темной-претемной. Она укрыла их от людских глаз. Укрыла от всего на свете. Никогда ночь не была такой щедрой, таинственной. Сердце Мозифы пело. Она вдыхала приятный аромат земли, на которой совсем недавно убрали урожай, и ощущала себя маленькой частицей этого таинственного, неведомого мира, где властвовал только ее любимый. Она и не почувствовала, как остановился вдруг конь, как, резко потянув узду, спрыгнул на землю Дехкан. А спрыгнув, протянул Мозифе свои сильные руки и осторожно, словно драгоценный цветок, который может сломаться, опустил ее на землю. И тут она снова испугалась чего-то. Попыталась убежать — в ночь, спрятаться от самой себя, от него. Но Дехкан догнал ее, бережно усадил на скирду рядом с собой. Разве позволил он себе тогда хоть одно движение, оскорбившее ее? Разве тишина любви, распростершая над ними крылья, не заставила еще сильнее забиться их сердца?

— Завтра, Мозифа, я зашлю в твой дом сватов! — сказал он после долгого молчания. Голос его изменился до неузнаваемости. Конь испуганно вздрогнул.

— Это правда? Ты говоришь мне правду? — Она не сомневалась в истинности сказанного, но хотела еще раз услышать его голос.

Он повторил. И больше они ничего не сказали тогда друг другу, да и к чему были слова. Они понимали это оба. Спала земля. В полночь конь-птица примчал их в кишлак. И на другой день, вспоминала Мозифа, в ее дом пришли сваты. С песнями их провожали в новую жизнь. А костер? Когда, осторожно переступая с ноги на ногу, конь ходил вокруг костра, то чуть было не уронил ее. Она до сих пор помнит это.

...Мозифа снова подняла голову. Ее взгляд равнодушно скользнул по серым облакам. Гуси уже почти скрылись за холмом. Когда в тот год птицы возвращались обратно на север, Дехкана с нею уже не было. Он ушел на войну, а Мозифа осенью со всеми женщинами кишлака собирала хлопок.

...Наконец вот и станция. Мальчишки перестали вонзиться, их внимание привлек шлагбаум, справа от него виднелся желтый домик. Возле двери сидел старик сторож. Под чистой ветхой рубашкой его заметна была худоба, в вырезе ворота обнажились ключицы. Мозифа при-

метила старика давно, еще в тот первый раз, когда пришла встречать Дехкана. Мало что изменилось здесь за эти долгие годы. Тот же домик, те же деревья. Разве что постарел этот дед, но ведь в старости перемены от года к году не так разительны. И тогда усы его были точно такого же цвета, что и теперь, ржаво-серые, от курения должно быть. И тогда старик так же гнал ребятишек от шлагбаума, ворча на них...

Вдруг длинный гудок паровоза прорезал тишину. Перестук колес все ближе и ближе. Встречающие сорвались с мест и опрометью бросились на платформу. Поезд непрерывно гудел, не сбавляя скорости, значит, пройдет без остановки. Так оно и случилось, не все поезда останавливались на их маленькой станции. Но Мозифа уже поддавалась общему настроению суеты и вместе со всеми очутилась на платформе. Оглушенная, она крепко прижала ладони к ушам, когда состав с грохотом летел мимо, но не могла оторвать глаз от него. Поезд все удалялся и удалялся, а она все смотрела на сигнальные огни последнего вагона. Они почему-то то ярко горели, то исчезали совсем. И сердце ее замирало, казалось, секундами вовсе переставало биться... Так же горели огни поезда, увозящего тогда Дехкана.

...Он ушел из дома рано утром и вернулся, когда стемнело.

— Что случилось? Где ты пропал так долго? — тревожно спросила Мозифа.

— Ездил по колхозным делам в райцентр, — сдержанно ответил он, глубоко вздохнув. И решительно добавил: — Знаешь, через два дня я уезжаю на фронт. Началась война с Германией...

Она не спала всю ту ночь, а когда чуть свет тихо поднялась, чтоб не разбудить Дехкана, и вышла во двор, то услышала, как за забором соседка говорила своей дочери:

— Сын-то Сабира добровольцем записался, слышала? Дурак, сам под пули лезет. Ведь война — это верная смерть!..

— Господи, какой же он смелый человек! — восхищалась дочь. — Как жену-то молодую только оставит?..

Мозифа не в состоянии была вымолвить ни слова после того, что услышала, и долго не знала, куда девать себя, как поступить.

— Ну, у страха глаза велики, почему же так сразу —

и верная смерть? — попробовал шутить Дехкан, проснувшись. — И чего раньше времени беду накликать?

Мозифа плакала втихомолку, а через два дня отправилась вместе со всей семьей в райцентр провожать его. Вместе с Дехканом к военкому пошли сначала родители. Комната военкома на первом этаже, говорили они громко, и Мозифа сразу узнала голос отца, который молил военкома пожалеть их сына, женившегося всего три дня назад.

— Отец! — Голос военкома выдавал волнение. — Война — это несчастье, обрушившееся на нас. На Родину напал враг. И все, кто может, должны взять в руки оружие. Так и сделал ваш сын. Я желаю вам всем, чтоб он вернулся живым и здоровым!

— Ты сама-то язык, что ли, проглотила, выйдя замуж? — возмущалась между тем старшая сестра Дехкана. — Пойди к нему да скажи, что вы только три дня как поженились!

Вокруг военкомата, видела Мозифа, стояли заплаканные женщины, голова ее кружилась. И вдруг будто подняло что-то, какая-то неведомая ей сила придала мужества, и она пулей влетела к военкому. Но тут же, на пороге кабинета, решимость ее куда-то улетучилась. Она тихо подошла к рослому, в военной форме человеку за столом и невнятно что-то попыталась ему объяснить. Наверное, ее не поняли ни военком, ни Дехкан, ни отец, стоявший тут же, поэтому военком, поднявшись из-за стола и подойдя к Мозифе, ласково сказал ей, положив руку на плечо:

— Хорошо, что вы пришли проводить своего мужа. Мы гордимся им.

— Да, да... — только и нашла в себе силы вымолвить Мозифа.

— Спасибо вам, сестра! Я слышал, вы вместе всего три дня. Ну, ничего, кончится война, возвратится ваш муж живым и здоровым. Разве нам хочется отрывать от семей ваших мужей, братьев? Поверьте, нет...

...И еще несколько минут удалось побыть им тогда вместе. Стоя на платформе около его вагона, Мозифа глядела на Дехкана и не могла наглядеться. Будто навеки хотела запечатлеть любимые его черты в своей памяти, будто и не надеялась его увидеть.

Оглушила команда:

— По вагонам! Поезд отправляется!

Дехкан последний раз прижал к себе Мозифу.

— Не оставляй меня, возьми с собой! Умоляю!

— Мозифа! — Голос его сорвался.— Мозифа! Отойди! Упадешь! Прошу тебя, отпусти руку!

— Эй, девушка, да отцепись ты от него! — закричал какой-то парень, стоявший на ступеньке рядом с Дехканом.

И она отняла наконец руку, но все еще продолжала бежать за поездом.

Мозифа все бежала и бежала за вагоном и вдруг споткнулась, упала, и, когда поднялась, состав был уже далеко. Она все еще видела сквозь несдерживаемые теперь слезы лицо мужа, он махал ей рукой, что-то продолжал кричать, но она уже ничего не слышала, не обращала внимания на кровь, которая текла и текла из разбитой губы. И шла, шла за почти скрывшимся уже поездом. Вот тогда-то и увидела она сигнальные огни последнего вагона.

...Потом, потом... Вот уже много раз летели гуси с севера на юг и обратно. Уже много-много раз сеяли и собирали без него хлопок, но все это так живо в памяти, будто было это только вчера.

Да, все это было, было. Но все это лишь начало. Впереди у нее долгое-долгое ожидание. Долгая разлука.

...Время приближается к пяти. С гор уже повеял прохладный ветерок. Сторож наконец находит то, что искал в своих карманах, часы. Он подносит их близко к глазам и облегченно вздыхает: поезд будет через десять минут. Наконец-то, а то дети довели его бог знает до чего, не дают ни минуты покоя, думают, что шлагбаум — это игрушка. Вот уже и гудок слышен.

Похоже, колеса выстукивают: «Люди, я привез ваших детей!» А может, так ей только кажется? Мозифа давно научилась понимать язык поезда. Вот дымя приближается паровоз. Вот уже четко видна его громадина. Зеленые вагоны, выстроившись один за другим, плывут ровно, словно лодки по воде. Сейчас вблизи стук колес напоминает ей другую мелодию, вдвойню песню. Дым, упруго выбиваясь из трубы паровоза, тут же рассеивается. Вот уже и окна замелькали. А в них высунувшиеся головы, руки, локти. Треплет волосы ветер. Разные — темные, светлые, каштановые... Люди уже не в силах сдержать нетерпения, бегут за вагонами, замедляющими ход. Вагонов много, очень много.

Колеса наконец знакомо заскрежетали, и состав оста-

новился. Молодые парни стали выскакивать из тамбура, лихо придерживая пилотки. Спрыгивали прямо через ступеньки на платформу. Размахивали в возбуждении руками, искали своих.

Мозифа мечется по платформе, все ищет и ищет глазами. Сойдет Дехкан с поезда, улыбаясь, или будет грустен? Вот, не иначе, снова лицо, как его... Морщины? Но ведь столько времени прошло. Это не имеет никакого значения. А если без ноги, без руки? Пусть без рук и без ног, пусть всю оставшуюся жизнь неподвижно просидит на месте. Она будет верно ему служить, ведь она нестарая еще, у нее останется сил на любую работу в доме. Только б вернулся!

— Товарищи! Отойдите от вагонов, поезд трогается! — объявляет дежурный по станции.

— Да ты что, не понимаешь, что ли, у самого детей нет? — обращается полный неповоротливый человек к громкоговорителю.

Теперь, кажется, все уже сошли. А Мозифа все еще суетится, платок сбился с головы на плечи, волосы растрепались, глаза безумные, она ни на кого не обращает внимания, бежит вдоль платформы. Туда — обратно. Снова туда — и снова обратно...

— Скажите, вы случайно не видели Дехкана-ака? — обращается она к пожилому мужчине, который только что разговаривал с громкоговорителем.

— Отойдите, отойдите, бабушка, не мешайте!

— Эй, Расул, сынок, не ехал ли с тобой вместе Дехкан-ака?

— Какой Дехкан?.. Отец, ну поторапливайся же, нас ждут!..

— Эй, Файзи, ты...

Нет, и Файзи, оказывается, тоже не видел. Нет, нет, нет! Почему, почему они не ехали вместе с Дехканом? Молодые, здоровые, веселые, и все с каменным сердцем? Никто не видел его, а ведь он обязательно должен был сегодня вернуться, ее Дехкан. Где же он, наконец?

Проходит еще немного времени. Платформа пустеет. И вот уже остались только Мозифа и сторож. Затих стук колес, не слышно знакомого «хххууупп, хххууупп». Тишина.

— Эй! Девушка! Что приуныла? — любопытствует сторож.

— Дедушка, дорогой! Скажи, будет ли сегодня еще поезд?

— Да, придет один, только под утро.

О, как долго еще! Мозифа не в силах больше стоять, присаживается тут же на край скамейки. Но кто-то легко касается вдруг ее плеча. Она вздрагивает.

— Как живешь, подруженька?

Голос знакомый, родной, но где и когда она слышала его?

— Простите, я не узнаю вас...

Мозифа пристально вглядывается.

— Неужели не узнаешь? — Синеглазая рыжая женщина неожиданно обнимает маленькую хрупкую Мозифу. — Вспомни, до войны, нет, перед самой войной я пришла работать к вам в совхоз медсестрой. Помнишь?

— Господи, Соня!..

— Тогда ты еще собиралась замуж, кажется, за Дехкана, так его звали? Ну, скажи, как он теперь? Жив, здоров? Как странно свет устроен — живем рядом, а за столько лет ни разу не встретились. Мы вон там, в пристанционном поселке, живем. Муж мой шофером работает, двое детишек. Уже взрослые. Давай зайдем, они будут рады.

— Спасибо, Соня! Но меня дома... ждут... Я тоже... из города. Да, да... из города.

— Ну, что ж, приходи тогда вместе с мужем. Договорились? Передавай привет Дехкану. Он, наверное, все такой же озорной?

— Да... Да... Все такой же...

— Ну, до свиданья! Приходите обязательно. Хорошо? Мозифа быстро молча кивает.

Она идет не оглядываясь.

Так лучше.

Легче.

Добирается Мозифа до своего дома уже затемно.

В комнате ее всю ночь не гаснет свет.

...На следующий год в это же время, осенью, опять будут возвращаться с военной службы демобилизованные молодые ребята.

И она снова пойдет встречать зеленые вагоны.

О, скорее бы наступил этот день!..

БЕЛЫЕ КОНИ

Вздрыгнула, задрожала, загудела земля от стука множества копыт...

Старик, промаявшийся всю ночь сердцем, встрепенулся и, приподнявшись на локте, посмотрел на дверь. Она была закрыта. Но старик ясно и отчетливо увидел развевающиеся гривы и хвосты летящих мимо дома полудиких белых коней, их чутко поджатые острые уши и хищно раздутые ноздри. Они бешено неслись, слившись в единую непрерывную ленту, крупные, могучие и красивые...

Эти белые кони... Они часто снились ему еще в пору далекой юности, таинственные, неугомонные, стремительные. Он никак не мог понять, к чему бы это, но если они на какое-то время переставали являться к нему, терял сон и аппетит, становился злым, раздражительным. А теперь вот он видит их наяву. Вольные, неутомимые в беге, они зовут и манят его с собой к дальнему горизонту. Ему нужно лишь собрать остатки сил и последовать за ними. Дойдет он, куда обычно мчатся эти кони, или нет, неважно. Главное — решиться последовать за ними. Когда же он это сделает, если не теперь? Ведь ему уже семьдесят пять — большое сердце, подслеповатые глаза, кровь в венах едва теплится, жизненные соки на исходе. Самое время набраться чуточку мужества, а там — будь что будет.

Старик оперся руками о ковшу, шатаясь, встал на ноги. Нет, он не смеет упустить это мгновение. Обязан немедленно тронуться за теми вольными быстроногими скакунами. Возможно, это будет одним из лучших и верных поступков, какие он совершил за свою долгую трудную жизнь. Только о его уходе никто не должен знать. У дочери очень мягкое, чувствительное сердце. От малейшей печали льет горячие слезы, малейшая радость вызывает ее звонкий смех. Ничего не должен знать и зять, добрый малый, хороший семьянин, но добытчик — никудышный: все за него бедная жена отдувается. Ну, а о внуках, его любимых внуках, частице его крови и плоти, и речи быть не может...

Его уход, само собой, вызовет кривотолки, принесет в

дом неизбежное горе, да что поделаешь. Он не в силах совладать с собой. Он должен идти за теми белыми конями, туда, куда мчится бесчисленный табун...

Старик, стоя посреди комнаты, огляделся. Тьма, чернота. Эх, глаза мои верные, рановато вы меня предали. Что бы вам дожидаться того мгновения, когда я тронусь в свой последний путь... Но нет! Вот снова брезжит свет. И кругом — кони. Белые, как снег, вольные, игривые, быстроногие кони! Они все еще бесконечной чередой пронесаются мимо, оглашая небо ржанием, звонко колотя копытами дрожашую землю.

Старик расправил скрюченные веснушчатые пальцы, сунул руку во внутренний карман кителя, нащупал твердые, хрустящие бумажки. Он не стал пересчитывать деньги. Зажав в кулаке одну бумажку, остальные уронил на пол. Пригодятся дочери. У нее, бедняжки, много детей, мал мала меньше. Сама не работает, а муж, как ни старается, бедолага, лишнего рубля не может добыть...

Старик набросил на плечи чапан, на ощупь отыскал дверь, заученными движениями спустился со ступенек, пересек двор, вышел на улицу. Ступал он широко, размашисто, не боясь оступиться, упасть или наскочить на что-нибудь; полы его чапана развевались, как крылья.

Белые кони теперь летели впереди, нетерпеливо ржали, оглядываясь на него. Да, он не должен отставать от них... Когда-то давным-давно, еще ребенком, он с мальчишками отправлялся косить траву, оседлав своих ослов, они устраивали улак. Тогда он мечтал о белом-пребелом коне...

Позади осталась Красная речка, холм Санда-ата. Трехкилометровый путь он прошел гораздо быстрее, чем обычно. Миновав деревянные постройки, свернул к скособочившемуся сельмагу за углом. Деньги, все еще зажатые в кулаке, стали мягкими, липкими. Войдя, он протянул бумажку продавцу, как всегда на него не глядя.

— Красненького? — спросил высокий, заплывший жиром продавец, пытаясь поймать пустой взгляд старика. — В вашем возрасте...

— Не твое дело, юноша с золотыми зубами.

— Возьмите сдачу.

— Ты построил себе новый дом, — проговорил старик отдельно, повернувшись уходить. — Может, захочешь еще и новую жену завести — расходы будут. Так что скажи себе, как всегда говорил: «Этот треснутый старик никогда не знал счета деньгам», — и оставь покойниченько сдачу се-

бе. А вечером, в чайхане, в кругу себе подобных хитрованов, не забудь, как всегда, посмеяться: вот, мол, старый Хаким, каким был все последние пятьдесят лет, таким и остался.

— Да что вы, в самом деле...

— Ничего. Я ослеп, но еще не оглох. Слышал, этот ваш преподобный мулла Аглам заявил, что над такими, как я, он не станет читать зауспокойной молитвы. Пусть сам над собой читает.

Пройдя немного по улице, Хаким свернул налево, к старому заброшенному кладбищу. Здесь он остановился, какое-то время стоял, как бы переводя дух или вслушиваясь в особую кладбищенскую тишину. Потом раскупорил бутылку, приложился к горлышку. Сделав несколько больших глотков, с силой отбросил бутылку в сторону, — она глухо ударилась о что-то каменное и разбилась вздрезги. Все, прощай, попутчица, приехали. Поезд дальше не идет.

Сердце стало биться чаще, с переборами, мозг накрыл ядовитый туман. Старик подождал немного, пока пройдет слабость, потом сунул руки в рукава чапана, пошел дальше. Ступал он наугад, словно назло слепым глазам. Он спешил, хотя и сам не знал, куда и зачем, шел, и все. Перед ним теперь бесконечная, беспредельная земля, горизонт за горизонтом. И — белые полудикие кони.

Долину с двух сторон окружали глубокие, ржавого цвета овраги. Позади — высокие горы. Завтра утром из-за их могучих вершин поднимется ослепительное солнце. Но старику больше не суждено увидеть его, ощутить тепло его лучей. Но ему ли думать о том, видит он солнце или нет. Семьдесят пять лет видел его над собой, разве этого мало? Пожалуй, хватит.

Мысли старика стали путаться. Отступившие было белые кони опять приблизились. Эти существа без плоти и крови били копытами землю, ржали, грызлись, храпели. Старик шел все вперед, а кони окружали его со всех сторон все плотнее и плотнее. Опускалась ночь, дул колючий пронизывающий ветер. Как ни странно, старик, всю жизнь частенько ощущавший себя в горьком одиночестве, сейчас, в эту неуютную ночь, не чувствовал одиночества.

Мрак сгустился, пошел снег. Скоро старик очутится под его мохнатым холодным покрывалом. А перед тем произойдет страшная борьба с болью в мозгу, в крови, в костях и во всем существе. Боль эта покажет, что жизнь в

нем еще не совсем заглохла. Когда последняя попытка вернуться к жизни окажется тщетной, когда он поймет, что бесполезно призывать кого-нибудь на помощь,— все будет кончено.

Снег жалил тысячами жал, свистел жгучий ветер, и белые кони неотступно провожали старика. Некогда эти самые кони снились и отцу Хакима, худенькому веснушчатому рыжему Усмонали. Тот долго мечтал увидеть их наяву. Они появились, когда ударил его последний час и так же провожали Усмонали, как сейчас провожают его сына.

Усмонали рано познал жизнь, горе, холод и голод. Он боролся с нуждой и мечтал увидеть неизведанные края, куда манили его ночами белые полудикие кони, приходившие в его сны. Четырнадцать лет он ушел бродить по свету, взяв с собой один лишь джуволдиз¹ и перекинув через плечо потрепанный хурджин. Односельчане тотчас объявили его сумасшедшим.

Усмонали был незлопамятным. Когда ему надоело скитаться, вернулся в родной кишлак и стал в меру сил помогать людям,— его золотые руки знали много ремесел. И сразу лучше Усмонали не стало человека, даже для тех, кто некогда с пеной у рта доказывал, что он чокнутый. Ну, а Усмонали плевать хотел на пересуды злых языков. Женился на вдовушке Сарахан, хотя земляки считали позорным для джигита, еще ни разу не женатого, брать в жены вдову. Сарахан родила любимому мужу двух дочерей-красавиц и сына Хакима...

Старик Хаким шел, упрямо борясь с бьющим в грудь и лицо холодным влажным ветром, и вспоминал своих друзей-сверстников, многих из которых давно нет в живых. Все как на подбор были рослые и сильные. Закатав штанины и подвернув рукава, они приступали к пахоте, но не в силах приноровиться к медлительным волам, хватались за трехпудовый кетмень. И быстрее, чем на волах, вскапывали всю землю. А как поражал воображение людей парень по имени Хасан?! На каждое плечо его могли спокойно усесться по человеку, мускулы рук, подобные веревкам, извивались как змеи, ноги ходили на опорные балки. До обеда он перелопачивал кетменем полгектара земли, а придя домой, съедал целый тандыр лепешек, испеченных матерью. Был случай, когда этот Хасан, вес которого могла выдержать не всякая лошадь, съев казан пло-

¹ Джуволдиз — большая изогнутая игла для сшивания мешков.

ва, захотел попить, а не найдя воды, залпом опрокинул в себя кувшин керосина, и — ничего, жив остался. Да, о подвигах Хасана в народе легенды ходили. Он и смерть принял достойно: почувствовав ее приближение, покинул свою хижину. Его большое стремительное сердце не желало быть заключенным среди четырех тесных стен. Джигита нашли мертвым через три дня на открытом поле. Правильно сделал богатырь Хасан.

Усмонали, да и многие другие встретили свой смертный час дома. Потому что они хотели, чтоб в последние минуты кто-то капнул им в рст воды, завязал челюсть, туго спеленал ноги. А Хакиму это все ни к чему, он пойдет путем Хасана.

Хаким повидал немало благочестивых простаков, пять раз на дню бивших поклоны некоему всевышнему. Но когда подошло время, ни молитвы их не были учтены, ни мольбы. В нужный момент почему-то всевышнего поблизости не оказывалось. И богомолы шли своим путем, куда положено, каждый предоставленный самому себе. Раз так, значит, нужно мужество и мужество! Что может быть на том свете, откуда никогда не поступало никаких сообщений, никто не возвращался? Выдумки все это, всякие там ады и раи. Хватит! От человека требуется лишь одно — немного мужества. Завтра найдут твой остывший труп, начнут стенать: «Во-ой, отец мой!», «О-о, дедушка, свет наших очей!», «О душа моя, на кого ты нас покинул?!». Принесут тебя в хижину, обмоют, завернут в белый саван. Потом уложат в ожидающий наготове, как легендарный Тулпар¹, табут, скажут разные слова — правду и неправду, — толпа вознесет носилки на плечи и — айда, брат! — таким галопом понесут тебя, только держись². Горячий скакун не угонится. Куда там! Товба³, точно ты всю жизнь мошенничал или подличал и тебя надо поскорее унести с глаз долой. Куда делись те пятьдесят лет, которые ты отдал служению народу?! Молодцы, братцы. Неужто можно быть такими жестокосердными к мертвому? Оставили бы погостить денек-другой, что ли. Семьдесят пять лет терпели рядом, так неужто еще денька три нельзя?! Госпо-

¹ Тулпар — сказочный крылатый конь.

² По мусульманским обычаям похоронная процессия движется очень быстро.

³ Товба — возглас удивления.

дин Мункарнакр¹, видите ли, не захочет принять, если похоронят после вечернего намаза. Исламскую религию привезли к нам арабы, Мункарнакр сей, значит, тоже араб, так какое дело ему, наглецу, до простого узбека?! Да, кстати, после кончины целый год в твою честь будут проводить всякие мероприятия. На поминках будут уплетать разные вкусные яства, будут просить для тебя местечко в раю. А пройдет время — все тебя позабыли. Только сын или дочь от случая к случаю упомянут твое имя. А эти мошенники муллы? В тяжелые годы сами лезли в гости, незванные, на угощение по случаю поминок. А теперь не всегда-то и дозовешься. Потому что сытенькие стали, одеты, обуты, денежки гребут — дай бог какому-нибудь главному инженеру так зарабатывать. Эй, мошенники, чего же головы морочите простым людям, коли сами ни во что не верите?!

Старик шел вдоль берега Красной реки. Сердце его билось все медленнее и тяжелее. Когда проходил мимо фермы, на него обрушился лай собак. Снег продолжал сыпать. Ветер. Вокруг ржал, гремел копытами косяк коней...

Дойдя до оврага Куктурли-ата, старик понял: пора остановиться. Здесь его путь обрывался.

Он медленно опустился на каменистую почву. О, тяжело сердцу, тяжело. Опершись руками о колени, старик долго вглядывался во тьму. Черная ночь. Интересно, какая это по счету ночь, опускающаяся на землю? Никто не скажет. А для него, старика, последняя. О, мороз прямо-таки впивается в тело. Хорошо бы сейчас к костру... Костер! Пусть даже костер горит, треща, постреливая, согревая сморщенную кожу, да что толку? Костер не в силах согреть остывающую кровь, вдохнуть жизнь в одряхлевшее тело.

Тьма перед глазами, тьма в голове. Старик чувствовал, как снежные хлопья садятся на лоб, на лицо и медленно тают...

Старик сидел, облокотясь о колени, подперев подбородок ладонями, и глядел во тьму. Именно в этот момент ему вдруг остро захотелось, чтобы все кругом осветилось ярким светом, увидеть солнце, луну, звезды, шелестящее пшеничное поле. Однако он слеп, стар, болен. Он лишь должен набраться мужества, погасить в себе всякие жела-

¹ Мункарнакр — Мункар и Накир, имена двух ангелов, якобы подвергающих допросу покойников в могиле.

ния, достойно встретить неизбежное. Белые кони вдруг стали злы: дико ржут, кусаются, лягаются, сталкиваются грудью, а побежденные, оскалась, грохаются оземь. Мало кто выживет в этой схватке, великой битве, такой, какая происходит сейчас в сердце старика. Стужа, сырость, снег — ему уже нипочем...

Хаким пошел в отца. Так же, как Усмонали, его угнетали кривые, узкие улочки родного кишлака, так же, как отец, рано осиротивший сына, не мог найти себе здесь кусок для пропитания. И так же, как Усмонали, он в четырнадцать лет покинул родной кишлак в поисках счастья. Был слугой у баев, грузчиком, водовозом, батраком, издольщиком. Надолго потерял из виду односельчан. А по кишлаку, надо сказать, как и во времена Усмонали, ползли злые слушки. Отец, мол, был бестолочью, и сын пошел в него. Эти люди, покорные, забитые, раболепные, не мыслящие существования вне глухих стен своих хижин, не могли понять, что и Усмонали, и его сына уводили вдаль мятежный, непокорный дух, жажда познать свет, обрести свободу. Они следовали за табуном белых полудиких коней, частенько навещавших их в сновидениях...

Произошла революция. Семнадцатилетнего джигита осенила птица счастья. Пройдя ликбез, пошел в Самаркандский университет. Окончил его, вернулся в свой кишлак. У него была одна цель: учить детишек, принести землякам свет просвещения. И добился кое-чего. Теперь про него говорили: «Отец у него был хорошим человеком, и сын хороший». С тех самых пор Хаким служил людям. Но разве в трудовую книжку запишешь, с каким трудом он организовывал школу, кормил и одевал сирот, помогал нищим и сирым?! Трудовая книжка — не художественное произведение и даже не описание биографии, в ней считанные страницы. В них положено вносить только даты, краткое описание рода службы. И все. А надо бы, наверное, подробно рассказывать, что и как делал человек.

В кишлаке проживала вдова. Судьба свела Хакима с ней, женился. Родились дочь и два сына, младшенький недолго жил, умер, потрясая своей смертью душу отца. Эта нечеловечья боль тоже не записана в трудовой книжке. Потом его вызвали в райцентр, послали в Москву. Вот тебе счастье, вот судьба! Там он получил из рук самого Калининна орден Трудового Красного Знамени. Хаким всегда с волнением вспоминал, с каким восторгом встречали его односельчане. Увы, ни тот день, ни радость людей не за-

няли места в трудовой книжке. То можно изобразить только в песне, в музыке. А песню разве запишешь в трудовую книжку?! Встречать его вышло все районное начальство. Люди подняли его на руки с криками: «Наш сын!..»

В трудовую книжку вошла новая запись: «Секретарь райисполкома». Потом опять удар по сердцу, боль и боль: пришла война. Несмотря на возражения руководства, Хаким добровольцем ушел на фронт. Был бой, нет, не бой, а побоище, сеча. Дети Адама и Евы устлали своими телами неоглядное поле битвы. Среди них лежал раненый Хаким. А рядом умирал его фронтовой друг с рассеченной осколком челюстью. Он весь день кричал, истекая кровью, звал на помощь маму, скончался лишь вечером. Каково было Хакиму лежать рядом с другом, не в силах ничем ему помочь! Хакима подобрали, поместили в лазарет. Раны затянулись быстро. Но врачи нашли, что со здоровьем у него не все в порядке. После того ада, в котором он побывал, немудрено было и свихнуться. Хакима списали по чистой, но жизнь-то продолжалась...

В трудовой книжке появились новые записи: заведующий районо, директор школы, опять учитель. Однажды Хакима оскорбил его бывший ученик Миролим, которого он впервые научил писать слова «папа», «мама», «Родина», «народ». Обидел человек, которого он в голодные годы взял в школу учителем. И все потому, что он, Хаким, резал правду-матку в глаза. Все это осталось незаписанным в трудовой книжке.

Однако трудно, ох как трудно забыть дочку. Мазифа своей простотой, душевностью напоминает сказочных женщин. А сын? Честен, благороден, с детства ненавидит ложь, кривду, несправедливость. Силой, храбростью вышел в дедушку. Но слишком уж бесхитростный, прямой. И он, старый Хаким, еще больше любит его такого. Как же не любить единственного баловня? Плечи — косая сажень, голова точно каменная. Ради отца, сестры и вообще за любого честного сына Адама способен голову положить на плаху. Это несомненно. Окончил школу и — айда, как предки, из дома. Обратного не вернулся. Ни до отцовской славы ему, подлецу, дела нет, ни до барахла. На книжках помешался. И о нем отец слышал известные разговорчики: «Каким удастся, интересно, этот малый?» В газетах и журналах стали появляться его статьи и очерки о делах простых трудовых людей. И все сразу начали возносить

парня до небес. Мол, сразу было видно, что джигит. Весь в отца пошел, в хорошего человека...

Снова ржание, топот. Под самым ухом. Бьют по нервам. Да, они уже здесь, вокруг, в нем. Что там белеет? Кто это сидит на том переднем жеребце? Босая, с непокрытой головой женщина. На ветру развеваются седые распущенные волосы. Левой рукой она держится за гриву, правой подгоняет коня к старику. Подъехала вплотную, остановилась.

«Ну-ка, мой бек,— проговорила женщина,— вставайте-ка потихоньку и трогайте за мной. Долгонько же заставили ждать свою благоверную! Хватит, не мучьте себя больше. Человек и есть человек, он не вечен. Вы, Хаким, достаточно пожилы, хотя с вашей ненасытностью к жизни дай вам еще век — не отказались бы: дай горы дел и забот — взвалили бы себе на плечи. Но мне кажется, свас хватит. Свое вы сделали, все свое получили».

«Что и говорить, Арифа-бану,— прошептал старик.— В удивительное время я жил. Всего хватало: и светлого, и черного. Жизнь — прекрасная штука. Я и правда жалею, что человеку для жизни не отведено несколько сот лет...»

«Ну так давайте пошевеливайтесь. Давно следую я за вами, оседлав белого жеребца. Истосковалась вся. О детях не беспокойтесь, как-нибудь переберутся. Вы мне нужны. Хватит. Тридцать лет вы думали только о себе, о делах. Извели меня вконец. Вот и не выдержало сердце. Сыну сама свадьбу справила. Сама на швейной машинке заработала, чтоб выдать дочь замуж. А вы о том и не заботились... Теперь хоть будьте на высоте».

«Постараюсь, бану,— ответил старик,— постараюсь, любимая дочь покойной Бибимариям Арифа-бану. Я тоже извелся весь. Ведь шесть лет как без вас. А мужества мне не занимать... Сейчас, бану, сейчас. Раз уж вы прикатили на белом жеребчике, чего уж там упираться! Вот и сердце затеяло последнюю игру. Чего греха таить, вдоволь нагулялся я по белу свету, насмотрелся всякого. Как сказал поэт: «Ничто меня теперь здесь не держит, одна моя радость в путешествиях». В остальном полагаюсь на вас, бану. Я что-то маловато слышал о таких, которые проявили бы мужество, прожив на свете всего три четверти века...»

«Я пошла,— сказала женщина.— Следуйте за мной». Повернула жеребца и растворилась в мутной пелене.

Старик тихонько приподнялся с каменистой земли, снял

поясной платок, продел его под челюсть, завязал тугим узлом на макушке. Потом прилег, подложив правую руку под щеку, правую ногу несколько подобрал, левую руку прижал к груди. Именно в этот момент сердце сильно встрепенулось и мир прорезал страшный крик. Крик, похожий на крик женщины, получившей известие о гибели сына или мужа на войне. Чем выше взвивался этот крик-плач, тем четче в сознании старика проступали летящие хвостатые звезды, оставленные ими огненные дорожки. Увидел он и затмение луны, и огнедышашую плазму солнца, столкновение каких-то разноцветных дробящихся глыб и яростные молнии. Потом свет стал постепенно меркнуть, а шум стихать, но взор старика все еще был устремлен куда-то вдаль.

РАСПЛАТА

Они с трудом поднимались вверх по склону, тяжело дыша, часто оскальзываясь и падая коленями на мягкую и холодную, уже оттаявшую землю. Было темно, не видать ни зги, то и дело натыкались на цепляющиеся за их одежду кусты, мягкие податливые арчи, за которые можно было ухватиться самим, помогая себе руками; шедший впереди цедил сквозь зубы проклятья, рывком освобождал рукав или штанину, оставляя на колючих ветках клочья; а приотставший останавливался, жадно хватал воздух широко открытым ртом и массировал пальцем горло. Они долго сидели у реки в тугаях, дожидаясь этой темноты, чтобы подняться в гору незамеченными. То слева, то справа насккивал задиристый ветер, бил в лицо то ли песком, то ли снежной крупой, сдуваемой с вершин. Тот, что шел впереди, был высок, широкоплеч и, по всему видать, силен, подавшись вперед, ступал пружинисто на носки и изредка оглядывался на своего напарника. А идущий за ним был худощав, небольшого роста, ноги и руки у него дрожали от слабости. Он двигался вперед поневоле, подгоняемый страхом, оскальзывался и падал, медленно поднимался, опираясь ладонями о мокрую землю, минуту-другую переводил дух и снова начинал взбираться вверх, стараясь не потерять в темноте приятеля, которого не видел, а скорее, угадывал по шумному дыханию. Одежда на них — не одежда, одни лохмотья. Их лиц давно не касалась бритва, бороды по грудь, волосы до плеч. Когда высокий оборачивался, в темноте властно сверкали его глаза, и тогда напарник торопился, где шел, а где полз, хватаясь за камни.

А неведомая тропа все круче забирала вверх, все круче. Ну, ничего, уже близко. Сейчас доберутся и отдохнут. Лишь бы опять не повстречались волки, как тогда, в конце зимы. Ух-х ты, страшно вспомнить... И в тот раз они спешили к пещере, которая с конца прошлой осени служит им прибежищем...

Худощавый снова остановился, потирая грудь. У него кружилась голова, в горле саднило, и он закашлялся, встречный ветер вышибал из его глаз слезы.

— Ну, что опять? — спросил, заслоняясь от ветра плечом, верзила.

— Конец мне... Не могу больше идти...

— Доходяга! Шагай давай, если не хочешь, чтобы твои ничтожные кости волки растаскали!

— Сейчас, Сайфулла... Ты иди... иди... Я догоню...

Но высокий не уходил, стоял и ждал. Однако вовсе не из-за опасения, что попутчик станет добычей волков. Он опасался, что тот вернется назад и добровольно отдаст себя в руки властей. Слунтяй!..

Ветер донес из-за ближней горы протяжный, леденящий душу вой, заставивший обоих поторопиться.

Войдя в пещеру, они опустились на четвереньки, нащарили солому, служившую им постелью, и упали на нее в изнеможенье. Здесь было тихо, в меру тепло, пахло навозом. Тут летом укрывались от непогоды чабаны и овцы. Скоро опять погонят колхозные отары на горные пастбища, и им, двум бездомным бродягам, придется улепетьвать отсюда, искать себе другое место. Сайфулла всю зиму продумывал план, осуществление которого должно было принести им летом избавление. Зимой горы непроходимы. А летом, когда сойдет снег, можно, скрываясь в них, уйти далеко-далеко. И если поможет провидение, незамеченными перебраться через сай, за которым уже другая страна, и тогда до них уже никому не дотянуться. Благо Сайфулла знает эти горы как свои ладони... Когда Сайфулла делился своими соображениями с напарником, тот мрачно помалкивал, ни бе ни ме. С таким и кашу не сварить, не то что плов.

Снаружи доносился шум ветра, в который временами вплетался вой волков, рыскавших где-то совсем неподалеку. По телу шныряли клещи и блохи, заставляя ворочаться и скрести пятерней то грудь, то спину, то ноги. Будь они прокляты, эти кровожадные насекомые, но это все-таки не волки.

Верзила долго возился, шурша соломой, вздыхал, невнятно что-то ворчал и наконец начал похрапывать.

Послышался шорох. Доходяга приподнял голову, затаил дыхание. Смутно виднелся почти треугольный, сужающийся кверху выход, и за ним то загорались, то пропадали, словно светляки, зеленые точки. Вроде бы рано еще быть светлякам. И почему-то попарно. Волки! Он протянул руку и сильно толкнул Сайфуллу в бок. Тот вскочил, словно подброшенный пружиной:

— Что-о?! — В руках у него сверкнул нож.

— Смотри,— еле выговорил, стуча от страха зубами, напарник.

Сайфулла нашарил в темноте полуобуглившееся на костре полено и сильно швырнул его в проем. Послышалось рычанье, точки исчезли.

Сайфулла снова зашуршал соломой, поудобнее устраиваясь, и в конце концов шумно засопел. А напарник его сидел, прислонясь к шершавой стене и обхватив руками колени, не сводя глаз с выхода, вздрагивая и обливаясь потом при малейшем шорохе. Треугольник лаза становился все приметнее, и в черное чрево пещеры постепенно стал просачиваться свет. К рассвету затих и холодный ветер. Но снаружи все донсислись подозрительные шорохи, будто кто-то подкрадывался, а может, напуганному человеку все это мерещилось.

Вдруг кто-то пронзительно завизжал, какой-то взъерошенный серый комок опрометью влетел в пещеру, наткнулся на людей и метнулся в сторону, вжался в дальний угол, почти растворяясь в темноте, и лишь маленькие поблескивающие глазки выдавали зверька. Это был молодой дикобраз, как видно, только что выбравшийся из норы после зимней спячки и едва не ставший добычей волков.

Разбуженный шумом Сайфулла злорадно осклабился. Не сводя глаз с поблескивающих в темноте точек, он медленно вынул из-за голенища длинный нож с роговой ручкой. Короткий взмах. Пискнув, дикобраз подпрыгнул, вытянулся на занавоженной земле, жуя попавший в пасть кусок камня, и вскоре затих.

— Бог послал,— проговорил Сайфулла.

Подойдя к животному, он взял его за холку, поднял и выдернул нож, угодивший зверьку в лоб.

— Ступай, собери дров,— распорядился он.

— Что ты хочешь делать? — спросил напарник, все еще не оправившийся после испуга; голос его был еле слышен.

— Сам не знаешь? — сверкнул глазами Сайфулла.— Или настолько одичал, что готов жрать в сыром виде?

— Т-там же в-в-волки...

— Рассвело давно. Они, как нечистая сила, с восходом солнца скрываются с глаз.

Слабый человек привык ему подчиняться, поднялся и вышел.

— Касым! Ты смотри у меня...— донесся вслед ему предупредительный окрик.

«Ты смотри у меня...» Верзила слов на ветер не бросает. Касым однажды в середине зимы, уже не в силах выносить мучений, на которые они себя обрекли, только намекнул, что, мол, лучше явиться самим в сельсовет, чем подохнуть тут с голоду или замерзнуть. За это верзила, будь он проклят, так его избил, что Касым два дня не мог встать — кружилась голова, перед глазамиплыли круги. А будь у него зеркало, то, взглянув в него, пожалуй, не узнал бы себя, так была расквашена его физиономия.

Касым долго стоял у входа, боясь отдалиться от пещеры, опасливо озираясь, ежась от прохлады, пробирающейся под лохмотья. Внизу, в долине, все еще держалась синяя мгла, и ему казалось, что перед ним простирается огромное озеро. И на дне этого озера, там, где находились их кишлак, призвано мерцали огни. Это люди спозаранок поднялись и засветили в своих домах керосиновые лампы. Наверное, уже встали и мать его, и сестра. Вспомнилось, как мать хлопотала по утрам у очага, готова завтрак. А сестра, едва встав, принималась за уборку... И еще запомнилась Салима, дочка соседа, забегающая к ним по нескольку раз на день, якобы к сестренке его по делу. Глаза у нее улыбочивые, с лукавинкой; движения порывисты, позванивают монисты, вплетенные в косы. А встретится с ним взглядом — краснеет, становится похожей на тюльпан, что зацветает на склонах гор, куда девчата и парни их кишлака ходили за цветами. Скоро опять зацветут тюльпаны. Скоро. И Салима, наверное, с кем-то другим отправится собирать цветы. Эх-х... Касым вздохнул и замотал головой, отгоняя тяжелые мысли, причиняющие ему боль, провел по глазам тыльной стороной руки, утирая непрошеные слезы.

Когда он, собрав охапку сухого хвороста, вернулся, Сайфулла уже разделал тушу и, разрезав мясо на куски, насаживал на палочки.

Касым молча развел огонь. Дым стал подниматься кверху, скапливаться у потолка, тоненькой струйкой потек наружу. Сайфулла, держась за кончик палочки, и так и этак поворачивал мясо над костром и, едва оно начало шипеть и с него закапал жир, отправил себе в рот кусок, проглотил, не жуя; протянул кусок и ему.

Касым поднес липкое мясо ко рту, но тут же отвел руку в сторону.

— Чего ты? — уставился Сайфулла.

— Пахнет. Не могу...

— Смотри-ка, неужто прежде сидел на одних деликатесах? — усмехнулся Сайфулла. — Дай сюда! — И вырвал у него из рук мясо.

За одну минуту он справился с посланной богом едой.

Они сидели молча, прислонясь к стене. Костер медленно затухал. Сайфулла, почмокивая, ковырял в зубах соломинкой. Взгляд Касыма словно застыл, прикованный к одной точке.

— А что, если нам все-таки вернуться в кишлак, а?.. — произнес он тусклым голосом.

Сайфулла передернулся и резко обернулся.

— А камень грызть не хочешь, как подыхающий дикобраз? — процедил он сквозь зубы, сверкая белками глаз.

— Не угрожай! Я тебя уже не боюсь! — спокойно пробубнил Касым, не шевельнув бровью. — Все равно подыхать, уж лучше дома, среди своих.

— Хм.. У тебя никак голос прорезался, — усмехнулся верзила. — Смотри у меня!..

Слабый человек Касым вздохнул. Душа его была полна горечи. Мысли в голове толклись, как табун разномастных коней, то наскакивали одна на другую, то разлетались в разные стороны, и он никак не мог заарканить главную из них. В памяти ожили события, которые предшествовали их побегу из кишлака. Перед глазами опять — да избавится ли он когда-нибудь от этого страшного видения?! — возник распростертый на земле сторож с торчащим в груди ножом, а в ушах звучал его слабеющий голос: «Не убивайте... Не убивайте... Никому не скажу, что воровали зерно...» Когда он затих, а глаза остекленели, Сайфулла нагнулся, выдернул из его груди нож, взвалил себе на плечо мешок с зерном и взглядом велел оцепеневшему от страха Касыму следовать за ним. И он пошел. Нет, попятился, а не пошел. Пятился, не в силах оторвать глаз от неподвижного тела, освещенного луной. Обо что-то зацепившись, чуть не упал, повернулся и бросился со всех ног догонять напарника... Эх, ну зачем побежал за ним? Почему не кинулся в кишлак, не закричал: «Люди! Я не убивал!..» Испугался. А ведь бояться надо было не своих сельчан, а этого здоровяка. Он страшнее самого дьявола. Как же он не понял этого в тот момент, когда Сайфулла уговаривал его ночью пойти на ток, где остались мешки с намолоченной пшеницей, которую не успели днем свезти на пункт? Почему он этого не понял? Сайфулла сказал, что он трус. Он и попался на удочку: решил до-

казать, что ничего не боится. Доказал? Сайфулла презирает его. И поделом. Он действительно трус, будь он проклят!

Касым опустил голову, обхватив ее руками, стараясь избавиться от кошмарного видения, прочь отогнать вновь и вновь выплывающее из темноты неподвижное тело сторожа и бледное лицо Сайфуллы, искаженное страшной гримасой, блеск ножа при лунном свете, блеск множества ножей, от которых рябит в глазах и голова идет кругом. «Скорее! Попадемся — конец!» — сказал Сайфулла. «Не могу!» — вскрикнул Касым. «Что-о?..» — «Что-то с ногами, подгибаются. Никогда со мной такго не бывало». — «Полные штаны, что ли?..» — «Ну, куда пойдем? У меня же мать, взрослая сестра! И у тебя тоже...» — «Продать меня хочешь, сосунок? — Сайфулла резко опустил на землю мешок и шагнул ему навстречу, выставив нож. — Нет уж, вместе напакостили, вместе и отмываться!» — «Ты напакостили, ты!..» — не своим голосом закричал Касым и упал как подкошенный от обрушившегося на его челюсть здоровенного кулака. Сайфулла нагнулся: сграбастал на груди у Касыма пиджак и рывком поставил на ноги; вращая белками налившихся кровью глаз, прошипел в лицо: «Разве не понимаешь, что у тебя всего две дороги: либо за ним, — он кивнул в сторону тока, — либо за мной».

При одном воспоминании о тех минутах по спине Касыма пробежал мороз, его начало трясти как в лихорадке. Чтобы хоть как-то успокоиться, он резко встал и вышел наружу.

Над долиной висел туман, слясь и будто прогибаясь от собственной тяжести. Там, за туманом, его родной кишлак, маленький, с поднос, дворик, обнесенный низеньким дувалом из гуваялков — округлых комков глины, низенький домик с плоской земляной крышей, котсрая, едва сойдет снег, щетинится ярко-зеленой травой, а в ту пору уже полыхает вся, словно повязав на себя алый платок из маков; во дворе растет единственная яблоня, на ней он для сестренки, когда она была маленькой, крепил веревочные качели; оставив на берегу речки на привязи козу, они с сестренкой возвращались во двор и играли около яблони; коза, выев траву почти до корешков, бегала по кругу и громко бляяла; мама выходила из дома и, слегка поругивая их, сама спешила к козе, чтобы отвести ее в другое место; потом медленно возвращалась, усталая, с осунувшимся лицом, рано поседевшая, и с укоризной выговари-

вала: «Ведь козочка — кормилица наша. Я только вас молоком своим выкормила, а она всех нас кормит, жалеть ее нужно. Не будь ее, что бы мы делали?» Войдя в дом, мама снова усаживалась за свою швейную машину «Зингер», которую крутила день-деньской с утра до вечера, выполняя заказы. Хоть плата была грошовой, а на хлеб им хватало. Так что и хлеб у них был, и молоко... Когда Касым, помнится, возвращался из школы, мать ласково обнимала его, приговаривая: «Хороший мой, надежда моя, опора моя! Надоела мне эта швейная машина. Вот вырастешь — продам ее. Женила б тебя, тогда б отдохнула. Смотри, наша соседка Салима какой красавицей стала!..»

Он застонал, скрипнув зубами, и сильно ударил кулаком о скалу.

В воображении возникло пшеничное поле с отяжелевшими, гнущимися вниз колосьями; пронесется ветерок, едва касаясь пшеницы крыльями, и по полю бегут золотые волны. Несколько девушек удивительной красоты, повязав голову косынками, то нагибаясь, то выпрямляясь, жнут серпами пшеницу. Оборачиваются, глядя с улыбкой из-под руки в сторону речки, где резвятся посланные по воду подружки: а те зачерпывают из речки кувшинами воду и гоняются друг за дружкой, обливаясь, и громко хохочут. Касым остановился, зачарованный ими, у брода. Салима в мокром, обленившем ее платье, сквозь которое просвечивало стройное тело, казалась необыкновенно красивой; пробега мимо него, плеснула ему на грудь воды, и не успел он опомниться, как она, смеясь, умчалась к зарослям, за которыми глухо урчала в каменистом ложе излуцина реки, и, прежде чем скрыться, два или три раза сбернулась, словно маня за собой. А он, глупый, стоял как столб, растерянный и счастливый... Такой она и запомнилась ему: оборачивается и зовет взглядом, оборачивается и зовет...

Никто Касыма не видел, и он не сдерживал слез. Стоял, прижавшись лбом к холодному камню, и плакал.

Когда они с Сайфуллой убежали из кишлака, был уже конец осени. Пшеницу обмолотили, в садах убрали фрукты. Он едва поспевал за Сайфуллой, ненавидя его и боясь отстать, ничего не видя перед собой от страха. Возникли и пропадали на фоне звездного неба несуразно переплетающиеся, похожие на решетку, извилистые черные линии. Это были кроны деревьев. Чем осторожнее и тише он старался ступать, тем громче отдавались его шаги — шуршали под ногами опавшие листья, сухая трава. Вспугнутые ими

грачи и вороны с хриплыми криками пронеслись над головой, как клочья пепла, взметенные ветром с пожарища.

Несколько дней они скрывались в тугаях, разросшихся вдоль сая, зарослях джиды, тала и камышей. Земля была сырая, хлюпала под ногами, немалого труда стоило им отыскать место, где они могли бы скоротать время. По ночам они тряслись от холода и их поедом ели комары. Голод заставил беглецов есть пшеничные зерна сырыми, они горстями доставали их из прихваченного Сайфуллой мешка. Касым в тот день, наверное, съел слишком много зерна: вечером у него разболелся живот, и он промаялся до самого утра, ворочаясь с боку на бок и громко охая. Сайфулла злобно шикал, чтобы он вел себя потише, но он не обращал внимания, и тот дважды огрел его по спине палкой.

Если бы они еще день-два оставались бы в тугаях, то комары выпили бы всю их кровь. С опухшими до неузнаваемости лицами, расцарапанными руками они подались в горы, вспомнив про эту пещеру.

Долго простоял Касым, прислонясь спиной к скале, с тоской глядя в долину, где туман постепенно таял, и сквозь него проступали из синевы розоватые кубики домов, где сгрудившиеся в кучу, а где стоящие вразброс. Это вдаль виднелся кишлак. Его кишлак. Сейчас из-за горы выглянет солнце, и в долину польются потоки золотого света, тепла. Но ждать этого момента Касыму уже невмоготу. Его начало знобить еще сильнее, суставы ломило, от слабости дрожали и подгибались колени. Лечь бы сейчас и лежать, не двигаться. Но опять поползут по телу блохи, клещи. В тугаях от комаров не было спасения, а тут от этих чертовых насекомых.

Держась за стенку ослабшими руками, он медленно вернулся в пещеру. От запаха овечьей мочи и навоза спирало дух. Вдруг мимо него с шумом прошмыгнула какая-то тень. На голове у Касыма зашевелились волосы, ноги подогнулись, и он рухнул, не добравшись до соломы. Рыжий тощий волк со свалывшейся на впалых боках шерстью набросился на кожу дикобраза, схватил и метнулся вон, перескочив через распластавшегося у выхода Касыма. И тотчас снаружи донеслось злобное рычание. Касым, икая, пополз в глубь пещеры.

— Что ты тут топчешься, сволочь! — проснувшись, заорал напарник.

— Вставай, вставай, — дрожащим голосом проговорил

Касым, озираясь на выход.— Волки!.. Слышишь, волки!..

— Волки? — приподнял кудлатую голову Сайфулла.— Бог послал. Где?

— Утащили шкуру дикобраза...

— Что ты трепешься, болван! Вот же она!

И правда, шкура целехонькая лежала на земле. Что это с ним? Померещилось?

— Я скорее с них самих шкуру спущу! — ворчал Сайфулла, снова укладываясь.— Спи. Когда еще удастся так сладко поспать... А как станет смеркаться, на дело пойдем.

Спать так спать. Но попробуй-ка усни, когда подвело живот от голода. Касым затих, стараясь расслабиться, подавить внутреннюю дрожь, не шевелиться, долго ли лежал, коротко ли, и вдруг почувствовал, будто сорвался с обрыва и летит в бездну: крикнуть хочет — голоса нет, ухватиться за что-нибудь — сил нет ни рукой пошевелить, ни ногой. То ли сон жуткий увидел, то ли бредил. С трудом пришел в себя, чувствуя, как его толкают в бок. Когда он открыл глаза, Сайфулла сказал:

— Вставай. Солнце садится. Выйдем на дорогу. Может, пройдет кто-нибудь...

Муки голода подавили последние человеческие чувства. Он встал и послушно поплелся за напарником. Что теперь уже противиться? Улавший в реку дождя не боится. Какая разница — сто грехов или сто один. Сколько раз они, едва солнце сядет, отправлялись искать себе добычу! И редко возвращались с пустыми руками. Но с каждым разом становилось все труднее и труднее. По кишлакам быстро распространился слух, что на дорогах кто-то занимается разбоем, люди стали осторожнее, возвращаясь с базара или еще откуда-нибудь, старались попасть домой засветло.

Они спустились к дороге, что змеилась у основания горы, повторяя ее изгибы. Дошли до родника, где дорога сворачивает вправо и, делясь на множество проселков, разбегающихся среди пологих холмов, уводит в долину. Кто бы ни шел в долину или из долины, не миновать ему родника. В жаркие дни тут обычно путники останавливались, утоляли жажду и отдыхали в тени старой чинары, широкой кроной прикрывающей родник от палящих лучей солнца. Вода в роднике всегда была такой холодной, что ломило зубы, и самой вкусной в округе. Может, она казалась самой вкусной оттого, что к нему обычно спешили истомленные дальней дорогой и мучимые жаждой.

Они легли на травянистый берег и долго пили, погрузив в воду лица. Было видно, как на дне вскипают песчинки и колышутся водоросли, между которыми снуют юркие мелкие рыбешки.

Касым утер рукавом рот и, сидя на земле, перевел дух. Ему казалось, что брюхо набито камнями и теперь ему не подняться. Это от голода. Перед глазами плывут круги, тоже от голода. Он дотянулся до торчащей из воды осоки, сорвал и впихнул себе в рот. Долго жевал, размалывал ее зубами, прежде чем проглотить. И все же горьковатая трава оцарапала горло, ожгла пищевод.

— Идем! Что развалился? — заторопил Сайфулла.

— Вай, умру я... что-то с животом...

— Умрешь раньше, чем ты думаешь, если будешь каждый раз валять дурака.

Немного отделились от родника и спрятались в зарослях джиды, на ветках которой уже набухли почки, гстовые вот-вот брызнуть пепельно-серыми клейкими листочками. Среди кочек и камней струился и тихо лопотал ручей. Солнце садилось, и его остывающий медно-оранжевый свет доглевал на кончиках вершин. Кое-где на ветках джиды сидели, нахохлясь, майнашки, угомонились, приготовились к ночлегу.

На дороге послышался топот коня. И вскоре из-за поворота показался всадник. Мужчина в теплом ватном чапане поторапливал коня плетью.

Сердце Касыма начало скакать, будто оно жило само по себе и могло вытворять что вздумается, независимо от хозяина. «Бедный путник,— подумал он.— Едет и не знает, какая беда его подстерегает всего в нескольких шагах».

Сайфулла, напряжись, привстал и вынул нож.

— Ты сразу заходи сзади. Чтобы не повернул непарком обратно,— велел он напарнику.

— Только прошу, не убивай...

Сайфулла ослабилась, промолчал. Как только всадник поравнялся с ними, он выскочил из засады и схватил коня за узду, держа наготове нож.

— Дай бог тебе счастья, не убивай,— взмолился путник, вцепившись в луку седла.— У меня четверо детей... Бери все, только не убивай...

— Заткни глотку! Дай сюда хурджин! Что в нем?..

— Да обменял кое-какие вещи детишкам на пропитание...

Касым выхватил из рук всадника хурджин, отступил назад и прохрипел севшим вдруг голосом:

— Дуй скорее отсюда!

— Ух, мать твою! — заорал верзила, с трудом удержав рванувшуюся было перепуганную лошадь. — Если отпустим, он сейчас же помчится в милицию и сообщит!

— Клянусь Кораном, никому не скажу!

— Убей лучше меня! — Касым схватил напарника за рукав и сильно дернул, конь всхрапнул и вскинул морду, узда выскользнула из рук здоровяка.

Всадник, не будь дураком, хлестнул коня плетью и унесся пулей по дороге.

Мир снова укрылся тишиной. А они стояли друг перед другом и сверлили друг друга глазами. В зрачках Сайфуллы отражались последние лучи закатного солнца, и в них легко было прочесть: «Ты до сих пор был послушен... Если же перестал меня бояться, то не сегодня завтра можешь вонзить мне в спину нож. Не мужчина я, если не опережу тебя!..» А слабый человек Касым выдержал его взгляд, думая при этом: «Во всех моих бедах виноват ты... О как я ненавижу тебя!..»

Сайфулла усмехнулся и отвел глаза.

— Ты сваял дурака, — примиряюще сказал он. — Не видел разве, какой на нем был чапан? Мог нам заменить одеяло...

Они пустились в обратный путь, опять с трудом поднимались вверх по склону, тяжело дыша, оскальзываясь и падая на мокрую холодную землю. Было темно, и было не видать ни зги, то и дело натывались они на цепкие, хватающие за одежду кусты, на мягкие податливые арчи, и снова шедший впереди здоровяк цедил сквозь зубы проклятья, а приотставший напарник останавливался и жадно хватал воздух широко открытым ртом, массируя пальцами горло...

Вползли наконец в пещеру и долго отдыхали.

Потом Сайфулла погрузил руку в хурджин, в одну суму, затем в другую, на ощупь определяя его содержимое. И кажется, остался доволен. Он вынул две лепешки. Одну взял себе, другую отдал Касыму. Молча стали есть, жуя подолгу, продлевая удовольствие.

Покончив с трапезой, Сайфулла улегся и положил нож рядом с собой, так, чтобы пальцы вытянутой руки покоились на его роговой рукояти. При любом шорохе он вздрагивал и приподнимал кудлатую голову, мгновенно отыски-

вая в зыбком, просвечивающем в пещеру лунным свете фигуру напарника, недвижно сидящего, сжавшегося в комок, похожего на ошестинившуюся рысь.

Касым тоже, делая вид, что дремлет, не спускал с Сайфуллы глаз, не решаясь уснуть первым. «Спас бедного путника от смерти,— думал он, и от этой мысли на душе становилось легче.— Добрался, бедняга, до своих детей...»

Луна постепенно скатилась за гору, и стало так темно, что не разглядеть даже собственных рук. И стала пугающей эта плотная обволакивающая тишина, при которой и хруст сухой соломинки кажется оглушительным, как выстрел, и заставляет вздрагивать, замирать, затаить дыхание и не шевелиться. Она, как хищница, впивается прямо в сердце. Прежде он и не предполагал, что бывает такая тишина, которую начинаешь осязать, испытывая при этом муки, физическую боль... Из темноты как-то незаметно проступило блеклое расплывчатое пятно, постепенно оно превратилось в светлый лик его бледной исстрадавшейся матери, но он никак не мог уловить выражения ее лица, заметил только, что у нее подрагивают скорбно изогнутые брови, будто она вот-вот заплачет... Мать исчезла, словно растаяла, вместо нее появилась его заботливая и ласковая сестренка, она беззвучно шевелила губами, но он понимал каждое ее слово. Она спрашивала, куда же он запропастился, ведь его любимая Салима каждый день справляется о нем, все еще надеется, что он подаст о себе весточку... Вдруг на лице сестренки отобразился ужас, она округлила глаза и, заслонившись руками от чего-то страшного, плавно отступила в темноту и исчезла. И сразу, низко пригнувшись в проходе, в пещеру кто-то вошел, весь в черном. А когда он выпрямился, Касым узнал сторожа, не успел крикнуть ему: «Я не виноват!.. Я не убивал!..» — как тот превратился в огромного черного ворона и с хриплым криком «Карр! Карр!» стал носиться под сводами пещеры, задевая крыльями каменные стены, затем ринулся вниз и, впившись в его лицо когтями, принялся клевать глаза. «А-а-а!..» — закричал Касым от ужаса, весь в холодном поту.

— Кто-о?..— заорал Сайфулла, вскакивая и хватаясь за нож.

— Ворон!..

— Откуда тут взяться ворону? Спятил, что ли?

— Чуть не выклевал мне глаза... Уйдем скорее отсюда!..

— Куда уйдешь? К тетке, что ли?

— Куда угодно! Лишь бы не тут!..

— Пока снег не сойдет в горах, нам нет никуда дороги.

Да, видимо, прав бандит Сайфулла, некуда им податься. Мир такой огромный, а уйти им некуда.

Сайфулла опять улегся и через минуту захрапел.

Касыму вспомнилась прекрасная пора, когда он с поля возил пшеницу на ток. Девчата вилами подавали ему снопы, а он, стоя наверху, складывал их на арбе. Если среди девчат не было Салимы, он знал, что она поджидает его на дороге. И тогда он спешил. Не загрузив и половины того, что забирал всегда, торопил лошадь. Он издалека замечал стоявшую на бугре девушку с длинными косами, в красном платье. Она двумя руками протягивала ему чашу с холодным айраном и говорила: «Вам принесла. Не смогла сама напиться, а вас не угостить...»

Он дни напролет только о Салиме и думал. С мыслью о ней прсыпался по утрам; видя ее перед собой, засыпал ночью. Когда же думал о том, что в конце концов настанет день и он женится на Салиме, то чувствовал себя на седьмом небе...

И все это враз исчезло. Как будто никогда и не было. Как будто приснилось.

Что теперь будет?

По щекам, защекодав, пробежали слезинки, и он машинально провел по ним шершавым рукавом.

Отец ему некогда гсворил: «Лучше быть нищим в родном краю, чем в чужом — царем». А он с этим бандитом собирается уходить в какие-то чужие края, оставив навсегда свой кишлак, мать, сестру, Салиму, всех, с кем в детстве играл, учился, а потом вместе трудился... Ему не хватало воздуха, он задыхался. «Уйду. Не могу больше, уйду...» — бормотал Касым. Он не слышал, как сыплет проклятьями проснувшийся Сайфулла, пока на шею ему не опустился тяжеленный кулак.

— Убей! Убей! Не боюсь больше тебя, понял?! — закричал Касым вне себя от бешенства и вдруг, напряжись, вскочил, вцепился в ворот ненавистного напарника, рванул и псверг того на землю. Не различая ничего в темноте, стал с размаху молотить кулаками. Вгорячах даже не сразу почувствовал ответные удары, в живот, по голове. Из глаз брызнули искры, и он провалился в темноту...

Придя в себя, Касым почувствовал, что лежит на спине, неловко подвернув под себя ногу. Во рту солоноватый привкус крови. Не может пошевелить ни рукой, ни ногой.

Уже светает. Сайфулла сидит напротив и прикладывает к ссадине под глазом ладонь. Заметив, что Касым открыл глаза, зло усмехнулся:

— Уйти хотел?

— Развяжи. Никуда не уйду.

— Только попробуй. От меня убежишь, а от этого моего «брата» — нет, — сказал Сайфулла и, подбросив нож, поймал его за рукоять.

— Скажи, ну зачем я тебе? Зачем?

— Верно. Нужен ты мне, как собаке пятая нога. Но ведь продашь, паскуда, продашь.

Сайфулла развязал ему руки и ноги. Касым сел, потирая затекшие места, их саднило от грубой шерстяной веревки. Подумал: «Пожалуй, сам не пошел заявлять. Боязно. А если схватят за жабры — не брать же на себя чужой грех...»

Размышляя о том, как это случилось, что стал у Сайфуллы правой рукой, Касым вспомнил детство. Однажды, когда они купались в сае, у него пропали новые брюки. А на их месте лежали старые протертые шаровары их верховоды Сайфуллы. Многие видели, что брюки Касыма надел Сайфулла и ушел как ни в чем не бывало, но помалкивали, отводили глаза. Никто не хотел связываться с задирой и хвастуном Сайфуллой, который, уходя, недвусмысленно погрозил кулаком.

Касым пожаловался родителям.

Вечером мать пошла в дом Сайфуллы и отобрала брюки сына, швырнув им на веранду старые шаровары.

На следующий день Сайфулла подкараулил Касыма и безжалостно его избил... Касыму и самому непонятно, что с тех пор их связывает. Но именно с того дня он делал все, что велел ему Сайфулла. Многие считали, что они друзья и, боясь Сайфуллы, опасались задеть и Касыма. А спустя какое-то время мальчишки перестали с ним водиться, и осталась у Касыма единственная привязанность — верховод и задир Сайфулла...

Минувала пора веселых детских игр, как освежающий ливень с молнией и громом, под который они любили выскакивать голышом, пролетела стремительно, как летучий

крылатый конь, и теперь оборачивалась на него, то смотрела с умилением, то плакала, прощально махала рукою...

— Вставай. Солнце садится. Сходим в кишлак. Может, чем-нибудь поживимся,— сказал однажды Сайфулла, расталкивая спящего Касыма.

— Идем,— сразу согласился Касым, в душе надеясь, что, может, хоть издали увидит мать, сестру, Салиму.

Они долго шли друг за другом, избегая дороги, им только известными тропами, оставленными дикими зверями, пробирающимися через тугай к водопаду. Впереди шел Сайфулла, шагах в десяти за ним брел Касым. Где-то поблизости беспрестанно выли шакалы, следуя за ними по пятам и боясь приблизиться. Как только солнце село и темная стена камышей осталась позади, впереди засветились огни, из синеватой мглы проступили силуэты приземистых хижин. И сердце слабого человека Касыма сразу беспокойно забилося. Он подумал о том, что мать, сестра, Салима, наверное, уже укладываются спать. В кишлаке люди ложатся рано, чтобы с восходом быть уже на поле. А мать, если укладывается рано, не спит ночи напролет, все думает о нем, о своем пропавшем сыне...

Взошла луна и залила округу матовым светом.

Они миновали крайние дома. В противоположном конце кишлака лениво лаяли собаки.

Ноги сами вели Касыма. Он повернул влево, шел все быстрее и быстрее, пересек наискосок сад и остановился перед низеньким забором.

— Идем,— ткнул его в бок напарник и проследовал мимо.

А Касым стоял и через дувал смотрел на залитый лунным светом дворик, величиной с поднос, растущую у айвана одинокую яблоню и забыл обо всем на свете. «Думают ли они обо мне? А может, давно забыли?..» На глаза навернулись слезы.

— Ну, какого черта?..— Сайфулла вернулся и сильно дернул его, крепко ухватив за рукав.— Не отставай!

«Эх, выхватить бы сейчас у него из голенища нож и садануть».

В хлеву неожиданно заблеяла коза.

— Чья? — спросил верзила, сразу замерев и повернув ухо в сторону хлева.

— Кхм... наша.

— Выведи.

— Оставь. Мать и сестра только тем и живут, что коза дает немного молока.

— А мы, по-твоему, подыхай?! Тащи! — Сайфулла подтолкнул его.

— Лучше сам... Я... Не могу же я отобрать последнее у матери и сестры...

Сайфулла смерил его с ног до головы презрительным взглядом, осклабился в усмешке и легко перемахнул через забор. Через несколько минут он появился с зарезанной козой на плечах. Кивком велел следовать за собой, размашисто зашагал вдоль узкой улочки. Касым, пошатываясь, вихляя как пьяный, засеменял за ним. В ушах у него стоял звон. Вдруг ему почудился громopodobный голос, заставивший вздрогнуть: «Эй, люди-и! Наши с фронта возвращаются. Войне коне-е-ец!..» По кишлаку во весь опор скакал огромный всадник на красном коне и кричал, оглашая радостную весть. Плечи его возвышались над домами, над деревьями, Касым в жизни еще не видел такого великана. «Войне коне-е-ец!..» Но почему-то не слышно топота копыт, как будто конь-гигант плывет по воздуху.

— Эй, спрячься, увидят! — крикнул он Сайфулле и юркнул в тень, отбрасываемую забором.

— Ты что орешь? Спятил? — шикнул, оборачиваясь, Сайфулла.

— Слышишь, война кончилась, — проговорил дрожащим слабым голосом Касым и вдруг почувствовал, как весь холодеет, стынет язык, немеет челюсть. Широко сткрыв глаза, он затравленно озирался, отыскивая взглядом гигантского красного всадника, но того и след простыл. Кружилась голова. Представил, как утром мать и сестра станут бегать по кишлаку, метаться взад-вперед по улице и кричать: «Козу украли!.. Господи, покарай воров! Да ослепнут глаза их, проклятых!» В отчаянье они будут царапать себе лицо, рвать волосы.

Касым стоял, прислонясь плечом к дувалу, его сотрясали глухие рыдания. Вдруг он рванулся и кинулся догонять быстро удаляющегося вдоль улицы напарника. И не успел тот, услышав шаги, обернуться, Касым выхватил из его голенища нож и с размаху вонзил в широкую спину между лопаток. Сайфулла медленно обернулся и вытаращил удивленные глаза. Коза сползла с его плеч и свалилась на землю. Касыма трясло как в лихорадке. Не сводя

с Сайфуллы полных ужаса глаз, он медленно пятился. А Сайфулла скривил рот в усмешке и начал медленно оседать на землю... Когда он упал, под ногами Касыма покачнулась земля и он судорожно ухватился за стену. И стало светлым-светло. Или так сразу рассвело? Или мир покрылся белым снегом? Внутри у Касыма все горело. Горстка снега остудила бы его. Он наклонился и схватил пригоршню — нет, не снег, земля. Еще зачерпнул обеими руками — камни. Одни только камни. Что это с ним? Может, его настигло чье-то проклятье? Неужели мать уже встала и обнаружила пропажу?

— Эй, люди-и! — вдруг закричал он не своим голосом. — Это я убил Сайфуллу! Он сбил меня с пути! Я отомстил ему! За все отомстил... Люди-и-и!..

Истошный страшный крик разбудил людей среди ночи. Полуодетые, они выбежали на улицу. Над кишлаком висела полная луна. Серединой улицы шел, шатаясь, какой-то обросший человек. На нем висели лохмотья. Он то принимался метаться из стороны в сторону, то смеялся, то плакал, хватал на дороге землю и сыпал на себя, а если попадались камни, кусал и отбрасывал. Люди с удивлением и сочувствием смотрели на безумного, когда же он приближался, они с опаской подавались назад, во дворы, и запирали калитки.

— Бедняжка... а ведь совсем молодой еще, — вздыхали сердобольные старушки.

Из-за низкого забора смотрели на безумца седая женщина и юная девушка.

— Сердешный... Видимо, какой-то пришлый, — сказала женщина дочке и осеклась, положила дрожащую руку на забор, чтоб не упасть, глаза застлали слезы, и она с трудом договорила: — Дай бог ему выздоровления. За какие-то грехи бог наказал.

— Мама, — шепнула девушка, — он похож на брата.

— Замолчи, — строго сказала женщина. И тоже шепотом: — Пусть никто не услышит твоего голоса.

Безумный, то плача, то тихо посмеиваясь, то погружая заскорузлые руки в косматые слипшиеся волосы, то в клочья раздирая на себе одежду, проследовал мимо, взгляд его широко открытых глаз был устремлен куда-то вдаль.

«О боже, ниспошли нам свое милосердие, пусть разойдутся люди».

— Мама, и все-таки он похож на брата.

Она взяла за руку дочь и увела ее в дом.

На улице постепенно стихло.

Женщина вышла из дому. Оглядываясь по сторонам, покинула двор. Бесшумно, словно тень, быстро зашагала по улице в ту сторону, куда проследовал безумец.

— Сынок! Вернись!

И вновь в калитках появились любопытные.

— Да исчезните же наконец! Что вам приготовили тут!.. Касым! Сынок!..

В тугаях протяжно завывли шакалы.

И лунный свет поглотил безумца.

ВАРАН

Если бы в детстве мне сказали, что когда-нибудь я буду чуть ли не с нежностью вспомнить нашу козу — это однорогое чудище, это рыжее взлохмаченное создание, из-за которого мне перепаало столько колотушек от мамы, я бы помер со смеху. До того нелепым показалось бы такое пророчество. Даже вид этой скотины вызывал у меня ненависть. Один рог обломан, другой завернут ребристой баранкой, из которой торчало острие, опасней, чем зубья навозных вил. Ключковатая, свалывшаяся на боках шерсть в репьях. Но с какой спесью потряхивала она своей жиденькой рыжей бородкой! Сколько снисходительного презрения было в ее взгляде, когда она вперялась в меня желтым ромбовидным зрачком! Однажды я протянул ей надкусанное яблоко; обнюхав его, она величественно отвернула свою козью морду и с таким негодованием фыркнула, что показалась мне старой барыней, хотя, конечно, никаких барынь я в жизни своей не видел.

До сих пор звучат в моих ушах наставления матери, провожающей меня и козу каждое утро на пастбище:

— Если, Алим, и сегодня коза придет с пустым выменем, тебе влетит как следует. Неужели трудно подкараулить этого варана? Хватит ему высасывать молоко. Можешь ты один денек не поиграть в орехи? Или молока не любишь! Подумай хоть о младшем своем брате, об Эркине, о друге твоём Эргаше. С голоду пухнет же. Вспомни, наконец, обо мне, твоей матери. Знаешь сколько сил нужно, чтобы работать в колхозе, кунжут косить?

— Хоть бы сдохла эта ваша коза,— зло выкрикивал я и размазывал по щекам слезы.

— Не реви,— говорила мама и вешала мне на руку узелок, в котором была кукурузная лепешка.

Я звал Эркина, и мы вдвоем тащили за веревку козу, чтобы вывести ее на улицу, а она упиралась всеми четырьмя копытами и норовила поддеть меня рогом. Кое-как выбравшись за ограду, я тут же привязывал козу, оставляя при ней Эркина, а сам мчался к соседям. Там дряхлая

бабушка Иба, держась за поясницу, пыталась расстелить на пороге овчину.

— Бабушка, а Эргаш не встал? — спрашивал я, просунув в дверь голову.

Она долго глядела в мою сторону водянистыми подслеповатыми глазами.

— Спит еще, — отвечала, наконец узнав меня. — Будь проклята эта война, — бормотала старушка, — будь проклят фашист. Внук мой, бедняжка, не может поесть досыта, живот у него пухнет...

Каждый день бабушка Иба бормотала одно и то же. Сын ее, Исмат, ушел на фронт вместе с моим отцом, сноха, больная туберкулезом, лежала у своей матери, а старая Иба с Эргашем жила в этом маленьком доме. Каждый день, согнувшись, она входила к нам, облизывала сухие сморщенные губы, просила:

— Арифа, пусть будет тебе счастье в жизни, у внука моего пухнет живот. Не дашь ли немного молока...

— Тетушка, разве я пожалела бы, — отвечала мама, — негодный варан на лугу что ни день ее высасывает, сами сидим без молока. Алим еще совсем мальчишка, заиграется и прозевает варана.

Когда мама пекла лепешки из кукурузной муки, она давала мне обычно одну-две, чтобы я отнес бабушке Ибе, а если варила что-нибудь горячее, обязательно звала ее к нам. До войны старуха работала уборщицей в школе. Теперь школа закрылась — учителя ушли воевать, — и присматривать за Ибой пришлось маме. Эргаш, на год младше меня, с опухшими веками и раздувшимся животом, почему-то имел привычку есть глину. Ребята прозвали его «пузатым». Восбще они недолюбливали его. Я всегда защищал Эргаша, ведь он приходился нам дальним родственником и к тому же соседом...

— Эргаш, вставай, — кричал я наконец, чтобы избавиться от ворчания старухи.

— Эй, сынок, подымайся, — повторяла за мной бабушка Иба, — твой друг ждет. Поможешь пасти козу. Бог для нас и такой малости пожалел...

— Бабушка Иба, — говорил я, поняв, что просто так Эргаша не поднять, — сегодня у нас рисовая каша на молоке, вечером принесу и вам.

— Пусть бог продлит твои дни, — вторила старуха. — Хорошая женщина твоя мать, не бросит в беде.

— Если бы не варан этот...

— Сосет, сосет, сама не знаю, голодно ведь, сынок, и варан голодает. Вставай, Эргаш!

— «Вставай, вставай»... не даете выспаться.

На пороге появился Эргаш, сморщил бледное лицо, потянулся.

— Бог по утрам раздает каждому его долю, а ты все просыпаешь. Поэтому нам ничего и не достается.

— Где коза?

— На улице, Эркин держит.

Эргаш, похрустывая куском черствой лепешки, ташилась за мной. Коза, увидев Эргаша, устремилась к нему. Эргаш подошел к ней, погладил по голове.

— Что ты хорошего нашел в этой уродине?

— Хмм...— Лицо Эргаша еще больше побледнело.

— Мама сказала: если варан высосет козу, добра не жди. Сегодня играть не будем. Лучше поймаем варана, воткнем ему в пасть палку, зато вечером будет молочная каша!

— Хмм...— снова протянул Эргаш.

— Чего хмыкаешь?

— А какой это варан?

— Тот, что козу сосет. Четыре ноги, морда, как у змеи...

Мы медленно двинулись к пастбищу.

Кишлак разлегся на холме, внизу медленно текла речка, берега ее густо поросли камышом. Там пасли скотину. До обеда мы еще кое-как выдерживали, а потом бросали скот на произвол судьбы и удирали играть в орехи. В сумерках, когда гнал козу домой, обнаружилось, что у нее пустое вымя. Проклятый варан!.. Я ругался, бил козу кулаками, но что толку? Опять меня ждала нахлобучка от мамы...

— Эргаш,— объявил я, когда на этот раз мы подошли к зарослям камыша,— если сегодня удерешь, я тебе задам трепку. Будем караулить вместе. Одному скучно. Эркин, ясное дело, уснет. А мы вдвоем как-нибудь вытерпим. Зато мама рисовую кашу сварит.

Эргаш жалобно взглянул на меня, но слово «трепка» его испугало. Мы привязали козу, улеглись на землю и мрачно наблюдали, как это исчадие ада щиплет траву, зыркает по сторонам. Так вот протянули до обеда. Варан не появлялся. Эркин сладко спал в камышах. Доносились крики ребят, играющих в орехи... Эх, сколько бы я уже выиграл!

— Вставай, пошли,— не выдержал я.— Пусть он хоть слопает эту козу, глаза бы мои на нее не глядели!

— Пошли! — подхватил Эргаш, вскакивая, будто давно ожидал этого. Мы стали тормозить Эркина, он открыл глаза и поинтересовался:

— Ака! Варан уже высосал козу?

И я, вдруг вспомнив разгневанную маму, остановился в нерешительности.

— Пошли,— нетерпеливо сказал Эргаш и, покачивая головой на тонкой шее, пустился в путь. Взяв за руку Эркина, я последовал за ним. Мы поднялись на холм и остановились возле дувала, за которым росло раскидистое ореховое дерево. Мы бросали в него камни и, набрав за пазуху орехов, пошли на луг. Там уже собралась славная компания. Я расколол пару орехов, сунул их Эркину, чтоб не мешал, а сам принялся за дело. Только проиграв почти все орехи, опомнился.

— А где Эргаш? — спросил я у Турсунали, который тоже проигрался и сидел с кислой рожей.

— Недавно ушел. Полную пазуху орехов набил да еще в карманы... Везет же...

Вымя у козы было еще теплым. Видно, варан побывал здесь только что. В наступающих сумерках глаза козы светились злобно и торжествующе.

— Скотина! — заорал я и бросил последние орехи на землю.— Надоела ты мне, каждый день из-за тебя скандал.

Я орал, лупил козу кулаками и даже укусил за ухо. Эркин стоял рядом, рыдая.

Когда мы дотащились до дома, я втолкнул Эркина с козой во двор, а сам приник к дырке в воротах.

— Мама, варан опять козу высосал,— тоненьким голосом заныл братишка.

— Что? — Мать подошла к козе и пощупала вымя.— А где твой брат?

— На улице остался...

— Алим! Наказание господне! Все равно отыщу тебя, даже у Эргаша.

Я как раз собирался махнуть к бабушке Ибе, но мать сразу догадалась. Сделав вид, что мне ничего не страшно, я вошел во двор.

— Я тебе что говорила утром?

— Мамочка, я больше не буду...

Не успел договорить, как что-то твердое ударило меня в скулу. Потемнело в глазах, закружилась голова.

— Мапочка...— пытался что-то объяснить, пообещать я.

— Ах, чтоб ты провалился! Весь день ждала, думала, наконец-то поедим каши. А он снова за орехи!

Мама резко отвернулась и пошла в дом. Она плакала. Плакала впервые после отъезда отца на фронт. Ее слезы ударили меня больней, чем кулак. И я тоже заплакал. До сих пор не могу забыть ее дрожащий голос...

— Мапочка, не надо. Прости,— сказал я, подойдя к ней.

Она еще всхлипнула, притянула меня, поцеловала.

— Алимджан,— говорила она, глядя на меня влажными глазами,— если б ты послушался, я никогда бы не ударила. А ты не слушаешься, обижаешь меня. Отец твой на войне, не на кого опереться.

На другое утро мать, пошатываясь, как после долгой болезни, пошла в поле. О козе и не заикнулась. Это потрясло меня. Я поклялся себе, что не прозеваю теперь варана ни за что! И Эргаша не позвал. С палкой в руке выхаживал, как часовой. Вот подползет варан, брошусь к нему, сверну шею. Эркин, как обычно, дремал рядом, солнце припекало. Камыши качались на ветру. Вдали виднелись фигуры женщины, косивших кунжут...

К обеду коза начала беспокоиться. Я повел ее к воде, но она не пила. Глаза ее налились кровью, жалобно бляя, она глядела в сторону тропинки. Видно, боится. Видно, варан поблизости. Я насторожился, как кошка, подкарауливавшая птенчиков. И тут на тропке вдруг появился Эргаш. Эх, и налугаю я сейчас его! Вскочу неожиданно и гаркну! Но «пузатый» подошел к козе, погладил ее, прижался лицом к морде, закрыл глаза. Интересно! Коза стояла замерев. Потом Эргаш огляделся, зашел сбоку, лег навзничь и стал сосать молоко, как козленок. Только теперь я все понял.

— Сволочь! Варан!— Я оттащил его за ноги от козы и стал пинать куда попало.— Это ты, оказывается!

— Алим, не бей!— Эргаш лежал на земле, скорчившись, словно червяк.— Не бей!

— Сволочь! Из-за тебя я получаю каждый день! И вчера получил! Вот почему ты исчезал, когда мы играли...

— Алим!

— Убью...— Я не успел занести кулак, как почувствовал сильный толчок сзади и перелетел через Эргаша. Коза, фыркающая и раздувая ноздри, грозно смотрела на меня, нагнув голову. Эргаш, прихрамывая, бросился бежать по тропинке.— Ах ты, подлюга, его защищаешь!

Я нагнулся за палкой, прицелился. И вдруг руки мои сами собой ослабли. Глаза козы были полны слез. Оказывается, она может плакать! Я затрясся от жалости, обхватил ее голову, погладил. Но она все смотрела вдаль, на тропинку.

Вечером, похлопывая козу по спине, я привел ее домой.

— Ну? — Мама нагнулась и привычно пощупала вымя.— Сынок, наконец ты поумнел! Поедим хоть каши. Врана не видел? Отчего такой грустный?

— Так...

— Убил?

— Нет.

— Зря. Избавились бы от него.

— Мам... Это Эргаш...

— Что? — Глаза мамы округлились.

— Когда я бил его, коза меня боднула.

Мать опустила голову.

— Боже мой, что же это творится с людьми!— прошептала она сдавленно.

Готовя кашу, она поглядывала то на меня, то на козу, будто что-то хотела сказать, но не могла.

Утром, когда уходила в поле, она с трудом, дрожащим голосом сказала:

— Алим, привяжи козу в камышах, и можешь играть в орехи...

...Я играл в орехи каждый день. Вымя козы было полно молока. Она грустно блеяла.

Эргаш как в воду канул.

— Говорят, бедняжка тяжело болен, лежит у матери...— объяснила мне однажды мама.— Дай бог ему поправиться.

Меня будто кто накрыл ватным халатом прямо с головой. Стало душно. Я выбежал на улицу, летел, приговаривая шепотом:

— Эргаш, вернись, Эргаш, не надо. Если хочешь, возьми себе насовсем эту козу,— бормотал я все время, пока бежал к их дому.

А в ответ мне будто раздавалось со всех сторон:

— Алим! Не бей!

ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ

— Папа! Папочка вернулся!

Детский крик был слышен уже в доме, а секунду спустя все они скатились по ступенькам ветхой терраски во двор.

— Папа! Папочка! Ты принес лепешку? Или хлеба? Принес? Принес?..

Стремительно войдя во двор, Ашур от внезапно обрушившегося на него детского крика попятился в растерянности. Всей тяжестью своего тела он навалился на руки, до боли прижимая к себе костыли, в изнеможении, как-то сразу вдруг ослабел, привалился к глиняной стене дувала. Шум в голове постепенно утихал, глаза при виде детей потеплели. «Уж лучше бы вашему отцу прсвалиться сквозь землю, чем прийти домой и сегодня с пустыми руками!» — думал он и чувствовал, как опять слабеют руки и ноги. В какое-то мгновение понял, что теряет равновесие, и, наверное, не удержался бы на ногах, если бы не стена. Вот они, его дети, мал мала меньше, девять у них с Асолат, старшему едва исполнилось четырнадцать, младшему всего три. И все встречают его, с надеждой смотрят и ждут, протягивая к нему свои ручонки. Теперь его внимание сосредоточилось на их маленьких пальцах. Было от чего сойти с ума: все они словно хотели дотронуться до него, прикоснуться, убедиться, что сегодня он, их отец, принес им наконец хлеба. Так повторялась эта нечеловеческая пытка изо дня в день. И пальцы своих детей он видел перед собой постоянно, они преследовали его всюду, где бы он ни был, что бы ни делал. Во сне и наяву они неслучно жили в его сознании, и ничего с этим нельзя было поделать, как и с постоянной изнуряющей тупой болью в голове, которая отпускала лишь изредка.

— Папа! Папочка! Ты принес хлеба? — не смолкал детский крик, переходящий в плач.

И ему чудилось, будто он проникал в него все глубже, и уши были вроде бы уже ни при чем: он ощущал этот крик каждой клеткой, всем своим существом.

— Папочка! Е-э-э-эсть! — плакал самый маленький.

И Ашур, сдерживающий себя как только мог, вдруг закричал неистово, переходя на хрип:

— Хлеба! Хлеба!— Он не узнавал собственного голоса.— Боже праведный, взгляни на моих детей! Разве они провинились в чем-то перед тобой? За какие грехи я терплю эту муку?

— Ну-ка, дети, оставьте в покое вашего отца!— Из дома вышла жена Ашура, высокая худая Асолат.— Идите, идите скорее в комнату. Откуда ваш отец возьмет хлеба, если его ни у кого сегодня нет?..

Она втолкнула ребят одного за другим на терраску, дождавшись, когда до нее доковыляет последний, самый маленький, и крепко прикрыла за ними дверь. Оттуда приглушенно все еще слышался детский плач.

Продолжалось это долго, очень долго. Если бы кто-нибудь спросил Ашура, сколько, он наверняка не смог бы ответить на этот вопрос. Вернувшись к калитке, он в сердцах пнул ее несколько раз ногой. Только после третьего удара она подалась, со скрежетом поползла в сторону, и, опираясь на костыли, он вышел на улицу, покачиваясь словно пьяный. Остановился, долго стоял так, бессильно вздыхая. Занемели пальцы рук, он попробовал пошевелить ими, не чувствуя движения, попробовал еще и еще. Наконец вроде бы отошли немного. И Ашур побрел по узкой извилистой тропинке, ведущей к холму.

Он все время что-то шептал себе под нос, разговаривая сам с собой, все крепче сжимал ручки костылей, не чувствуя тяжести почтовой сумки, перекинутой через плечо. Несколько раз больно споткнулся и вышел наконец на тропинку, что вела к дому на южном склоне холма. Туда-то и направился Ашур.

Дом стоял словно неживой — ни шороха не доносилось из-за забора. Он осторожно постучал в желтые ворота. Ни звука. Тогда Ашур постучал сильнее, кулаком. Снова молчание. Пришлось прибегнуть к костылю — что было силы он громыхнул им по железной обивке ворот. Наконец-то послышалось медленное, неторопливое шарканье ног, кто-то подошел к калитке.

— Кто там так стучит? Война, что ли, кончилась?— испуганно спросил слабенький старушечий голос за воротами.— Не сын ли мой вернулся? Сабир? Это ты? Почему молчишь? Это ты? Да говори же скорей! Не то сердце мое разорвется!..

— Нет, тетушка Анаджан, это не ваш сын, не Сабир, это я, Ашур.

— Ты, Ашурджан, что случилось? — Звякнула цепочка, и к Ашuru вышла, разглядывая его подслеповатыми глазами, худенькая старушка.— Ты что плачешь, Ашур? Или мне принес плохое известие о моем Сабире? Вот уже три года он на войне. Редко письма приходят. А я все жду и жду, может, в отпуск хоть на денечек его ко мне отпустят, все к воротам на каждый стук бегаю, думаю, может, он...

— Да нет, нет, тетушка Анаджан, успокойтесь! Не с дурной вестью я к вам...— Голос Ашура перехватило от волнения.— Дети мои голодают. Только это привело меня к вам. Только это, поверьте... Не могу вернуться к ним пустой, должен хоть что-то принести им поесть. Замучили они нас с Асолат... Пожалуйста, тетушка, будьте добры... хоть что-нибудь... Уж не обессудьте...

— Будь проклята эта война, сынок! На фронте убивают, здесь люди от голода мрут. Да ты входи, входи во двор! Когда твой покойный дядя Али работал мельником, была у него такая привычка — с голодных времен, с гражданской осталась — все крошки, все кусочки хлеба и лепешек на сухари... Странная, конечно, привычка, мы с сыном посмеивались, бывало, а он внимания не обращал на нас, все сушил, сушил и на чердаке в мешочках хранил. Скотине полакомиться относил. Вот и осталось кое-что от этих его запасов. Как теперь понадобилось!..

Старуха, горестно вздохнув, смахнула набежавшую на морщинистое лицо слезу и рукой поманила Ашура за собой.

— Подожди меня тут, внизу, я мигом. Только на чердак поднимусь. Вот он, черный день-то этот, и настал, о котором муж толковал, а мы на смех его поднимали...

Ашур словно к земле прирос. Его благодарный взгляд неотступно следил за тетушкой Анаджан, которая, тяжело дыша, с трудом преодолевала крутые ступеньки наверх.

— Вот держи, сынок,— сказала она, спустившись,— передай своим ребятам. Скажи, от меня. Да только никому не говори, всякие люди бывают нынче, могут и старуху обидеть. А я тут одна день-деньской... Поклон передай жене.

— Тетушка Анаджан!.. Матушка!.. Пусть наградит вас бог за вашу доброту! Кончится эта проклятая война, непременно свой долг верну. Пусть сын ваш вернется живым и здоровым!

— Да сбудется то, о чем ты так искренне говоришь! Иди скорей, иди домой, обрадуй деточек своих.

Взволнованный Ашур поцеловал старуху в морщинистую сухую щеку, бережно уложил мешочек на дно почтовой сумки и, часто оглядываясь, двинулся той же дорогой обратно. А старуха все качала головой, глаза ее застилала слезы, сквозь которые она долго еще видела подпрыгивающую фигуру удалявшегося Ашура, пока он совсем не скрылся из виду.

Теперь, перестав осторожничать, не разбирая дороги, он в наступавшей темноте наугад выбрасывал вперед свои костыли и совсем не думал о том, что может вдруг споткнуться и упасть. Со стороны, наверное, он был похож на сумасшедшего, который вырвался на свободу и убегал от своих преследователей: пел, мотал головой из стороны в сторону, блаженно улыбался. Оказывается, и от радости можно обалдеть слегка, думал он, идя домой, и представлял, как обрадуются жена и дети его гостинцу, как он с легким, впервые за последние недели, сердцем бросится в постель и наконец-то даст отдых своим измученным рукам и ногам.

Небо от жаркого дневного зноя постепенно теряло свою прозрачную голубизну и теперь, с темнотой, словно отдыхало, как и люди, от палящих лучей солнца, становилось глубоким, иссиня-черным. Лишь горизонт тревожил мутно-багровым закатом. Казалось, там собрались клубы и неподвижно повисли в не остывшем еще воздухе. Над кишлаком еще витал дневной зной, но уже на смену ему тянуло ночной прохладой. Ашур шел мимо притихших домов, возле которых петляла его тропинка, и ухо его не улавливало ни единого звука. Будто вымерло все, думал он. Как не похож стал его родной кишлак на тот, довоенный, в котором осталось его счастливое детство, молодые мать и отец, когда он вместе со своими сверстниками носился без удержу по горам, когда — о, счастье! — еще ходил по земле двумя ногами. Будто целая вечность прошла с тех пор — хотя нет, годы можно было сосчитать по пальцам...

Сколько помнил он себя, так же как сегодня алели по вечерам при закате солнца вершины гор, прежде чем погрузиться в темноту. Так же вдруг беспокойно заливались от каких-то неясных звуков кишлачные псы, тревожными «и-а» перекликались ишаки, нарушая всеобщую тишину. Но другим, притихшим, стал его горный кишлак с тех пор, как началась война. Многих она уже навсегда

унесла, а те, которые вернутся к своим очагам, придут другими. Но пусть только придут. И оживет земля, и будут снова радоваться дети, его и людей, жизнь наполнится тысячами мелочей, которые сделают ее счастливой и полной. Но пусть только кончится война...

Сейчас Аштуру привычные с детства звуки эти не казались такими безысходными, как все эти последние недели. Наоборот, они напомнили о том времени, когда вот в этом самом доме, где теперь живет его семья, жили его родители, он сам и две сестры. Все так же высилось над двором и крышей развесистое тутовое дерево, оно всегда поражало его воображение, особенно в раннем детстве,— он знал наверняка, что тутовник уходит в небо, и никто его не мог разуверить в этом. Громадность дерева удивляла. И в то же время он привык к нему, как привыкают к дому, двору, сестрам. Оно было частью его жизни. На его нижних развесистых ветвях всегда, сколько он помнил себя, сушилось детское белье. Как и тогда, стоило подняться сильному ветру, маленькие платишки и пеленки напоминали больших птиц, взмахивающих крыльями и пытавшихся взлететь. От этого ощущения Ашур не мог отделаться и поныне, хотя сам уже был отцом, а его родителей давно нет на свете, сестры повыходили замуж в дальние кишлаки. Сам Ашур остался здесь, в отцовском доме, где он помнил себя таким, какой теперь его самый младший ребенок. Отсюда он уходил на фронт. Отсюда его провожала Асолат, оставаясь одна с детьми. Сюда он вернулся на костылях. Последний ребенок родился мертвым — его убила война. Конечно, для теперешней семьи домик этот маловат — две крохотные комнатки да коридорчик.

Прихрамывая, стараясь не шуметь, Ашур втиснулся на терраску. Но, как он ни осторожничал, дети ждали его. Упал костыль, и они, словно и не спал никто, высыпали ему навстречу. Голодные глаза жадно уставились в его лицо, снова маленькие пальцы настойчиво потянулись к нему.

— Вот, вот, цыплятки мои, вот!..

Ашур глубоко засунул руку в почтовую сумку и вытащил оттуда мешочек.

— Берите, ешьте сухари, кто сколько хочет. Тетушка Анаджан прислала. Только в воде сначала помочите, не то застрянут в горле.

— Ашур, Ашур! — В глазах Асолат стояли слезы, и она все вздыхала. — Ну, вот, теперь хоть успокоятся не-

много, я ведь держала их тут до твоего прихода под замком и сама вместе с ними сидела, не выпускала на улицу. Едва услышали твой голос, наперегонки бросились к тебе. Разве их удержишь?

— Правильно сделала!.. Добрая тетушка Анаджан. Дай-то бог, чтобы сын се вернулся домой!

— Пусть, Ашур, сбудется то, что ты сказал!

Сухари быстро исчезли из холщового мешочка, слышен был лишь хруст на зубах. Досталось немного и Асолат с Ашуром. Он ел медленно, и довольная улыбка постепенно сходила с его губ. Сегодня, думал он, день прошел. А завтра, что будет завтра? Опять все сначала? По нескольку ягод сушеного урюка да изюминок — этим ведь сыт не будешь...

Мысли эти уже не отпускали его. И он знал, не отпустят. Лежа рядом с женой, которая быстро уснула, он долго еще вздыхал и поворачивался с боку на бок. Мысли о детях не давали уснуть. Усталость этого дня так сморила его, что он не в состоянии был даже снять гимнастерку и галифе, единственную свою одежду, которую Асолат тщательно стирала каждые пять-шесть дней. Если Ашuru и удавалось задремать, то ненадолго — начинали мучить кошмары. Снились война, бомбежка, госпиталь. Снились дети. Сон его мало отличался от яви. И во сне они дотошно обшаривали его карманы, просили хлеба и тянулись к нему своими маленькими пальцами. А он от своих детей убегал. Убегал в холодном поту, зная, что должен непременно вернуться. Временами вдруг задышался от ужаса, просыпался и снова тяжело забывался на короткое время. И снова дети преследовали его, и он, протягивая руки, умолял кого-то о милостыне. Но во сне ему обыкновенно никто ничего не давал. Он тоскливо ждал наступления ночи, ждал, когда уснут дети, чтобы незаметно войти в свой дом и лечь. Но ночь в его снах почему-то никогда не наступала, а дети никогда не засыпали.

Этот сон он запомнил до мельчайших подробностей. Вот он входит в свой дом, в свою комнату. Смотрит на постели, где должны спать дети. Но их не видит. Только одни протянутые руки, их мольба о хлебе. Он пристально смотрит туда, где должны быть дети. Но нет, никто не шевелится. Холодный пот выступает на лбу. Наконец он начинает различать их под одеялами, ему видно, как они дышат, ровно и спокойно, успокаивается и он сам... Просыпается, снова засыпает и спит на этот раз до утра...

Взошло солнце, но дети на этот раз, к счастью, не про-
снулись вместе с ним, и Ашур, выйдя со двора, торопливо
закинул на плечо свою почтовую сумку. Выйдя на одну
из узеньких боковых кишлачных улиц, он даже что-то за-
мурлыкал себе под нос, вроде бы он когда-то любил эту
песенку на какой-то неопределенный мотив. Снова вспом-
нилось:

Как хорошо,
Как хорошо.
Оставаться одиноким.
Как хорошо,
Как хорошо.
Бродить по улицам...

Навстречу ему шли машины, возившие в район зерно.
Первой оказалась полуторка Сали, которая вдруг неожиданно стала, и Ашур увидел, как его друг бессильно упал грудью на баранку. Это испугало, показалось странным. Ашур осторожно приоткрыл дверцу кабины. Сали зашелся в кашле, сплевывая в носовой платок.

— Хорманг! — уныло приветствовал Ашур приятеля, будто был виноват в его нездоровье.

— Скорее, скорее бери свои письма! — тяжело дыша, прохрипел Сали, глотая воздух, словно рыба, выброшенная на берег. — Мне скорее бы до дому добраться. Вот видишь, кровь...

И он показал Ашuru белый платок весь в пятнах.

— Что поделаешь, друг? — прошептал с отчаянием Ашур. — Если бы я только мог, я бы вылечил тебя, честное слово!..

Бедный Сали, думал он потом, разнося письма. Кровохарканье, это, наверное, значит, что легкие уже не справляются, истощились совсем. Сколько можно так протянуть? А все проклятая война. Кабы не она, повез бы его в городскую больницу, смотришь, и вылечили бы. Как Алишера, соседа его, тоже ведь туберкулезом болел, еще до сорок первого. Долго лечили, потом в санаторий отправили. Правда, не взяли на фронт, но ведь жив же сейчас, работает... А теперь в городской больнице госпиталь, там только раненые, куда уж тем, кто в тылу. Не до них.

Вот кончится война, обязательно так и сделаю, решил Ашур. И вдруг с какой-то пронзительной грустью подумал: а девять дней, разве это легче, чем даже такая тяжелая болезнь, как у Сали?.. Нет, не знает он, легче ли, труднее ли, не решить такое. Им обоим тяжело. Каждо-

му по-своему. Разве ему, Ашуру, легко работать почтальоном? Все, наверное, думают, что легко. Подумаешь, прочитай на канферте да разноси по адресам. Но ведь никто не знает, что все письма, которые получают адресаты, он сам сначала внимательно читает. Зачем? А как же! Он не может этого не делать. Тогда письма, которые должны порадовать, он нес смело. Стучал в дверь громко, вручал с легким сердцем. Те же, что содержали неприятные новости, осторожно просовывал в дверную щель и поскорее уходил, чтобы не встретиться с хозяевами.

Или вот еще похоронки. С ними вообще одно горе. Его терзало постоянное чувство вины перед теми, кому он их приносил. А они, наивные люди, вели себя с ним так, будто он сам писал эти похоронки, будто сам начал эту проклятую войну. Сталкиваясь с ним позже, через несколько дней, одни проклинали его, даже оскорбляли, другие — не замечали вовсе, проходили мимо не здороваясь. Он сносил все молча и терпеливо, понимал, что в несчастье человек и не на такое способен. По себе знал. Но как объяснишь это? Ведь письма идут издалека, иногда тысячи километров в пути. Пишут их люди разные, военные, штатские, иные идут из государственных учреждений. Но разве поймут это те, кому они предназначены? Виновником всего считают Ашура, принесшего дурную весть. Кого ж еще? Больше они никого и не знают... кроме него.

Вот до войны никто не получал дурных вестей, во всяком случае, он лично не помнит такого. Вообще те годы вспоминаются только как счастливые и радостные. Отец его, Тимур, человек уважаемый, работал в колхозе полеводом, мать дома, по хозяйству хлопотала. Колхоз набирал тогда силу, с каждым годом росли урожан, по трудодням столько, бывало, давали, что носить не переносить до дому. Он помнил, на улицах полно детей, в кишлаке с утра до вечера шумно. Свадьбы играли во всякое время года — весной, летом, зимой, осенью... Все, кто жили в их горном кишлаке, считали друг друга родственниками. Старики с гордостью рассказывали, что все они вышли из одной семьи, поэтому главное, мол, уважать друг друга, помогать, когда нужно. Это он помнил хорошо, так и поступал всегда. Так и было заведено у них: никто никого не унижал, все делалось сообща. Когда началась война, все словно бы забыли сразу, что они родные. Куда девались прежнее гостеприимство, радушие, — каждый за своей дверью, часто запертой ото всех. Стал пропадать скот.

А ведь кому взять, как не своим? Война вносила разлад не только между соседями — между матерью и отцом, между братом и сестрой. А уж о еде и толковать нечего — каждый о своем казане заботился. Ашур это понял, особенно когда вернулся в сорок втором инвалидом. Конечно, многие помогали ему и теперь. Но некоторых он просто не узнавал: будто подменили.

Многодетный Ашур с рассвета до заката стал разносить по домам почту. Теперь это стало его работой. Уставал, конечно, сначала как собака. Потом попривык. Да и еда какая, с нее и ноги протянуть недолго. Когда же домой приходил, то ждал ночи, чтоб дети уснули. Тянуло его все время побродить по родному кишлаку, подумать о жизни. Вот и ходил он, когда были силы, иногда часами, и размышлял о том о сем. Как он был солдатом, как служил. Вспоминал бой под Москвой, отступление. Трехдневное тяжелое сражение за маленькую деревушку со смешным названием Сосенки. Вспоминал, как заряжал, как глохнул от разрывов снарядов. Засел в памяти и тот день, когда их жестоко однажды бомбили, как тяжело ранили и он попал в госпиталь на лечение в Москву. А вот уж из госпиталя дороги на фронт ему больше не было — вышел оттуда с одной ногой и белым билетом. Всплывали в памяти первые часы на родной земле после фронта. Помнил, как ждал машину в райцентре. Не дождавшись, пошел — поковылял пешком, а переть надо было без малого десять километров, это на одной-то ноге!.. Помнил, как зашлась в слезах жена, которая и увидеть его живого уже не надеялась. Да, много чего насмотрелся он за свой недолгий, в общем-то, век, война теперь была далеко, очень далеко, за тысячи километров от кишлака. Но он понимал, что война была и тут, где не рвались снаряды и не оглушали стоны раненых. Здесь иной раз было пострашнее, чем там, на фронте: здесь были голодные дети. Не только его, но и тех других, кто погиб в боях за Родину. Дети целый день просили есть. Взрослые голодали, но молча сносили лишения, потому что понимали, словами тут не поможешь. Все отправляли на фронт. Для победы. И как же могло быть иначе? Ашур все это хорошо понимал. Фронту нужен хлеб, поэтому его не было здесь, в кишлаке. Голодала вся страна, все люди, и это сознание общности в беде помогало переносить многое. Но ведь все это не объяснишь детям, его и другим: они просили есть, просили хлеба, которого не было.

В тот вечер Ашур, разнеся почту, снова и снова мучительно думал об одном и том же — о детях. Сегодня он обнаружил, что пора бы и сумку для писем заштопать, а то, не ровен час, и письмо какое потеряешь. Он шел сторбившись, стараясь, чтоб не стучали костыли на подходе к дому. Изю всех сил сжимал их, сжимал до онемения рук, все медлил, отдавая те неизбежные минуты, которые неумолимо приближались: они, как всегда, станут просить есть, и он снова будет искать спасения от этих маленьких пальцев. Последние дни не было минуты, чтобы он не думал об этом. Он постоянно видел перед собой эти пальцы, а в уши назойливо лезло одно слово: ХЛЕБ. Он чувствовал, что медленно сходит с ума.

Остановился он у ворот своего дома, когда уже взошла луна. Что толку оттягивать эти минуты, подумал он с отчаянием, все равно рано или поздно нужно будет войти, никуда от этого не денешься. Ашур заглянул в отворенную калитку, крепко потер рукавом гимнастерки лоб. Слава богу, кажется, все спят. Сейчас он войдет и тихо, чтоб никто не слышал, уляжется в кровать, зароется головой в подушку, а там пусть с ним делают что хотят, убьют, мучают, он будет молчать и спать... Спать! Спать!.. Господи, да про кого же он так думает, кто его собирается убивать, мучить! Все это его разгоряченный мозг, его больная фантазия, расшатавшиеся вконец нервы... Дети, что ли... тьфу! Прямо черт знает что происходит с ним в последнее время. Уже и в руках он себя не может держать... Кажется, спят все. Может, хоть одну-единственную ночь поспит и он спокойно?

Без единого звука добрался он до большой комнаты. Там вроде спокойно и тихо. Даже дыхания детей не слышно. Но как только он открыл дверь в соседнюю комнату, до него донесся вдруг шепот, который мгновенно оглушил его: «Приш-ш-ш-ел, при-ш-ш-ш-ел! Отец пришел!»

— Бог ты мой! — в сердцах закричал он, попятившись к двери, и тут же больно ударился головой о низкий косяк. Из глаз его словно искры посыпались.— Бог ты мой!! — закричал он теперь что было мочи.— Почему вы не спите? А? Почему не даете мне ни минуты покоя!.. Изверги! Нет, нет, нет у меня хлеба!..

Ашур обхватил голову, зажал уши и закачался из стороны в сторону, издавая какой-то протяжный мучительный стон. И тут он опять почувствовал, как его достают детские пальцы, осторожно, нежно поглаживают по ногам,

Эти пальцы все ближе и ближе, вот они уже на груди, в которой нестерпимо болит и ноет сердце, его сердце, которое уже не в состоянии этого выносить, вот они уже прикоснулись к шее... Комната переполняется пальцами, в голове пульсирует: «Хле-ба, хле-ба, хле-ба».

Ашур гневно в ярости поворачивается, хватается за ручку двери, но она почему-то не поддается, не открывается. Он дергает ее изо всех сил и чувствует себя захлопнутым в капкане.

«Папа! папа! Е-э-э-э-сть!» Лицо его кривится в болезненной судороге.

— Да замолчите ли вы, наконец! Ваш отец не хлеб, а несчастье вам принес! Надоели вы мне все, ох как надоели! Почему меня не убило там? Снарядом, бомбой?! Почему! Лучше бы мне умереть, чем видеть вас такими! Будь проклята война! Будь...

Он захлебывается собственным гневом. Не может больше произнести ни слова. На его крики выбегает Асолат, бросается к нему.

— Ашур, дорогой, опомнись! Успокойся! Да успокойся же ты, наконец!— Она повисает у него на руке, обнимает его, словно маленького ребенка, шепчет ласковые слова.— Ты же отец детей! Какой пример ты подаешь им? Нельзя говорить такие слова, Ашур! Как могут надоесть дети? Есть несчастные люди, Ашур, у которых никогда их не было и не будет. Вот это несчастье! Такие люди молят бога о милости, чтоб он им дал хоть одного ребенка. А ты... ты... говоришь, что хочешь умереть из-за них... Не будь неблагодарным... Дети, идите, идите отсюда, оставьте в покое отца! Он устал, спать хочет. Нет, нет, они не будут больше просить хлеба... Ведь не будете, дети, не будете? Ну, милые, ну, хорошие, идите к себе в комнату! А я папу уложу...

Голос Асолат тих и ласков. Он всегда действует на детей умиротворяюще. Вот и теперь они, столпившись было у кровати, на которую лег Ашур, отвернувшись к стене, послушно уходят спать. Как только за ними закрывается дверь, Ашур резко поворачивается лицом к Асолат, хватая ее руки, тыкается головой ей в грудь.

Он любил свою жену, но редко проявлял эту любовь, был скуп на ласку. Он любил ее, как ему казалось, всю жизнь, с раннего детства, когда они еще детьми бегали вместе в школу. И позже, когда она из ребенка превратилась в милую застенчивую девушку. И когда она стала

его женой. Другое дело, что он не всегда отдавал себе отчет в этом глубоком чувстве,— она всегда привычно была рядом, и не нужны были какие-то объяснения. Да и не принято было в их семье нежности разводить с женщинами. Асолат же всегда знала о его любви, знала, что он к ней относится совсем не так, как мужья многих ее сверстниц к своим женам. И была ему всегда за это благодарна.

Вот и теперь она понимала его душевное состояние, всем сердцем желала помочь ему облегчить его мучения. В душе Ашура еще не улеглись недавние смятение и боль, он хотел и жене своей сегодня сказать, что, мол, и она виновата в его мучениях,— зачем им столько детей, зачем было рожать их подряд, ведь есть же средства, чтобы... Да о чем он думает, несчастный! Он знал, что через минуту возненавидит себя за эти мысли, и хотел все это сказать своей Асолат! Безумец! Он тяжело дышал, всхлипывал, и жена понимала это как его раскаяние в недавних несправедливых словах о детях, считая молчание его естественным.

Асолат прикорнула рядом, намаявшись с ним и с детьми. Спать он не мог, да и не хотел. Собственная недавняя вспышка гнева испугала его не на шутку. Чувство вины и раскаяния не проходило, не давало покоя. В голове засела единственная мысль: надо что-то предпринять. Куда-то идти, что-то делать. К кому можно еще сходить в их кишлаке? Разве что к раису? Да, он теперь, сейчас и пойдет прямо к нему. В конце концов, представитель власти обязан помогать колхозникам в трудную минуту. Поздний час не помеха, тем более вон и окна в раисовом доме еще светятся... Ашур встал, тихо, чтоб не разбудить Асолат, вышел на улицу.

По каменистой тропинке стал медленно взбираться на гору. Лишь накануне он проделал точно такой же путь, когда ходил к тетушке Анаджан. Вот и снова пришлось идти в ту сторону — дом раиса как раз напротив вдовы мельника. По мере того как приближался к нему, росла волна возмущения против председателя. Наверняка, думалось ему, у раиса-то уж дом полная чаша. Сидеть при хлебе и оставить голодной семью — конечно, такого и быть не может. Когда же он подошел к запертым воротам, мысль эта укрепилась в нем окончательно, поэтому с несвойственной его характеру грубостью он трижды ударил сапогом в эти ненавистные ворота. Стучал громко, настой-

чиво, так, что на этот стук повывскакивали из соседних дворов собаки и стали громко на него лаять. Не обращая на них внимания, Ашур стучал до тех пор, пока испуганный девичий голосок там, за воротами, не спросил:

— Что вам нужно?

— Открывай! — Ашур последний раз пнул ворота ногой. — Не то разнесу все к черту!

— Отец! Мне страшно! — громко позвала девушка. — Там сумасшедший какой-то! Грозится все переломать!..

Послышались уверенные шаги, и теперь уже мужской голос спросил:

— Кто это там поздно? И что нужно?

— Открывайте, открывайте!

— Ашур? Ты это, что ли? — узнал раис, в голосе его было удивление. — Что случилось? Несчастье?

Ворота тотчас открылись, и к Ашuru вышел высокий худой человек. Глаза его слезились, были красны. Он внимательно с тревогой поглядел на Ашура.

— Да, да, несчастье! — Ашур нервно переступал ногой с места на место. — Если б все было хорошо, разве б я пришел к вам?

— Брат, да говори ты потише, час поздний, и люди все спят. Перебудим, того гляди. Да и у меня последние дни с сердцем неладно. Так что давай успокойся!.. Что случилось? Говори, наконец!

— Надоело мне, раис-ака, все! Дети голодные. Почему не интересуетесь, как живут ваши колхозники? — Голос Ашура готов был сорваться на крик. — Какой вы председатель? Ваш бригадир, Алмат, не разрешает моей жене колоски собирать! Почему? Ведь все уже сдали. Пусть лучше в поле сгниют? Да? Э-эх, да что с вами говорить!.. — в сердцах заключил он.

— Понимаю, понимаю тебя, брат! Всем нам нелегко. Что поделаешь, война. Если наш солдат на фронте голодать будет, то как врага одолеем? Плохой вояка голодный солдат, сам по себе знаешь. И я ведь, Ашурджан, не лучше тебя живу. Войди в дом, если не вернешь — обыщи. А колоски... тебе разреши, так и другому...

Лицо раиса болезненно скривилось — то ли от подступившей к сердцу боли, то ли от собственных слов, которые пронести ему было не так легко.

— Обыщи, обыщи! — совсем раскипятился раис. — И если что найдешь, отдай меня под суд!

Нечего было на это возразить Ашuru. Он как-то сразу

сник, куда делась его недавняя решительность, он и сам не мог бы объяснить. «Обидел человека, только и всего», — пронеслось в голове. Раис видел, как подсыновали его слова на Ашура, и от неловкости только что сказанного не знал, как теперь поступить. Наконец, решив нарушить неловкость, пригласил нерешительно:

— Заходи, там жена приготовила болтушку... Поешь немного.

— Нет, нет, что вы! Мне не надо. Можно, лучше детям отнесу?..

— Ну смотри, детям так детям... Эй, — закричал он обернувшись, — Анор, выйди-ка на минутку! Принеси немного той муки, которая у нас еще осталась!..

Почти тотчас же вышла большеглазая, темнобровая Анор, жена раиса, и протянула Ашуру маленький мешочек.

— Вот все, что есть...

— Простите меня, Сатти-ака, — сказал Ашур, взяв муку.

Его душили слезы, раис видел это.

— Измучился я, иначе разве бы решился прийти?

— Ничего, ничего, я ведь не обижаюсь на тебя, брат, ты понимать должен. Знаю, все война. Если б не она, проклятая, разве такой тихий человек, как ты, стал бы ворота ломать? Иди успокойся, чего уж там...

Не оглядываясь, побрел домой. У калитки его встретила Асолат — не спала. Еще издали, завидя ее и не удивившись, почему она не спит, он подал ей мешочек.

— Вот муку принес. Немного, правда. Дядя Сатти передал. Утром болтушку сделай для ребят. Там на три дня хватит... Все-таки пока...

Ашур обнял жену, потерся щекой об ее щеку:

— Прости меня, Асолат, за все...

— Нет, Ашур, это ты меня прости, может быть, что не так делаю...

Он крепко прижал ее к себе, и в этом объятии было столько нежности, боли, столько невысказанного, но Асолат понимала его и без слов.

Завтрашний день, как и все перед тем, был занят у Ашура письмами. Их было много, очень много, он едва успел их разнести — люди ждали, он не хотел оставлять до следующего утра ни одного, хотя никто не проверял, когда он их доставляет. Днем он несколько раз проходил мимо своего дома, но так и не заглянул туда ни разу. И, колеся

по кишлаку, нет-нет да и спохватывался: чем-то он сегодня обрадует своих ребят. Наконец поздно вечером, когда почтовая сумка его опустела, он поплелся к себе. Подходя к воротам, услышал, что дети не спали. Поглядел в чуть приоткрытую калитку и увидел, что Асолат что-то рассказывает им, а сама то и дело поглядывает на ворота: ждет его. Ашур постоял еще немного, подумал, сколько он еще сможет вынести такое, когда дети перестанут ждать его с хлебом, настанет ли такой час, когда он будет входить в родной дом с радостью, а не с щемящей тоской. Ну, кончится мука, которую он вчера принес, ну, еще дня на три-четыре хватит, а там — к кому идти, у кого просить. Нет, он решительно не знает, кто ему может теперь помочь. Вот, оказывается, когда наступали самые тяжелые дни, а он-то думал, что тяжелее пережитого уже и быть не может. Теперь он был совершенно уверен, что все его хлопоты ни к чему не приведут. Это была безысходность. Полная безысходность.

Мысль эта, пронзившая вдруг все его существо, заставила резко распахнуть калитку и устремиться к полуразрушенному коровнику, который стоял на отшибе от дома, так что Ашура никто не должен был заметить. С трудом отворив покосившуюся дверцу, он шагнул за порог, и на него тотчас повеяло нежилым, затхлым воздухом. Он нагнулся, раскидал костью старые вязанки гузапай, которые лежали тут с незапамятных времен, и вытащил из угла длинную старую веревку. Резким движением свернул ее, сунул в сумку. Потом крадучись, словно вор, вышел из коровника и, пользуясь темнотой, неслышно проскользнул за ворота. И на этот раз никто не заметил. «Ну, и слава богу», — подумал он. Еще неизвестно, исполнил бы он задуманное, если б его в эту минуту окликнула Асолат или кто-то из детей. Не оглядываясь, быстро, как только мог, пошел он прочь от дома, но не туда, откуда всегда начинал свой путь каждый день с письмами, а под горку, вниз, к реке.

Вот и идешь ты в свой последний путь, Ашур, горестно подумал он о себе. Наверное, правильно ты решил. Ведь помогает же государство вдовам, у которых муж убит на фронте. Теперь и его семье помогут, ведь она останется без кормильца... И дети не будут голодать как при нем, ведь он, надежда семьи, не оправдал этого высокого звания — отец!..

Вот уже и мост через речку остался позади. Дальше

тропинка снова вела в гору, к кладбищу. Идти было недалеко. Его не пугала ночная тишина, которая здесь, за рекой, была какой-то особенно ощутимой. Неживой. Так оно и должно быть, считал всегда Ашур, ведь здесь последний приют успокоившихся на веки вечные людей; эта тишина торжественная; те, кто похоронен здесь, заслужили эту тишину своей жизнью. И отец его, и мать, и муж тетушки Анаджан... и многие из тех, кого он знал в течение своей жизни.

Под ногами шуршали опавшие листья, их было много, очень много, ноги буквально тонули в них, и только шуршание это парусило покой, царивший здесь.

Ашур все шел и шел. К тому высокому карагачу, который был виден даже из их кишлака,— такой он вырос высокий и могучий, словно таинственный исполин, распростер свою густую крону над захоронениями. Только этот карагач мог теперь спасти Ашура. Спасти от отчаяния видеть каждый день голодными своих детей. От постоянной боязни входить в свой собственный дом. Искать хлеб. От преследовавших его маленьких пальцев... Так он решил. Так и будет. Вернее, поправил он сам себя, жизнь заставляет пройти на этот последний шаг...

Он подошел к карагачу совсем близко, встал в тень его могучей кроны, прислонился к стволу. Потом, опираясь на костыль, оттолкнувшись, схватился одной рукой за толстую нижнюю ветвь, пригнул ее и закинул на нее один конец принесенной веревки, из другого сделал петлю, все это он делал хладнокровно, решительно, словно дело шло не о его жизни, а о чем-то постороннем, его вовсе не касающемся. Он так и не понял, как это ему удалось, не помнил, как поднялся на дерево — наверное, в таком состоянии человек может все. Он надел на шею петлю, другой конец веревки привязал к ветке, крепость которой, он теперь знал, была надежной, потом, обнимая могучий ствол, стал медленно, с трудом подниматься. Сантиметр за сантиметром. Руки и ноги не слушались его, но какая-то неестественная сила поднимала его все выше и выше, пока он не очутился на нижней ветке, не встал на нее. И вдруг затуманенное сознание мгновенно прояснилось: перед глазами встали дети, его дети! Все сразу. Все девять. Они изо всех сил стучали в какие-то двери, протягивая руки, просили: «Подайте бедным сиротам, мы без отца!»

Его дети просили милостыню! Ашур задрожал так

сильно, что эта дрожь помимо его воли вытолкнула из легких крик:

— Нет! Нет! Нет! Они никогда не будут просить милостыню! Я не хочу этого! Не хочу!..

Крик откликнулся эхом, наполнив гулом тишину.

Ашур невероятным усилием унял дрожь, замер на секунду.

— Дети мои милые! Что же это я задумал сделать?

Он трясущимися руками сдернул с горла веревку, отвязал от сука и закинул ее далеко-далеко. И там, где она упала, показалось ему, бегут его дети, бегут к нему и кричат: «Отец! Отец! Вернись скорее! Мы не хотим хлеба, мы не хотим есть! Нам нужен ты!..»

Он отдохнул в неподвижности несколько мгновений и сантиметр за сантиметром проделал страшный обратный путь.

Когда он пришел домой, было уже за полночь. Безмятежная луна плыла в синем небе. Свет ее проникал в комнаты. Он вошел, как всегда прежде,— не остерегаясь разбудить кого-нибудь. Все спали. Чутко прислушавшись, Ашур уловил дыхание спящей жены и детей. Радость переполнившего его чувства вновь обретенной жизни, родного дома, детей наполнила все его существо, и он что было мочи закричал:

— Почему вы спите? Почему сегодня не просите у меня хлеба?!

ДВЕНАДЦАТАЯ ОСЕНЬ

У потемневшей от дождей и времени изгороди дремала тигровой масти собака Актумшук — Беломордый. Внутри загона ржали, кусались и били землю копытами лошади. На могучие горы с острыми, как кинжалы, скалами, на долину, окутанную золотистой дымкой, опускалась ночь. Подул пронизывающий осенний ветер. Из юрты, расположенной в низине за загоном, послышался голос Ташмата: «Хайт-хайт!» Собака подняла голову и невольно загляделась на горизонт. Круглый огненный шар закатывался за озеро на краю долины, кроваво-багровый цвет горизонта медленно затухал, его место занимала туманно-белая завеса. Собака уловила это изменение. Потом перед глазами Беломордого замутнело, он больше ничего не мог различить. Да и что могло быть дальше? С заходом солнца мир погружается во тьму. Актумшук понял это еще щенком. Он повернул голову назад и бросил взгляд туда, где горы. Но не различил, как обычно, вершин, подсвеченных невидимым солнцем. А ведь он всю жизнь видел, как скалы до полуночи освещались невидимыми лучами невидимого солнца. Вскоре на горы польются дожди, затем их покроет снегом. Придет зима. Не сегодня завтра люди разберут юрты, навьючат скарб на лошадей и тронутся в путь. Долина, озеро, горы останутся позади. Собака думает об этом с того дня, как горы окутали тяжелые тучи, подул шальной стальной ветер. Наступила осень, которую Актумшук так ждал. Не заберет ли его с собой Ташмат? Вряд ли. Чует это душа собаки, ох как чует. То-то Ташмат не обращает на него никакого внимания. И это особенно больно Беломордому.

Встревоженно заржали лошади. Ташмат закричал на них свое обычное: «Хайт-хайт!» Но лошади не успокаивались. Теперь уж это до утра. Ни людям сна не будет, ни Актумшуку. А вообще, посудить, кто и принимал его, Ташмата, всерьез, кроме Актумшука?! Он и с чабаном находил общий язык, и лошадей понимал прекрасно, словом, исполнял свои обязанности беззаветно.

Собака подняла голову, чтобы взлзать, но грудь что-то

туго стянуло, из горла не вырвалось ни звука. Вот так Актумшук встречал свою двенадцатую осень, немощный, одиноко лежащий у ветхой изгороди на пожелтевшей, крошащейся траве. Собака, которая столько лет охраняла коней от волков, имя которой принесло Ташмату почет и уважение, достигла предельной черты. Стала никчемной, ненужной тварью. Это она поняла сегодня впервые, вернее, об этом дало ей понять безразличие Ташмата. Она не может обглодать кости, как бывало, мясо проглатывает непрожеванным, а потом всю ночь мается болью в желудке. Не стало в ней прежней легкости и ловкости. Нет-нет да и схватывают ее тело судороги. Пропал аппетит, душа лежит только к мягкому, легкому. А Ташмату на все это наплевать.

Актумшук хорошо помнит свою молодость, полную буйной молодеческой силы. Тогда он ни в чем не знал отказа. Ташмат кормил вначале его, лишь потом сам садился за еду. В самые худшие времена хозяин старался хотя бы дважды в неделю накормить свою собаку холодным мясом. А теперь вон дышит не надышится на щенка с черными лапами и белой шеей, которого недавно принес. Конечно, не слишком-то приятно видеть такое псу, умудренному жизнью. Но Актумшук больше всего страдал оттого, что не может лаять по-прежнему — яростно и громко, судороги растягивают его по земле беспомощной грудой мяса и костей, да и боли в желудке причиняют немало мучений. Шерсть его извалялась, повылезла, уши начисто заложило, и в голове что-то постоянно гудит.

Собака попыталась лизнуть свой черный нос красным, сверху обложенным белым языком, но не смогла, тяжело, беспомощно застонала. Потом, почувствовав, как в теле рождается и растет нестерпимая боль, встала на ноги и, прижимаясь левым боком к изгороди, чтоб не упасть, побрела к человеческому жилью. Она то отходила от изгороди — и тогда чуть не падала, то больно ударялась головой о колья, но упрямо со стоном продолжала свой путь. Ей стоило больших трудов преодолеть даже такой пустяк, как вмятины от лошадиных копыт.

Собака остановилась неподалеку от юрты, похожей на тубетейку, заглянула внутрь, надеясь услышать ласковый зов хозяина: «А, Атумшук! Ну, иди же, иди!» Голоса Ташмата она не услышала, но вдруг почувствовала, что бока ее коснулось что-то мягкое и теплое, потерялось о ноги. Это был тот большеголовый, с черными лапами и бе-

лой шеей, щенок. Актумшук едва различил его при свете, падавшем из дверного проема юрты, скорее всего, он увидел его каким-то внутренним взором. Когда-то он тоже был таким пушистым и глупым, не в меру неугомонным.

Актумшук зарычал, ощерившись, схватил зубами несмышленища за загривок и отшвырнул в сторону. Щенок шлепнулся на землю, вскочил и, поджав хвост, с жалобным визгом убежал в юрту.

Старая собака степенно приблизилась к большой миске и, наклонившись, обнюхала куски мяса в ней. Запах мяса приятно щекотал ноздри, и Актумшук с неприсущей ему проворностью выхватил кусок и принялся поспешно жевать. Этим самым мясом, понятно, Ташмат угощал белошеего щенка. Когда-то давным-давно Актумшук тоже был глупым большеголовым щенком, и Ташмат угощал его самыми лакомыми кусочками, а старую рыжую собаку гнал прочь. Когда Актумшук по недомыслию полез к ней лизаться, она злобно клацнула клыками, чуть не перегрызла ему горло. Старая, бессильная, собака эта не нужна была более Ташмату, вот она и выместила зло на глупом щенке. Правда, Актумшук этого тогда не понимал, а чуть повзрослев, набравшись сил, сильно потрепал рыжую, отомстил, что называется.

После этого рыжая исчезла, ее место накрепко занял Актумшук. Теперь вот все наоборот, его место предназначено белошеему щенку, и тот, конечно, постепенно выживет Актумшука.

Ноги собаки коснулись чего-то мягкого и теплого. Она поняла, что это курпача, небольшое одеяльце, постланное на земле для белошеего. О старой собаке Ташмат так бы не пекся. Раньше, правда, заботился, да все это быльем поросло. Тогда ведь он, Актумшук, был молодым и сильным и Ташмат в нем нуждался.

Старая собака собралась было уходить, когда из юрты выбежал щенок и стал стелиться перед ним, заигрывая. Молод да глуп, не умеет таить зла. Актумшук еще малость потрепал дурачка.

— Эй, старая развалина! — заорал Ташмат, высунув из юрты голову. — Ты чего это кусаешь щенка? Пошел вон с моих глаз!

Актумшук посмотрел долгим взглядом на хозяина, точно хотел сказать: «Эх, человек ты, человек, совесть есть у тебя или нет? Двенадцать лет я служил тебе верой и правдой, а теперь стал не нужен, когда состарился?» Ах,

если бы собака могла заговорить! Вся беда в том, что у нее нет языка, а так ведь она все понимает, что говорят и делают люди, чего от нее хотят. Потому-то она так хорошо и служила им. Вся разница между людьми и ею в том, что люди умеют говорить, а она, собака, бессловесна. Человек потому и добился таких высот, что умеет говорить. Все, что есть у собаки,— это рассудок. А он велит ей быть беспредельно верным своему хозяину, служить ему, оберегать лошадей от волков. Это-то Актумшук умел делать хорошо. И за это он получал еду. В счет не шли пинки, которыми награждал его Ташмат, когда приходил пьяным. Да и жена хозяина, будучи не в духе, била его.

С появлением щенка Актумшук старался еще лучше исполнять свои обязанности, чтобы Ташмат увидел это и оценил. Но тот и не старается понять старую собаку, а если и понимает, то все равно делает вид, что ничего не происходит. Месяц тому назад подрались два жеребца. Актумшук бросился между ними, чтоб прекратить драку. Черный жеребец так лягнул его тогда, что Актумшук отлетел далеко в сторону, растянулся на земле и долго не мог прийти в себя. Никто не пожалел пса, он сам, один должен был совладать с болью и обидой. Что поделаешь, такова, видно, собачья участь! Если бы у Ташмата была хоть капелька совести, то он не бросил бы любимую собаку на произвол судьбы, проучил бы злого жеребца. А он даже пальцем не шевельнул. Потому что собака уже старая, ей уже и замена подготовлена, а жеребец молод, еще послужит хозяину.

Собака беспомощно огляделась по сторонам, но ничего не увидела во мраке ночи. Только холодные звезды сверкали над головой. Раньше собака любила весну и осень. В эту пору бывал хороший аппетит, она чувствовала с особой какой-то новизной силу и мощь своего молодого тела, так нужные в ее нелегкой службе. Ничего другого она и не желала, кроме здоровья.

Актумшук наконец добрал до своего места, лег, положив голову на вытянутые передние лапы, долго вслушивался в ночное безмолвие долины. Эта тишина становилась жуткой, нагоняла страх на старую собаку. Такой страх Беломордый почувствовал впервые. Значит, дело идет к концу. Ведь старость— это и есть страх. Собака еще ни разу не ощущала такого страха, хотя за свою жизнь перевидала немало...

Недельный щенок тигровой масти лежал в темной

комнате на мягкой шуршащей пахучей соломе. Рядом спали еще два щенка. Из отверстия в крыше падал косой столб света, и щенок, увидев его, поразился. При этом свете он впервые увидел мать, узнал ее. Она была той же масти, что и он, Актумшук. Вскоре он стал вслед за матерью выбираться на улицу, а вернувшись, теплым комочком прижался к матери и сопя сосал теплое, вкусное молоко. Однажды, едва лишь он вышел во двор, его подхватил на руки высокий худой человек. Щенок жалобно взлаял, глядя на мать, но та ничем ему не могла помочь. Больше он не видел ни мать, ни братьев. В новом доме щенка встретили два мальчика, они долго тискали его, потом палили молока в глиняную миску. Видно, он очень долго скулил и оттого заболело в желудке. Щенок попробовал вылакать молоко. Но оно было не такое вкусное, как материнское. Да что поделаешь, пришлось привыкать.

Ташмат в ту пору прямо-таки дрожал над щенком, хотя, правда, сварливая жена чабана почему-то терпеть его не могла. Увидит Актумшука, орет, потрясая кочергой: «У-у, страшилище! Пошел вон, пошел, чтоб глаза мои тебя не видели!» А потом Ташмат завел привычку скандалить. Придет домой пьяным и швыряет в жену все, что под руку подвернется. Та же в долгу не оставалась, потом дня на два, на три исчезала из дома. Когда родители ссорились, детишки дрожа забивались в угол, испуганно плакали, Актумшук заслонял их собой, недовольно бурчал на разбушевавшихся супругов. Как-то Ташмат швырнул в жену глиняную чашу, а угодил Актумшуку в голову, после чего рана кровоточила два дня. Но и после этого Актумшук всегда защищал детишек.

— Уйду я отсюда, надоело! — закричал однажды Ташмат.

— И убирайся! — ответила жена. — Вот увидишь, я тебя когда-нибудь обязательно засажу!

— Ты, Актумшук, — обратился Ташмат к собаке, — останешься тут, будешь защищать детей от этой дурехи!

Собака посмотрела на женщину, на ребятишек, потом побежала за хозяином, жалобно скуля. Ташмат и пинал собаку, и ласково уговаривал, но не смог вернуть ее назад. Так они вдвоем и ушли. Какое-то время жили у брата Ташмата.

Когда стаяли снега и пошли дожди, Ташмат погрузил свой скарб на арбу и погнал табун лошадей в сторону гор. Шли они два дня и наконец достигли зеленой доли-

ны, раскинувшейся у подножия гор. Далеко внизу плескалось большое голубое озеро. Лошади целый день паслись в долине, к вечеру резво спускались к озеру. Это была самая счастливая пора Актумшука. Ташмат любил и холлил его, а Беломордый ночами ходил вокруг загона, яростно лаял, почуяв малейший шорох. Потом Ташмат стал пропадать вечерами, возвращался к себе в юрту далеко за полночь. Собака, конечно, не могла знать, что хозяин решил жениться. Через некоторое время он привел с собой высокую белолицую женщину с длинными косами. Она сразу полюбила собаку, кормила ее три раза в день. Да, эта женщина всегда была добра к собаке. Но у нее не было детей, за что она сильно изводила себя. Ну и что, что нет детей?! Хороший ведь она человек! А хороший человек, он всегда хороший, есть у него дети или нет.

В загоне заржала лошадь. Собака попыталась определить, черный жеребец это или рыжая кобыла. Должно быть, рыжая кобыла. Непokoйный у нее сон, кошмары какие-то мучают. Почему не слышать Ташмата? Спит небось. Вся земля спит. Только она бодрствует, собака. Да и что с того, спит она или нет? И так остались считанные деньки, не за сном же проводить их... Все же Ташмат нехорошо поступил, принеся белошеего щенка. Мог и погодить малость. Если бы Актумшук не видел щенка, ему легче было бы уйти. А то он и так не представляет, как будет расставаться с этими конями, с тем же Ташматом, с его женой, с золотой долиной и даже с этим жгучим холодным ветром... А тут еще этот щенок — новый любимец хозяина! Порой собаке становится до того худо, что она начинает дрожать и, чтобы хоть как-то унять тоску, принимается хрипло лаять. Да, Ташмат зря принес этого щенка раньше времени. Двенадцать лет жил на этом свете Актумшук, и, как он считал, счастливой жизнью. Он был сторожем лошадей, защитником Ташмата, в его силе, ловкости, верности нуждались. А каким он был могучим! Заслышав его рык, волки не осмеливались спускаться в долину. А сам Беломордый их не боялся ничуть, по пустякам не лаял, а когда появлялась необходимость — превращался в льва, молнией бросался на врага. Вот в ту пору он и загрыз насмерть волка. Да, страшный был бой. В ту ночь шел проливной дождь. Собака продрогла, подошла к юрте и прилегла на теплую сухую кошму. Только смежила глаза, как в загоне забегали, встревоженно заржали кони. Актумшук перемахнул через изгородь. В середине загона ва-

лялась на боку рыжая кобыла, вокруг нее копошились какие-то тени. Волки! Собака прыгнула на ближайшего из них. Это оказался громадный, неимоверной силы хищник. Он на лету подхватил Актумшука и перебросил через себя. Приходя в сознание, собака услышала голос Ташмата, и это придало ей сил. Почуввав человека, волки бросились враспынную, но Актумшук настиг давнишнего врага, намертво вцепился ему прямо в морду. Слышалось, как под его зубами крошатся и ломаются кости волка, как он глухо и жалобно стонет. Пасть собаки была полна шерсти, в горло стекала горячая кровь. Подбежал Ташмат, оторвал Актумшука от уже рухнувшего волка, прижал к груди, а жена пастуха обтерла морду собаки своим платком. Наутро к юрте Ташмата стекались люди: одни предлагали за собаку барана, другие — горячего скакуна, но Ташмат не соглашался. Он отвез шкуру волка в район и получил взамен двустволку. Счастье. Да, было счастье, которого собака доселе не испытывала. Все стали называть Актумшука не иначе как «сыном льва»...

В желудке собаки появилась боль, она нарастала, словно кто-то вел ножом снизу вверх, вверх до самого сердца, потом боль распространилась по всему телу. Актумшук распластался на земле, надеясь унять боль, но куда там! Тогда он, чтобы отвлечься от этой всепроникающей боли, опять стал вспоминать молодость...

К Ташмату частенько наведывались чабаны с соседних пастбищ. Они пили кумыс, подолгу сидели, оживленно беседуя. Чаше других приезжал черный большеголовый мужчина. Его всегда сопровождала белогрудая, белоногая сука. Едва завидев гостя, Актумшук вприпрыжку выбежал навстречу, обнюхивал белогрудую и начинал визжать и прыгать. В тот далекий солнечный день черный человек опять приехал со своей собакой. И Актумшук удивился — белогрудая держалась солидно и как-то настороженно. Тем не менее Актумшук облизал голову подруги, ее глаза, а она в ответ ласково и томно взлаивала. Людям было не до них. Собаки долго бегали по долине, спускались к озеру. В камышовых зарослях летали разноцветные пичуги, оглашая окрестность щебетаньем, дул теплый ласковый ветер. Собаки лакали воду, влезая передними лапами в озеро, потом опять пускались друг за другом. Два существа, которые до сих пор не знали о существовании друг друга, но чувствовали, что рано или поздно встретятся, жили мигом и не могли знать, что их ожидает в будущем.

Сейчас для них не существовало ни людей, ни лошадей, ни волков.

С наступлением сумерек Ташмат и его гость, человек с большой головой, спустились к озеру. Собаки выбежали им навстречу. Гость сел на коня, кликнул белогрудую. И все... Больше Актумшук ее не видел. Да, было это, было...

Старая собака почувствовала, что взмокла, болела голова. Тяжело вздохнув, она поднялась, сделала несколько шагов в сторону юрты, остановилась. Ей не хотелось видеть щенка. Она присела на задние лапы и печально завывала. Это была ее последняя ночь подле теплой юрты хозяина, и она это знала.

Наконец наступило утро. Обессиленная от бессонной ночи, собака смотрела на человеческое жилье. Ташмат разобрал юрту, погрузил на арбу. Белолицая женщина взяла щенка на руки, взобралась на арбу, хлестнула камчой коня. Ташмат вскочил на свою лошадь, выпустил из загона табун и погнал его перед собой. Табун, за ним Ташмат на коне, за ним арба с хозяйкой направились к озеру. Позади, далеко отстав, плелась старая собака. У озера она немного передохнула, потом опять тронулась, но на этот раз сил не хватило пройти и десяти шагов. Зашатавшись, собака остановилась, устало взывала. Но никто не обратил на нее внимания. Табун лошадей и арба уходили все дальше и дальше, уменьшаясь на глазах, затем исчезли за облачком пыли.

В горле у собаки пересохло, глаза наполнились слезами, до того напряженно всматривалась она в дорогу. Но дорога была пуста. Собака села на задние лапы, закрыла глаза и долго, протяжно выла.

Когда солнце поднялось над самой головой, Актумшук повернулся и медленно побрел обратно. Он шел, едва передвигая лапами, и хрипло лаял. Все тише, тише и тише...

ПРЕДАННОСТЬ

— Умар! Умар! — неожиданно закричали с улицы ребята.— Неси ружье. Джульбарс пришел. Скорее!

Голоса эти мгновенно проникли в уши, мозг, сердце двенадцатилетнего Умара, загонявшего на ночлег овец. Он никак не мог справиться с дверью загона. Наконец кое-как закрыл ее, поглядел через плечо на улицу. «Неси ружье!» — еще раз приказал он себе... И тут же представил большеголового пса с мощными лапами, с заросшей черной шерстью мордой. Да, таким он запомнил его, таким он был два года назад. И от этого воспоминания мальчик наморщил лоб, спина покрылась липкой испариной. «Ну, Джульбарс,— губы его беззвучно шевелились,— погоди! Доберусь я до тебя! Накажу за то, что сделал меня хромым на всю жизнь!»

И Умар что было силы пнул ногой ни в чем не повинную овцу, которая терлась о его ноги, и, резко повернувшись, прихрамывая, поковылял к амбару. Туда он почти вбежал, перескочил через чурбан, лежавший на пути, остановился и лихорадочно осмотрелся. А, вот оно, ружье... Он рывком бросился к стене, сдернул ружье с гвоздя и все еще дрожащими руками торопливо зарядил его.

«Теперь-то уж пристрелю! — снова пронеслось в голове.— Ты, ты, проклятая собака, виновата в том, что я не как все люди!»

Крепко прижимая к себе ружье, Умар так же стремительно, как и все, что он делал с той минуты, как узнал о появлении Джульбарса, бросился из амбара во двор. Потом на улицу. Мальчик будто не чувствовал больной ноги и даже, как ему показалось, совсем перестал хромать.

— Пришел наконец-то! — И ребята, минуту назад загонявшие громадного рыжего пса в дворовый тупик, бросавшие в него палками и камнями, окружили Умара.— Давай быстрее! Стреляй же, ну, стреляй, а то убежит.

Умар, будто оглох, не мигая уставился на своего врага. Пес был худ, ребра можно пересчитать, от слабости еле стоял. «Перестарались ребята,— равнодушно подумал

Умар. Минуту спустя от этой мысли стало больно, щеkotно в носу, запершило в горле.— Что это со мной? Или жалость проснулась? Нет, нет,— убедил он тут же себя,— какая может быть жалость?..»

Заметив Умара, пес сделал несколько робких шагов ему навстречу. Умар поднял было ружье, но руки не слушались, он бессильно опустил их: собака явно искала у него сочувствия, просила защиты. Глядя в глаза Джульбарса, Умар вспомнил вдруг покойную мать и не мог объяснить себе, почему именно в этот момент возник ее облик перед его взором.

— Умар! Чего стоишь? — Грубый окрик длиннолицего Шермата оборвал воспоминания.— Стреляй скорей!

И мальчишка больно толкнул Умара в плечо.

— Стреляй скорее! Два года ждал такого случая! Чего медлишь? — торопил он товарища.

Но на Умара словно столбняк напал. Он неотрывно смотрел на собаку, и она, будто замороженная его взглядом, не отрывала от него немигающих глаз.

— Ты поступила подло, укусила и убежала! — шептал Умар обиженно, но никто, кроме пса, не слышал его шепота. Рука Умара потянулась к курку.

Пес, будто почуяв опасность, неуклюже, нехотя попятился, но нет, не убежал, все смотрел и смотрел на Умара. Мальчик снова поднял ружье, решительно касаясь прикладом правой щеки, прищурил левый глаз, стал целиться. А, вот, наконец-то прямо в собачий лоб. Но в глазах вдруг потемнело, во рту пересохло, мелкой дрожью затряслись руки.

— Ну, куда ты смотришь,— тормозил его Шермат.— Или не умеешь стрелять? Давай я!

Рябой Вали схватил Умара за руку:

— Трус! Трус! Да нажимай на спусковой крючок! Не знаешь, как это делается?

— Не лезь! — Умар решительно оттолкнул Вали.— Я сам, сам, понимаешь?

— Воображала, убери ружье, все равно стрелять не умеешь! — подначивал черноволосый Али.

И все они разом загалдели.

— Давайте, ребята, мы ее сами пристрелим! — предложил Вали.

— Не смейте! Не надо!.. Я сам! Иначе...

Умар осекся на полуслове, вскинул ружье. Стало совсем тихо. Мальчик перевел взгляд на собаку. Снова уви-

дел, как одряхла она за эти два года. Бока ввалились, наверное, голодать пришлось, ребра можно было пересчитать.

Джувльбарс тоже не спускал с мальчишка глаз. Теперь в собачьих зрачках он уловил не только сочувствие, но и боль, мольбу о прощении. Сейчас они напоминали глаза старого больного человека. В голове не переставало стучать: «Стреляй! Стреляй! Трус!» Какие-то точки замельтешили перед глазами, голова кружилась. И опять пульсировало в висках: «Стреляй! Ну стреляй же!» Да, да, сейчас, словно соглашался он с кем-то неведомым, кто подгонял его принять это немедленное решение. Он закрывал глаза и снова искал, теперь уже на ощупь, курок. Опять убирал руку. «Тук-тук!» — тревожно стучало сердце. Вдруг пронзила острая жалость к этому псу с человеческими глазами, в то же время не отпускала и жажда мести. Он злился на ребят, а те не спускали с него глаз, ждали. «Ну же, ну! — снова подгонял он себя. — Раз, два, три!..» Держа ружье наизготове, он в который раз взглянул на Джувльбарса и снова увидел, как изменилось выражение собачьих глаз: теперь в них полнейшая безысходность, порочность судьбе.

...Собачьи глаза! Часто ли ты глядишь в них, человек, самое разумное существо на земле? А ведь это твой друг до последнего дыхания, до тех самых последних минут, когда перестает биться его сердце. Он никогда не изменит, не предаст, отдаст жизнь, не раздумывая... В твоих руках оружие. Ты можешь взвести курок и пустить пулю. Пес стар стал, мешает, много с ним хлопот. То ли дело когда щенком был, доставлял немало веселых минут и тебе, и твоим друзьям. Или ты мстишь ему, мстишь за то, что однажды он тебя неправильно понял и, может быть, оскорбленный твоими словами, бросился на тебя, хотя тут же попытался исправить роковую ошибку, прося прощения, умоляя всем своим собачьим существом, но ты, человек, оставался непреклонен. У этого пса больше не было дома, он скитался по чужим людям, стал бродячим, и в глазах его навсегда застыло немое удивление. Пес помнил все ласковые слова, с которыми хозяин обращался к нему, помнил, как баловал его лакомыми кусочками. Скитаясь по чужим дворам, пес изредка заглядывал и сюда, где когда-то жил, глядел на окна, откуда звал его хозяин. Это он тоже хорошо помнил. Но подойти к прежнему жилищу уже не осмеливался, хотя вины за собой не чувствовал, просто

инстинкт подсказывал. Как известно, скитаясь, бродячие псы нередко приходят в последний день своей жизни к прежнему дому, наверное, чтобы без слов напомнить о своей собачьей преданности, одним своим приходом сказать, что все осталось как было, что хозяин у него один, что он помнил о нем всегда...

Жалость! Почему Умар не может избавиться от нее? Наверное, потому, что глаза Джульбарса молили о прощении и будто говорили, что, конечно, он, мальчик, может делать со старой собакой все, что ему заблагорассудится: застрелить, убить камнем. Собачья жизнь в его руках. Ну, что ж, если человек не может не стрелять, пусть стреляет, пес не сдвинется с места. Он пришел к мальчику, потому что устал после долгой-долгой разлуки. Теперь они наконец свиделись.

И глаза Умара, это Джульбарс понял, тоже говорили об этой любви, хотя то, что делал теперь мальчик, никак не вязалось с этим чувством — он продолжал держать в руках ружье. Глаза Умара то теплели, то загорались недобрым блеском. Значит, он все еще не простил. Нет, нет, вот глаза Умара снова стали добрыми, наверное, вспомнил что-то хорошее, а вот в них вспыхнула прежняя неуверенность: как все-таки поступить? Наверное, очень тяжело мальчику, потому что он не вынес взгляда собаки, вдруг закрыл глаза...

Да, Умар и в самом деле опустил веки, потому что увидел вдруг, как из собачьего глаза скатилась слеза. Джульбарс плакал! Нет, это ему не показалось!..

— Умар! — грубо окликнул в это мгновение кто-то из ребят.

— Сейчас, сейчас! — шептали помимо воли его губы еле слышно.

Он ненавидел в эту минуту больше всего себя, ненавидел ребят, следящих за каждым его движением. Никогда в своей, хотя и недолгой еще, жизни он не ощущал так собственной беспомощности, как сейчас. Правда, мысленно он представлял себе не раз, как нажимает на курок, как, сраженный наповал, пес падает. Мгновенно.

— Нет, нет! — кричит Умар, снова представив себе все это. — Нет! — И тут же пугается собственного голоса. Джульбарс по-прежнему не сводит с него глаз.

«Но ведь рано или поздно я должен это сделать! — убеждает себя Умар. — Два года хромяю, и прозвище ко

мне прилепилось — Умар-хромоножка. И виноват в этом один Джульбарс!»

И снова скрещиваются взгляды человека и собаки. Снова в который раз перед мальчиком встает недавнее.

Глаза матери каждый раз провожают его, заботливо оглядывают. Вот он идет в школу. Напротив нее и сейчас стоит амбар с глиняной крышей. Он идет этой дорогой рано утром и днем, после уроков. Мимо амбара. Там хранится колхозный хлеб, который сторожит дед Муса. У деда собака, Джульбарс. С утра до вечера, день и ночь несет свою службу верный Джульбарс. Не поздоровится тому, кто вздумает забраться в амбар. Рано утром бежит Умар в школу и по дороге обязательно занесет своему другу кусочек хлеба или мяса. «Салям, Джульбарс!» — приветствует он. И тот, едва завидя его, вскакивает со своего места, виляет хвостом, бежит навстречу. Джульбарс любит маленьких детей, он разрешает Умару и его товарищам садиться на него верхом, возит на себе. Старик Муса добродушно посмеивается.

На ночь сторож запирает амбар на большой всячий замок. Пес тоже под замком, так надежней. Джульбарс, когда старик собирается уходить домой, сам послушно идет в амбар. Ему не платят зарплату, как деду Мусе, хотя, как думает Умар, он бы и без деда, один справился с любым вором. Джульбарс знает всех людей в кишлаке, всем приветливо машет обрубком хвоста, но ночью уже никто не смеет подойти близко к амбару, будь то друг или враг. Такая у него служба. Только Умар, если бы захотел, наверное, мог бы подойти к Джульбарсу ночью, но зачем ему навещать пса ночью... Изю всех Джульбарс выделял этого мальчика, Умара, белолицего, большеглазого. Хозяин пса вроде бы дед Муса, но мальчик Умар, конечно, ему ближе. И не потому даже, что всегда приносит ему что-нибудь лакомое, а потому, что душа у мальчика не похожа на других — ласковая, нежная. Он, когда никого нет поблизости, тихо разговаривает с Джульбарсом о своих делах.

Как все это случилось, теперь трудно припомнить в подробностях. Он перешел в третий класс. Отец той весной вернулся с фронта без правой руки. Хорошо еще, что вернулся. У многих погибли и отцы, и братья. Хорошо ли, позднее сомневался Умар, когда отец, не зная, куда деть себя, начал пить и неделями не вставал в пьяном оцепенении с постели. Но ранней весной, едва в предгорьях появи-

лась трава, он уходил с овцами на пастбище и возвращался домой лишь осенью. Для Умара это было спасением — он ненавидел пьяного отца. Для него и для матери все остальное время в году становилось настоящей пыткой. В их доме не переводилась водка, и отец без удержу пил. Мать той осенью серьезно занемогла. Приезжавший в кишлак врач сказал, что ее нужно положить в больницу. Кончились занятия в школе, отец ушел в горы на пастбище, мать еще лежала дома, но уже почти не поднималась. Умар как мог ухаживал за ней, варил еду, хотя она почти ничего не ела. И не говорила с ним, как прежде. Единственно, с кем мальчик отводил душу, был пес. Он говорил Джульбарсу обо всем, как тяжело его матери, все хуже и хуже, совсем плохо... Слезы набежали на его глаза, и собака в такие минуты грустно глядела на мальчика, в глазах ее, он видел это, было понимание и участие.

У мальчика не было тогда друга ближе. И просто невозможно было представить, что наступят такие времена, когда он возненавидит своего единственного друга, станет желать ему смерти.

Вскоре мать увезли в районную больницу. Как узнал потом Умар, ее оперировали, но это не помогло.

С кладбища Умар возвратился домой, где пьяный отец заливал горе вином. Он пошел к Джульбарсу. Обнимая пса, горько плакал. «Джульбарсджан,— говорил он сквозь слезы,— что мне делать? Скажи».

«Видишь, я плачу вместе с тобой,— отвечали собачьи глаза,— мой милый, хороший Умарджан! Если бы я был всемогущим, то непременно оживил бы твою маму. Но что поделаешь, я всего только собака. Я не сильнее человека, поверь, но, если бы это было в моих силах, я готов был умереть вместо твоей матери. Не плачь!..»

После похорон отец снова вернулся к своим овцам, оставив мальчика на попечение сестры, неразговорчивой старой женщины. А осенью, когда возвратился, сказал Умару, что женится. Вскоре к ним в дом пришли гости — сваты, как сказал отец. Умар не понимал, что такое сваты, и спокойно отнесся к этому событию. За столом сидели допоздна, пили, ели. Отец несколько раз посылал Умара в магазин за водкой, а когда все было выпито и съедено, один из гостей, высокий, с маленькими пронзительными глазками, погладил Умара по голове и пообещал вскоре привезти новую маму. Он так и сказал: новую... Умар с

силой оттолкнул его руку. «Мне не надо новой мамы, не надо! Ищите для себя, если хотите! Пусть моя придет обратно!..» Его крики и плач разогнали гостей, отец разозлился. «Все равно женюсь,— пьяно грозил он,— ты мне не запретишь!»

Когда забрезжил рассвет, Умар, чтобы не слышать пьяных криков, убежал из дому. Еще светила луна. Глубоким сном спал кишлак. И никому не было дела до маленького мальчика. Тогда-то он и решил пойти к Джульбарсу. Пока. До открытия сельпо. В ту ночь почему-то дед Муса не запер пса, как обычно, в амбар, и Джульбарс, положив свою большую морду на передние лапы, дремал у двери. Мальчик бросился к собаке, всхлипывая: «Джульбарс, милый! Отец задумал жениться! Вот видишь, он послал меня за водкой!..»

Умар только успел произнести эти слова, как в следующую минуту Джульбарс вскочил, зарычал, опрокинул мальчика на землю, вцепившись мертвой хваткой в его ногу. Потом, будто опомнившись, отскочил в сторону, скуля и повизгивая... Умар потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел, что сидит дома на коленях у отца. Все тело ныло, болело, руки были в крови. «Будь я проклят до конца дней своих за то, что послал тебя за водкой!— причитал отец.— Я, я один виноват во всем!..»

Пришел врач, сделал укол, перевязал Умару ногу и сказал, что нужно сделать много таких уколов — и завтра, и послезавтра, и много-много дней подряд — от бешенства. Но ведь пес был здоровый, думал Умар, лежа в постели.

Он проболел долго, врач не позволял ему вставать с постели, а когда однажды позволил и Умар без костылей попробовал сделать несколько шагов, то едва смог наступить на больную ногу. Повреждены были сухожилия, объяснил врач, наверное, поэтому он с тех пор и хромот. Когда Умар в отчаянии понял, что хромота эта на всю жизнь, он упросил отца купить ружье. И отец купил. Тогда-то и пришло решение застрелить собаку.

С тех пор минуло больше двух лет. Умар повзрослел, осенью пойдет в пятый класс. И не было за эти два года дня, чтобы мальчик не думал о своей хромой ноге. Он знал, что Джульбарс ушел из кишлака, скитался где придется. Его видели несколько раз на окраине кишлака, но близко к домам пес подходить не решался, наверное, предчувствовал, что его ожидает...

— Умар, Умар, гляди, он собирается удирать! — предупредили мальчишки, улюлюкая и срываясь с места, чтобы не дать скрыться Джульбарсу.

Умар не шевельнулся. Только губы его чуть слышно повторяли: «Ты навеки сделал меня хромым. Надо отомстить! Но я не могу этого сделать, не могу!»

Мальчик закрыл глаза и зажал уши. Чтобы не видеть пса. Ведь старик Муса навсегда прогнал его тогда. Чтобы не слышать криков своих товарищей — они так и не поняли, почему Умар не может выстрелить в Джульбарса. И ведь пес вернулся, будто нарочно...

Наконец Умар открыл глаза, и снова его взгляд встретился со взглядом собаки. «Стреляй же, стреляй скорее! — будто молил Джульбарс. — Лучше конец. По моей вине ты стал хромым, но пойми, не я в этом виноват. Проклятая водка. Да, да, она, а я верно нес службу, поверь. Прости меня, но я не понял, зачем ты ночью бросился к дверям амбара... Помнишь, Умарджан, как, вцепившись в мою шерсть, ты ездил на мне верхом? Как было всем нам весело тогда, как я радовался, что ты доволен!.. Последним моим желанием перед смертью было увидеть тебя. И я увидел... Умарджан, стреляй и прости меня...»

Умар был сыном чабана. После смерти матери вот уже два лета подряд отец брал мальчика с собой на пастбище, за работой они вдвоем проводили долгие летние дни. С того несчастного дня как отрезало: отец перестал пить и всю свою заботу и нежность перенес на сына. Мальчик отходил душой, постепенно смягчалось и его горе. Ему было привольно здесь, среди бескрайних полей, где лишь закаты и восходы напоминали о том, что время не стоит на месте. Много раз видел он близко глаза коней, маленьких ягнят, и все они были чем-то неуловимо похожи, потому что всегда встречал он в них выражение искреннего добродушия или грусти, но чаще всего преданности, беспредельной преданности человеку.

Теперь Умар в глазах Джульбарса видел ту же преданность. И еще он понял, почему, глядя на Джульбарса, вспомнил глаза матери. В них тоже, когда она гладила по голове маленького Умара, когда просила о чем-нибудь, было это выражение вечной любви и преданности...

— Умар! Умар! Поздно будет! Он уйдет!

— Нет Нет! Никогда! — зарыдал вдруг Умар, поднял ружье над головой и что было силы ударил его о землю.

Всхлипывая, размазывая по лицу слезы, мальчик бросился домой и там, уткнувшись в подушку, зарыдал.

Вдруг с улицы донеслось:

— Скорее, Умар, скорее! Джульбарс умирает!..

Умар выбежал на улицу и сразу увидел его на середине пыльной дороги. Пес лежал, раскинув лапы, будто грелся на солнышке, совсем как в былые времена.

Мальчик опустился перед собакой на колени. Осторожно потрогал голову, уши.

— Джульбарс, Джульбарс! — звал он тихо и гладил свалывшуюся шерсть.

Пес не шевелился.

Чуть поодаль стояли присмиревшие ребята.

И вдруг с далеких полей, с гор, с реки и неба — отовсюду послышался собачий лай и, соединяясь в мощное эхо, оглушил мальчика:

«Умарджан! Прости меня!..»

ТРЕТЬЯ ВЕСНА

Снега, глубоко пропитавшие землю белой тишиной, растаяли. Пришло время дождей. Синие тучи, с утра подсвеченные снизу оранжевой зарей, уже к полудню вновь собирались с силами, густели, проглатывали солнце, ветер рвал на них лохмотья, расчесывал, клонил к земле, и начинал моросить дождь. Порывы упругого мокрого ветра влетали в сырую темную нору, заставляли молодую волчицу жаться в самый дальний угол. К рассвету ветер слабел, из-за края земли вновь выглядывало солнце, заметно теплее, чем оно было вчера, и ярче, и тучи, редая с каждым днем, уже дольше ворочались в небе, издавая грозный рык, сверкая время от времени злобными глазами...

Розоватый утренний свет залил все вокруг, просочился он и в нору волчицы, которую уже третий день мучили родовые схватки. Изнемогшей серой волчице всю ночь досаждал шум ветра и дождя. Теперь ее насторожила тишина, и она долго лежала, не двигаясь и прислушиваясь. Слезящиеся глаза ее и едва державшаяся в теле душа наполнились предощущением счастья. Теплый день и тишина — это бесценный дар всем четвероногим после долгой изнурительной зимы. Волчица проползла на брюхе к входу в свое жилище, влажным носом потянула воздух. Пахло мокрой землей, прелыми прошлогодними листьями, и, кажется, где-то уже зацвела фиалка. Промытое небо было ярко-голубое, и она зажмурилась. Она слышала, как, пробивая кору земли, шуршит трава, спеша проклюнуться к свету, представила, как выбираются из нор животные, ищут в логах, в лесу, горных ущельях укромные места и, найдя, нежатся под солнцем. Пора воскресения трав, деревьев. Самая ласковая пора. Отощавшее, ослабшее за зиму тело уже не зябнет, мускулы, которые в течение всей зимы были скованы холодом, расслабляются и становятся послушными. В ногах появляется легкость. Хорошо. Разве не в этой легкости и быстроте единственное спасенье, если тебя заметил зоркий глаз охотника!.. Эх, скорее бы уже кончились эти муки! Так измучила ее эта боль, что и не рада волчица теплему рассвету, перестала

думать о голоде и жажде. По телу ее пробежала судорога, она оттолкнулась назад и ударилась головой о мокрую стену, клацнув зубами. Потом долго лежала неподвижно и хрипела, хватая воздух опухшей воспаленной пастью.

Эта весна в ее жизни была третьей, а роды — первыми. До сей поры молодая волчица и не знала, что это такое, и представления не имела об этих муках, и никогда не оказывалась в таком одиночестве. Будь кто-нибудь рядом, ей, наверное, не было бы так тяжело...

Ей вспомнилась желтая пора опадающих листьев и увядания травы. По ночам становилось морозно, в воздухе уже кружились белые пушинки. Ею вдруг овладело странное беспокойство. Ничего подобного она прежде не испытывала. Ей стало невозможно прятаться весь день в логове. С большим трудом ей удавалось дожидаться темноты. А надо было ждать: и холмы, и заросли меж ними, и поля вокруг, вся округа была испещрена следами охотников, и в воздухе все еще держался еле уловимый кислотный запах пороха. Но как только смеркалось, она выбиралась из зарослей и мчалась в поле, куда манил ее простор, где во всю ширь можно было видеть усыпанное звездами небо, где резвился свободно игривый ветерок. Там в ее наполненной тоскливой пещерной мглой душе светло, а глаза ловили сыплющиеся с неба лучи. Утоляя жажду, она ела собравшийся в прогалинах снег. Потом, усевшись на бугре на теплой высохшей траве, задирала вверх морду и призывно выла. Выла и прислушивалась. Она ждала темно-серого волка с широкой грудью, с торчком стоящими ушами, сильными ногами. Издалека она видела зеленым светом горящие глаза, подбегала к нему, ласкалась, чувствуя, как ее всю пронизывает волнение, наполняя дрожью. В последнее время она из логова-то выбиралась лишь в надежде увидеть темно-серого... И он, когда приближался к ней, становился ласковым. Зеленый свет в грозных глазах слабел, и они принимали теплый рыжеватый оттенок. Он нежно покусывал ее за загривок, потом усаживался рядом и тоже выл, тягуче, с переливами... Два молодых волка, и он и она, чувствовали себя свободными. Не было страха. Забывались охотники. Они всю ночь носились по полю, гоняясь друг за дружкой, валялись на подмерзшей земле, кусаясь и взвизгивая. До чего же они были счастливы! Ей казалось, что темно-серый — часть ее самос, не станет его, кончится и ее жизнь. Их радости не могли убавить ни голод, ни жажда, до само-

го рассвета резвились они, опьяненные близостью друг друга. Даже ветер и стебли трав, задевая ноги, брюхо, казалось, ласкали горящую от любви волчицу. Когда же начинало светать, они, усталые, забирались в глухие заросли. Темно-серый шершавым языком лизал ее глаза, узкую мордочку, прижатые маленькие уши и так усыплял... Она спала и, даже во сне чувствуя его прикосновения, погружалась в бескрайнее море наслаждений. Временами она настораживала уши и приоткрывала глаза. Он был рядом.

Разве не то время было в ее жизни самое счастливое, когда они, чувствуя бурлящую в них силу, вновь выбирались в сумерках из логова и, отбросив всякий страх перед охотниками, ощущали себя совершенно свободными!..

Однажды они ушли далеко от своего поля, перевалили через высокий холм и стали спускаться в долину, где пролегла серебристая и извилистая лента реки. В небе тихо плыла полная луна, продираясь между тучами. Вдруг их внимание привлек странный шум, и они увидели своих сородичей. Небольшая стая волков преследовала отбившуюся от табуна лошадь, всю мокрую, лоснящуюся от пота. Она уже выбилась из сил, хрипела и спотыкалась. А волки, точно взбесившиеся, забавлялись, хватили ее за хвост, набрасывались то слева, то справа. В голубоватом лунном свете хорошо было видно, как по ее впалым бокам струится теплая и запахом своим сводящая с ума кровь. Темно-серый, не раздумывая, устремился вниз, наперерез лошади, с налету схватил ее за морду. Передние ноги лошади надломились, и она, жалобно заржав, рухнула на землю. Темно-серый резцами полоснул ее по горлу и, вздыбив загривок, оскалился на сородичей. И те отступили, поджав хвосты, не смея приблизиться. Темно-серый обернулся и взглядом подозвал ее, чтобы она насытилась горячей свежей кровью...

Темно-серый! Где ты?..

Пуля охотника еще ни разу ее не настигала. Но она видела раненых сородичей и догадывалась, как болит заднее пулей тело, боялась людей и старалась не попадаться им на глаза. Но эта боль, заставляющая ее то скрючиваться, то вытягиваться в струнку, не сравнима ни с какой другой...

Когда молодая волчица следовала за серой тощей матерью и они рыскали ногами по округе в поисках добычи, она и подумать не могла, что когда-нибудь окажется в

таким беспомощном положении. Где она теперь, милая, заботливая... куда запропала серая старая волчица? Почему не приходит? Она же еще недавно не оставляла ее одну. Сколько раз из-за нее она грызлась с теми из волков, которые пытались обидеть ее дочь. Что же случилось? Или где-то подстрелили ее коварные охотники?.. Ах, если бы ее любимая мать была рядом!.. Может, она принесла бы ей зайца или ягненка...

Волчица с хрумканьем откусывала белые сочные корни трав, торчащие из стенок логова, но они не могли утолить ни жажды, ни голода.

Ее бил озноб, вздутый живот всколыхнулся. Это давали о себе знать ее дети, рождения которых она ждала. По телу разлилась слабость, и в какое-то мгновение ей показалось, что она испускает дух. Потемнело в глазах, и она перестала чувствовать боль. Но это длилось совсем недолго, колики внутри, искусанный сухой язык снова властно напомнили о голоде и жажде. Волчица вытянулась и плотнее прижалась к земле, уткнулась в лапы мордой и замерла. Ей снова вспомнилась минувшая пора, когда бегала за матерью, не отставая, в надежде поживиться от ее добычи... Едва скроется солнце, вслед за старой тощей матерью она выбиралась из логова, встопоршив шелковистую густую шерсть, встряхивалась и, вонзив в землю острые когти, потягивалась. После нее выползали, жмурясь, и ее сестренки. Пока они резвились, с повизгиваньем носясь взад-вперед и кусаясь, старая тощая волчица сидела на возвышенности и долго прислушивалась, не сводя глаз со своих шаловливых детей. Вроде бы совсем еще недавно в темном и сыром логове они впервые увидели свет. Старая волчица поочередно облизывала их, до тех пор пока у них не открылись глаза.

Молодая волчица все это хорошо помнила.

Теперь завтра или послезавтра разрешится она сама. Тоже, как ее мать, оближет своих детенышей, высушит, откроет их глаза. Потом накормит своим молоком и отправится куда-нибудь недалеко на охоту, поищет что-нибудь, чем можно утолить собственный голод. Если сама будет голодна, то не сможет накормить и малышей. Чтобы охотиться, преследовать добычу, у нее нет сил, и она на первых порах будет довольствоваться остатками чужих трапез и падалью. Пока к ней не возвратятся силы, как бы самой не сделаться жертвой охотников. Они, эти двуногие охотники, очень коварны, всегда появляются нео-

жиданно, с той стороны, куда дует ветер, и чуткие ноздри не успевают учуять их вовремя. И самое страшное — они способны настигать, не затратив ни капли усилий на погоню, выпускают вслед грохочущий клоч огня, и горе тому, кто не успеет отпрянуть в сторону, юркнуть в заросли...

Зубы волчицы дробно застучали, она приподняла голову и тотчас снова уронила ее на лапы. Скорее бы уже все свершилось... Она бы хоть на брюхе доползла до поля, поела травы, которая утоляет боль и придает силы. Она с нетерпением ждала...

Снова вспомнила большую тощую волчицу. Зажмурилась и сразу представила себе, как жалостливая мать лижет ее тусклые глаза, вспухшие от боли веки, сухие губы, а она с наслаждением подставляет ей скулы, шею, розоватый теплый язык матери согревает лапы, убыстряет ток крови в венах. Она пытается положить морду на мягкую холку матери... Больно ударившись головой о землю, приходит в себя. Сырость, темнота, одиночество. Ей сделалось страшно. Неужели эта темная тесная нора станет ее последним прибежищем?..

Чтобы унять хоть немного боль, помочь волчатам скорее явиться на свет, она собралась с последними силами и принялась ворочаться с боку на бок...

Снаружи донесся шорох. В нору влетел песок, немного хлестнул по морде. Ветер. Уже пахнет травой и фиалками согретый солнцем ветер. Как хорошо!.. Волчица дотянулась сухим языком до кости, которая стала белой, как камень, оттого, что она стократно грызла ее. Не почувствовала никакого вкуса. Но все лизала и лизала, обсасывала, а чувство голода от этого лишь усиливалось.

Вдруг она взвыла от пронзившей ее боли, в глазах потемнело, мир исчез... Долго лежала неподвижно, чувствуя, что ей неожиданно полегчало, боясь шевельнуться. Кто-то непрерывно скулил. Кто же это? Или показалось? Торчком выставив уши, она обернулась. Волчонок... Обессилевшая молодая волчица попыталась подняться, чтобы обласкать первенца, но волна за волной прихлынувшая боль заставила ее снова вытянуться на дне норы. «И-инг!..» Это голос второго. А потом заскулил и третий. Волчица, покачиваясь от слабости, поднялась, дотянулась до волчат и снова шлепнулась на землю. Однако логово теперь наполнилось тонкими, нежными, жалобными голосами. «И-и-инг!.. И-и-инг!» В глазах волчицы, увидевшей

возившихся на земле детенышей, мокрых, дрожащих от холода, заиграли разноцветные лучики. Одного за другим она придвинула их к себе, высушила, помогла открыть глазки. И все трое после долгих стараний нашли наконец теплые мягкие сосцы матери и начали сосать, причмокивая, с наслаждением.

Насытились и задремали. Волчица тоже закрыла глаза, никогда еще не испытывала она такого блаженства, такой легкости, когда не чувствуешь даже собственного тела, такое оно легкое, будто парит в воздухе, ничего не слышишь, будто замер ветерок и перестала прорастать сквозь землю трава... Когда она очнулась, уже начало светать. Жаль, не воспользовалась темнотой, чтобы раздобыть себе что-нибудь съестное. Но она уже много дней и ночей не смыкала глаз, и сон ей был просто необходим, чтобы хоть чуточку прийти в себя. Волчица тихо приподнялась, стараясь не разбудить волчат, тесно прижавшихся друг к дружке, легонько лизнула каждого и, пошатываясь, подобралась к выходу. Ей не хотелось уходить, и только голод и жажда принуждали ее к этому. Она долго сидела у входа, с умилением глядя то на детенышей, то в поле, виднеющееся за редкими зарослями колючего кустарника, на котором уже набухали почки. Небо было прозрачное, чистое. Пришла весна. Она вошла и в сырое логово волчицы, заглянула, чтобы в который раз удостовериться в вечности жизни. В зарослях порхали и чирикали птицы. Вдалеке над просохшими и начавшими зеленеть холмами курился пар. Там на солнцепеке любят нежиться суслики и сурки. Волчица встала и потрусила в сторону холмов, но вскоре выдохлась. Временами она останавливалась и оглядывалась на логово; когда нору заслонили кустарники и ее не стало видно, она просто ложилась на траву и отдыхала. Земля источала запах дождя, свежей травы и совсем недавно промчавшегося туда зайца. Разве не этих дней ждала она с тоскою? Этих. Еще как ждала. Вконец измучилась, а все же дожила до новой весны. Теперь окрепнут, расправятся ослабшие узловатые мышцы, быстрее побежит в жилах кровь. Вскоре вновь обретет она силу. Детеныши вырастут...

Голод и жажда уводили ее все дальше и дальше, а беспокойство о волчатах заставляло останавливаться и бороться с искушением вернуться назад. Ее покачивало из стороны в сторону, словно кто-то невидимый толкал ее то в один бок то в другой. Слева в прогалине блеснул оско-

лок неба. Лужа. Волчица подошла и, прежде чем начать лакать, огляделась, прислушалась. Долго пила, не поднимая головы, черпая розовым языком. Утолив жажду, медленно взобралась на холм, ткнулась мордой под куст, где находилась чья-то нора, и замерла, втягивая в себя воздух...

И в это мгновенье совсем близко, в той стороне, куда дует ветер, унося запахи цветов, земли и всего сущего на ней, полыхнула молния и раздался гром, по задним ногам волчицы словно стеганули плетью. Она упала, глухо охнув, и вцепилась зубами в кровотокающие, предавшие ее ноги. «Детеныши!» Она каталась по свежей траве и скулила. «Детеныши...» Она поползла, волоча сделавшиеся безжизненными задние лапы. Хрипя и поскуливая, ползла к волчатам, а позади нее оставался широкий алый след. От боли она грызла камни, землю, сухие жесткие стебли прошлогоднего чертополоха. Но вот боль, огнем прожигающая тело, стала постепенно угасать, и волчица замерла, чувствуя, как ее покидают остатки сил. Из глаз выкатились слезинки, упали и зависли росой на стебельке травы... Зашумел ветер, завыл в вершинах деревьев... Мерещится? Или это ее мать, большая тощая волчица, так тоскливо воеет, кружится вокруг, ищет ее?.. Чьи это утробные стоны доносит ветер, чей это зов? Не голос ли темно-серого широкогрудого волка?.. Нет же, всего-навсего идет по земле весна, третья весна, которую так ждала молодая волчица.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Старый лев, казалось, родился в клетке. Она заменила ему родину, и чувства и понятия его были приспособлены к этой клетке. Людей и новый окружающий его мир он узнал через клетку. Здесь он остро ощутил разницу между замкнутым пространством и свободным миром. С тех пор тягостное чувство не покидало его никогда. Здесь он обучился цирковым трюкам и вынужден был привыкнуть к постоянным ударам плети.

Будучи оторванным от сородичей из родных необъятных просторов, он под страхом ударов плети и голодной смерти вынужден был исполнять цирковые трюки. А когда состарился, то в щемящей тоске кое-как коротал свои дни. Плеть и клетка стали для него обычным законом жизни. А было время, что и эта клетка, огороженная с четырех сторон крепкими железными решетками, да медная посуда, поставленная для еды, заменившие ему родину, казались прекрасными. Порой ему думалось, что так оно и должно быть: один мир для него — в тесной клетке, другой для людей — по ту сторону решетки, на недостижимой свободе. Тогда он воспринимал как должное и то, что не может находиться на свободе, и то, что не может есть чего хочется, и то, что приходится до изнеможения выполнять трюки...

Но часто ему снилась далекая родина — зеленые просторы, гривастый отец-лев, огромная, податливая мать-львица и гурьба львят — его братьев и сестер, с которыми он бегал наперегонки. Все это как в тусклом тумане оживало в его воображении. Они резво играли, гоняясь друг за другом, пили студеною воду из речки, но все это были лишь грезы. Сновидения! Какие счастливые мгновения они дарят порой. Пробуждаясь, он вспоминал их, и от боли сердце обливалось кровью. По своей природе львы не плачут, но этот, истосковавшийся по родине лев, плакал в тесной клетке.

Так он прожил двадцать пять лет и состарился, а после смерти подруги-львицы он ослабел совсем. Прошлой осенью подруга-львица, досыта наисполнявшись цирко-

вых трюков, исхудав от жестоких ударов плети, наконец навеки покинула свою родину-клетку. Не притрагиваясь к еде и питью, лев неделями со слезами на глазах сидел над своей ослабевшей самкой. Когда она умерла, он долго тосковал, но так же, как в свое время привык к клетке, постепенно привык и к смерти своей подруги. Да и к чему только не заставляла привыкать эта клетка...

До него не один молодой сильный лев умер в этой клетке, так и не сумев привыкнуть к ней. Но этот лев не умер, вытерпел, привык. Доказал своей стойкостью, что он и есть царь зверей.

За перегородкой в клетке жили еще два льва — самец и самка. Это были дети его и подруги-львицы. До них были еще два детеныша, но те не сумели выжить в клетке. Здесь эти львята узнали отцовскую ласку, выросли на теплом, вкусном материнском молоке. Но они ничего не знали о родине предков — далеких бескрайних просторах. В течение первых трех месяцев жизни они были вместе с родителями, потом их перевели в соседнюю клетку, оставив на несколько дней без воды и пищи — чтобы легче повиновались при обучении цирковым трюкам. Таким образом им внушали: вдоволь воды и питья можно получить лишь при полном послушании людям.

Льва-отца одолел недуг — сердце стало сжиматься и колоть. Причиной тому была безысходная тоска по воле и простору... Там есть все — и свободно летящие птицы, и вольно текущие реки... Иди — куда душа велит, ешь — что пожелаешь, пей — сколько хочешь. Если б все это было не только во сне!.. Он согласен увидеть это наяву и тут же умереть...

От этих чувств и мыслей беспощадно сжималось старое львиное сердце. Боль прибавлялась к боли: нынче им стала пренебрегать дрессировщица, носившая узкие брюки, взлохмаченные волосы, всегда густо покрытая гримом. Это она поймала его когда-то в далеких просторах, накинув на него сетку из железных прутьев и разлучила с сородичами. Это она хлестала его плетью. А теперь, когда он стал стар и ослабел, она даже не подходит к нему. А ведь она могла бы и пожалеть его — вывести на волю из этой душной вонючей клетки...

Он день и ночь кружился в клетке, не находил себе места, ложился, вставал, ждал спасительницу — женщину. Она не появлялась, сердце его сжималось болью, он грыз ограду клетки. Так он изливал свою злость на судьбу,

На вторые сутки под вечер дрессировщица увела из соседней клетки молодых львов, а он — старый лев — все больше оказывался забытым. В полночь они возвратились, принеся с собой запахи арены и другого мира.

Наступила следующая ночь. На этот раз ожидание превратилось для него в нестерпимую муку. Сердце переполнилось горечью, душа горела. Но вот наконец лязгнул замок, и открылась дверь клетки. Все тело его затрепетало от радости и волнения. Дрессировщица! Кажется, сегодня она пожалеет его, потому что вошла с улыбкой. Сейчас, сейчас она проведет его через двор на арену, а уж он-то изо всех последних сил постарается выполнить трюки, порадует зрителей, услышит приветствия и аплодисменты.

Его дети, не имеющие представления о своей далекой родине, беспечно спят. Порой они испуганно вскакивают, глядят на отца и, позабыв опять о страхе и беспокойстве, заново засыпают. Сегодня, как и всегда, им снилась плеть дрессировщицы, цирковые трюки. А в мыслях старого льва, который с умилением глядел на своих детей и глубоко переживал, была родина — далекие зеленые просторы. На некоторое время он как бы возвращался в свое детство и вместе с сородичами — дикими вольными львами — резвился на свободе. Они обступали его со всех сторон, рычали и бранили. «Будь ты проклят со своей клеткой, лижи ноги хозяйки-дрессировщицы!» Его корили, а он глядел на них со слезами на глазах: «Так ведь я в эту клетку не по своей воле вошел! Люди воспользовались моей детской беспомощностью и поймали меня сетью. То, что мне дано судьбой, быть может, рано или поздно придется испытать и кому-нибудь из вас!..»

Высокая худая большеглазая женщина вошла в клетку. От пудры и грима веки ее казались опухшими. Эта неискренняя женщина с давних пор не обращает на него внимания, не задумывается даже о том, что она загубила его силу и молодость. При виде этой женщины в его сердце возникло какое-то непонятное чувство угодливости. Он завилал облысевшим хвостом и раболепно облизал ее ноги. Он был приговорен судьбою к этому, а женщина оставалась перед ним в долгу. Она выжала из него все, до последней капли, но старый лев никак не мог свести счеты с жизнью. Сегодня или завтра обязательно должно было это случиться.

Дети... Но это другое дело. Они молоды, правда, впе-

реди их ждет много несчастий. Лев-отец состарился. Скоро помрет и тем избавится от опостылевшей жизни и угнетенной дрессировщицы. Детям не до него. Одна только подруга-львица жалела его, всегда была рядом, ласкала и облизывала.

Дрессировщица с безразличием восприняла раболопное поведение старого льва, она лишь улыбнулась неискренно. Он все же не огорчился. Ведь прежде, когда он впервые попал в клетку и был нужен ей, она всякий раз появлялась с доброй улыбкой, гладила и обнимала его, угощала конфетами. Вот и сейчас она сунула ему конфету, но сделала это не от доброты, а оттого, что заметила в его глазах признаки беспокойства и по этой причине забеспокоилась сама. «Прирученный» лев тоже понял это и, чтобы не испугать женщину, перестал щетиниться. Женщина посмотрела на замученного тоской льва и вдруг почувствовала, что за все, что она делала в течение многих лет со львом, ее ожидает несчастье. Она знала, что многие укротители львов рано или поздно погибали в лапах своих же воспитанников.

Лев не принял конфету, женщина бросила ее на пол и быстро прошла в соседнюю клетку. Молодые львы проснулись, встали на ноги. Женщина с улыбкой опустилась перед самкой, погладила ей лоб, глаза, угостила конфетой. Молодой лев отказался принять конфету, зарычал и исподлобья следил за движениями женщины. Ее обманы, избиения и то, что она заставляет выполнять трюки, — все это надоело ему и злило; было видно, что он готов к бунту. Женщина второй раз протянула конфету молодому льву, но он вновь зарычал и нахмурился.

— От тебя пахнет кровью, — проворчала женщина, побледнев. — Зверь всегда останется зверем и никогда не будет другом человека.

Молодой лев еще больше нахмурился. В его взгляде можно было прочесть: «Ты ведь держишь меня в клетке, а не я тебя. Вот и разберись, кто из нас зверь?!» Женщину настораживало, что этот лев становится все более жестоким. Своей резкостью, ненавистью к человеку, готовностью внезапно наброситься, тем, что не похож на своего спокойного отца и сестру, он постоянно держал в страхе женщину-хозяйку.

Молодой лев, в жилах которого заиграла кровь предков и бунтарский дух, становившийся день ото дня все более буйным, сейчас приготовился к прыжку. Лев-отец пу-

лей бросился в его клетку и, заслонив собой дрессировщицу, спас ее от смертельной опасности. Львы готовы были наброситься друг на друга, но молодая самка, пробившись между отцом и братом, сумела предупредить драку. Злым рычанием молодой лев осудил предательство отца. В душе испугавшейся женщины проснулось чувство глубокой благодарности и любви к спасителю — старому льву. «До чего же ты благороден, бедный старец, — подумала она. — Ты ни разу меня не огорчил. Но нельзя ждать хорошего от его детеныша. Наверняка он рано или поздно набросится на меня. Старого льва сегодня обязательно выведу на прогулку».

Дрессировщица вызвала на помощь «карательную группу». Укрытые металлическими масками люди, стальными прутьями избили молодого льва. Угнетенный, он послушно поплелся вслед за отцом и сестрой. Львы вышли на арену, уставленную барьерами с горящим огнем и торчащими лезвиями ножей. В честь старого льва в зале поднялись восторженные крики, громкие аплодисменты. Дрессированным хищникам предстояло пройти через все барьеры, не опалив себя огнем горящих колец, не обрезавшись об острые лезвия ножей. Голод, жажда, бесконечные удары плетью заставляли их подчиниться воле дрессировщицы.

— Алле! — послышался привычный фальшивый голос женщины. Щелкнув плетью, она как бы дала знак: «пошевеливайтесь».

Съев протянутую конфету, облизав губы, молодая львица устремилась вперед. Быстро преодолев все препятствия, она возвратилась, приняла конфету и, обрадованная, села на свое место. Дрессировщица приготовила плеть и приблизилась к молодому льву, но он прижался тяжелыми лапами к полу и зарычал, собираясь вновь наброситься на нее. В этот момент старый лев одним прыжком опрокинул его и прижал грудью. Глаза молодого льва сверкали ненавистью и чувством мести: «Эх, отец, предатель! Хочешь, чтобы и я стал таким, как ты! Так знай, я все равно не пойду твоим путем! Когда-нибудь я загрызу эту угнетательницу!» Высвобождаясь, молодой лев вскочил на ноги, вцепился зубами в гриву отца и отбросил его в сторону. Молодая львица и здесь вступилась было за отца, но она была отброшена. «Карательная группа» вновь усмирила бунтаря. Лев-отец не обиделся на своего сына, он смотрел на него с умилением и слезами на глазах. Событийный детеныш впервые призвал его мстить за угне-

тенную жизнь. Вступившись за дрессировщицу, отец обидел своего любимого сына. Он понял свою ошибку: «Дитя мое, прости меня!» — будто молили его печальные глаза.

Эй, берегись! Зверь есть зверь! «Карательная группа» все еще избивала молодого льва: из его носа и рта текла кровь. Старый лев с ненавистью и гневом осмотрелся вокруг и заскрежетал зубами. Он направился в сторону «карательной группы», но, увидев поднятые дубинки, остановился. Молодого льва заставили пройти через барьеры, но он не принял конфету, протянутую женщиной. Наступила очередь старого льва. Следя за горящими кольцами, он дрожал всем телом. Наконец он поднялся, облизал языком крупный черный нос, попятился, прицеливаясь к кругу. Несколько раз он готовился к прыжку, но никак не мог осмелиться и пятился. У него потемнело в глазах, кружилась голова. После долгой нерешительности и растерянности он устремился вперед. Но обострившийся к старости страх заставил его опять остановиться. Он боялся сорваться и тем навсегда потерять возможность вернуться на арену.

Женщина подняла плеть. Собрав остатки сил, старый лев прыгнул. Слава богу, прошел через одно кольцо! Второе!.. Третье... Вот наконец последний барьер... Трудный, ужасный барьер. Он принесет ему несчастье. Когда лев преодолевал его, потерял равновесие, все вдруг поплыло и в глазах потемнело. К тому же еще и шерсть начала с треском гореть. Он упал на пол и на его голову обрушился дождь ударов. Все тело болело, будто пронзенное ножами, дрожали ноги. Кто-то взялся тушить его горевшую шерсть. Он озирался вокруг; лучи прожекторов резали глаза, все расплывалось. Молодые львы с жалостью смотрели на отца.

— Негодяй! Старая собака! — кричала дрессировщица и беспрестанно хлестала льва.

«Хозяйка, милая хозяйка! — кричало сердце старого льва. — Прости, состарился я, видно, больше не гожусь для твоих трюков... Кажется, для меня лучше клетка. В моей судьбе осталась только клетка».

Этого льва, как, впрочем, и всех других, природа не оделила языком. Взамен она одарила его силой и свободой. Теперь он лишен сил, а свободу украла женщина. Сейчас старый лев мучился, не умея выразить эту ужасную правду. Он понимал слова женщины, выполнял ее

приказания. Неволя, клетка, побои и голод вынуждали делать это.

Дрессировщица взмахнула плетью. Старый лев резко поднялся; он действовал согласно поговорке: умирающий бык не боится топора. С гневом и ненавистью он перепрыгнул еще через несколько препятствий. Да, удача на этот раз улыбнулась ему! Присутствие зрителей и гордость перед женщиной заставили его выполнить все трюки. Отдышавшись, он облизался и с довольным видом направился в сторону своих детей.

— Молодец! Bravo старому льву! — приветствовали его зрители.

Дрессировщица тоже потрепала его по голове, дала конфету.

Наступила очередь следующего опасного трюка. Зверям предстояло пройти по высокому и узкому барьеру. Старый лев и раньше считал этот трюк не из легких. Сейчас ему необходимо было обязательно пройти через этот барьер, потому что, как он думал, сегодняшнее выступление решит — останется или нет он надолго в клетке.

Дети... им легче — они молоды. Между молодостью, полной силы, и старостью, лишенной силы и порыва, есть большая разница.

Молодая львица опять первой начала выполнять трюк. Беспечная в отношении к клетке, дрожащая от страха перед плетью, самка своей податливостью разозлила на этот раз и отца и брата. Она легко перепрыгнула через высокий опасный барьер и приняла протянутую ей конфету. Молодой лев на этот раз начал бить ногами об пол, пытаясь наброситься на женщину. Только после палок «караательной группы» он вынужден был послушаться. В сильном прыжке с ревом, он пролетел сквозь огненное кольцо, готовый разнести на части всю арену.

Старый лев! Все взгляды теперь были устремлены к нему. Он растерянно бросился в огненные кольца, сорвался, упал на пол вместе с горящим кольцом. Ревя от ожогов и боли, он встал, оглянулся назад и по своей воле убежал за кулисы в клетку. Преданные ему зрители остались позади, они не провожали его аплодисментами. Старый лев метался по клетке, он был страшен сам себе. Сейчас он презирал и детей, и дрессировщицу, и зрителей — всех! Он задыхался в клетке. Клетка! Вот теперь он ясно понял, что находится в клетке и не скоро может освободиться. Стряхнув с себя огненное кольцо, он вдруг

почувствовал прилив сил, как в далекой молодости. Не обращая внимания на боль и кровь на деснах, он разорвал кольцо на куски. Дрессировщица, которая стояла за ним, увидела в облике льва одичавшего зверя, испугалась и отстранилась. Лев смотрел на женщину с ненавистью, готовый разорвать ее на части: в его взгляде угадывалось желание беспощадной мести за все муки в жизни.

— Старый лев... — лепетала женщина, покрывшись холодным потом. — Что с тобой случилось? Почему ты так хмуро смотришь на меня?

«И буду смотреть хмуро, потому что имею на это основания, — говорили беспощадные глаза старого льва. — Состарился я в твоей клетке, одряхлел. А ты еще хочешь знать, почему хмурюсь. Настал час рассчитаться с тобой».

Женщина отступила и быстро покинула клетку, не выдерживая его тяжелого взгляда. Старый лев остался один в своем решетчатом жилище. Он слизал кровь, что текла с порезанных губ, потянулся. Глаза закрылись сами собой. В памяти ожили годы его детства, родители. Вдруг сердце начало бешено колотиться. Клетка! Осознание того, что он опять заточен в клетке, удваивало боль и без того израненного тела. Он понял, что больше не сможет жить в клетке, почувствовал это всем своим существом.

Дрессировщица загнала обратно в клетку молодых львов и заперла ее на замок. Этим и закончились сегодня цирковые трюки.

В клетке как будто стало светлее. Старый лев взглянул на своего детеныша и впервые почувствовал, что до этого дня не уделял ему должного внимания. А ведь он был ближе его сердцу, чем львица-дочь, и любил он его пуще жизни. Этот молодой лев сможет поднять бунт против неволи и клетки, только он сможет разрушить все это. Старый лев подумал, что ему не следовало защищать дрессировщицу; ему стало стыдно перед своим детенышем, и он опустил голову. На самом деле, ведь молодой лев своим поступком звал к отмщению за унижения и угнетения женщины. Да, видать, от этого молодого самца можно ждать многое...

Наступила ночь. Дрессировщица вывела молодых львов на прогулку, а старый лев так и остался забытым. Щелкнул замок, оставивший взаперти и большого льва, и его чувства.

Замок! Двадцатипятилетняя жизнь! Никчемная жизнь! Сегодня он почувствовал это особенно остро.

Лев приблизился к решетке, его глаза наполнились печалью. Он взглянул на замок, попытался просунуть морду через решетку и разгрызть его. Зубам стало больно, губы оцарапались, и он отошел назад. Двадцатипятилетняя жизнь... Клетка... Замок... Его не разобьешь в один миг. А там, во дворе, всюю шла дрессировка молодых львов. Покрывшись потом и запыхавшись, они бегали по кругу, выполняя команды дрессировщицы.

Где старый лев — кумир публики?

На другой день зрители напрасно ждали его. Но, значит, есть еще почитатели силы и добра. Слава им! И все-таки они тоже заодно с дрессировщицей, иначе бы вошли в клетку, освободили бы от этих постоянных мучений. Они жаждут зрелища, а если освободить львов, то зрелища не будет... Сами-то не в клетке... Это не им преодолевать барьеры, прыгать сквозь огненные кольца и ножи. А раз они таковы, то как же смогут понять и прочувствовать муки заточенного в неволе зверя? Они только и могут наряжаться в накрахмаленные одежды, брать с собой детей да приходить в зрительный зал. А львы проводят свою жизнь в клетке и умирают там. Да и последующее их поколение приговорено к такой же судьбе. Клетка и львиную силу принуждает привыкнуть к неволе, а здесь не побуйнишь. Судьба льва, не пожелавшего подчиниться хозяевам, известна: он будет изнурен голодом и побоями, месяцами будет находиться взаперти, никто не услышит его жалобных стонов, он так и помрет, худея день ото дня. Никому нет дела до его несчастий, потому что закон в руках хозяев. Дрессировщица может наказывать львов сколько ей вздумается...

Тоскуя по воле и своим детям, не выдерживая боли от ожогов и ран, старый лев протяжно выл, маялся, не находил себе места. Вот он взвыл так громко, что все вокруг задрожало. Потом его стало тошнить, изо рта полилась кровь и горьковатая жидкость. Обессиленный, он растянулся на полу. Перед мысленным его взором чередой прошли картины далекой родины, родители. Вспомнилось то время, когда он попал в сети. В тот день он беспечно резвился на просторе, как вдруг из-за деревьев появились люди. Выстрелив в отца и мать, они набросили металлическую сеть на львенка, погрузили его в машину и повезли куда-то. Длинную дорогу прошли без воды и пищи. Путь завершился клеткой... Сначала его приучили выполнять несложные команды и трюки, а когда отказывался —

морили голодом и хлестали плетью. В надежде на еду и воду он начал отлично исполнять и более сложные цирковые трюки. Это было большой радостью для дрессировщицы, она обняла его, дала вдоволь еды и питья. Сознание, что будешь сыт лишь при полном послушании дрессировщице, все более укреплялось в нем, поэтому он начал выполнять все новые и новые тяжелые мучительные трюки. Ему стали нравиться приветствия зрителей. И даже порой цирковая жизнь казалась просто прекрасной. Он играл на арене в мяч, бегал по кругу, везя на себе дрессировщицу с обезьяной. Вместе с тем он часто был посмешищем даже для собак, ослов, петухов и змей. И иногда ему приходилось плясать на задних лапах. К чему только не пришлось привыкнуть, но вот к близости обезьян он привыкнуть не мог никак. Он не любил их даже тогда, когда жил на свободе. Взобравшись на высокие деревья, обезьяны дразнили его, высовывая языки и швыряли в него ветками. Но если случалось, что какая-то из них попадалась в его лапы, он беспощадно загрызал ее. И вот теперь эти обезьяны, которых он так не любил, приплясывая, разъезжали на нем, издеваясь и мстя сколько им было угодно. Не вытерпев, однажды он укусил обезьяну, которую хозяйка дрессировала уже несколько месяцев. За это он был безжалостно избит дрессировщицей, но все равно не допустил до себя обезьян. И с кем только ему не приходилось выступать, и что только с ним не творили! Но тяжелее всего оказалось стареть и оставаться одиноким в клетке.

Приближалось время, которое с нетерпением ждал старый лев, время, когда женщина заводила в клетку молодых львов. Лев-отец следил за женщиной с ненавистью и затаенной надеждой одновременно. Когда она появилась, он все еще лежал, будучи тяжело больным; температура у него повысилась, он задыхался, кости его зудели. Он пытался подняться, но не хватило сил. Он нуждался в заботливых руках, но заботливых рук не было. Женщина оставила его без внимания.

В таком состоянии старый лев пролежал довольно долго.

Дрессировщица вновь вывела из клетки молодых львов. Через некоторое время донеслись восторженные крики зрителей. Они болью отдавались в сердце старого льва.

После полуночи его глаза налились кровью. Он становился все более озверевшим. С трудом преодолевая боль,

лев медленно встал на ноги и продвинулся к двери. Неведомая сила упорно звала его к мести, к жестокой, ужасной мести, в жилах его вскипала кровь, тело было охвачено дрожью. В остервенении он кусал решетку, и на этот раз зубы его не болели, а, казалось, наоборот, крепчали и наполнялись силой. Теперь у него была лишь одна цель — идти дорогой борьбы, а свернуть и отступить уже не было никакой возможности. Да, он будет бороться и если победит, то навсегда покинет клетку, в противном случае — погибнет в ней, и пусть тогда женщина пинает и оскорбляет его мертвое тело сколько ей вздумается, пусть даже разрубит его на куски и утешится. Его львицы-подруги нет. Дети! Теперь ему и до них нет дела — они уже достаточно подросли и окрепли. Клетка! Молодая львица легко привыкла к ней, а вот лев-сын никак не может. Но постепенно и он привыкнет — просто некуда будет деться. К чему только не заставляет привыкнуть бесправие. А может быть, и не привыкнет... Натворит что-нибудь с дрессировщицей и положит этим конец пребыванию в клетке многих других львов... Клетка! Может, она так страшна только тем, кто раньше знал свободу, а для тех, кто в ней родился, она стала родиной?..

Старый лев не выдержал, прошел к уснувшим детям, потерял об них носом, полизал. На его глазах появились слезы. Уснуть он так и не смог. Его не покидали мысли о мести дрессировщице. Остаток ночи он метался по углам клетки, кровожадно ревел и скрежетал зубами до тех пор, пока не разбудил детей и дрессировщицу.

Как только распахнулась дверь клетки, старый лев ошетинился и, отбросив рывком путавшихся под ногами молодых львов, кинулся навстречу входящей женщине.

Молодые львы, расталкивая друг друга, выскочили наружу через полуоткрытую дверь. А в клетке один на один остались старый лев и дрессировщица. Глаза обоих источали ненависть и гнев, обиду и месть. Они поняли, что никогда не были и не могли быть друзьями, что наступил срок выяснить отношения. С округлившимися от страха глазами женщина шепотом звала его по имени, молила опомниться, но старый лев, не сводя кровожадных глаз со своей жертвы, упорно теснил ее к решетке. Она рванулась к выходу, но лев со страшным ревом настиг ее. Тут же тело женщины хрустнуло в его зубах. Лев кидал свою жертву из стороны в сторону, топтал тяжелыми лапами, кусал, отрывая куски ее тела. Дрессировщица каталась по

полу, трепетала, кричала и звала на помощь. Упиваясь мстостью, старый лев высоко подкидывал женщину и с силой ударял о цементный пол, остервенело топтал оторванные куски мяса и кости. Через несколько минут на цементном полу остались в огромной луже крови лишь куски растерзанного тела. Старый лев со страшным ревом бросился во двор. Опьяненный воздухом свободы, с глазами полными слез, он с наслаждением сделал несколько глубоких вздохов и помчался вдогонку за своими детьми.

Нескольких человек, встретившихся на его пути, он так же безжалостно загрыз и растерзал. Теперь он мстил всем подряд — виновным и невиновным, за двадцатипятилетнюю жизнь, проведенную в клетке. Он догнал своих детей на большой улице, где их пытались поймать люди. При появлении старого льва толпа разбежалась, вдруг раздались выстрелы, и он неожиданно повалился на землю и начал лаять. Старый лев потерял разум...

Оглашая улицу то утробным лаем, то громоподобным ревом, через полчаса старый лев утих. Последние силы покинули его. Затуманенным взором он огляделся вокруг, не увидел привычной решетки и дрессировщицы. В его памяти возникли картинки далекой родины, родители, тут же и эти видения бесследно исчезли — старый лев уснокоился навеки...

Мир по ту сторону решетки был чистым и прозрачным. Наконец-то старый лев вышел в него, но и погиб в этом мире. Его последняя надежда, цель, утешение были только в этом. И он прошел свой последний путь без клетки, решеток и дрессировщицы...

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Слегла любимая бабушка девочки. Бабушка, разлучившаяся с тремя сыновьями сразу. Несчастье это случилось накануне религиозного праздника. Старушка собиралась разделить радость с внучкой, но неожиданно себя почувствовала плохо.

«О, великий из великих! Щедрый среди щедрых! Луч, озаряющий жизнь людей,— птица Лайлатулкадр¹! Любящий, оберегающий, радующий людей Хастихызр²! Скорее явитесь ко мне!» Девочка Анар начала повторять про себя заклинания, не раз слышанные от бабушки. Ей очень хотелось видеть птицу Лайлатулкадр, встретить Хастихызра, излить им душу, попросить облегчить страдания бабушки.

Свечерело. В котле допревал плов. По давнему обычаю, скоро дети начнут разносить по соседям плов, лепешки, баурсаки³. Девушки, молодые женщины, невестки выжмут сок усьмы, растолкут хну, покрасят брови, ресницы, ногти на руках и ногах, принарядятся. Они будут ждать рассвета, когда прилетит Лайлатулкадр и явится Хастихызр. Кому выпадет счастье увидеть их — быть осыпанным щедротами. По словам бабушки, они являются лишь опрятному, невинному человеку. Но все равно все выходят на улицу, затаив в душе надежду. В конце концов, ведь человек жив надеждой. Разве человек без надежды человек? Только шайтан не имеет никакой надежды. Люди, сетуя, говорят: «Где же Лайлатулкадр, где Хастихызр? Есть ли такие, кто встречал их или видел? Мне не приходилось. Я не видел!» Интересно, кому они показываются? В этот раз они непременно должны показаться внучке захворавшей бабушки, Анар. Она будет просить у них милости не для себя, а чтобы выздоровела бабушка и ее сыновья вернулись с войны...

¹ Л а й л а т у л к а д р — священная птица.

² Х а с т и х ы з р — святой пророк.

³ Б а у р с а к и — кушанье в виде круглых кусочков сдобного теста, жаренных в масле.

Печально, что бабушка слегла накануне праздника. Она три дня ходила бледная, жаловалась на головную боль, сердце, а затем легла и больше не встает. И теперь она не сможет ответить принесенных соседями гостинцев. Ведь ребятишки кишлака принесут плов, лепешки и баурсаки, особо предназначенные бабушке — на помин ушедших и не вернувшихся с войны сыновей. А бабушка больна...

Бабушка почитала святые обряды, относилась к ним с любовью, бережно. Она ввела в обычай женщин кишлака краситься усьмой, сурьмой, хной. Она никогда не изменяла старым обычаям народа и не собиралась изменять. Уход на фронт сразу трех сыновей сильно опечалил старушку. Ей казалось, что теперь захлопнулись двери всех ее надежд и желаний. Старушка погрузилась в море печали. Три сына! Три батыра! Три ясных сокола! Для старушки и хлеб, и соль, и вода, и весь народ заключались в именах трех ее сыновей. И война, начатая для того, чтобы захватить ее землю, поработить ее народ! Великая Отечественная, Великая священная! Сердце было ранено... Однако выстояла, не умерла. Не посмела умереть. Как же она может умереть, не увидев сыновей! Горечь разлуки не убила ее. Не смогла убить...

Тяжелее всех Анар, правнучке старушки — внучке среднего сына, трудно ей... Ведь именно эта девчушка заботится о старушке.

Мать вымыла девочке голову, причесала. Теперь Анар будет ждать наступления ночи, а там и прихода рассвета. Встанет до того, как зазвонят жаворонки. Раньше всех залезет на крышу. Будет ждать Лайлатулкадра и Хастихызра. Плача, выскажет им свою печаль. Как было бы хорошо, если бы довелось увидеть их девочке, только ей! Как хорошо было бы, если бы Хастихызр великодушно сказал: «Говори свое желание». Она попросила бы, чтобы скорее выздоровела бабушка и возвратились дяди. Ах, как было бы хорошо!..

На улицу должна выйти она сама, только сама. Если так не сделает, то не достичь ей своей цели. Потому что много таких, кто выйдет на улицу. А Лайлатулкадр и Хастихызр одни. Эге-ге! На свете очень много счастливых и несчастных людей. Кому же из них покажутся Лайлатулкадр и Хастихызр?! К чьим же вздохам прислушаются они?! Без надежды только шайтан. А люди выходят на улицу с надеждой.

Они же покажутся Анар. Она всегда ходит опрятная,

грехов за ней не водится. Людям не дерзит. Кому же, как не ей, показаться?! Странно, почему отец с матерью, целыми днями работающие в поте лица на хлопковом поле, не упоминают о Лайлатулкарде и Хастихызре? Даже не испытывают желания увидеть. Кроме хлопка, больше ни о чем не говорят. Почему отец с матерью безразличны к тому, что свято для бабушки?! А бабушка у нее замечательная. Всегда внушала ей: «Обычаи предков святы для нас! Человека, не уважающего, не оберегающего их, тоже никто не будет уважать. Человек никогда не достигнет счастья, если ему не будут покровительствовать духи предков».

Девочка, с волосами заплетенными в сорок косичек, побежала к бабушке. А старушке было любо видеть ее. Она всегда говорила ей: «Деточка, в косах красота женщины. Женщины без кос не отличаются от мужчин. Волосы красят женщину».

— О боже! — прошептала старушка, уставясь в потолок. — Пусть в день щедрот мой вздох достигнет твоего слуха! Наступает мой конец. Хоть перед смертью верни мне сыновей. Дай поглядеть на них! Чтобы не уйти мне с раскрытыми глазами.

Анар остановилась на пороге. Она не раз заставляла бабушку, милую бабушку в таком состоянии. Каждый раз у девочки на глаза наворачивались слезы. Она присела возле бабушки.

— Бабушка, милая, — она поцеловала ее в морщинистую щеку. — Бабушка, я вымыла голову. Мама заплела мне волосы в сорок косичек. И еще пообещала покрасить мне брови усьмой, а ноги хной.

— Пусть будет тебе счастье в жизни. Чтоб не видела ты нужды. Хорошо, что есть ты. Навещаешь меня. Дети мои тоже утешали меня. Почитали наши обычаи. Отобразилась война у меня детей. Тогда председателем колхоза был недалекий Сайфулла. Ничего не случилось бы, если бы Сайфулла не отправил одного из моих детей, хотя бы младшего. Оставил своего зятя... Подумать только, вскоре после того беднягу сбил хафтбуз. И до того был недалекий, а после этого и вовсе рассудка лишился. Сколько горя он мне принес, вот его и накажет бог. Каждый пожинает то, что посеял... Вернулись бы твои дяди, мы вместе поели бы плов! Повели бы они тебя на праздник.

— Бабушка; милая! Я выйду на улицу. Раньше всех выйду...

— Живи долго, детка. Если увидишь Лайлатулкадра, то сбудется твоя мечта. Нет у меня сил, я и сама вышла бы. Если встретишь Хастихызра, хватай его за руку. Возьми за мизинец. Он без костей. Сожми. «Говори желание»,— промолвит он. А ты скажи: «Верните сыновей бабушки, а то она не может умереть, не повидавшись с ними, не может умереть». Усы, борода и чалма Хастихызра белые, помни об этом, и все на нем белое.

— Бабушка! Почему мизинец Хастихызра без костей?.. У меня же палец с костью!

— Потому ты и не Хастихызр. А он потому и Хастихызр, что без костей.

— Бабушка, вы видели Лайлатулкадра?

— Не видела. Но видевшие утверждают, что он приближается словно луч и быстро пронесется мимо. Когда пролетает, все кругом озаряется. Если вокруг заалело, значит, прилетел Лайлатулкадр. Достаточно лишь увидеть это, и мечта твоя сбудется. Мне не привиделся — видимо, грехов много. Ты — невинное дитя, увидишь. Луч сливается с лучом, луч влечет к лучу. Ты — луч. Ах, если бы сбылось твое желание и возвратились твои дяди!..

— Я выйду, выйду, я увижу!..

— Пусть продлится твоя жизнь да посчастливится тебе увидеть!..

На улице раздались ребячьи голоса. Анар побежала к матери на кухню. Мать, высокая, чернобровая Хасият, приподняла на казане крышку. Взвился горячий пар. Вокруг разнесся аромат плова. Плов! Ах, какой аппетитный запах!.. Анар оставилась в казан с пловом, она сейчас побежит разносить по соседям разложенное в чашки угощение. Потом с матерью, отцом, младшими братьями сама сядет кушать. А бабушка не сможет отведать!.. Больна!.. Возвращался бы поскорее отец с поля!.. Сейчас придет на своей машине. Повез в район хлопок!..

Хасият наложила в чашку плов, сверху положила лепешку с баурсаками.

— Доченька, возвращайся скорее, сейчас отец придет. Будем все вместе кушать.

Анар, взяв чашку, побежала к соседу, живущему рядом, — дяде Адылу.

— Плов, — сказала она, открывшей дверь старухе Асолат.

— Доченька, как чувствует себя твоя бабушка? Нака-

занного богом еще и пророк ткнул посохом... бедная твоя бабушка...

— Бабушка...— начала всхлипывать девчушка.

Старуха освободила чашку, наполнила ее сушеным урюком, кишмишем, орехами и вернула.

Анар постучалась в следующую кибитку.

Словами: «Каково твоей бабушке? Легко ли потерять трех сыновей?»— встретил ее вышедший навстречу старик Хашим с всклокоченной бородой.

— Бравые были парни. У старшего остались две дочери и сын, у среднего один сын— твой отец. Младший тогда только женился. Не прошло даже сорока дней после свадьбы, как Сайфулла отправил его на фронт. Младший был чудесным парнем. Смешливый. Шутками-прибаутками смешил людей до слез. Многие хотели видеть его своим зятем. Но он поехал в райцентр учиться, там познакомился с девушкой, на ней и женился...

Председателем должен был стать старший Абдукадыр. Сайфулла почувствовал это.

— Утром залезу на крышу,— поделилась Анар,— если увижу Лайлатулкадра и Хастихызра, то бабушка поправится и дяди вернутся с войны...

— Пусть сбудется твое желание. Может быть, ты и увидишь... Мне не привелось. Видать, грехов много... Перестал молиться богу, поститься. Свечу давно не ставил на могиле предков. Завтра схожу на кладбище, порадую их души.

Анар повернула назад. Всю дорогу думала о том, чтобы скорее наступила ночь, а там и рассвет.

Мать снова наполнила чашку. Анар направилась к другим соседям.

Наконец с поля вернулся отец. Устал, бедняга. Прилег не раздеваясь на курпачу. Колхоз выполнил план по хлопку. Одежды и хлеба теперь будет вдоволь. Как хорошо! У людей появится свободное время. Все-таки как здорово, что именно в праздничный день выполнили план. Люди отпразднуют и то, и другое сразу. Если бы не выполнили план, было бы не до праздника.

Анар полила из ковшика взрослым на руки. Мать принесла плов.

Бабушка не притронулась к еде. Даже с постели не встала.

С улицы слышались крики детей:

Вас поздравляя, у вашей двери мы поем!

Желаем счастья, изобилья полный дом!

Анар вскочила и бросилась наружу. Подбежала к детям.

— Зайдемте к нам тоже, навестим бабушку. Бабушка любит, когда поют рамазан. Обрадуется, одарит.

— Папа у тебя сердитый,— буркнул Исмат, у которого вечно слезились глаза.— Прогонит. Бывает плохо, если прогоняют во время пения рамазана...

— Сегодня не прогонит,— сказала уверенно Анар.— Папа в последний раз свез хлопок в райцентр. Колхоз выполнил план... Давайте споем рамазан по-другому...

— Как ты хочешь петь?— спросил темнлицый мальчик, по прозвищу Рыхлый.— Рамазан по-другому не поют. Рамазан, говорят, придуман тысячу лет назад...

— Все равно же его сочинили люди,— осмелела Анар.

— Моя бабушка тоже хорошо сочиняет рамазан,— вмешался в разговор другой мальчик.

— Ладно, как будем петь?— спросил Исмат.

— Сейчас... сейчас...— Анар, прикусив губу, задумалась.— А вот как... Что, если споем: «Милая бабушка, не горюйте, дяди Анар вернутся»? Ведь моя бабушка — это и ваша бабушка, мои дяди — это и ваши дяди! По словам бабушки, жители кишлака — дети одного отца, одной матери. А можно и по-другому спеть: «Бабушка, милая, выздоравливайте скорее...»

— Это же не похоже на рамазан,— пробормотал Рыхлый.— Рамазан должен быть похож на песню.

— Да брось ты со своими песнями,— пробурчал Исмат.— Споем, как скажет Анар.

Поблизости неожиданно раздался невнятный хриплый голос: «Во всем я сам виноват! Я сам виноват!» Ребята обернулись. Сайфулла, бывший председатель, шел по улице, осыпая себя пылью, то смеялся, то плакал, то кричал что-то нечленораздельное, понятное ему одному.

— Бедный дядя Сайфулла...— вздохнула Анар, и на глаза ей навернулись слезы.

— Не плачь,— начал успокаивать ее Исмат.— Моя мама говорила, что он очень обидел твою бабушку...

— А что, если споем у двери твоей бабушке: «Вернутся ваши сыновья! С ними будем праздновать! А потом пусть и дядя Сайфулла поправится!»?— прошептал Рыхлый.

— Вот здорово ты придумал,— одобрила Анар.— Идемте!

Она повела ребят к бабушке.

Вдруг весь дом наполнился ребячьими голосами:

— Милая бабушка! Сыновья ваши вернутся с войны, вместе будем праздновать. Пусть и дядя Сайфулла поправится!

Задребезжали стекла в окне.

— Пусть бабушка поправится и мои дяди поскорее вернутся! — звучал громче всех голос Анар.

— Живите долго! — отвечала старушка, приподнимаясь в постели. — Ладно, если даже и не поправлюсь, пусть сыночки мои поскорее вернутся... Деточки, вам стало жалко Сайфулла? Дело прошлое, ладно, пусть и Сайфулла тоже поправится! Пусть выздоравливает...

Глаза старушки наполнились слезами.

— Бабушка! Выздоровливайте скорее...

Старушка сунула руку под подушку. Вытащила деньги. С давних пор берегла их, чтобы не оказаться в тягость снохам, внукам. Одна часть предназначалась ко дню возвращения сыновей с войны. Еще одну часть собиралась потратить на свадьбу правнуков. Пришли дети, напевая рамазан. От детей нельзя ничего таить.

— Вот, дети мои, — сказала старушка, протягивая деньги.

— Ведь это много, зачем нам столько?

— Мне теперь деньги ни к чему. Вы тоже мои дети. Купите на них книги и тетради. Если умру, люди не оставят, похоронят.

— Спасибо, бабушка. Пусть скорее вернутся ваши сыновья! Пусть дядя Сайфулла тоже поправится!..

Дети ушли. А Анар присела возле бабушки.

— Анар, где ты? Пойди-ка сюда, — слышался голос матери.

— Я возле бабушки, — откликнулась девочка.

— Иди подведи тебе брови усьмой.

— Не буду краситься. Не хочу.

— Не сердь меня!

— Кто кричит? — спросила бабушка, открыв глаза.

— Мама зовет, покраситься усьмой велит.

— Ступай, детка, надо соблюдать обычаи.

«Да, наверное, надо соблюдать обычаи, — призадумалась Анар. — Если не буду соблюдать, завтра не увижу Лайлатулкадра и Хастихызра».

Анар чмокнула прабабушку в щеку и убежала.

В комнате находились две снохи, мать, трое или чет-

веро девчонок — двоюродные сестры. Усевшись на курпачу в кружок, они красились. Посредине стояла опрокинутая пиала, на доньшке которой поблескивал сок усьмы, в глиняной чашке лежала растолченная хна. Девочка, обмакнув в усьму спичку с ваткой, покрасила брови, приложив к ладоням кашлицу из хны, сжала их в кулачки и обвязала тряпочкой. Затем вернулась к бабушке.

— Покрасила?

— Ага.

Анар не спускала с бабушки глаз. В человеческих лицах одна за другой погасли лампы. Только в комнате старушки тускло горела коптилка. Бабушка болела, лежала с закрытыми глазами, но Анар это видела — не спала. Когда же рассветет? Скорее бы наступило утро!

Незаметно к девочке начал подкрадываться сон. Раз, покачнувшись, она даже стукнулась головой о стену. Сразу распахнув глаза, взглянула на бабушку.

— Спит ли твой отец?

— Ага.

— А мать?

— Тоже.

— Устали. Им нелегко. Спозаранку бегут в поле. Я тоже в молодости была такая. Всю жизнь провела в поле. Во всяком случае, было бы неплохо, если бы сегодня посидели возле меня. Петух прокричал?

— Нет еще.

— Видимо, петухи тоже зевают... Почему-то не чувствую ни рук, ни ног. Дети мои... Неужели больше ни разу не увижу вас?.. Будь проклята война...

— Бабушка! Почему люди воюют?

— Людям всегда чего-то не хватает, деточка. Мой покойный отец говаривал: «Люди жадны, до самой смерти не могут насытиться». В те времена были богатые и бедные. Люди воевали. А теперь фашисты, будь они прокляты... Да ладно, вырастешь, все поймешь... Не светает?

— Нет еще.

Старушка надолго замолчала. В мире царили тишина, покой. Земля безмолвствовала. Вместе с землей спали птицы, животные, отец, мать и младшие братья девочки. Только старушка и Анар не спали. Лишь небо беспокойно, высоко, среди звезд плача летали души сыновей старушки...

Анар начала задремывать. Прилегла, положила голову на подушку. Ей приснился коротенький сон. Она летела

Летит, летит. Ищет в небе Лайлатулкадра и Хастихызра. Вдруг увидела удивительный свет: луч не луч, птица не птица. Мир начал окрашиваться в алый цвет. Анар, летая в глубоком пространстве, догнала Лайлатулкадра. «О, щедрый среди щедрых! Великий среди великих — Лайлатулкадр! Все глаза проглядела, ожидая вас. Наконец-то увидела! Окажите милость, исцелите бабушку. Пусть дяди мои поскорее вернутся с войны!» — закричала девочка. «Не плачь,— говорит Лайлатулкадр, глядя ее по головке.— Твоя мечта сбудется. Бабушка поправится. Дяди вернутся с войны! На земле много тех, кто ждет меня, жаждет увидеть. Я в этом году только тебе повстречался. Исполню твое желание. Иди порадуй бабушку!» Потом она, увидев Хастихызра, схватилась за его мизинец. Мизинец на самом деле оказался мягким. «Говори свое желание»,— сказал Хастихызр. Девочка сказала. «Ступай, я исполню твое желание»,— ответил Хастихызр. Анар стала плавно спускаться. Ноги коснулись земли, и она проснулась. Глянула на бабушку. Глаза старушки были закрыты. Счастье! Сбылась мечта. Однако во сне... Она приблизилась к окну. Сердце ее наполнилось радостью. Выбежала на улицу. Мир все еще спал. Она вскарабкалась по лестнице на крышу. Огляделась вокруг, никого, ничего не было видно. Она была одна. Земля, небо постепенно светлели. Она искала глазами Хастихызра и Лайлатулкадра, о которых столько раз слышала от людей и видела сейчас во сне... Начала дрожать то ли от утренней свежести, то ли от волнения. Сердце гулко стучало... нахмурилась. Но... Ничего не видать. Нет! Нет! В сторону гор пролетели три дикие утки. Потом четыре диких голубя опустились на берег сая. А немного погодя два жаворонка взметнулись ввысь и, застыв на одном месте, запели, перебивая друг друга. Ни луча, ни солнца. Птица-луч, где ты? Где Лайлатулкадр, все окрашивающий в алый цвет? Где та щедрая птица, которую люди ждут годами, а иной раз и всю жизнь? Почему не летит? Существует ли на самом деле эта птица? Если да, то почему не покажется? Почему не покажется маленькой Анар? Хотя бы из уважения к ее бабушке не прилетит?..

Где-то лаяли собаки, заревел осел. Перекликались петьюхи. Но Лайлатулкадра все нет и нет...

— Лайлатулкадр! — закричала Анар в отчаянии. — Почему ты не летишь? Прилетай ради бабушки! Лети! Лети же!

Девочка, громко плача, оглядывала небо, кишлак заплаканными глазами.

Неожиданно на глаза ей попался старик, медленно шествующий по большой улице. Он был в белом халате, белой чалме, даже борода белая. У нее затрепетало сердце. «Щедрый Хастихызр! Вы пришли, пришли! Вы пришли, чтобы исцелить бабушку, вернуть моих дядей? А я все глаза проглядела, ожидая вас. Теперь бабушка поправится, а дяди вернуться! Как хорошо...»

Хастихызр в белом халате, в белой чалме, с белой бородой шел по большой улице кишлака. Анар прыгнула на кучу соломы позади дома, скатилась вниз, вскочила и бросилась навстречу старику. Стремительно подбежав, вцепилась в руку Хастихызра, сжала мизинец.

— О, щедрый среди щедрых! Великий среди великих — дедушка Хастихызр! — закричала Анар, переполненная радостным волнением. — Я ждала вас. Я... всю ночь не спала, ожидая вас...

— Чья ты дочь? Что ты делаешь спозаранку на улице?

— Я... я... — забормотала Анар. — Правнучка старушки Хомбиби. Вас ждала, милый дедушка! Помолитесь за мою бабушку, пусть она поправится, а дяди возвратятся с войны! Бабушке плохо... «Если не увижу своих детей, не смогу спокойно умереть», — говорит. Пожалейте...

Старик мотнул головой и отвернулся, но девочка заметила, что глаза его наполнились слезами.

— Какие еще желания, говори? — глухим голосом произнес он.

— Нет других желаний!

— Бабушка твоя поправится, дяди вернуться. Желание твое сбудется...

— Спасибо! Спасибо!

Анар отпустила палец старика и побежала.

— Пусть и мой сын поскорее вернется с войны, — произнес старик, глядя вслед девочке, и вздохнул.

— Бабушка поправится!.. Дяди вернуться! — беспрерывно выкрикивала девочка, вприпрыжку приближаясь к дому.

Она стремительно вбежала во двор и резко остановилась. Двор был полон людей. Головы у всех опущены. Из дому, из комнаты прабабушки доносится сдавленный плач женщин.

— Папочка! Я видела Хастихызра! Видела! Он сказал: «Бабушка поправится, дяди вернуться».

— Замолчи! — прикрикнул отец, вытирая рукавом покрасневшие глаза. — Ты зачем держала за руку дедушку Душана?

— Какого дедушку Душана? Я видела Хастихызра, держала его за палец...

— Ей, не трещи, — сказала вышедшая из дому, шмыгая носом, мать. — Глупая, чего ты мелешь? Бабушка умерла...

«Бабушка умерла...» — повторила шепотом Анар и побледнела, закрыла лицо руками.

— Бабушка, милая бабушка!..

Анар испуганно обернулась и бросилась на улицу. По большой улице тащился Сайфулла, оборванный, босой, с непокрытой головой, осыпая себя пылью, непрерывно выкрикивал:

— Во всем виноват сам, во всем!..

БУМАЖНАЯ ПТИЦА

Коротко и жестко погромыхивают за окном листья, потревоженные порывом ветра. Сух и неприятен их язык осенью. Весной они разговаривают совсем иначе. Нежные и податливые от вливающихся в них соков, они нашептывают что-то ласковое. И этот их шепот длится и длится, затихая медленно, постепенно, как песня матери, баюкающей ребенка, которая никогда не прерывается резко и неожиданно. Летом же упругие и покрытые пылью, скрывающей налитую их наготу, они то замирают в полном безмолвии, а то вдруг начинают шуметь, резко и весело, как воды арька.

Когда мы впервые начинаем улавливать эту великую разницу в их разговоре? Скорей всего тогда, когда испытываем первую влюбленность, надежду, тоску разлуки. Но что я, маленький и глупый, понимал в этом той весной и той осенью, когда сестра моя Соифа вдруг расслышала все оттенки шума пирамидальных тополей, что росли у нашего дувала?

Сколько мне было тогда лет? Пожалуй, уже минуло шесть, потому что Соифа, зная, что доставляет мне этим удовольствие, при каждом удобном случае говорила соседкам:

— Наш Каллахом на будущий год пойдет в школу.

В ту пору мне было трудно усидеть на одном месте, я был подвижный и круглый, как мячик, а когда бегал, моя большая голова покачивалась из стороны в сторону. Вот сестры, а их было у меня три, и стали звать меня Каллахом. Признаться, это меня несколько не обижало: я чувствовал, что сестры любят меня и что в слове «каллахом» для них заключено значительно больше нежности и тепла, чем в обычном имени Ахмад.

Отца своего я помнил плохо, потому что пошел уже третий год, как он воевал с немцами, но зато вместе с мамой и сестрами научился ждать от него треугольники писем. Старшая сестра Марифа ждала такие же треугольники еще и от Зиятбая, своего мужа, который был тоже на фронте. Когда писем не было очень долго, мама при-

жимала к себе мою голову и говорила, что я единственный мужчина, который остался в нашем доме. А сестры иногда набрасывались на меня с ласками, начинали целовать, обнимать, тискать до боли. Я же норовил от них вывернуться, царапнуть, дернуть за косы. Но вообще-то мы жили дружно.

Не больно ладил я только с одной Мазифой. Она была не так уж намного старше меня, но уже ходила в школу, а потому задавалась. Летом же, когда мама, Марифа и Соифа с раннего утра уходили на колхозное поле, она оставалась в доме хозяйкой и принималась мною командовать. Но не очень-то это у нее получалось. Я убегал на улицу и возвращался лишь поздно вечером, уставший от беготни и запыленный по самую макушку.

Больше всего я дружил со средней сестрой Соифой. Ей было уже лет семнадцать, и она не заботилась, как Мазифа, о том, чтобы в общении со мной постоянно подчеркивать свое старшинство. А по вечерам она не печалилась и не вздыхала, как Марифа, оттого, что ее муж где-то далеко-далеко, потому что никакого мужа у нее еще не было. Соифа могла, забыв обо всем на свете, забраться вместе со мной на крышу и следить оттуда за полетом змея, которого сама же для меня и сделала. Но еще больше, чем змеи, мне нравились бумажные птицы. Соифа тоже мастерила их для меня. Они получались у нее сказочно красивыми — с красным клювом, голубыми глазами, а крылья их Соифа разрисовывала огненными тюльпанами. Мне завидовали мальчишки всего кишлака. Правда, иногда я давал им попускать моих птиц, а случалось, отдавал насовсем. Я знал, Соифа сделает для меня еще.

Однажды Соифа так долго и старательно разрисовывала птицу, что мне стало невтерпеж и я стал ее поторапливать. Но вдруг почувствовал, что сестра не видит и не слышит меня. Она то хмурилась и терла пальцами лоб, словно силилась что-то вспомнить, то улыбалась. Потом вдруг нарисованные на хвосте цветы быстро-быстро окружила хороводом маленьких стройных букв. Наконец-то птица была готова.

— Нравится? — словно очнувшись, спросила меня Соифа.

— Очень! — с восторгом выдохнул я, потому что птица действительно была хороша.

Я пританцовывал на месте, как ретивый конь, чтобы

тотчас же, как только Соифа отдаст мне эту красавицу, сорваться и улететь вместе с ней на весь вечер.

— Брось ее, пожалуйста, во двор Мирвали-ака,— взглянув мне в глаза, сказала Соифа.

— Что?! — от неожиданности у меня даже пятки прилипли к полу.

Я, конечно, знал этого Мирвали-ака. У него еще глаза были такие большие и влажные, как у нашей коровы. Он возил на подводах хлеб с поля на ток, а до войны учился в одном классе с Соифой. Но за что же ему надо было отдать самую лучшую птицу? Правда, он катал меня на подводах, и мне бывало с ним весело и хорошо, но только до того момента, как он начинал меня расспрашивать о Соифе. Тут во мне почему-то поднималась такая неприязнь к Мирвали-ака, что я спрыгивал с подводы и, показав ему язык, убегал прочь. И вдруг этому Мирвали отдать птицу?

— Ни за что! — сказал я Соифе, прижимая к груди сокровище.

А она смотрела на меня так нежно, как никогда еще не смотрела, и так ласково лохматила мои волосы.

Видно, я был все же не таким уж вредным мальчишкой. Потому что птицу во двор Мирвали-ака бросил.

Но теперь Соифа, возвращаясь с работы, уже больше не забиралась со мной на крышу, чтобы запустить змея. Она бесцельно кружилась по двору, дожидаясь сумерек. А когда опускалась тьма и улицы замолкали, за дувалом нашего дома кто-то начинал выводить песню. Она то рвалась высоко в небо, то замирала. А Соифа припадала лбом к шершавым, плотно сбитым доскам калитки, словно сквозь них можно было увидеть того, кто пел там в ночи.

— Соифа, где ты? — раздался голос матери, и Соифа, как от раскаленных углей, отскакивала от калитки и поспешно шла в дом. — Давно пора спать, — строго говорила ей мать. — Завтра ни свет ни заря на жатву.

Как-то одна из моих птиц застряла на ветке туи. Я сбил ее камнем и, когда подбежал, чтобы поднять, замер от неожиданности. Неподалеку от моей птицы лежала другая. Да такая, что в сравнении с ней меркли все птицы Соифы. Даже та, которую она велела мне бросить во двор Мирвали-ака. Я схватил ее в руки, и она посмотрела в мои глаза огромными голубыми глазами. На одном ее

крыле был нарисован большой лотос, на другом — лотос поменьше. А весь хвост был красиво расписан буквами. Первый раз я пожалел, что до сих пор не научился читать. Обращаться за помощью к задавке Мазифе я не хотел, а Соифа была на работе.

Сразу же меня облепили такие же сорванцы, как я.

— Ахмад, Ахмад! — наперебой кричали они. — Кто сделал тебе такую птицу?

— Никто! — сказал я твердо. — Она прилетела ко мне сама.

Ведь говорила же мама, что к хорошим людям птицы прилетают сами. Правда, прежде я никогда не догадывался о том, что я хороший. Но раз птица выбрала именно меня, значит, это так. С кличем радости бросился я на улицу, толпа мальчишек кинулась за мной.

До самой темноты запускали мы чудо-птицу. От наших горячих нетерпеливых рук она изрядно помялась, замусолилась и потеряла свой гордый вид. В довершение всего кто-то нечаянно оторвал ей хвост. Летать птица больше не могла, я чуть не заревел от досады и, со злостью бросив птицу на землю, поплелся домой.

Когда я вошел в наш двор, было уже совсем темно, но Соифа что-то со странным упорством искала около тун. Заметив меня, она спросила:

— Ты ничего здесь не находил, Каллахом?

— Нашел, — прохныкал я.

— Что? — бросилась ко мне Соифа.

— Птицу, — опять проныл я, готовясь излить все свое горе и вызвать жалость.

— Дай же мне ее поскорей, — задыхась от нетерпения, прошептала Соифа.

И тут до меня дошло, что я со всеми своими несчастьями сейчас не существую для Соифы. И тогда в отместку я крикнул со злым торжеством:

— А я порвал ее, эту противную птицу!

— Ах ты дрянь! — в глазах Соифы сверкнули слезы, и она ударила меня по щеке.

Заревев, я побежал в дом.

— Кто тебя обидел, мой мальчик? — участливо спросила мама.

— Соифа, — с готовностью доложил я.

— А ты не называй ее Соифой, — заметила мама. — Для тебя она Соифа-апа.

На следующий день из нашего кишлака уходила на

фронт еще одна группа мужчин. Мама пошла проводить их к правлению колхоза, и я увязался за ней. На этот раз уезжали совсем молодые парни, подростки за последние два года. Среди них я заметил Мирвали-ака. Пожилые женщины говорили ему в дорогу какие-то нужные слова, а он, вместо того чтобы с почтением слушать их, беззастенчиво кого-то выглядывая, вертел и вертел по сторонам своей тонкой шеей. И оттого, что он ее так вытягивал, на ней резко обозначился кадык, острый, как персиковая косточка, которую я держал за щекой. Но вот Мирвали-ака освободился от окружающих его женщин и подошел ко мне.

— А что, сестры твои не пришли? — сглотнув слюну, спросил он.

— Нет! — жестко сказал я и небрежно выплюнул косточку.

— Но ведь я же ей все написал! — вырвалось у Мирвали-ака. — Разве Соифа не нашла мою птицу?

«Так вот оно что! — пронеслось у меня в голове. — Значит, Соифа ударила меня по щеке из-за его птицы!» И, не помня себя от негодования, крикнул:

— А зачем ей твоя птица?

Закрыв лицо руками, Мирвали-ака отвернулся, но я успел заметить, как судорожно — вниз, вверх — заходил по его шее кадык. И вдруг я почувствовал такую пустоту, мне стало так одиноко и страшно, словно от меня отвернулся весь свет.

Я отыскал мать, ухватился за ее руку и не отпуская от себя ни на шаг. Меня била мелкая дрожь.

— Ох уж эта война, — встревоженно сказала мама, — всех детей сделала нервными.

А ночью я слышал, как Соифа рыдает в подушку, и готов был простить ей вчерашнее, только бы она успокоилась.

Потом потекли тихие тоскливые дни. Соифа перестала играть со мной и не делала больше птиц. По вечерам, возвращаясь с поля, она все искала и искала что-то под невозмутимо спокойной туей.

— И как-то спросила:

— Қаллахом, а ты правда нашел ту птицу?

Я молча кивнул головой.

— И совсем ничего не придумал?

— Нет.

Выпал и растаял снег, отплакали сосульки. Вернулся с войны отец. Он крепко обнял меня одной рукой, а другая, перевязанная, висела у него на бинте, перекинутом через шею. Позже вернулся и Зиятбай. От него пахло табаком, а над губой росла густая щетка усов. Женщины говорили, что он очень возмужал на войне, а нам, мальчишкам, было важно другое: на гимнастерке Зиятбая позванивали медали, значит, он настоящий герой.

А про Мирвали-ака я, честно говоря, совсем забыл. И почему-то даже случайно не любил о нем вспоминать. И вдруг мать, зачем-то отправившаяся однажды на почту, вернулась ужасно расстроенная.

— Вот и война кончилась,— горестно вздохнула она,— а похоронки еще идут. Сегодня пришла родителям Мирвали.

И тут, как подстреленная птица, забилась и закричала Соифа. Она швыряла на пол все, что попадалось ей под руку, и никого не подпускала к себе.

Вечером отец с матерью о чем-то долго шептались, и, прислушавшись, я разобрал, что они решили Соифу выдать замуж.

Решить-то решили, но уламывать им пришлось ее больше года. Наконец, безразличная ко всему, она согласилась стать женой парня по имени Мухтар.

Свадьбу играли осенью. Меня посадили на одну лошадь с невестой. И, когда лошадь, как положено по обычаю, обходила ярко пылающий костер, разложенный перед воротами дома, Соифа прижалась ко мне и прошептала, жарко дыша в затылок:

— Что же ты наделал, Қаллахом?

...Как коротко и жестко прогромыхивают за окном иссушенные солнцем листья. Опять пришла осень.

ФИНИШ

*Поэту Усману Носиру
посвящается*

На покатых склонах холмов, с трех сторон обступивших взбухшее после осеннего дождя и чавкающее под копытами лошадей поле, собрались празднично одетые люди, одни стояли отдельными группами, оживленно переговариваясь, другие удобно расположились на влажной траве, постелив под себя чапаны. Где-то с середины поле незаметно шло под уклон, и противоположный край его окаймлял горный сай, в эту пору, правда, не такой многоводный и шумный, каким он бывает весной, в период таяния снегов. У самого высокого холма, где восседали на войлочных коврах аксакалы, согреваясь зеленым чаем, постепенно скапливались всадники, отовсюду стекаясь по вихляющим между холмами тропинкам. Подоткнув полы чапанов, чтобы не трепались, за туго затянутые бельбаги, они ждали сигнала; возбужденные, всадники горячили коней, спорили, едва не ссорясь, чей конь сильнее и выносливее, высказывали свои предположения, кто в предстоящем соревновании, улаке, заполучит приз.

Вот появился в пестром полосатом чапане и Алим-безухий, которого можно безошибочно узнать издали по горбатуму орлиному носу. С покрасневшим от встречного ветра лицом он ехал впереди своей группы, слегка понукая черного с белой звездочкой на лбу коня. Подняв руку с вдетой на нее камчой, он приветствовал собравшихся на холме болельщиков. Голоса всадников, заметивших его, сделались тише, потонули в сопенье коней, их фыркание, позвякивание уздечек. И не один из них, успевший высказаться относительно победителя, наверное, изменил про себя свое мнение. Уже многие годы Алим-безухий считался лучшим в округе чавандозом¹. Вряд ли кто лучше его знал лошадей и понимал их. Еще ребенком он любил со старшими мальчишками пасти их, гонять на водопой. Когда подросток и стал юношей, он помогал отцу,

¹ Чавандоз — участник улака, конно-спортивного состязания.

колхозному конюху, ухаживать за лошадьми в конюшне, впрягал их в арбы и распрягал. Еще тогда за хорошего коня он готов был отдать все без остатка, едва ли не жизнью пожертвовать. Он рано начал участвовать в улаках. Во время одного из соревнований чей-то свирепый конь откусил ему ухо, а он, разгоряченный, даже не заметил этого. «Подумаешь, конь укусил, с кем не бывает. Больно, конечно, но терпимо. Случается, люди шею сворачивают...» Так думал молодой чавандоз Алим, сетуя, что боль не утихает и кровь почему-то не перестает сочиться, отвлекает от борьбы за улак. После соревнования глянул на себя в зеркальце — а уха-то и нет... С тех пор за ним и закрепилась кличка Безухий.

Сегодня устраивает улак колхозный главный бухгалтер — в честь рождения сына. После пяти дочек у него родился сын. Это ли не радость, это ли не повод для проведения улака. Да ради такого события можно играть той целых сорок дней непрерывно.

Дул порывистый влажный ветер. Небо сегодня тоже облачилось в темный халат, сшитый из темных косматых лоскутов туч. По полю, где недавно убрали пшеницу, деловито расхаживали черные грачи, низко летали, лениво взмахивая крыльями, и каркали взъерошенные вороны, высказывая недовольство появлением всадников, снимались с места стайки воробьев, с тревожным чириканьем уносились к саю, прятались в зарослях джиды.

— Глядите-ка, и Алим-безухий пожаловал!..

— Ну, разве без него может обойтись хоть один улак!

— Ох и коняга у него — загляденье. Говорят, он отвалил за него десять тысяч.

— Почему бы и не отвалить, если какие-то там «жигуленки» столько стоят!

— На что ему с одной рукой «Жигули»?

— Потому и отвалил.

— Да-а, похоже, сегодня улак выдастся на славу.

Таковыми или приблизительно такими фразами негромко обменивались всадники, недовольно поглядывая на приближающегося знаменитого чавандоза.

Внешне Алим-безухий был спокоен, хотя в сердце и была какая-то тревога. Подняв руку, он поприветствовал соперников и, понукая коня, протиснулся поближе к возвышению, где в окружении нескольких пожилых мужчин, которые должны были определить победителя, стоял

бухгалтер Ашур — организатор улака. Скорее бы уже они бросили козла! Главное — изловчиться и схватить его. Алим-безухий даже ощутил в ладони податливую шерсть только что зарезанного и еще теплого животного. Главное — схватить! А тогда домчать его до финиша Алиму ничего не стоит — равного его коню по силе, быстроте, ловкости ни у кого нет. Главное, схватить козла первым... Эх, жаль, нет правой руки! Будь у меня обе руки, как у всех, точно бы никому не видать улака!.. На одном из таких же улаков он потерял руку: упал, сломал, попала в кровь какая-то гадость — руку и отняли...

День сегодня пасмурный, но все равно почему-то душно. И на сердце тяжесть какая-то. Погода, серость эта, что ли, действует?.. Нет, перед самым его выходом из дому жена настроение испортила. Не хотела, чтобы он сегодня участвовал в улаке. Никогда не возражала, а сегодня поди ж ты... Пытался объяснить ей, что он, всего раз или два в году оседлывая коня для улака, словно обретает крылья: не может он пропустить состязания, не может. А она и понимать не захотела, осталась в слезах... Да и болельщики что сказали бы, не появись он сегодня на поле? Огорчились бы. Сказали бы: «Эх, сегодняшний улак — не улак...»

Бухгалтер Ашур, дородный мужчина лет пятидесяти, подошел к краю возвышения и зычно крикнул, стараясь перекрыть голоса чавандозов:

— Видите во-он то тутовое дерево? Возле него и должен быть сброшен улак!.. Групповщина, помощь друг другу запрещается. Выигрывает тот, кто честно донесет улак до финиша. Хочу, чтобы в честь моего единственного сына, появившегося на свет после пяти девочек, вы боролись честно. Помолимся-ка за моего сына!

— Пусть жизнь его будет долгой-долгой! А-аминь!

— Приз — мой мотоцикл с коляской, который я получил в виде премии!..

«Эх, Ашурвай, не из-за призов мужчины выходят на состязание, — пронеслось в голове Алима-безухого. — А потому, что не могут не выйти. И побеждают — потому что не хочется огорчать своих болельщиков. Ведь сколько я в жизни получал призов, все раздавал людям. Продам и твой мотоцикл, если выиграю, и устрою огромный той! А тот, кто выходит на майдан из-за приза — тот не чавандоз, а скоморох».

Дородный Ашур поднял над головой лохматого козла,

у которого были отрезаны голова и ноги, и с силой бросил вниз. Черная тушка промелькнула над головами чавандозов, многие из которых вскинули руки, пытаясь поймать ее на лету, и упала почти в середине толпящихся всадников. Зашелкали, засвистели плети, заржали, захрипели кони. В том месте, где упал улак, все закрутилось, завертелось, как в водовороте. Чавандозы, закусив плети, свесились с седел, руки их тянулись за улаком, шаря между копытами лошадей. Потные бока животных сталкивались, кони посильнее, вскинув морды кверху, храпя и скалясь, оттесняли слабых. Звякали стремяна, рассыпаясь над спинами, слившись в сплошной вопль, висели пронзительные вопли болельщиков. И среди них Алим-безухий различал выкрикиваемое кем-то свое имя. Стиснув, словно железным обручем, ногами бока коня, он свесился вниз, отыскивая взглядом между мелькающих лошадиных ног втопанную в грязь тушу, из-под копыт летела грязь, и он, отплевываясь, утирал лицо о горячий бок коня. Его тело было стиснуто, и ему порой казалось, что он задыхается. В нос бил острый запах пота, Алима поташнивало. Вероятнее всего, в точности так было и раньше, но он всего этого попросту не замечал. Раньше он был молод, силен, да и руки... Эх, горе тому, кто с одной рукой вступает в борьбу за улак! Была бы у него хотя бы не левая, а правая рука — многим пришлось бы туго. Из глаз посыпались искры — в лоб ударили чьи-то стремяна. Алим почувствовал, как что-то теплое, щекоча, пробежало наискосок к виску. Кровь. И в этот момент он увидел то, что искал, схватил, погрузив крепкие пальцы в длинную осклизлую шерсть, но одновременно с ним в улака вцепилась еще чья-то ловкая рука. И, не поднимая головы, Безухий сразу определил, что рука принадлежит молодому джигиту. Только молодые руки могут действовать так ловко, быстро и так крепко держать.

«Откуда еще этот молокосос взялся?» — подумал в сердцах Алим-безухий, бросив неприязненный взгляд на чумазое лицо незнакомого парня, на котором ослепительно сверкали лишь зубы да белки глаз, и изо всей силы рванул к себе улак.

— Безухий, оставь! — крикнул парень хриплым от напряжения голосом. — Когда же избавимся от тебя? Надоел-то как!..

— Негодный, у тебя изо рта вместо слов выскакивают лягушки! — выдавил из себя Безухий, не поднимая голо-

вы и прикидывая, как бы выпрямиться так, чтобы кто-нибудь еще не успел ухватиться за улак.— Это майдан борьбы! Он любит мужественных! А вас, молокососов, развелось ого сколько! Быстро за все беретесь, да быстро остываете. А мы, седоголовые, уж ежели взялись, то доводим дело до конца. Попробуй-ка отобрать! Сможешь это только отрубив руку!

Парень изо всех сил потянул к себе улак и раз, и другой.

— Смотри-ка, силач какой нашелся! — зло осклабился Безухий.— Жаль, что нет правой руки, а то показал бы тебе...

Кони их вертелись, то сталкиваясь боками, то расходясь в стороны, не давая никому другому подступиться. Парень и так и эдак тянул добычу к себе, но Безухий не отпускал и тоже в свою очередь дергал вправо, влево, и тоже лишь понапрасну тратил силы. «Эх, Алимбай, нет у тебя прежней силы,— промелькнула в голове мысль.— Откуда только взялся этот зубоскал? Эй, сын кабана, все равно не сладить тебе и с одной моей левой...»

Чавандозы, окриками и плетками понукая и без того разгоряченных коней, подступали все ближе, теснили их со всех сторон. Алим-безухий и молодой парень очутились в самой середине схватки. Поначалу молодой и старый боролись на равных. Но все-таки молодость есть молодость. Парень, улучив момент, резко дернул и вырвал улак из рук Безухого, перекинул через седло и зажал коленом. Алим, гневно сверкнув глазами, глянул на соперника, широкоплечего, с толстой бычьей шеей и крупным крючковатым носом.

— Эй ты, силач! — сквозь зубы процедил он, и лицо его исказила гримаса.— Известно тебе, что из-за этого улака я лишился уха и руки?! Дураков нет, чтобы так просто уступить тебе! У тебя сила, а у меня опыт. Еще посмотрим, чья возьмет!

Парень, как ни понукал коня, не смог сразу вырваться из плотного кольца обступивших их чавандозов. Алим дотянулся до улака и, сделав вид, что тянет в одну сторону, неожиданно дернул в другую, улак выскользнул из-под стремени парня. Алим проделал это так ловко, что парень удивился, в глазах его промелькнуло восхищение старым наездником. Но тут же он, как ястреб, снова накинудся на улак. Молодой чавандоз! Нельзя не признать его силу. Не

выпуская улака, Безухий потянул за узду, поворачивая коня в сторону. Со всех сторон слышались крики:

— Давай, Безухи-и-ий!

— Еще немного!..

«Бедняги, до сих пор не перестают надеяться на меня!» — подумал Алим, пятками и плеткой подзадоривая вороного.

Кони молодого и старого чавандоза наконец вырвались на простор и помчались рядом, развевая гривы, распустив по ветру хвосты. Алим-безухий намертво зажал коленом добычу. Как парень ни старался, не мог ее вырвать. А позади лавиной неслись другие всадники, уже настигали. Неужели они зря столько боролись, а когда их силы иссякли, улак достанется кому-то другому? «Хей, неуклюжий, что-то долго я вожусь с тобой! Постарел я, эх, постарел. Но опыт мой не старится, нет. Старый чавандоз похож на старую лису: чем слабее у нее глаза, ноги, нюх, тем хитрее она становится. Ну, теперь держись...»

Парень отпихивал его локтем. Он был довольно силен, этот молодой чавандоз, напоминал Безухому его самого в молодые годы. Он, кажется, на седьмом небе только оттого, что ему выпала честь бороться за улак с самим Алимом-безухим, самым знаменитым чавандозом. Будто две мощные волны, набежав с двух сторон, столкнулись, вздыбились в единоборстве, и трудно сказать, которая опрокинет другую.

— Али-и-им! — неслось с холмов.— Давай, Алим! Ну, что же ты!..

— Дави-и-и!..

«Вам легко орать: «Давай!.. Дави!..» Только и знаете горло драть, горлопаны! А бороться — мне. И не с крикуном, вроде вас, а с настоящим чавандозом, здоровяком. Другого бы я давно одолел, а этот проклятуший не знает ни усталости, ни снисхождения к старшему...» Безухий чувствовал, что силы его на исходе. Что подделаешь, состарился старый чавандоз. К тому же рука одна, левая. То, что нет одного уха, это ничего, не ушами хватают улак. А вот без правой руки... К тому же случай свел с этим верзилой-молчуном. Хоть бы слово сказал...

— Али-и-им! Тя-а-ани-и-и!

«Стараюсь же, как вол, стараюсь. Эх, и почему я не послушался жены... Что-то чувствовала старая. Неужели я сегодня опозорюсь?..»

— Эй, Безухий, с юнцом справиться не можешь!

— Вместе с ухом сил, что ли, лишился-а-а?..

— Безухи-и-ий! Молись аллаху, а то пропадешь!

«И аллаху тоже нелегко: сколько людей мысленно обращаются к нему, всех он слышит и не знает, кого пожалеть, кому помочь, совсем растерялся, поди, бедняга...»

Парень давно знал Алима-безухого, с детства слышал его имя. Мечтал потягаться с ним, когда вырастет. За этим пожаловал из соседнего кишлака. Наездником он считался отменным, а вот в улаке участвовал впервые. Кони устали. Молодой и старый боролись, мучая себя и коней.

— Али-и-им! Ну тебя к дьяволу!..

«Если сию же минуту не справлюсь с этим нахалом, болельщики разочаруются во мне, расстроятся, плюнут на улак и разойдутся. Какой прок тогда бороться без болельщиков...»

Улак то растягивался, то сжимался, словно резиновый; странно, что еще не разорвался на части.

— Эй, вы, молодцы, оставьте... поделитесь лучше призом! — донесся издали голос Ашурвая, устроителя улака.

— Будь ты проклят со своим призом, — пробурчал Безухий, не спуская глаз с соперника. — Никогда не выходил я на майдан ради приза. Пусть получит награду этот верзила. Может, у него невеста есть, перед которой надо побавхалиться. — И подумал: «А мне — лишь бы улак доставить к отметке, вон до той старой кряжистой шелковицы, к подножью которой за свою жизнь сбросил не один десяток туш!»

— Ака, шелковица! Мы проскочили отметку! — выкрикнул парень.

— Слушай, щенок, чего ты смеешься? — процедил сквозь зубы Безухий. — Не кичись заранее, что пришел к отметке вместе со мной, что я до сих пор тебя самого не зажал под своим коленом вместе с улаком! Состарься сначала, как я, лишись правой руки, хотел бы я тогда посмотреть на тебя... Стыдись, что не можешь одолеть однорукого. Еще раз оскалишься, огрею тебя по лбу черенком вот этой плети!

— Ну что вы все время ругаетесь, ака? Ведь это майдан, где и положено бороться за улак!

— Ну, так и борись! А что ты присосался, как клещ, и не отпускаешь?

— Да я мог бы с первой минуты ввергнуть вас в позор, только из-за того, что у вас седая голова...

«Ты прав, братишка, постарел я. А не то показал бы я тебе сейчас...»

Оба всадника, не выпуская из рук улака, описали широкий полукруг вокруг шелковницы и помчались в обратную сторону. Преследующие их чавандозы пустили коней им наперерез. Но Алим-безухий и его соперник так стремительно пронеслись перед самым их носом, что ни один из них не успел заступить им дорогу.

Когда они промчались мимо холма, где стояли хозяин тоя и его помощники, Ашур, размахивая руками, крикнул:

— К призу добавляю кове-о-ор!

Болезньщики нервничали. Они переглядывались, разводили руками, качали головами, вздыхали. Ведь Безухий до сих пор не знал поражений. Собирающиеся на улак люди им главным образом всегда и восхищались, его сноровкой, ловкостью. А сегодня носится как шальной по майдану, у какого-то мальчишки улака отнять не может, эх досада...

— Да продлится твоя жизнь, Алим!— крикнул сторбленный белобородый старик, махая посохом.— И с одной рукой не уступаешь улака!..

Голос у старика был слабый и сиплый, но Алим его услышал.

«Только этот человек оценил меня. В самом деле, если учесть, что у меня одна рука, то преимущество все равно на моей стороне. Всю жизнь я исправно молился аллаху, и он никогда не оставлял меня в беде. Правда, он лишил меня уха, руки, но в этом я больше сам виноват, мое упрямство...»

Над холмами снова взмыли до самого неба крики. Все увидели, как Алим-безухий вырвал у соперника улак, перекинул в другую сторону и прижал ногой к боку коня. Он мчался, наклонясь вперед, прижимаясь щекой к потной шее коня, подстегивая его стоптанными каблуками, и сразу вырвался вперед. «Ох, вороной, не подведи! Дай боги силу твоим ногам...» Вороной скакал, широко оскалив рот; фырканием и клецанием зубов отпугивая приближающихся сбоку коней.

И вдруг Алим услышал сквозь топот множества копыт над самым своим ухом чье-то тяжелое дыхание, промелькнули чьи-то руки, вцепились в улак. Безухий гневно обер-

нулся. Опять тот самый парень. «Да изуродует бог твое лицо, чтобы ни одной девушке не понравился!» — мысленно выругался Безухий, пытаясь локтем оттолкнуть соперника. Но парень был настырный, тянул улак к себе, не давая старому наезднику передышки.

Безухий резко повернул коня в сторону, рассчитывая, что соперник пролетит мимо и его руки оторвутся от улака. Так и случилось. Лицо парня скривилось от досады. «Алимбай! — сказал себе старый чавандоз. — Теперь гони коня! Ну, вороной, стать мне жертвою твоих ног!..»

Болезельщики кричали, свистели, били палками о дно пустых ведер.

Кривая старая шелковица стремительно приближалась. Но тут опять чьи-то сильные руки ухватились за улак.

— Опять ты? Негодяй проклятый! — неожиданно для самого себя взревел Алим-безухий. — Когда же ты отстаешь наконец?

Парень же невозмутимо молчал, вцепившись в улак, осаживая коня, и вороной, как ни силился вырваться вперед, все убавлял и убавлял прыть. Старому чавандозу пришла в голову мысль спешиться, стащить молодого упрянца с седла, как следует отдубасить и после этого уйти с майдана с гордо поднятой головой. Но этого он, конечно, не сделал, не хотел разочаровывать своих болезельщиков, слышать потом их упреки. Он и сам бесчестных терпеть не мог. А кому они любы, прохвосты? Никто их не жалует. А парень этот, хоть и изрядный нахал, однако улак хочет заполучить в честной борьбе.

Алим попытался перебросить улак через седло на другую сторону. Однако парень держал крепко, и у Алима ничего не вышло. Безухий глянул на молодого стервеца, словно кипятком обдал, а тот еще и добродушно улыбается. Эх, когда-то Алим-безухий и сам таким был: отбирал из рук соперника добычу, а сам при этом улыбался, уверенный в своем превосходстве. И опять он взглянул на парня, теперь уже с завистью. «Если в мире есть сила — то это он! Если есть злость — то это он! Если есть воля — то это он! Если есть мужество — то это он! Ах, как же он напоминает мне мою молодость...»

— Хорошо ли вы себя чувствуете, ака? — участливо справился парень, скользнув глазами по его лицу.

— Будь проклят твой отец! Чтоб ты умолк навеки! — огрызнулся Безухий. Он и сам чувствовал, что ему как-то не по себе, то в жар его бросает, то в холод, и дрожь ка-

кая-то внутри. А теперь понял, что, наверное, лицо у него бледнее обычного, все в испарине, пот заливает глаза.

Парень рассмеялся. Не успел Безухий и глазом моргнуть, улак исчез из-под его стремени.

Перед глазами Безухого поплыли разноцветные круги, закружилась голова. Он понял, что время его кончилось, что сегодня не овладеть ему улаком, и не только сегодня, но и вообще никогда, на глаза навернулись слезы.

— Али-и-им!..

— Алим, что же ты?..

— Э-эх, была не была! — крикнул Безухий и огрел вороного справа, слева плеткой.

Как птица ринулся вперед его конь, миг настиг соперника, и не успел тот перебросить улак на другую сторону, Безухий вцепился в него мертвой хваткой. И снова они вместе достигли шелковицы, и снова, описав широкий полукруг, помчались назад. «Умру, но не уступлю!» — подумал Безухий.

— Еще кове-о-ор!.. — послышался голос Ашура, когда молодой и старый бок о бок проносились мимо возвышения.

— Алим-ака-а! Удачи ва-а-ам!

«Я должен показать этому самоуверенному бычку, кто таков Алим-безухий и на что он способен! Пусть-ка утрет-ся юнец...» Он снова закусил зубами плеть.

— Поганец, уберн локоть!

— Послушайте, ака, — вспылил парень. — Почитая возраст ваш, отмалчиваюсь. Ругаетесь, оскорбляете... Ведь улак — схватка мужественных. Из-за чего обижаетесь?

— Прости, — виновато буркнул Безухий. — Постарел, ворчуном стал... Но тебя не боюсь!

«Алимбай! — обратился он мысленно к себе. — Ведь ты и сам в молодости каких только молодцов не побеждал. Бывало, плакали от огорчения... То же нынче происходит с тобой. Терпи, ежели не можешь враз одолеть, брат мой...»

— Жаль, что нет правой руки, — вздохнул Безухий, не заметив, что произнес это вслух.

— Тогда сидели бы себе в чайхане и попивали чай, ака, — заметил парень.

— Ах, так? — взревел Безухий. — Вот сейчас ты увидишь, на что способен однорукий чавандоз!

Он так рванул улак, что парень едва удержался в седле и разжал пальцы. Безухий в мгновение ока перебросил козла на другую сторону, прижал стремени.

— Молодец, Безухи-и-ий! Так ему-у!..— заревели зрители.

Вороной выскочил вперед, прижал уши, несясь вперед, как сама радость. О, до чего счастлив был Безухий. Все-таки отнял! Понукая и без того летящего коня, он стремительно приближался к цели. «Алимбай, умри, но донеси улак до финиша! — непрерывно твердил себе Безухий.— Умри, но донеси...»

— Али-и-им!..

Улак — это борьба. Это сила. Да, сила. Если немощен, незачем и вступать в борьбу. Улак — это сама жизнь! Ведь и в жизни есть сильные и слабые, победители и побежденные, благородные и низкие, мужественные и трусы, старшие и младшие. И все они соперничают между собой. Один берет верх, другой уступает, сдается. Один выносятся вперед, другой оказывается позади. Улак — игра честная. Здесь каждый как на ладони. Если ты честен, ловок, силен — тебя оценят. Слукавишь — накажут. Железный закон жизни.

Безухий пригнулся к шее вороного, ветер свистел в ушах, по лицу хлестали пряди развевающейся черной гривы. И мир казался ему таким же прекрасным, как в молодости, душа ликовала. Он не оглядывался, но позади себя слышал топот коней и истошные вопли преследователей.

— Алим-ака-а-а! — раздался пронзительный голос парня.

«Что он орет как резаный?» — подумал с раздражением Безухий.

— Алим, дерево! — успел крикнуть кто-то еще.

Безухий вскинулся в седле. Прямо перед собой он увидел простершую к небу мощные ветви старую шелковицу, к которой всю жизнь стремился прийти раньше всех. Громко заржал вороной, и над холмами взмыл пронзительный вой. Дерево вздохнуло. С макушки сорвалось несколько желтых листьев, плавно кружась, полетели вниз, легли на мокрую землю, отливая золотом.

Чавандозы осадил коней, спешили.

— Братцы, — всхлипнул молодой чавандоз, утирая рукавом чапана чумазое лицо, — что же это, а?.. — он опустился на колени и наклонился над распростертым на земле телом соперника.

Рука Безухого застыла, пальцы, судорожно зажавшие кулак, скрючились.

ВНУК ХЛЕБОРОБА

Грязное, давно не мытое стекло отделяло его от весны, набравшей силу. Оживленная болтовня и веселый смех школьников, проходивших мимо окна мастерской, едва доносились до его слуха, обострившегося до предела.

...Художник глубоко запустил свои тонкие длинные пальцы в седые волосы, закрыл на минуту глаза. Задумался. Да, конечно, он смертельно устал, а дело, казалось, не сдвигалось с мертвой точки. К тому же он впервые за последние дни ясно осознал, что очень хочет есть: от этого естественного, но показавшегося таким необычайным чувства закружилась голова, веки сами собой слипались. Чтобы не упасть, художник присел и оперся локтями о край тахты, что было силы зажмурил глаза. В этот миг он был подобен молодому поэту, внезапно опьяневшему от красоты собственного создания и мучительно ищущего последнюю, самую главную рифму. А ведь именно от нее, как от последнего аккорда музыкального экспромта, зависит, пойдут ли, примут ли его произведение...

Он ощутил невольную дрожь в мускулах и жилах. Не сдаваться, победить эту хворь, уговаривал он себя. Собравшись с силами, художник решительно выпрямился. Встал, обвел блуждающим взглядом мастерскую, подошел к большому овальному зеркалу, висевшему в прихожей. Сначала не узнал себя в этом отражении: на него смотрел усталый старик... Лицо его избороздили морщины, спина сторбилась, словно от непосильной ноши, некогда живой блеск в глазах уступил место умудренному взору старца, много испытавшего и повидавшего на своем долгом веку.

Последний год он редко выходил на улицу, но и за эти двенадцать месяцев ему было трудно припомнить, чтоб он вот так просидел дома около недели, будто скрываясь от людей, тем более что погода теперь стояла очень хорошая, а ранняя весна с детства была его любимым временем года. Выйдя на несколько минут во двор, чтобы хоть немного освободиться от непосильного, огромного напряжения, художник ловил на себе сочувствующие взгляды прохожих. Люди, по всему было видно, считали его тяжело боль-

ным. Им и невдомек, что весь последний год художник трудился над картиной. Да, теперь-то он даже знал, как назовет ее, и трепетно, словно заклятие, произносил про себя: «Хлебороб, дед хлебороба». Правильно ли сказать, что труд этот отнял у него год жизни? Да, конечно, это так: человек его лет мог найти дело и полегче, и никто не осудил бы его. Художник мог остановиться, оглянуться на прожитое, порадоваться тому, что сделано за годы, полные неустанного труда, радостей, сбывшихся надежд... Но он не мог иначе вот уже много лет подряд, во сне и наяву, ему являлся его главный замысел. Может быть, и не последний, но самый главный, ради которого он, сын крестьянина, научился рисовать, получил признание людей...

И вот теперь, после почти годового затворничества, ему казалось, что эти рассыпанные всюду листы с эскизами, расставленные по всей мастерской банки с красками, наполовину засохшими и потерявшими свою первоначальную свежесть, эти книги, разбросанные в кажущемся постороннему глазу беспорядке, — не покидали его на протяжении всей его долгой жизни, и весь смысл существования, казалось, свелся к скитанию от стены к стене мастерской, от эскиза к эскизу...

Иногда художник начинал даже говорить сам с собой вслух, и тогда ему становилось страшно. Кажется, вот этот набросок неплох, успокаивало его собственное честолюбие. Что ж, надо поработать еще немного, перенести его на холст, натянутый во всю ширину одной из стен мастерской, — и все. А вдруг это не то, что виделось всю жизнь?.. И охваченный испугом, стыдом за то, что вот так мог остановиться на полпути, обманув себя, он в гневе срывал очередной эскиз с мольберта. И, подобно последнему осеннему листу, набросок этот, медленно кружа, падал на пол, сплошь усеянный большими и маленькими, такими же отвергнутыми листами. Падал, завершая еще один мучительный день...

«Ну, что ж, многие великие жили именно так, почти не видя света белого, пока не заканчивали свой труд... Над многими дамокловым мечом тяготело величие будущего творения. А скольким этот груз оказался и вовсе не под силу?» — подумал художник, и тут же испугался закравшегося в сознание сравнения — «великими». К тому же подумалось: они, наверное, не сетовали на судьбу, не давали себе расслабиться, когда становилось невыносимо тяжело. Их гений позволял преодолевать житейские тяготы,

неурядицы: ведь он потому и гений, что, счастливый, озаренный его огнем, способен на немислимое напряжение души, способен сконцентрировать всю энергию, талант на рождении шедевра музыки, живописи, театрального искусства...

Усталый мозг художника не находил отдохновения: «Устал, как я устал...» И ставшие в последнее время мучительными раздумья о картине на время уступили место мечтам: «Вот кончу работу, поеду куда-нибудь к морю, лягу на песок, закрою глаза и буду слушать шум моря...» ...Художник живо представил себе кажущуюся такой несбыточной поездку, почти физически ощутил прикосновение ласкового морского ветерка, свежий жар, исходящий от песка на пляже... Но стоило ему, закрыв глаза, на минуту предаться мечтам, как перед мысленным взором возникал его «Хлебороб»...

Откинув прядь волос, упрямо падавшую на лоб, он осознал наконец, что все еще тупо глядит в овальное зеркало. Художник вышел из прихожей, несколько раз без цели прошелся взади и вперед по мастерской. Надо брать-ся наконец за работу, подгонял он себя, пауза уж слишком затянулась, кому-кому, а ему было хорошо известно, что когда усталость, какая-то необъяснимая беспомощность накапливаются в мозгу, все труднее и труднее становится сесть за работу. А поэтому надо, очень надо сделать это именно сейчас, когда еще есть силы, способные преодолеть это состояние. Боль в висках на минуту отступила. При мысли о работе с его лица тут же исчезло выражение рассеянности. Показалось, тело преисполнено новыми силами. К тому же на большом холсте виднелись едва заметные карандашные пометки, а значит, картина уже начата.

Художник поймал себя на мысли, что ему приятно смотреть на свои неоконченные работы. Некоторые из них висели тут же, в мастерской, дожидаясь своего часа. Душа художника ликовала, по тонким старческим губам пробегала тень мягкой улыбки. Он был уже весь в работе, хотя к холсту еще не подошел.

Слева, у окна, стоял плотно набитый книгами шкаф, сверху лежал, не найдя себе места на переполненных полках, том «Человеческой комедии» Бальзака. Рядом, на маленьком стульчике, брошена «Божественная комедия» Данте — он даже не помнил, когда открыл этот том. Вся правая часть мастерской, куда, несмотря на плотный занавес, проникали лучи становящегося все теплее и теплее

солнца, была заполнена огромным столом, уставленным баночками с высохшими красками и в беспорядке разбросанными десятками тонких кистей; некоторые из них лишь единожды были обмакнуты в краску, а потом в бессилье брошены уставшей рукой на этот стол...

Решив немного отвлечься от мыслей, которые вновь полнили голову, художник наобум достал из шкафа объемистую книгу и открыл ее на первой попавшейся странице. Открыл, поморщился, хотя увидел на цветной вкладке монографии портрет любимого поэта Навои. Тот был изображен в алом жупане, на лице неестественная, вымученная улыбка. Классик был похож здесь на бравого щеголеватого офицера, направляющегося на парад. Художник разгневался на своего коллегу, так легкомысленно изобразившего великого мыслителя и поэта. Захлопнул книгу, и в уме тотчас как бы сама собой пронеслась песня на его слова. Называлась она: «Ты не пришла сегодня на свиданье». Он любил и помнил ее с незапамятных времен, как и многие другие бессмертные творения великого мастера.

Сам Навои иногда представлялся ему сгорбленным мудрым старцем, обладавшим даром провидения — таким, каким с детства запомнился ему один старик. Еще мальчишкой он вместе с друзьями нередко прибегал в чайхану своего кишлака, чтобы посмотреть, как этот почтенный старец склоняется, словно изваяние, над своей пиалой. Он, казалось, совсем не обращал внимания на сидящих рядом людей, ведших оживленные беседы за душистым чаем, и был поглощен лишь своими думами: ему, наверное, есть о чем вспомнить и конечно же о чем порассказать. Но он молчал, и самые ярые и шумные спорщики, встретившись с ним взглядом, умолкали.

...Стоп! Выражение лица того старца из детства теперь показывало художнику что-то, чего не хватало, как ему казалось, его «Хлеборобу». Задумчивой мудрости!.. Забыв усталость, художник рванулся с места, не глядя схватил со стола карандаш и стал что-то быстро набрасывать на чистом листе бумаги. Но с каждым новым прикосновением грифеля к бумаге он все отчетливее понимал, что и новый эскиз постигнет та же участь, что и сотни уже ранее начатых и разбросанных теперь по всей мастерской.

Внезапно, опустив в бессилье руки, он привычным жестом бросил карандаш на стол и вновь принялся ходить. Тяжесть его мыслей немного облегчало лишь сознание

того, что теперь, может быть, он хоть немного приблизится к заветной цели.

Художник одну за другой открыл еще несколько книг, среди которых был и «Овод». «Почему эта книга так близка мне?» — не раз спрашивал он себя. И понимал: наверное, оттого, что и в его душе, как у главных героев Войнич, часто поднималось до боли знакомое и непреодолимое чувство безмерной силы — силы и мстительности. Да, вот и теперь, он был готов жестоко мстить, мстить самому себе, мстить за свою лень, свою беспомощность, растерянность. Но не знал, как это делать...

Книги заняли свои привычные места, вернее, места у них не было, художник просто положил их на шкаф. И еще раз пожалел, что природа не наградила его талантом писать. Всю жизнь ему в голову приходили казавшиеся очень стройными сюжеты. Ведь художнику доводилось встречать в жизни людей, о которых не писать просто невозможно... В мыслях он выстраивал сюжетные фабулы, придумывал не только черты конкретных образов, но и детали описаний. И это помогало ему освободиться от усталости, отвлечься, когда картина, как теперь, «не шла». Но проходило какое-то время, и рождалось новое произведение, конечно же в том жанре, который он раз и навсегда избрал для себя. Или, вернее, который избрал его на всю жизнь...

Художник остановил взгляд на своей картине «Навон в одиночестве». Он закончил ее в прошлом году, она была одной из последних, завершенных, что вышла из-под его кисти. Что значит — последних? Испугавшись собственных суеверных мыслей, художник вспомнил, какой мучительной и долгой стала для него эта работа. Сколько он себя помнил — с самого босоногого детства, когда учил первые стихи великого поэта, — в нем незримо жил образ Навон, образ одинокого гения. Ведь у него не было друзей. Никто не понимал благородства его души, величия его устремлений. Не понимал — или не хотел понять?.. Он же, кажется, понимал все и всех. Ведь толпа слепцов редко понимает зрячего, вознамерившегося открыть им, обделенным природой и талантом, великие истины...

Художник изобразил Навон в длинном бархатном жупане, чалме ртутного цвета. Пальцы его были унизаны яхонтовыми кольцами. Две грациозные горные козочки тянули свои тонкие шеи к пиале, стоявшей на ковре у ног его...

И все-таки рисовать Навои было легче, подумал старый художник. Уж слишком близок он был его сердцу, сердцу его земляков. Слишком глубока и вечна была его мудрость, которую художник в меру своего понимания и таланта изобразил в глазах почтенного старца.

...Он закрыл глаза. В наступившем вдруг мраке сделал несколько шагов наугад. Понял, что может ориентироваться, полагаясь на память. Остановился. Сейчас перед ним должна висеть другая его картина, которую он тоже отчетливо себе представлял, не разжимая век. На ней изображен Бегун, держащий в руках земной шар. В пылливом взгляде ученого-просветителя — любовь и жажда познания. Два года назад художнику казалось, что это лучшее, что ему удалось нарисовать. Лучшее?.. А как же «Хлебороб, дед хлебороба»? Подобно отцу, он, как детей, любил все без исключения свои картины, но с нетерпением ждал появления на свет «Хлебороба» — любимого и желанного детища.

Каким же должен быть его «Хлебороб»? Может быть, достойный его прототип — тот давний старик из чайханы? Нет, наверное, землепашец, дарящий людям хлеб, не может быть так горделив и неприступен, как тот, с кем даже и заговорить боялись... Теперь, когда прошло совсем немного времени после той радостной «находки», художнику показалось, что поиск его еще впереди. В его памяти одно за другим всплывали когда-то виденные лица: в ауле, на заводе, в художественном училище, на фронте... И от обилия и разнообразия ожившего в памяти снова начинало колоть в висках.

Лица, лица, лица... «Какими же были они у наших предков?» — неожиданно подумалось художнику. Ведь жестокий закон ислама на многие века лишил узбеков их великого искусства, а вместе с ним и возможности изображать лица живых людей. Именно поэтому образы великих предков видятся теперь как бы сквозь пелену: представляются лишь тем, кто глубоко вникает в созданное ими, кто знаком с их творениями, сохранившимися отрывками биографий...

Художник сжал пальцами виски и снова шагнул к окну. Ищущему взгляду открылась благодатная картина вечера, дарящего свою весеннюю прохладу улицам, домам, людям. Снова нахлынули воспоминания прошлого, детства: в такие же вот ласковые вечера табунщики сгоняли с гор отары коз и баранов... Пыль из-под копыт затмевала солнце, слышались крики пастухов, лай собак...

Художник рассеянно, не шурясь, широко открыв глаза, посмотрел на заходящее солнце, казавшееся теперь розовым. Он молча прощался с умирающим днем, полным поисков и видений прошлого...

Сон не шел к нему. Но когда ему все-таки удалось на какое-то время забыться, ему снились отец и мать. Именно с их портретов начал он свою жизнь в живописи. Сначала рисовал мать — стройную, веселую женщину с немного вытянутым лицом и тонким носом, немного похожим на птичий. Картина «Отец» была его первой работой, выставленной в Ташкенте — за пять лет до начала войны. На ней был изображен человек среднего роста, высоколобый, в пестром халате. За плечи он обнимал мальчугана лет десяти, протянувшего руку навстречу восходящему солнцу. Когда художнику было тяжело или просто скучно, он мог подолгу смотреть на эти портреты, и силы возвращались, будто и в самом деле повидался с кем-то из родных, которые очень давно покинули этот свет. Ведь родителям даже не удалось порадоваться успехам сына, художника. Да и он смутно представлял себе теперь их лица — и все же они были близки его сердцу, как и те великие его народа, которых тоже приходилось рисовать «по памяти» — памяти предков, которая неизбежно живет в каждом из нас.

...Над городом поднималось утро. Весенняя прохлада проникала сквозь открытое окно, и, казалось, вся мастерская наполнилась этим необыкновенным ощущением вступающей в свои права весны. Лучи солнца, внезапно появившиеся из-за горизонта домов, пронзили сознание художника, прервав чуткий утренний сон. Он встал, торопливо подошел к окну. И тут же отпрянул от него, почти бегом бросившись к холсту, тоже наполнившемуся розовым заревом. Отяжелевшие ото сна веки художника открылись, глаза обрели остроту, по пальцам пробежала знакомая дрожь предощущения работы, густые седые брови сомкнулись на переносице. Лицо стало напряженным. Ему показалось, что настал наконец сладостный миг, ведомый каждому творцу — живописцу: он впервые «видел» свою картину...

И теперь надо было только «обвести» незримые контуры, расцветить красками то, что сейчас зримо предстало перед ним. Отныне ему предстояло забыть, когда начинается утро и кончается день. На одном дыхании, напо-

енный невидимой энергией всепроникающих солнечных лучей, он рисовал, не глядя на часы, забывая есть и пить, почти не ложась в постель.

В короткие часы отдыха ему снилось детство. Снился родной кишлак Намданак, раскинувший свои тенистые сады в горах Хан-Тенгри. Снова возникал перед глазами дед Сарвар, воспитавший мальчика, рано оставшегося сиротой,— человек огромного роста, богатырского телосложения, мужественный и благородный. С ранней весны до поздней осени не покладая рук трудился он в поле до самой своей смерти — даже после того, как ему перевалило за семьдесят. Художник и сейчас узнал бы то заветное место под горой, где дед сеял хлеб. Старик Сарвар любил поговорить с внуком: тот с малых лет радостно помогал деду чем мог.

Бескрайние поля, качающиеся на легком жарком ветру колосья, отдыхающий дед, уперевший улыбающееся лицо в ладони, песни декхан, знойное солнце, теплые летние ночи, болтушка с кислым молоком, душистые лепешки,— все это крепко запомнилось мальчику, чтобы потом, десятилетия спустя, вылиться, ожить в полотнах, известных теперь многим землякам художника.

Но чаще всего он, конечно, вспоминал о деде Сарваре. Говорят, в молодости на каждом его могучем плече могло усесться два взрослых человека. Высокую грудь его запахивал самый просторный халат. Глубоко посаженные глаза смотрели на жизнь по-доброму, весело искрясь. От деда Сарвара веяло первобытной силой, он казался мальчику самым откровением природы. Могучие плечи будто поддерживали небо... Порой, лежа ночью на горке обмолоченного зерна, дед с внуком подолгу не могли уснуть, любясь полной луной, мерцанием звезд, прислушиваясь к далекому лаю собак в кишлаке, крикам ночных птиц. Как любил мальчик спать, приклонив голову на могучую грудь деда Сарвара!

«Деда, дедушка...— вырывалось порой у него во сне,— я вас так люблю...»

«Сынок ты мой любимый, и я тебя тоже очень люблю»,— отвечал дед, и сквозь сон мальчик чувствовал нежное, почти невесомое прикосновение его сильной руки к своей наголо остриженной голове...

Прекрасная пора детства, трудная, иногда голодная, была неотделима в сознании художника от песен его народа. До сих пор они живы в его памяти, задушевные, муд-

рыс, в ших чаяния его земляков, гордых, непримиримых к злу, умеющих от души веселиться...

Придет весна — мечту я сею,
Я сею счастья семена...

Эти немудреные слова навсегда запечатлелись в его памяти... И теперь, когда он вдруг на концерте или по радио слышал эту любимую песню деда Сарвара, окружающий мир снова обретал для него таинственность, ему с новой энергией хотелось работать и работать, чтобы люди почувствовали неповторимую красоту его родной земли. Шло время, неумолимо текли в прошлое годы. Волы, подгоняемые бойкими криками, уступили место тракторам, соха — современному собрату, стальному плугу... Все меньше оставалось на земле тех людей, кто помнил, как над родным Узбекистаном всходила заря новой жизни, кто вместе с дедом Сарваром шаг за шагом, метр за метром отвоевывал эту землю у степи, организовывал первые колхозы... И с новыми силами художник брался за работу, и сладостное чувство охватывало его — получается!

...Рука художника от сильного напряжения и долгого пребывания в неудобном положении едва заметно начала дрожать и наконец замерла, как скальпель хирурга, легонько коснувшись холста и оставив на нем едва заметную отметину. Последнюю. Внезапно осознав это, он отдернул руку от картины, бросил на столик кисть и отошел в угол мастерской. Посмотрел на картину издали и понял: это то, что виделось ему с самого детства. Это его наконец воплощенный замысел...

Взгляду открывалось чистое весеннее небо. Высокая гора, загородившая долину от лучей набиравшего силу солнца, оранжево-розовым заревом выделялась на фоне этой голубизны. Каждый цветок в долине, каждая травинка поднималась навстречу восходящему светилу, щедро льющему свои лучи на просыпающуюся пашню. Казалось, можно было ощутить влажную свежесть воздуха, так знакомую тем, кто работает всю жизнь на земле...

На первом плане — Хлебороб, идущий за упряжкой волон. Сильный, огромного роста старик. Хлебороб одет в некогда белый, а теперь потерявший цвет истрепанный халат необъятного размера, какой, наверное, нелегко было отыскать и в целом кишлаке... Морщинистое лицо старика одного цвета с землей, в которую столько лет он бросал семена надежды, семена любви — сеял хлеб. И хотя соли-

це только начинает свой каждодневный путь по небосклону, заметно, что пахарь уже не первый час в поле...

От волнения ноги художника сами собой подгибались, он отступил еще на несколько шагов и снова стал смотреть на картину, по-доброму и взыскательно, как смотрят на детей.

На минуту он почувствовал себя этим пахарем, этим бескорыстным тружеником, как его дед, как его Хлебороб, дед хлебороба, который, пройдя сквозь годы, жил в его памяти и вот теперь заслонил своей огромной фигурой почти все пространство его мастерской...

Стрелка на часах неумолимо двигалась, отсчитывая минуты и часы третьей бессонной ночи. В комнату проникли первые лучи восходящего солнца, незаметно слившись с темнотой, что освещали фигуру хлебопашца. Художник зажмурил глаза, как в то утро, когда эти лучи придали ему недостающие тогда силы.

Он улыбнулся, в изнеможении опустился на стул и привалился к теплой, нагретой солнцем стене, по-детски сладко задремал, как когда-то на груди деда-великана.

Натруженное тело художника отдыхало. Теперь, когда работа была закончена, ему не хотелось верить, что она была делом жизни: он чувствовал себя человеком, победившим стихию, собственную неуверенность, доказавшим самому себе и людям, что еще на многое способен, что главная его картина, может быть, впереди...

В большом зале собрались его друзья и коллеги, молодые, ровесники. Они поздравляли художника с успехом, воздавая должное его таланту, трудолюбию, преданности делу, произносили добрые слова, за которые он им был, конечно, благодарен. Художник, слегка ссутулившись, смотрел на картину, на улыбающегося мальчишку, сидящего неподалеку от пашущего деда. И с изумлением вдруг понял, что изобразил в этом малыше самого себя, тогдашнего. Он старался сдержать слезы, набегавшие на глаза, радостные и немного грустные слезы человека, мечта которого наконец сбылась. Словно наяву слышалась ему знакомая песня его детства, неумолкающая, непобедимая, как сама жизнь, и, едва приоткрывая губы, он мысленно повторял ее слова:

Придет весна — мечту я сею,
Я сею счастья семена.
И нива щедрая, желтая,
Воздаст мне осенью сполна.

ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК

С силой упираясь носами кирзовых сапог в скользкий наст, поднимались в гору два человека. У каждого висело на плече охотничье ружье. Один был в рыжей шапке-ушанке, надвинутой на лоб до самых бровей, густых и черных. Концы красивого пушистого шарфа лежали на воротнике его потертого полупальто. Он делал словно бы вынужденные, сложные движения головой: обращал ухо к непрестанно говорившему спутнику, а внимание его в это время было поглощено главным образом тем, что открывалось взору.

Картина представляла пред ними дивная. Солнце поднималось из-за высоких пиков, и вершина, которая была впереди, напоминала рдеющий костер. Острая тень лезвием падала к подножию горы, и снег рядом с ней казался золотой ослепляющей россыпью.

— Друг мой!— продолжал говорить, невзирая на одышку, другой человек, узкоплечий и сутуловатый. Нервным движением то и дело поправлял он ружейный ремень.— Не так давно прочитал я вашу повесть «О чем говорят глаза», так, кажется? Вы знаете: неплохо написано! Я даже поразмышлял кое о чем. Вот, мол, всю жизнь охочусь, а не задумывался никогда над тем, что там чувствуют, или, как вы пишете, переживают животные. А у вас даже страдания бедного коняги, когда в его шею волчьи зубы впились, показаны. М-да... Впечатляюще удалось вам изобразить, как говорится, торжество зла. Только зло ли это? Волк жить хочет и не видит иного способа, чем убивать тех, кто слабей.

Писатель пошевелил полными губами, на миг опустил пухлые веки.

— В отличие от волка,— произнес он, медленно роняя слова,— человек наделен разумом. Это сообщает ему не одно лишь превосходство над животным — это определяет и ответственность человека перед природой. Если, конечно, он — не только двуногое существо.

Сутулый хмыкнул.

— Да... этой темой вы давненько болеете. Еще с университетских лет. Я-то помню...

Писатель смотрел на вершину, освещенную солнцем, удивляясь и радуясь.

— Я вам благодарен за то, что вытащили меня из дому,— сказал он.— Правда, я не любитель охоты. Стрелять в живое существо я не могу. Больше того: мясников увижу за работой, мясо потом есть не хочется.

— Станный характер,— охотник пожал сутулыми плечами.

Они уже поднялись наверх, и перед ними открылась долина. Там еще дремала ночная мгла.

— Видите скалы? — спросил охотник.— За ними и ночуют джейраны. Крикнешь погромче, они тут же выскочат.

Писатель молчал, задумавшись, сунув руки в карманы. Он не сразу понял, о чем толкует его спутник. Он увидел девушку в светлых одеждах, тонкую и стройную, с толстыми косами, лежащими на спине. Всегда он невольно сравнивал девушек с газелями, сейчас же, думая о пугливых прекрасных животных, на которых они собирались охотиться, он не мог отвлечься от мыслей о человеческом существе, красивом и светлом. И те, и другие рассказывают о боли, обиде лишь глазами своими. Потому он и повесть свою так назвал...

Писатель весь ушел в себя, а спутник вел свое:

— Сюда охотники добираются редко! — он даже ладони потер одну о другую.

Нехотя писатель обернулся к нему.

— А джейранов когда-то было тьма-тьмушая! — продолжал охотник.— Сейчас же все наоборот: охотников пропасть, джейрана в иных местах не сыщешь.

— Почему джейранов не берегут?

— Должно что-то и для охотников остаться!

— Иное дело — заповедники. Допусти туда только нашего брата: мигом от всей живности — одни рожки да ножки...

— Ну, а вы-то? Вы же тоже охотитесь. Убиваете.

— У меня страсть.

— А у других?

— Ладно, что об этом говорить? Пошли вниз.

Уверенным шагом охотник начал спускаться, придерживая ружье за ремень.

Писатель, оступаясь, спешил вслед за ним.

— Хо-хо-хо! — заорал охотник, сложив ладони рупором. Писатель улыбался.

— Любопытно, — произнес он, не тая торжества. — Никого не видать. Я предполагал это с самого начала, когда согласился отправиться с вами сюда.

— Ничего, — с некоторой досадой откликнулся спутник, — джейраны наверняка услышали нас. — Голос его сел от надрывного крика. — Лежат небось, прижав рога к скалам. Дрожат. А подойдем поближе, они — как сиганут!

— Любопытно, — повторил писатель, но уже без улыбки.

— Ох и сильна мать-природа! — Низкорослый был в восхищении. — Каждому она не одно, так другое дала в награду. Волу — шею, волку — зубы, льву — когти, собаке — лай, человеку — разум. Даже джейранам и тем — быстрые ноги да рога. А рога знаете зачем? Нет, не для драки. Рога помогают им опасность почуять. Аллах свидетель: джейраны чувствуют самые легкие шаги. У них рога как антенны!

— Вот уж не подумал бы никогда, — сказал писатель, морща лоб. — Человеку — разум и руки, — повторил он задумчиво. — А руки эти и разум порой такое творят. Звери, те друг друга зря не тронут.

— Ого, куда вас занесло! Вы что думаете: я не люблю джейранов? — сказал низкорослый, подумал и добавил: — Они мне очень нравятся.

Писатель нашелся не сразу.

— Как же это все-таки? — заговорил он не очень уверенно. — «Люблю и потому убиваю»... Простите, но это чушь какая-то.

— Да, — упорно повторил низкорослый. — Свою драгоценную жизнь человек поддерживает тем, что ест мясо, — продолжал он жестко, — мясо животных. Это закон. Закон природы. — Он вмиг успокоился, взглянул на умолкшего писателя и произнес с наслаждением: — Давно мечтаю вожака-джейрана свалить, только неуязвим он, шайтан! Лучшим охотникам и тем не часто удается такое.

— Зачем вам это? — спросил писатель. Он был растерян.

— Прибыю вожака, стадо сразу разбредется, тогда любого джейрана хоть голыми руками берн.

— Хм, — писатель почувствовал, как заныло у него сердце. Он поднял голову, хотел было спросить: «Удовольствие ли — убивать растерянных животных?» — но понял,

что вызовет ярость спутника.— Я, кажется, устал,— произнес он глухо.— Давайте вернемся.

— Чудак! — охотник фыркнул.— Пришли наконец, и вот те на! Нет, уж мы не отступим. Вон за тем поворотом они и спрячутся, миленькие.— И он еще раз заорал, напрягая жилы на шее:— Хо-хо-хо!

«Хо-хо...» — ответило ущелье, и тут же послышался дробный перестук маленьких копыт.

Охотник вскинул голову. Брови заходили на его возбужденном лице и губы задрожали. Он был одержим немужным желанием — скорее увидеть добычу.

— Слышите! — произнес он хрипло.— Бегут. Приготовьтесь стрелять.

Писатель поспешно схватился за ружье, но оставил его на плече. Он был словно во сне, а охотник выкрикнул сдавленно:

— Да что вы смотрите!

Все произошло, как он предсказывал: джейраны мчались по правой стороне, стремясь уйти подальше в ущелье. Большой, словно конь, коричневый вожак вел стадо.

«Вот он, отец...» — подумал невольно писатель.

— Да снимите же ружье! — нетерпеливо произнес охотник.

Из-под копыт вожака вылетали комки снега, смешавшиеся с грязью. Он успел приметить людей. На беду свою, вожак хорошо знал, что от них исходит смерть. Был он еще крохотным и тонконогим, когда раздался над ущельем глухой тяжелый удар, взлетело облако густого дыма, и на лбу у джейрана, который бежал впереди их стада, появилась кровь. Она заливала старому джейрану глаза, стекала по рогам, он фыркал и отчаянно рыл копытами землю. Потом ноги его бессильно разъехались в стороны, и он упал, жалобно вскрикнув.

Помнил нынешний вожак и о том, как погибла его мать, теплая и добрая. Ее вымя вкусно пахло молоком. Тогда стадо тоже бежало из ущелья в чащобу — в густой, сухой по осени кустарник, надеясь укрыться в ней, а оттуда, из зарослей, выскочили волки. Они окружили мать, свалили на землю, впились зубами в шею...

...Вожак повел стадо вправо, подальше от зарослей.

— Что я говорил! — обрадованно воскликнул охотник.— В кусты они не пойдут. Побоятся. Сейчас будут перед нами как на ладони. Только выскочат, тут же палите!

Несущееся стадо напоминало писателю желтый стре-

мительный поток. И вдруг он будто ударился о скалу и рассыпался каплями. Оглушающе ударило над ухом. Писатель испуганно вскинулся и тут же начал искать взглядом вожака. Красавец джейран бился в агонии, а стадо испуганно повернуло назад. Лишь одна газель, палевая, с белым нежным брюшком, осталась около убитого вожака. Она обнюхала его, жалобно бляя.

Охотник тут же поднял ружье вновь. Газель встрепенулась и заметалась растерянно, не зная, куда кинуться. На миг писатель увидел ее глаза.

— Не стреляйте! — закричал он, отчаянно стукнул рукой по ружейному стволу и снова крикнул, теперь — газели: — Да беги ты! Ну, уходи же, уходи, глупая!

...Два человека обменялись взглядами, полными неприязни, и оба направились к подстреленному вожаку. Джейран еще был жив. Он просил взглядом: «Поднимите меня, уймите боль. Я должен быть со стадом своим...»

Писателя бил озноб. Взгляд джейрана, уже остеклевший, остановился на нем.

— Отличная работка! — произнес, не тая удовлетворения, охотник. Он жаждал признания. — Да, — сказал он, — считай, своего я все-таки добился: свалил вожака. Теперь другим раздолье: только знай постреливай. — Он поддел джейрана ногой и удовлетворенно заключил: — Полста килограммов потянет, никак не меньше. Под водочку — на недельку хватит. — Неожиданно он подобрел и обратился к писателю: — Друзей покличем, погуляем. Ну-ка помогите мне, почтенный, — сказал он, обвязывая ремнем рога джейрана. — Шайтан вас дернул помешать мне. Мы бы и двоих запросто дотащили.

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, писатель снял ружье с плеча и бросил его под ноги охотнику.

В последний раз посмотрел он на ущелье: там, казалось ему, мечутся, ослепнув от ужаса, разбиваясь о скалы, джейраны и среди них — та газель.

«Волку даны зубы, волу — шея, льву — когти, человеку — разум», — бормотал он будто в бреду.

— Куда он? — донесся немного погодя откуда-то сзади голос охотника. Удивление и растерянность сквозили в нем. — Да вернитесь же вы, чудак-человек! Такая удача, а он плакать готов...

Писатель уходил, спотыкаясь, едва не падая, охваченный одним непреодолимым желанием: никогда больше не видеть охотника.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Парень почувствовал, как шею сдавливает накрахмаленный ворот рубашки, и немного ослабил узелок галстука; и вельветовые джинсы показались чересчур тесными; и толстые каблуки неудобными, стали шаркать, как ни старался он ступать тихо, почти на цыпочках. Он медленно шел по длинному полусумеречному коридору, поглядывал на расположенные по обе стороны двустворчатые застекленные двери, отыскивая нужный номер и стараясь уступать дорогу парням и девочкам, которые мимоходом успевали окинуть его испытующим взглядом, наверное, сразу же замечая, что он тут посторонний. Чего это он так волнуется? Как будто до сих пор не бывал в общежитиях! Но еще никогда им не владело чувство, словно вот-вот появится некто с красной повязкой на рукаве и спросит, как это он оказался тут в будний день, в то время как визиты разрешены только по субботам и воскресеньям, тем более на этаже, где живут одни девочки. «Кого ищете?» — спросят. «Хатиму», — скажет он. «Какую? Тут их много, Хатим, и Гульнар много, и Хурсан!» А он лишь пожмет плечами, не знает он фамилии, ищет девушку, которую ни разу не видел.

Наконец остановился напротив двери с пестрыми атласными шторами. Прочел нацарапанное ключом или кончиком гвоздя «Хатима» и усмехнулся, слегка огорченный тем, что это мог написать поклонник той, кого он ищет. Минуту потоптался на месте, стараясь унять сердцебиение, не замечая, что сильно сжимает и разжимает вспотевшие ладони, как это делал обычно, когда очень волновался. А главное, позабыл все, что собирался сказать ей в самом начале, в первые минуты знакомства. А, будь что будет! Он вздохнул, словно ему вот-вот предстояло броситься с обрыва в холодную воду, и тихонько постучал. В комнате что-то скрипнуло, что-то упало на пол. Послышалось шарканье тапочек, и на шторах появилась чья-то тень. Щелкнул замок, дверь отворилась. Перед ним стояла девушка чуть ниже его ростом, плечи у нее были широкие и слегка покатые, почти мужские. Гладко зачесанные назад и со-

бранные на затылке в узел волосы открывали выпуклый лоб. Увидев незнакомого человека, она растерялась.

— Здравствуйте. Вы к кому?

Парень машинально попытался заглянуть поверх плеча девушки в комнату, надеясь увидеть там кого-то еще.

Девушка посторонилась.

— Извините,— произнес он, заикаясь, то засовывая руки в карманы, то вынимая.— Я ищу Хатиму...

— Это я...— Помедлив, она извинилась и, сказав: «Минутку, я сейчас...», исчезла, неплотно прикрыв дверь; аккуратно заправила койку, на которой, как видно, только что валялась с книгой, и, вернувшись, пригласила:— Пожалуйста.

У него испортилось настроение. Внешность девушки совершенно не вязалась с той, что он нарисовал в своем воображении. Поблагодарив кивком, он перешагнул порог.

— Вы одна живете?

— С подругой. Она уехала в кишлак.— Девушка выдвинула из-за накрытого белой скатертью стола стул:— Присаживайтесь.

Он сел немного боком, положив на стол руку и постукивая пальцами, теперь и вовсе не зная, как объяснить причину своего визита; собираясь с мыслями, оглядывал комнату, скромное ее убранство. Он чувствовал на себе вопросительный взгляд хозяйки и намеренно не смотрел в ее сторону. Из вежливости она ни о чем не спрашивала, полагая, что гость и сам сейчас все объяснит, зато ее глаза... ну, прямо пронизывали насквозь. Пожалуй, сейчас уместнее всего поговорить с ней лишь о ее стихотворении, третьего дня напечатанном в молодежной газете. Прочитав, он представил себе его автора, хрупкую, нежную, небольшого росточка девушку, похожую на стебелек мака, раскачиваемого ветром,— вот-вот сорвутся с венчика цветка лепестки и исчезнут, на мгновенье вспыхнув, промелькнув в воздухе, как искорки...

— Я прочитал в газете ваше стихотворение,— сказал он, прокашлявшись.— И мне захотелось с вами познакомиться. А адрес ваш я узнал у Парпи.

Она улыбнулась.

— Парпи хороший поэт,— в ее глазах промелькнуло восхищение.— Искренен, правдив. А современной поэзии часто как раз этого и не хватает.

Он внимательно посмотрел на нее. Она сказала имен-

но то, о чем он только что подумал. И тем не менее сидевшая перед ним девушка никак не соответствовала тому образу поэтессы, который сложился у него. И голос у нее грубоватый, и взгляд слишком прямой, не как у большинства девчат, которые смотрят на парней лишь краем глаза, то и дело смущаясь, пожалуй, даже ироничный. Она, конечно, заметила, что он старается напустить на себя серьезный деловой вид и казаться непосредственным, умеющим быстро входить со всеми в контакт, незаметно поворачивать беседу в нужном ему направлении. Но набегающие на его лоб складки, ерзанье, беспрестанное закидывание то правой ноги на левую, то левой на правую выдавали его волнение.

— Вы из газеты? — спросила она.

— Нет. Я заканчиваю художественное училище, отделение ваяния...

— Интересная профессия.

— Не более интересная, чем писать стихи.

Шевельнув бровями, она отвела в сторону черные глаза.

— Наверное, надо быть в душе поэтом, чтобы стать ваятелем. Вот я бы никогда не смогла что-либо вылепить из глины или вытесать из камня. А стихи иногда удаются.

— А я бы не смог написать стихов, — в тон ей ответил он.

Они рассмеялись.

— Извините, — сказала девушка и поднялась с места. — Я забыла поставить чай.

— Не беспокойтесь, — пробормотал парень. — Я только что...

Но девушка уже взяла чайник и вышла.

Взгляд парня снова стал блуждать по комнате, скользнул по двум аккуратно заправленным, стоящим у противоположных стен кроватям, раскрытой книге на подушке; круглое зеркальце с тумбочки отбрасывало на потолок овальный радужный зайчик; рядом с зеркальцем стояла фотография в плетеной соломенной рамке.

Он подошел к тумбочке, взял фотографию. Это был мальчик, очень похожий на хозяйку, большие, удивленно глядящие на мир глаза, пушистые ресницы, из-под полной верхней губы выглядывают кончики крупных передних зубов, один со щербинкой посередке. «Интересно... Наверное, братишка...»

Услышав в коридоре шаги, поставил фотографию на

— Извините,— сказал он, вскочив и расшаркиваясь.— Забыл представиться. Меня зовут Анвар.

— Анвар,— повторила девушка, и голос ее прозвучал при этом довольно приятно.— Образ матери, Анвар-ака, мне близок, потому что я сама женщина и...— Не договорив, она грустно улыбнулась и подлила ему чаю.— Хотелось бы побывать на вашей выставке, Анвар-ака...

Он промолчал. Вспомнил, каких раскрасавиц обычно приглашали на свои выставки его однокурсники. Юбочки — мини, стройные, точеные ножки, ресницы — опахала. Словно соревновались, кто покрасивее приведет. На девчонках тех и впрямь у многих взгляд иной раз задерживался дольше, чем на выставленных картинах или скульптуре. Прикладывая ладони к румяным щекам, они охали и ахали, восторгаясь работами кавалера, лили бальзам ему на сердце. А возле других произведений они откровенно зевали и со скучающим видом говорили, что устали, что им душно и хочется на воздух.

— А почему вы выбрали для дипломной работы именно такую тему?

— Я рос в кишлаке... Мне очень запомнилась Хамбиби-апа, пожилая женщина, потерявшая на войне троих сыновей... Когда она получила третью похоронку, рассудок ее не выдержал... У меня и сейчас перед глазами... Сидит она возле своей калитки и спрашивает у каждого, кто проходит мимо: «Вы не видели моих мальчиков? Что-то долго не возвращаются...» И у меня спрашивала. Я видел ее каждый день в одном и том же одеянии, в одной и той же позе — сидящую на корточках, прислонясь к дувалу, скорбно подперев щеку рукой... Не один год я потратил, чтобы увековечить ее образ в граните. Но комиссии не понравилось. Сказали, нужно что-нибудь оптимистичное...

Помолчали. Потом девушка вздохнула и задумчиво произнесла:

— Мой отец тоже, уходя на фронт, повесил свой кетмень на тутовник, что растет у нас во дворе. Пришло известие, что пропал без вести. Мама верит, что жив. До сих пор ждет. А кетмень так и висит на дереве. Шелковица растет, и кетмень все выше и выше. Теперь до него не дотянуться, если не встать на лестницу...

— Вы не прочли бы что-нибудь?

— ...оптимистичное? — усмехнулась она.

— Что хотите.

— С удовольствием прочту. Только, с вашего разреше-

ния, в другой раз. Сегодня дел полно. Да и настроение что-то...

— Ну, хорошо,— улыбнулся он, поднимаясь.— В другой так в другой.

Она тоже встала. Даже из приличия не сказала, чтобы посидел еще. Проводила его до дверей. Уже в коридоре он подумал, что все же надо было упросить ее прочесть два-три стихотворения. Вряд ли они еще когда-нибудь увидятся.

В тот вечер он лег поздно и долго не мог уснуть. Перед глазами так и стояла фотография мальчика, которая стояла на тумбочке у Хатимы. Интересно, кто этот симпатичный мальчик?.. Малыш вдруг улыбнулся, подошел вплотную и вложил свою теплую ладонь в его руку... Когда Анвар проснулся, он уже не помнил, о чем они говорили. Но в ушах все еще звучал голос малыша, очень похожий на голос Хатимы...

На следующий день, в сумерках, когда в коридоре общежития уже светились матовые плафоны, Анвар опять постучался в уже знакомую дверь.

Девушка встретила его приветливо. Сегодня им казалось, что они знакомы давным-давно, и от этого обоим было радостно. На девушке было ситцевое платье в красных лепестках мака, будто сорванных ветром и несомых в алой метели бог весть куда. Волосы заплетены в толстую косу, которая через плечо свисала на грудь. Брови и ресницы, и без того черные как смоль, чуть подведены тушью, на ногах остроносые празднично-яркие тапочки.

Парень заметил, что она рада его приходу, и сразу почувствовал себя легко и просто; он шутил, был разговорчив, быть может, даже чуть-чуть сверх меры.

Хатима принесла чай.

— Сегодня можем говорить сколько угодно,— сказала она, прижав левую руку к груди и подала пиалу, налитую до половины.— Сдала курсовую.

— Поздравляю,— сказал Анвар; пиала была горячая, и он чуть не выронил ее; смутился, вытер платком колени, на которое пролилась капля чая.— Почему-то так волнуешь, что даже руки дрожат.

— Да бог с вами! — засмеялась она.— С чего это вдруг?

— Жду стихов.

— О, знаете, хорошие стихи получаются крайне редко. Боюсь вас разочаровать.

— Если у вас в запасе есть несколько таких, как «Песня Нивы», вы этого можете не бояться.

— Благодарю. Что ж, я прочту. Только не судите слишком строго,— девушка отвела в сторону мечтательный взгляд, задумалась, а ее тонкие пальцы то расплетали, то вновь заплетали кончик косы; губы ее зашевелились, и он услышал слетевший с них тихий голос, похожий на мягкий шелест ветерка, влетевшего в крону расцветшей вишни и заблудившегося в ней.

Анвар налег на стол грудью, подался вперед, чтобы лучше слышать.

Тяжелые порывы ветра
Подобны ударам львиных лап,
И падает с деревьев одежды желтый шелк,
Дрожью охвачены зябнущие кроны...
Согреть не может,
Сочась сквозь мои ресницы,
Твой солнечный взгляд...

Голос ее то набирал силу, как стиснутый ущельем поток, то вновь стихал, как вырвавшаяся на простор река. Анвар временами кивал, и у него невольно вырывалось, как вздох: «Хорошо-о!..»

Напряженно вслушиваясь в стихи, он ощущал во всем теле странный трепет, какой человек испытывает обычно во время сильной освежающей грозы; искры в глазах девушки казались ему молниями, а ее тихий голос — то шумом горного сая, то шелестом раскачиваемых ветром деревьев. «Поэзия...— думал он.— Хорошо, что она есть на свете. Она окрыляет... Жаль, что до сих пор не знал этой девушки, не слышал ее стихов...»

И второе стихотворение, и третье, посвященное матерям, готовым прикрыть собой весь мир, спасая от ядерной катастрофы, он слушал с таким же волнением, молча. Неуместное слово могло испортить чудесный миг, как прекрасную музыку — фальшивая нота. Оказывается, красоту мира, ее чудо — тайну восходов и закатов солнца, рождения младенцев и новой луны, смерти и падения звезд, повадок зверей и птиц — можно постигнуть через поэзию. Низкий поклон тем, кто способен найти поэзию в обыденном и сделать ее достоянием всех. Ведь это — сказочное богатство, которым владеет человек.

Девушка умолкла и опустила голову, сжимая двумя руками косу, она побледнела, ресницы ее дрожали.

А он опять вспомнил оставшуюся в кишлаке мать, с совсем седыми, почти белыми волосами, которая каждый день что-нибудь шила на такой же старенькой, как сама, машинке «Зингер». С детства запала ему в память ее ссутулившаяся у окна спина, и равномерный стрекот швейной машины... А еще помнит, как они ходили вместе в поле и косили серпом пшеницу. Мать работала без передышки до самого полудня, то и дело рукавом стирая с лица льющийся ручьями пот. Когда солнце достигало зенита, они уходили в тень растущих у арыка верб, усаживались на траве, мать расстилала вместо дастархана белый платок, в который были завернуты хлеб, сваренные вкрутую яйца, помидоры, и они обедали... При людях мама обычно старалась казаться веселой. Оставаясь наедине с сыном, иной раз делилась с ним своим горем, говорила, что отец не в меру пьет и обижает ее. Только он, совсем еще в то время ребенок, был ее опорой и отрадой. А он думал: «Скоро вырасту и никому не дам маму в обиду...» Вот и вырос. Уехал из кишлака. А мама? По-прежнему живет одна в кишлаке и строчит на своей дряхлой машинке, заработанные же копейки шлет каждый месяц ему...

Он вдруг вскочил и начал ходить по комнате. Не спросив разрешения, закурил, но тут же смял сигарету прямо в ладони. «Прекрасно!.. Прекрасно!..» — приговаривал он. Каким-то непонятным, незнакомым доселе чувством, в котором смешались и благодарность, и нежность, и грусть, и восторг, проникся он к девушке, что словно добрая фея вдруг прикоснулась волшебной палочкой к самым чувствительным струнам его души...

Через два дня он снова явился в общежитие.

У порога она улыбнулась:

— А я будто чувствовала, что вы придете.

На столе он увидел горку риса, нарезанный колечками лук и несколько вымытых ярко-оранжевых морковин.

— Решила приготовить немного плова.

— Говорят, самый вкусный плов — приготовленный мужчиной. Если позволите, я помогу.

— Вы очень любезны. Но я попробую доказать обратное. Сегодня вы мой гость. Если хотите, полистайте жур-

нал. Тут новые стихи Парпи,— сказала она, протягивая ему свежий номер «Гулистана».

— Очень интересно. Только уже который день мне ничего не лезет в голову. Читаю, а перед глазами...— он умолк и несколько мгновений смотрел на нее.— Давно пора браться за дипломную работу, а я все еще думаю, воображаю. Все у меня еще только в мыслях...

— О, это уже полдела! — засмеялась она, постукивая ножом о дощечку, на которую падала нарезанная тоненькими брусочками морковь.— Было бы куда хуже, если бы у вас не было никаких мыслей!

— В голове полный сумбур. Идей много, но нет ни одной ясной.

Он встал с места, подошел к тумбочке и взял фотографию. Ему показалось, что мальчик улыбнулся. В точности как он это видел во сне. Мистика какая-то!.. Не обращившись, спросил глуховатым голосом:

— Это ваш братишка?

— Сын.

— Сы-ын? Когда же вы успели? — вырвалось у него.

— Сразу после школы вышла замуж... Вернее, выдали. Он только что вернулся из армии и работал шофером... А мне хотелось учиться. Он ни в какую не соглашался. Впрочем, дело не только в этом. Как принято нынче говорить — не сошлись характерами...

Он все еще держал фотографию в руках, а видел одутловатое щекастое неприятное почему-то лицо того, с кем она не сошлась характером, и у него заныло сердце.

— Что вы стоите? Садитесь.

— Пожалуй, я лучше пойду домой. Уже темнеет,— пробубнил он.

— Неужели боитесь темноты? — засмеялась она, но тут же оборвала смех:— Что с вами? Вы побледнели.

— Нет, нет, ничего. Просто работы много.

Нелегко ему было сделать эти четыре шага до двери, думая о том, что никогда больше сюда не придет.

В перерыве между лекциями в аудиторию зашел декан. И объявил сгрудившимся вокруг него студентам, что завтра в Доме культуры текстильщиков откроется художественная выставка, где будут демонстрироваться работы и некоторых дипломников училища. Декан надел очки и, глядя в список, перечислил фамилии счастливиц.

Анвар с трудом дождался конца занятий. Дни стали заметно короче, и, когда он вышел из училища, вдоль улицы уже горели гирлянды фонарей. К тому же небо к вечеру обложили тучи, и стало совсем темно. К остановке как раз подкатил троллейбус. Едва Анвар успел вскочить на подножку, за его спиной со скрежетом сомкнулась дверь. Он ехал в общежитие, к Хатиме.

Подняв воротник болоньевой куртки, долго прохаживался у подъезда, обуреваемый противоречивыми чувствами, споря с самим собой. «Вот и опять я здесь. А зачем? Что ищу тут? Прошло уже немало дней, и вряд ли она еще вспоминает какого-то там Анвара...» Он обошел общежитие и, зайдя во двор с небольшим сквериком и аллейкой, устланной шуршащим ковром из желтых листьев, встал под деревом, слившись с его стволом, чтобы его не было видно, и стал всматриваться в светящиеся окна третьего этажа. Вон оно, ее окно, с голубой занавеской. Свет горит. Значит, она дома. А может, не она, а подруга?..

Порывами налетал ветер. Начал моросить дождь.

«Ну, что я тут торчу? Съедят меня, что ли, если зайду на несколько минут?» Он решительно направился к подъезду. Пришлось долго пререкаться с вахтером, который, как заведенный, твердил одно и то же: «В будний день посторонним вход запрещен!.. В будний день...»

Наконец появился дежурный с красной повязкой на рукаве. Молодой парень, тоже, видать, студент. «Оставьте документ и слетайте!» — весело сказал он. Свой брат, сразу вошел в положение.

Анвар мигом поднялся на третий этаж. Вот и дверь с атласными шторками. Перед глазами почему-то опять возникла фотография мальчика. И услышал спокойный голос Хатимы: «Сын...» Занес было руку, чтобы постучать, но передумал. Отступил, собираясь повернуться и уйти. Но в этот момент дверь отворилась.

— Вай, почему уходите? — остановил его радостный голос.

— Я думал, никого нет.

— Вечерами я почти всегда дома.

— Я всего на минутку...

— Нет-нет, почему же, входите.

— Я пришел только сказать, что завтра в Доме текстильщиков откроется выставка. Там будет и моя работа. Если хотите...

— Конечно же хочу! — сказала она.

— Тогда ровно в два буду ждать у входа.

Он резко повернулся и размашистыми шагами направился вдоль коридора, чувствуя спиной ее взгляд, сожалея, что сегодня не суббота и не воскресенье.

Как и договорились, Анвар встретил Хатиму у входа. Взяв под руку, провел в зал. На ней был строгий темно-синий костюм, подчеркивающий ее стройную фигуру. Коса уложена на затылке и заколота шпильками, в ушах — маленькие белые сережки. И вообще сегодня она выглядит очень привлекательной.

В зале было довольно многолюдно. Вдоль стен развешаны картины, в простенках между окнами и по углам — несколько скульптур.

Хатима подолгу стояла у каждой картины, то отступала на шаг, другой, то приближалась вплотную и затем медленно переходила к следующей. Скоро она подойдет к скульптуре Анвара. У него все сильнее билось сердце. Вот от скульптуры отошли молодые люди, и Хатима, увидев ее издали, прикоснулась к руке Анвара:

— Это... Хамбиби-апа, да? — спросила шепотом.

Он кивнул, удивляясь про себя и радуясь, как это она догадалась.

Они подошли ближе. «Ожидание» называлась его работа. Старая женщина с изборозженным морщинами лицом сидела, натянув на острые, прижатые к животу колени подол просторного платья, подперев щеку рукой и устремив вдаль печальный взгляд. Какой он помнил ее, такой и изобразил...

Хатима незаметно пожала Анвару руку и, чуть прижавшись на цыпочки, поцеловала в щеку.

Когда они вышли на улицу, ярко светило солнце. Лоснились мокрые стволы голых побуревших деревьев; полерек аллен, устланной золотыми листьями, пролегли длинные тени, похожие на гигантскую лестницу, уводящую неизвестно куда.

Проснувшись, Анвар удивился, что уже так светло, а с улицы не доносится ни звука. Босой подошел к окну и увидел, что все вокруг белым-бело. И все еще кружился и падал большими пушистыми хлопьями снег.

По улице, взвихривая снежную пыль, проехал первый троллейбус с толстой белой шапкой на крыше.

На душе у Анвара было празднично. Он ждал этого дня. Ждал субботы.

Не стал даже завтракать. Быстро оделся и поехал к Хатиме.

Он, как всегда, тихо постучал в задернутую шторками дверь. Никто не откликнулся. По коридору уже сновали девчата в длинных домашних халатах, одни с чайниками, сковородками бежали на кухню, другие шли умываться, перекинув через плечо полотенце. Поглядывали в его сторону, видимо удивляясь столь раннему посетителю.

Он постучал еще раз. Опять тишина, ни шороха. «Спит, наверное. Как-то неудобно... Пожалуй, лучше подождать».

Он вышел на улицу.

Снег перестал. Сквозь сизые облака временами проглядывало солнце, и снег на ветках деревьев, на подоконниках, на ступеньках подъездов начинал искриться. Тротуар уже был испещрен следами ранних прохожих. Было довольно холодно, у него начали зябнуть ноги. Он обошел вокруг общежития, вошел во двор, чтобы взглянуть на знакомое окно, и остановился, услышав звонкий девичий смех. Какая-то девушка и парень в спортивных костюмах играли в снежки, гонялись между деревьями друг за дружкой, пихая за шиворот снег. Вот парень подхватил девушку, закружил, и они бухнулись в сугроб. «Вай, вай»,— притворно хныкала она, возмущалась и пыталась высвободиться из его объятий. И тут Анвар увидел подбежавшего к ним мальчишку в пальто с капюшоном, с ног до головы залепленного снегом. Он стал горстями хватать снег и совал за ворот отцу.

Снова в воздухе закружился снег, густой, пушистый, и, словно рябой шторкой, отгородил от всего мира троицу счастливых, так радующихся первому снегу.

Анвару вдруг пришло в голову, что это тот самый мальчик, что у Хатимы на фотографии. Издалека он не разглядел его лица, но теперь ему казалось, что это он. Ему захотелось подойти к малышу, спросить, как его зовут, поиграть с ним в снежки. Представил, как присоединилась бы к ним и Хатима. В мягких варежках хватала бы снег и пыталась натереть Анвару щеки, а он подхватил бы ее на руки и закружил в снежной метели...

Всматриваясь в белую мглу, Анвар прислушивался к слегка приглушенному снегопадом смеху и улыбался словно блаженный.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЧЕРАШНЕМ НЕЗНАКОМЦЕ

Когда автор этих нескольких слов воевал под Сталинградом, Уктам Хакимали только что явился на свет. Родился он в 1942 году очень далеко и от Сталинграда, и от моей родной Саратовщины — а именно: в Узбекистане. После войны мне единственный раз довелось побывать в этой удивительной республике, куда мой юный земляк, герой повести «Ташкент — город хлебный», совершил свое памятное путешествие в голодном двадцать первом году и куда позже, в военное лихолетье, устремились тысячи и сотни тысяч русских, украинцев, белорусов, вытряхнутых из родных гнезд свирепой лапой фашистского нашествия, устремились, зная, что найдут у братьев узбеков и кров, и пищу, а значит, и свое спасение. С сентября до середины декабря 1941 года, будучи снятым с передовых рубежей фронта вместе со своим Харьковским артиллерийским училищем, был и я в тех солнечных краях, в Ташкенте и Чирчике, с тем чтобы, передохнув малость, вновь отправиться на войну. Не исключено, что именно это обстоятельство (а было немало и других!) подогревало мое обостренное внимание к узбекам и Узбекистану. И, разумеется, прежде всего к литераторам, среди которых теперь у меня много друзей.

Сейчас познакомился с новым (опять же для меня — новым) именем: Уктам Хакимали. Сперва прочел несколько его рассказов и, встретившись с ним самим в Подмосковье, попросил дать мне коротенькую справку о себе. Настолько короткую, что я привожу ее здесь от слова до слова:

«Родился в 1942 году в Ташкентской области, в семье сельского учителя. В 1965 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. В 1976 году опубликована первая повесть «Маленький двор» в журнале «Шарк юлдузи». В 1977 году вышел первый сборник рассказов под названием «Скоро придет весна» (Издательство имени Гафура Гуляма). В 1980 году в том же издательстве издавалась повесть «Ранняя весна». В этом же году изда-

тельство «Еш гвардия» опубликовало рассказы под названием «Рассвет».

Добавим от себя, что в 1982 году еще в двух узбекских издательствах публиковались повести и рассказы Уктама Хакимали. А в 1986 году «Советский писатель» выпускает объемистый его однотомник, так что русский читатель получит возможность познакомиться с этим интересным узбекским писателем.

Чем же, однако, привлек он мое внимание?

О первом обстоятельстве я уже сказал. Второе — это то, что Уктам Хакимали в основном пишет о селе, и наши бойкие критики, которым всех нас, пишущих, хочется поскорее разложить по полочкам-рубрикам, с полным основанием могли бы зачислить его, Уктама, по литературному ведомству «деревенщиков». Но о деревне сейчас пишут многие (да и как о ней не писать, ежели она по-прежнему всех нас кормит?!). Но не все же, далеко не все способны задержать твое внимание и возбудить к себе интерес. В рассказах Уктама почувствовалось что-то родственное, близкое, он любит всем сердцем своих героев — сельских тружеников. Сколько сердечной привязанности и теплоты несут на себе строчки, скажем, из рассказа «Старик и поле». Догадываюсь, по какой ассоциации возникло у автора это название. Ты, великий американец, рассказал о своем друге — кубинском рыбаке, а я, Уктам Хакимали, расскажу о своем друге — о старом землепашце и земледельце, о Турсуне-ота. Пускай художественных средств у меня поменьше, но мое сердце исполнено горячей сыновней любви к людям, связавшим свою судьбу с землей-кормилицей, несокрушимо убежденным, что «пожинаешь то, что посеял».

Что посеял, то и пожнешь — всем известна эта пословица, выплавленная и выкованная вековым опытом многих поколений людей. Посеешь пшеничное зерно — вырастет хлеб, посеешь хлопок — вырастет нечто нужное всему существу на земле. Посеешь дурман — вырастет дурман же, некое отвратное зелье, от коего пользы никакой, а вреда много. Мудрость эта как бы персонифицирована в лицах и действиях персонажей двух рассказов: помянутого мною «Старик и поле» и другого, названного писателем «Расплата». Расплата, как известно, ждет всякого, кто не хочет жить по законам человеческого общежития. Но особенно она сурова и жестока, расплата, когда человек не только сам выбился из нормальной для нашего социали-

стического жизнеустройства колен, но и совратил с нее слабого духом или запутавшегося в сложностях бытия другого человека. Вот о чем второй рассказ Уктама Хакимали.

Два рассказа, два резко отличающиеся друг от друга стиля повествования. Если в первом автор нетороплив, основателен, местами даже, может быть, чересчур лиричен и нежен, во втором же — слова жесткие, повествование прерывисто, будто автор сам временами задыхается от гнева в отношении одного героя и от горькой жалости — в отношении другого.

Что еще?

Пожалуй, я еще не сказал самого главного, что привлекло меня к рассказам и повестям вчера еще вовсе незнакомого мне автора. Для меня всегда было и остается чудом: как это писатель умудряется на чистом листе бумаги, с помощью ли авторучки, карандаша или, как чаще бывает, с помощью пишущей машинки, — как он умудряется породить живую душу, живого человека, с его неповторимым характером, с его внешним и внутренним обликом. Это всегда чудо. Но это-то как раз и делает писателя настоящим писателем. Пейзаж, художественная деталь, ловко смонтированный сюжет — все это лишь вспомогательное для главного — для создания художественного образа.

Думается, Уктам Хакимали идет в своем творчестве именно по этому, наиболее сложному, но и самому короткому к успеху пути. Буду рад, ежели и читатель этой книги согласится со мною.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Малснький двор

Часть первая. Перевод С. Тарбеевой и М. Мирзаевой . . .	6
Часть вторая. Перевод С. Тарбеевой	118
Клад. Перевод Айдера Османова	180

РАССКАЗЫ

Старик и поле. Перевод М. Даиловой	204
Война. Перевод В. Турбиной	225
Белые кони. Перевод Э. Умерова	237
Расплата. Перевод М. Даиловой	247
Варан. Перевод О. Васильевой	265
Эти маленькие пальчики. Перевод В. Турбиной	271
Двенадцатая осень. Перевод Э. Умерова	288
Преданность. Перевод В. Турбиной	296
Третья весна. Перевод М. Даиловой	305
Последний путь. Перевод А. Овчаренко	312
В ожидании чуда. Перевод М. Мирзаевой	324
Бумажная птица. Перевод О. Васильевой	335
Финиш. Перевод М. Даиловой	341
Внук хлебороба. Перевод В. Турбиной	352
Чудак-человек. Перевод Б. Рескова	362
Первый снег. Перевод М. Даиловой	367
Несколько слов о вчерашнем незнакомце. Михаил Алексеев . . .	379

Уктам Хакимали

БУМАЖНАЯ ПТИЦА

М., «Советский писатель», 1986, 384 стр.

План выпуска 1986 г. № 355

Редактор *Э. О. Амитов*

Худож. редактор *А. В. Еремин*

Техн. редактор *Э. Б. Хамидулина*

Корректоры *В. Е. Бораненкова* и *С. Э. Михайлина*

ИБ № 5265

Сдано в набор 13.12.85. Подписано к печати 30.06.86.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-
изд. л. 21,57. Тираж 30 000 экз. Заказ № 808. Це-
на 1 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство
«Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воров-
ского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной торговли, 300600,
г. Тула, проспект Ленина, 109

Хакимали У.
X 16 Бумажная птица: Повести, рассказы. Пер. с узб.—
М.: Советский писатель, 1986.—384 с.

«Бумажная птица» — первая книга молодого узбекского писателя Уктама Хакимали на русском языке. Вошедшие в нее повести и рассказы во многом автобиографичны, посвящены событиям трудного послевоенного времени, когда рос и мужал сам писатель. О чем бы ни писал У. Хакимали, главная его цель — проверить своих героев на человечность, понять, чему они служат — добру или злу.

X $\frac{4702570200-232}{083(02)-86}$ 355—86

ББК 84.Уз 7